ISSN 0130–6545

4.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

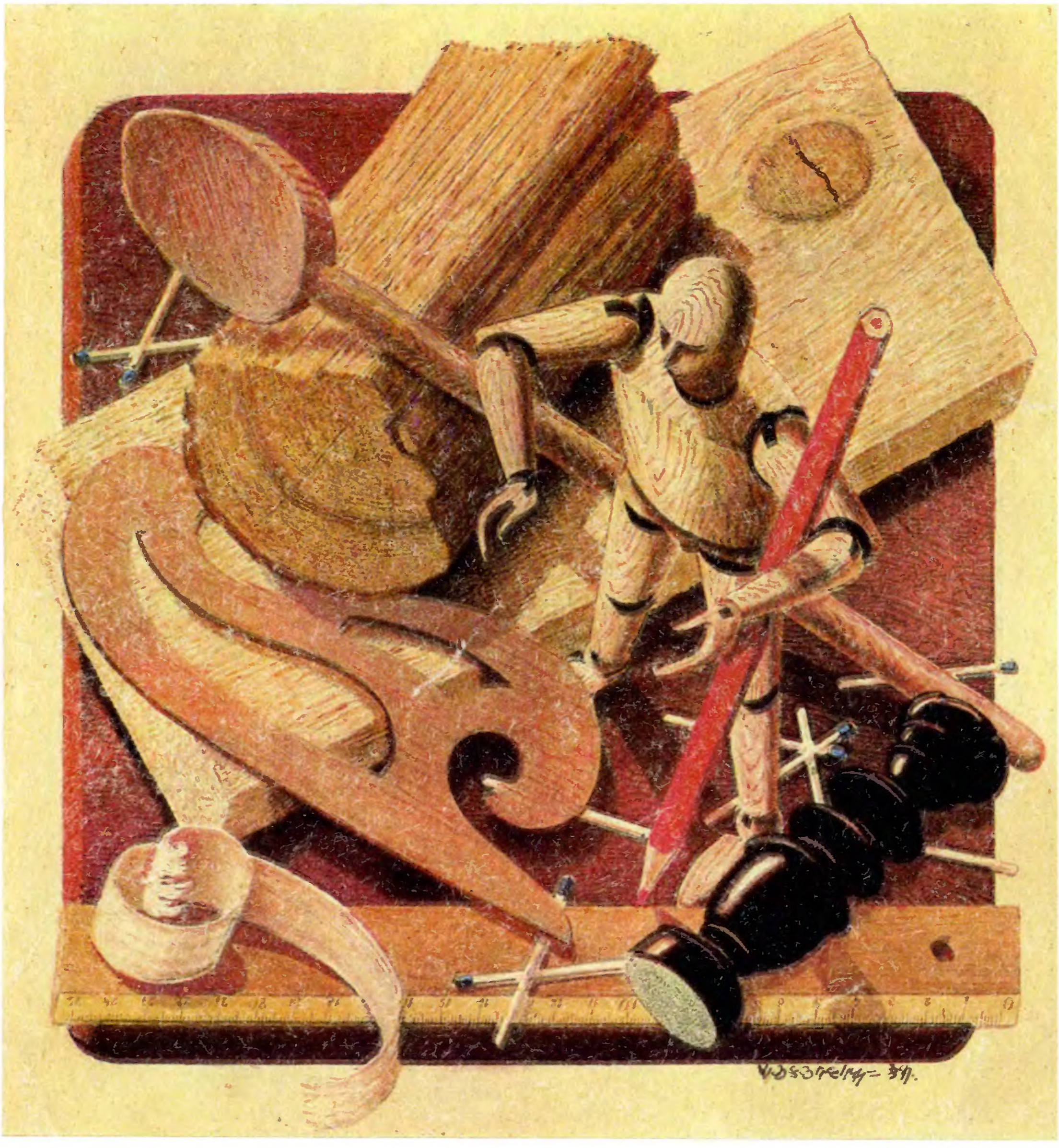
В номере:

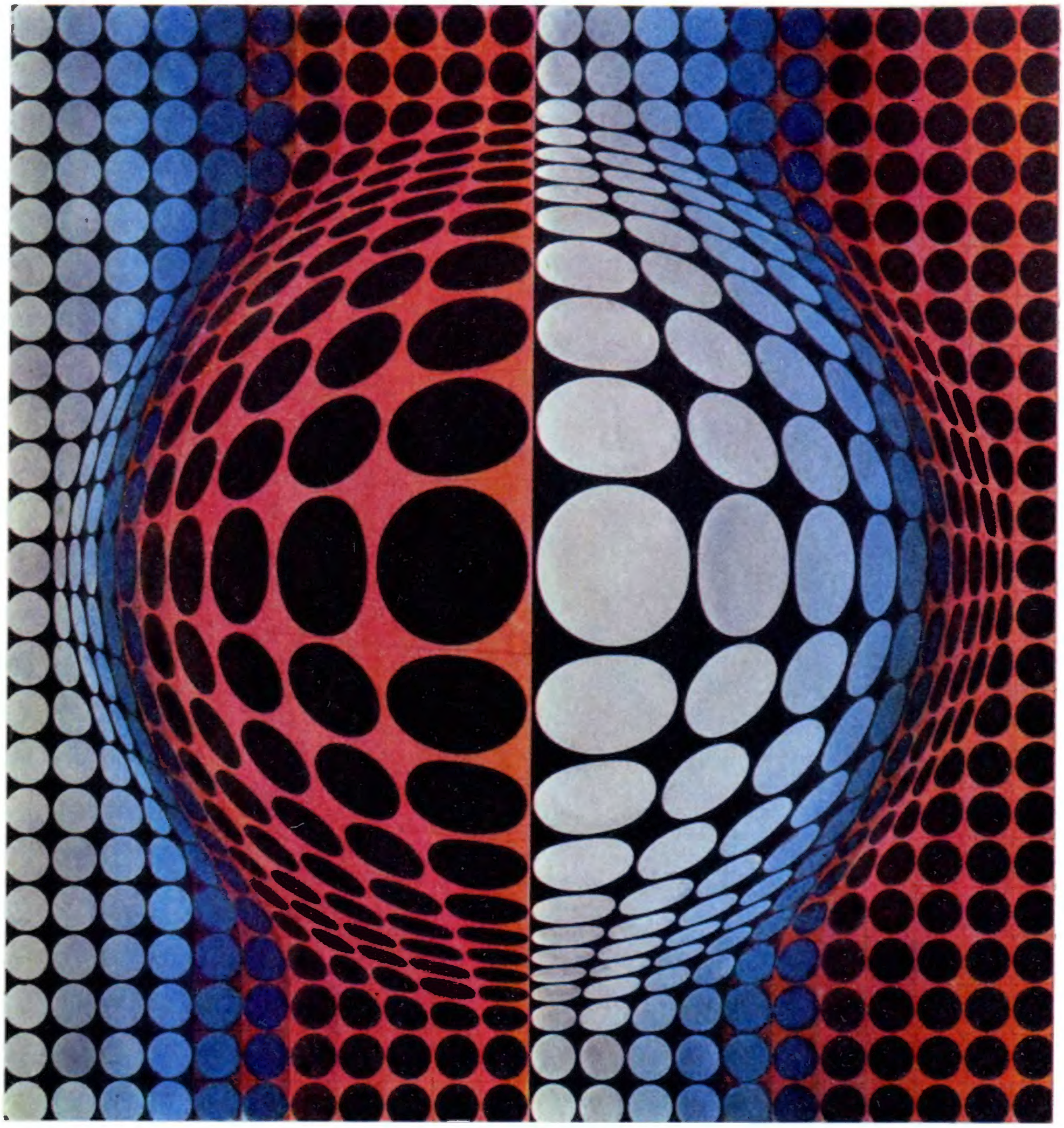
ИВАН КЛИМА
Рассказы

ОЛДОС ХАКСЛИ
Через много лет

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
Лапидарий

Х. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
Эссе об Испании





ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Коммерческий директор — Л. А. ЖМЫРЕВ

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК, Е. М. СОЛОНОВИЧ,
Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания), ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

4 апрель 1993

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН КЛИМА — Рассказы *(Перевод с чешского и вступление Нины Шульгиной)* 5

ОЙГЕН ГОМРИНГЕР, ФРАНЦ МОН, ГЕРХАРД РЮМ, ТИММ УЛЬРИХС — Конкретные стихи *(Перевод с немецкого и вступление Г. Сапгира)* 34

ОЛДОС ХАКСЛИ — Через много лет *(Роман. Перевод с английского, вступление и комментарии В. Бабкова)* 38

ДЖЕЙМС ДУГЛАС МОРРИСОН — Стихотворения *(Перевод с английского М. Миронова, А. Кудрявицкого. Вступление Михаила Миронова)* 181

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Лапидарий *(Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской)* 186

Публицистика

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ — Эссе об Испании *(Перевод с испанского А. Гелескула, Н. Малиновской. Вступление Н. Малиновской)* 203

РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ — Современный социальный конфликт *(Фрагменты книги. Перевод с английского Г. Лисиной. Вступление и научная редакция М. Черныша)* 236

Критика

Возвращаясь к напечатанному

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН — Первый роман Альбера Камю 243

К нашим иллюстрациям

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА — Вазарелли: орнамент и цвет 251

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 255

© Иностранная литература, 1993 г.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

Рассказы **ДЖОНА АПДАЙКА** (США) и **пьеса ЖАНА-КЛОДА БРИСВИЛЯ** (Франция) «Ужин».

Повесть **ГЕРМАНА ГЕССЕ** (Германия) «Демиан» (1919), по словам Томаса Манна, точно попала в нерв времени и оказала «незабвенное, электризующее воздействие» на читателей. Ее тема — становление личности. Ее автобиографический герой — молодой человек, мучительно ищущий «путь к самому себе».

В поэтическом разделе представлены тексты лучших композиций группы **«РОЛЛИНГ СТОУНЗ».**

Очередной выпуск «Литературного гида» будет посвящен КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ. Читайте автобиографическую книгу **АКИРЫ КУРОСАВЫ** «Жабий жир», произведения лучших японских писателей и поэтов последнего десятилетия, а также статьи отечественных авторов.

Цветные иллюстрации номера — работы художника ВИКТОРА ВАЗАРЕЛЛИ.

По всем вопросам, связанным с доставкой нашего журнала, обращаться в Агентство по распространению печати издательства «Известия» по адресу: 103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская площадь, 5.

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Журнал выходит один раз в месяц.

При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 11.01.93. Подписано в печать 00.03.93. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 22,40. Усл. кр-отт. 23,80. Уч.-изд. л. 26,39. Заказ № 3412.

Тираж 105 000 экз. Цена по подписке 33 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ИВАН КЛИМА

Рассказы

Перевод с чешского ***НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ***

От переводчика

«Я знаю людей, которым коммунизм не причинил, по существу, никакого вреда, но они агрессивны и воинственны. Человек, переживший настоящую трагедию и преследования, обычно не бывает воинственным». В эту сказанную Иваном Климой в одном из интервью фразу есть смысл вдуматься как в прямую автохарактеристику. Вышедший из обреченности Терезинского гетто, где с десятилетнего возраста он пробыл с родителями без малого четыре года, а уже зрелым писателем, в расцвете творческих сил, вступивший в духовное гетто тоталитарного режима, скроенного в Чехии по сталинскому образцу, Иван Клима всматривается в мир теплым, незлобивым взглядом и продолжает его любить, ибо это — по его мнению — единственный способ сохранить в себе человечность. Да и названия большинства его книг, будь то сборники новелл («Любовники на одну ночь», «Любовники на один день», «Мои первые влюбленности») или романы («Любовное лето», «Любовь и мусор»), варьируют слово *любовь* во всей его многозначности. С несколько отстраненной самоиронией писатель, в сущности, повествует о своей жизни, героем своих произведений он избирает себя самого, хотя, наверное, и присваивает чужие поступки и похождения. В его любовных новеллах и социально-психологических романах отразилась не только его личная судьба, но до известной меры сфокусировалась и полувековая драматическая судьба Чехии. Его литературный дебют пришелся на «оттепель» 60-х, и в основном его книги увидели свет в те короткие месяцы «пражской весны», когда духовно воскресший народ избавил печать от цензуры. В эти годы Клима — активный общественно-литературный деятель, руководитель самых прогрессивных журналов «Литерарни новины», «Литерарни листы» и «Листы», а в период реакции, наступившей после событий 68 года, он — в отличие от многих писателей, покинувших Чехию,— остается на родине и продолжает писать, превратившись в диссидента, правозащитника и писателя-парию, книги которого на протяжении двадцати лет (1969—1989) выходят уже только за границей (США, Канада, Англия) или в пражском «самиздате».

Зажатый между двумя тираниями, между двумя оккупациями автор «Мириам» познал самое страшное, оказавшись на краю запредельного, но и из этого тупика он находит выход. Скачок в «четвертое измерение», в сюрреалистический бред блаженного Лукашека (рассказ «Воскресным утром») и есть секрет Ивана Климы. В таком понимании весь трагизм жизни, порожденный режимом тех лет (рассказ «Во вторник утром»), кажется нереально абсурдным, и спасение от него разве что в мире, выстроенном на иллюзии, в мире блаженных и пророков. Автор и себя по праву причисляет к таким же блаженным чудакам; он долгие годы живет в странном изгнании, под многочисленными запретами, под надзором видимых и невидимых, а подчас и воображаемых стражей. Жизнь трагична не только в силу конкретных исторических обстоятельств, но и в своей предопределенности: все умирает, гибнет, и только одно чудо способно остановить мгновение и оставить вневременной след. Чудо искусства. Мириам, седоволосый художник-голландец, как и многие друзья писателя, канувшие в Лету вместе с дымом Освенцимского крематория, остаются в людской памяти, и в этом Клима видит мессианский смысл творчества: «Я осознал удивительную мощь литературы, человеческой фантазии вообще — ее способность воскресить мертвых и не дать умереть живым».

Клима — исконно чешский писатель. И в своей эссеистике он выбирает ключевые фигуры истории чешской культуры: Карел Чапек, Карел Гавличек-Боровский и, наконец, Франц Кафка, творчество которого Клима считает нерасторжимо связанным с духовностью Праги.

© Ivan Klíma, 1990

Журнал знакомит читателя с тремя новеллами Ивана Климы, взятыми из двух сборников, созданных на стыке 70—80-х годов: «Мои первые влюбленности» и «Мои веселые утра». Каждый из них объединен стилем письма, темой и временем: так, «Мои веселые утра» — семью днями одной недели. После тщетных попыток издать сборники на родине писатель опубликовал их на чешском языке в издательстве «68 паблишерс» в Торонто, где печатались запрещенные в стране чешские писатели. Книги выдержали несколько изданий на многих языках мира: критика высоко оценила мастерство рассказчика, умеющего слить воедино сложные философские мотивы с кажущимся простым, зачастую иронически окрашенным действием. Даже в этой небольшой публикации, думается, читатель найдет для себя множество красноречивых деталей, по которым сможет составить представление о писателе и о той действительности, которая окружала его вплоть до самой «бархатной революции». Несмотря ни на что, Иван Клима оставался верен своему призванию и идеалам «пражской весны». «Литература,— говорит он в романе «Любовь и мусор»,— сродни надежде, свободной жизни за крепостными стенами.... Меня мало привлекают авторы, которые описывают лишь безнадежность нашего существования и сокрушаются над судьбой человека, над конечностью жизни и недолговечностью чувств. Писателю, не знающему ничего больше, лучше было бы молчать...» Иван Клима, пожалуй, знает, в чем смысл этого «больше».

Из сборника «Мои первые влюбленности»

Мириам

Сильва, кузина отца, справляла свою помолвку. Маленькая, носатая, загорелая и говорливая, она до войны работала бухгалтером, теперь стала садовницей, а ее жених — юрист по профессии — состоял при интендантстве. В чем заключалась его работа — я не знал, но отец пообещал нам на празднике сюрприз и при этом так выразительно чмокнул, что мы с братом зажглись нетерпеливым любопытством.

Тетя жила в той же казарме, что и мы, в каморке с окошком, глядевшим в коридор. Каморка была такой крохотной, что вообразить, чем она могла когда-то служить, было невозможно. Скорей всего — для хранения всяческих мелочей: к примеру, подков, кнутов (казарма была кавалерийской) или шпор. В комнатенке стояли кровать и столик, сложенный из двух чемоданов. Сейчас верхний чемодан тетя застелила скатертью и разложила на картонках тартинки. Настоящие тартинки, с кусочками колбасы, сардин, печеночного паштета, сырого турнепса, огурца и натурального сыра. Я заметил, как брат начал шумно глотать слюну — он никогда не ходил в школу и еще не научился владеть собой. Я — другое дело, я уже читал о мудром Одиссее и рассеянном Паганеле и знал немного о богах и мужских добродетелях.

Жениха я видел впервые в жизни. Это был молодой человек с курчавыми волосами и круглым лицом, на котором никак не отражались невзгоды войны.

И вот мы сошлись в каморке с затемненным окошком; втиснулись мы туда вдевятером, и вскоре стало нечем дышать; воздух теплел, насыщался потом, но мы ели, глотали невиданные лакомства, принесенные, верно, женихом из интендантских запасов, и запивали их суррогатным кофе, пахнувшим молоком и достаточно подслащенным. Неожиданно отец звякнул ножом о кружку и сказал, что не бывает такого лихолетья, когда не случалось бы и чего-то хорошего, и что ко многим знаменательным событиям, как, например, поражение немцев под Севастополем и английское наступление в Италии, можно причислить и это торжество. И отец пожелал новобрачным уже в будущем месяце отправиться в свободное свадебное путешествие, пожелал им скорейшего мира, совместного счастья и любви. Лучше печалиться в любви, удивил всех отец цитатой из Гёте, чем веселиться без нее.

Мы спели несколько песен, но поскольку начали раздавать ужин, торжество пришлось завершить.

Возвращаясь с полным котелком турнепсовой похлебки, я увидел у одного из овальных незастекленных оконных проемов белоголового мастера Шпееро. Он сидел и, держа на коленях папку с прикрепленной четвертушкой листа, рисовал. У его ног стояла пустая миска. В нашем коридоре жило несколько художников, но мастер Шпееро был самым старым и самым знаменитым. В Голландии, откуда он был родом, Шпееро делал эскизы медалей, денежных знаков и марок; говорили, сама королева позировала ему. Здесь он рисовал, несмотря на строжайший запрет, на маленьких четвертушках листа наше гетто; рисунки были такими крохотными, что даже не верилось, что эти тоненькие черточки могла сотворить старческая рука.

Однажды, осмелев, я собрал все свои знания немецкого и спросил, почему он делает свои рисунки такими мелкими.

— Um sie besser zuverschlucken [1],— ответил мне мастер Шпееро. А может, я недопонял, может, он сказал: verschicken или даже verschenken [2].

Сейчас я с изумлением смотрел, как на бумаге множатся старички и старушки, толпившиеся в очереди. Они были не больше рисового зернышка, однако у всех были глаза, рот, нос, а на груди — еврейская звезда. Я пристально вглядывался в рисунок, и казалось, фигурки разбегаются, копошатся, точно муравьи — у меня даже закружилась голова, и я невольно зажмурился.

— Что скажешь на это? — спросил белоголовый мастер, даже не взглянув на меня.

— Здорово,— выдохнул я. Ни за что на свете я не признался бы, что по его примеру я тоже пытаюсь заселить бумагу меленькими фигурками или что в самые солнечные минуты, когда мое будущее представляется мне за пределами этой крепости, я вижу себя человеком свободной профессии: поэтом, актером, художником. И вдруг меня осенило:

— Разрешите предложить вам немного супу?

Лишь сейчас старик повернулся ко мне.

— С какой стати? — удивился он.— Добавку давали? Или ты болен?

— Моя тетя замуж выходила,— объяснил я.

Господин Шпееро поднял с полу свою начисто вылизанную миску, и я отлил в нее более половины своей порции турнепсовой бурды. Он чуть поклонился и сказал:

— Спасибо, большое спасибо за вашу добросердечность. Бог вам за это воздаст.

Только где он, Бог, размышлял я вечером, лежа на койке, усыпанной клопами и посещаемой блохами, и чем Он воздаст за добро? Я не способен был представить Его, не способен был представить надежду вне этого мира.

А каков этот мир?

Что ни вечер я с ужасом вслушивался во тьму. Не загрохочут ли в коридоре шаги, не оборвет ли тишину отчаянный крик, не распахнется ли внезапно дверь и нé объявится ли в ней вестник с клочком бумаги, на котором напечатано будет мое имя? Я боялся уснуть, чтобы, не приведи Бог, он не застиг меня здесь врасплох, совершенно беспомощного. Тогда мне уже от него не спастись.

Спрятаться я решил в подвале, где хранилась картошка. Пролезу через узкое оконце в подвал уже после того, как его запрут, и зароюсь в кучу так глубоко, что ни один эсэсовец меня не высмотрит и ни одна собака не учует. Картошкой и буду питаться.

Но долго ли можно питаться сырой картошкой? Этого я не знал, как и не знал того, долго ли еще будет война. И, конечно, это было самое главное.

Я заметил, что страх выползает из угла возле печки. Целый день он прячется там, притаившись в трубе или под пустым угольным ящиком, а когда все засыпают, он оживает и подкрадывается ко мне, дыша холодом в лоб. И шепчет: у-у-жас, у-у-жас!

---

[1] Чтобы лучше их проглотить *(нем.)*. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Послать... подарить *(нем.)*.

Я тихонько слез с койки и на цыпочках подошел к окну. Вид был знакомый: темные кроны старых лип перед окном, кирпичные ворота, черневшие пустотой. И зубчатые очерки крепостных стен. Я осторожно отогнул затемнение и остолбенел: крона одной липы пылала голубоватым пламенем. Свет, который она источала, был призрачный, холодный и ослепительный. Какой-то миг я смотрел на него. Я различал каждый листочек, каждую светящуюся веточку и вместе с тем осознавал, что все эти ветки и листья складываются в некое подобие огромного перекошенного ухмылкой лица и его пылающие глаза сверлят меня.

Горло у меня так сдавило, что даже при желании я не смог бы закричать. Я отпустил черную бумагу, и окно вновь затянула тьма. С минуту я недвижно стоял у окна, борясь с искушением приподнять бумагу еще раз и поглядеть в это лицо. Но я не отважился. Зачем? Я и так видел его перед собой, оно просвечивало сквозь затемнение и прыгало по темному потолку; оно танцевало перед глазами, хотя я и сжимал крепко веки.

Что оно означало? Кому принадлежало? Несло ли мне какое-то знамение? И как отгадать, хорошее или плохое?

Утром и следа не осталось от вчерашних радостей и тревог. Я пошел за своей порцией несладкого кофе, съел два куска хлеба, помазанного маргарином. И с облегчением осознал, что война снова продвинулась на одну ночь, а значит, на одну ночь приблизился невообразимо желанный мир.

Я отправился играть в волейбол позади кузницы, а уже за час до обеда стоял с большой жестяной посудиной в очереди, чтобы получить для себя и брата по полстакана молока. Очередь устремлялась в узкую сводчатую комнату, очень похожую на ту, в которой жила тетя Сильва. Там за огромным зеленым котлом стояла девушка в белом фартуке. Она брала у покорно ожидавших талон, затем зачерпывала каким-то черпачком в котле и выливала в протянутую посудину немного синеватой жидкости.

Когда я остановился перед ней, она посмотрела на меня, задержавшись взглядом дольше обычного, потом улыбнулась. Я, конечно, знал ее, но никогда не обращал на нее особого внимания. У нее были черные волосы и веснушчатое лицо. Она снова склонилась над котлом, взяла у меня кастрюльку, схватила самый большой черпак, зачерпнула им в своей посудине и вылила содержимое в мою. Потом торопливо налила в нее еще две порции и опять мне улыбнулась. Казалось, этой улыбкой она хочет сообщить мне нечто значительное, ею она как бы касалась меня. Она вернула мне кастрюльку, наполненную доверху, и я пролепетал «спасибо». Я ничего не мог понять. Я не привык ни к чужим улыбкам, ни к каким-то проявлениям дружелюбия. В коридоре я прислонился к стене и с опаской начал пить. Выпил я не меньше двух третей молока, прекрасно сознавая, что мой брат и так не будет обделен.

Вечером, прежде чем страх успел выползти из угла, я попытался удержать его там, чем-то предупредить его появление. Я думал об этом необычайном событии. Хотелось осмыслить его, связать хотя бы с торжественной благодарностью старого художника, а стало быть, с действием высшей силы, но я не решался придавать себе и своему поступку такую весомость. А что означало вчерашнее огненное знамение? Оно вдруг вспыхнуло перед глазами и наполнило меня своим леденящим сиянием. Мог ли этот свет нести что-то благое?

Я заставил себя слезть с койки и, едва дыша, отогнул угол затемнения.

Снаружи царила непроглядная тьма, черная крона липы качалась в порывах ветра, по небу мчалась туча, края которой озаряли вспышки беззвучной молнии.

На следующее утро я ждал, изнемогая от нетерпения, в очереди, в руке у меня снова была чисто вымытая кастрюлька. Мне стоило большого усилия не смотреть ей в лицо. Глаза у нее были большие, продолговатые, как миндаль, и темные, почти как суррогатный кофе. Она улыбнулась мне, чуть ли не заговорщицки подмигнула, хотя до конца я не был в этом уверен. Затем, вылив полные три черпака в мою посудину, подала мне ее как ни в чем не бывало. У входа в раздаточную я выпил три четверти своей добавки, замечая при этом, что другие выходят со своими посудинами,

разве что побрызганными по донышку белой жидкостью. Я по-прежнему ничего не мог понять. Я плелся по длинному коридору, прикрывая ладонью посудину. Даже после того, как я отпил, там оставалось еще неположенное количество. Уж не говоря о том, что два раза девушка одарила меня улыбкой.

Меня охватило трепетное и блаженное волнение.

Вечером, едва закрыв глаза, я вновь увидел огненное знамение, сияющее лицо, но на сей раз оно утратило угрожающее выражение и быстро стало обретать знакомые черты. Я уже различал мелконькие веснушки над верхней губой, узнавал рот, слегка приоткрытый в улыбке, а ее миндалевидные глаза смотрели на меня так необычно, что я замер. Ее глаза смотрели на меня с любовью.

Я вдруг понял смысл огненного знамения и смысл того, что произошло.

Я был влюблен.

В углу зашуршала мышь, где-то под нами хлопнула дверь, и свет отступил от меня; я глядел в прелестное лицо и чувствовал, как мое собственное лицо расслабляется, как улыбаются мои губы.

Что мне сделать, чтобы увидеть тебя — живую, настоящую, тотчас, немедля, а не там, где нас разделяет деревянная табуретка с огромным котлом?

Но что сделал бы я, если бы мы действительно встретились?

Когда на следующий день я получил свою многажды умноженную порцию молока, а нежный, красноречивый взгляд убедил меня, что я не ошибаюсь, я перестал мучиться своими затаенными чувствами. Хотелось упомянуть о ней каждому, с кем бы я ни говорил, и каждое такое упоминание еще больше разжигало мои чувства. От ребят я узнал, что ее зовут Мириам Дёйч и живет она на том же этаже, что и я, только в противоположном конце коридора; узнал я и номер ее комнаты: двести три. И возраст ее мы обсуждали: одни считали, что ей шестнадцать, другие — чуть ли не восемнадцать, а кто-то сказал, что два раза видел ее с каким-то Фредом, но все это для меня ровно ничего не значило.

Разумеется, ровно ничего. Наверняка никакой Фред не уносил всякий день полную кастрюльку молока — откуда его столько взять моей дорогой Мириам?

Теперь я знал о ней едва ли не все, я даже мог в любое время дня пойти к ней и сказать... Что, впрочем, мне ей сказать? Как объяснить свой приход в ее комнату? По какому случаю? Я мог бы, конечно, взять с собой затрепанную книжку преданий о Троянской войне.

Я принес тебе эту книжку за молоко!

Нет, ничего такого я не отважился бы и выговорить при других. Я мог бы попросить ее выйти со мной в коридор. А вдруг она скажет, что ей некогда? Что, если я обижу ее, напомнив о молоке? Мне казалось, о проявлениях любви говорить не положено.

А если я ошибаюсь? Почему эта красивая девушка должна любить меня такого: худого, взъерошенного, оборванного? Даже усы еще не растут.

На дне моего чемодана лежала рубашка, я надевал ее только по праздникам. Она была канареечного цвета, и не в пример другим моим рубашкам манжеты и воротник у нее пока не обтрепались. Я надел ее. Она чуть давила горло, но это можно было вынести. В чемодане был еще костюм, из которого, к сожалению, я вырос. Мама пыталась удлинить брюки, но они все равно достигали только до щиколоток, а надставить рукава и вовсе было нечем. Я поколебался, но выбора не было. Я снова снял рубашку, налил в таз воды и тщательно вымылся, шею — даже щеткой. Одевшись в праздничное, я намочил волосы и аккуратно расчесал их на косой пробор; открыл окно, занавесил его с внешней стороны затемнением и стал разглядывать в стекло свое отражение. Во внезапном приступе самолюбования мне показалось, что наряд мне к лицу.

И вот я отправился по длинному коридору в противоположный конец казармы. Я прошел десятки дверей, номера над притолоками постепенно

уменьшались. Двести восемнадцать, двести семнадцать, двести пятнадцать... я заметил, как колотится сердце.

Мириам. Я, пожалуй, не слыхал имени прелестней. Как оно шло ей! Я пока не представлял, что, собственно, собираюсь делать. Если она любит меня — двести шесть, Боже милостивый, вон та дверь, я уже вижу ее, если она любит меня так, как я ее, она, конечно, выйдет, и мы встретимся — двести пять... я замедлил шаг, чтобы дать ей время. Дверь откроется, и она появится в ней, улыбнется: как ты здесь оказался?

Так, случайно, шел мимо. Иду к ребятам на бастион, обычно хожу через двор.

Я остановился. До чего дурацкая фраза. Как это я не придумал ничего поумнее!

Привет, Мириам!

Ты знаешь, как меня зовут?

Узнал. Чтобы лучше было думать о тебе.

Ты думаешь обо мне?

С утра до вечера, Мириам. И ночью. Почти всю ночь о тебе думаю!

И я тоже. Но все же, как ты здесь оказался?

Сам не знаю. Вдруг пришло в голову, что можно пройти здесь, а не через двор.

Эта фраза, пожалуй, удачнее. Двести четыре.

Я ведь живу на этом этаже.

Мы живем совсем рядом. Можешь ходить здесь всегда.

Буду. Обязательно буду.

Двести три. Я не дышал. Я глядел на дверь так умоляюще, что в глубине своей деревянной души она должна была бы застонать. А Мириам, если бы любила меня, должна была бы открыть эту дверь и выйти.

Но ее, скорее всего, в комнате не было. К чему ей сидеть дома в такой чудесный день? Может, она сейчас откуда-нибудь как раз возвращается, ей надо просто дать время. Двести два. Я приближался к одному из поперечных коридоров, соединявших оба параллельных крыла казармы. Оттуда я уловил стук приближавшихся шагов.

Всемогущий Боже! Я замер в ожидании.

Из-за угла появилась старушка в деревянных башмаках. В руках у нее была миска с несколькими грязными картофелинами. Видимо, уже выдавали ужин.

На другой день я увидел Мириам у стоявшего на табурете котла. Она взяла у меня кастрюльку, улыбнулась: одна порция, вторая, третья, снова улыбка, кастрюлька — мне в руку. Как я люблю тебя, Мириам, никто, верно, никогда не испытывал ничего подобного. Я прислонился к стене, отпил из кастрюльки две трети этого любовного послания и зашагал назад в просторы своих мечтаний.

Я высвободился из их пут, лишь когда день клонился к вечеру и женщины стали возвращаться с работы. Я умылся, причесался на пробор, надел свой праздничный наряд и вдруг осознал, что мне чего-то недостает. Недостает повода для моей праздничности, для нашей встречи, а более всего для того, чтобы я мог ей что-то рассказать о себе.

И тут мне вспомнился предмет моей гордости, свидетельство моей умелости. Оно покоилось аккуратно сложенным в моем маленьком чемодане под нарами: кукольный театр. Я сделал его из старой коробки, нарисовал декорации на драгоценном тетрадочном листке, а реквизит смастерил в основном из разных досточек, камней и веток, собранных под крепостной стеной; куклы же я сделал из каштанов, катушек и тряпочек, которые выпросил у мамы и у наших соседей.

Я вынул из чемодана коробку, перевязанную бумажным шпагатом. Рама, стойки и остальные кулисы, реквизит и куклы — все было внутри.

Здравствуй, Мириам!

Здравствуй, как ты здесь оказался?

Иду к одному мальчику. Хочу устроить там театр.

Ты играешь в театре?

Только с куклами. Пока.

Что значит «пока»?

Когда-нибудь стану актером. Или писателем. Пьесы я ведь тоже сам придумываю.

И получается?

Конечно. Беру куклы и начинаю играть. Даже сам не знаю, что потом выйдет.

И перед зрителями играешь?

Перед кем хочешь. И не волнуюсь.

Откуда ж у тебя театр?

Сам сделал.

И кулисы?

И их тоже. Я умею рисовать. Только бы бумаги хватало. Я изобразил нашу казарму, и кузню, и ворота, как раз когда происходит отправка...

Я перевязал коробку еще раз веревкой. Вид у нее был совсем обыкновенный, в ней могло быть что угодно — да хоть грязное белье. Я снова развязал ее, вытащил две куклы так, чтобы из-под крышки высовывались ножки в деревянных башмачках и голова в королевской короне; затем я снова перевязал коробку и отправился в путь по знакомому коридору.

И еще я написал несколько стихотворений, добавил я.

Ты и стихи пишешь? И о чем?

Так, о разном. О любви, о самоубийстве.

Ты хотел покончить с собой?

Нет, я — нет. Двести десять. Я задыхался. Человек не имеет права убивать себя.

Почему не имеет права?

Это грех!

Ты веришь в такие вещи?

В какие такие?

В Бога?

Господи, если Ты есть, пусть она выйдет. Пусть покажется. Она даже может ничего не говорить, только пусть улыбнется.

Ты веришь в Бога?

Не знаю. Все говорят, если бы Он был, то не допустил бы всего этого.

А ты так не думаешь?

Может, это кара, Мириам.

Кара за что?

Это только Он знает. Двести четыре. Я остановился. Переложил коробку из левой руки в правую. А что, если мне ее уронить?

Раздался бы шум, и я смог бы сделать вид, что собираю рассыпанные вещи. Хоть целых полчаса ползай здесь на четвереньках и собирай!

Мириам, появись и улыбнись мне! Ничего больше. Клянусь, ничего больше я не хочу.

На следующий день она взяла мою кастрюльку, но улыбнулась ли мне так же мило, как и вчера,— я не был уверен. Меня обдало холодом. А что, если она больше не любит меня? Почему она должна не переставая любить меня, когда я ни на что не могу решиться? Это она все время выказывала мне свои чувства, а я что?

Одна порция, вторая, третья, все-таки улыбка, кастрюлька назад в мою руку — как же я люблю тебя, моя божественная Афродита! Я просто стесняюсь сказать тебе, но никто никогда не будет тебя любить так же, как я. Потому что я люблю тебя больше жизни, дорогая моя Мириам!

Вечером начали разносить транспортные повязки. А потом — изо дня в день. Еще никогда на наше гетто не обрушивалась такая беда. Тысячи людей с табличками на груди плелись в направлении станции.

А меж тем каждый день три порции обещания, три порции в знак любви, три порции надежды. Я возвращался в свою комнату и молился. Честно молился за всех своих близких и всех дальних, но за нее особенно, за мою Мириам, чтобы Бог был к ней милостив и не требовал ее жизни; угнали всех моих товарищей, большинство тех, кого я знал в лицо, и повара, и человека, раздававшего хлеб. Коридоры и дворы стихли, улицы

опустели, город омертвел. Последним эшелоном уехала и кузина отца, маленькая тетя Сильва, и ее муж, работавший при интендантстве; меньше трех недель пробыли они вместе и, выходит, отправились теперь в свободное свадебное путешествие. Но, возможно, пытался я вспомнить отцовские слова, лучше печалиться в любви, чем веселиться без нее; только теперь начинал я понимать смысл того, что он повторял вслед за поэтом. Еще несколько дней страха — не появятся ли снова посыльные смерти, но они не пришли, и мы с ней остались! Теперь-то я не буду колебаться, наберусь наконец смелости. В час ужаса я не мог, не подобало говорить о любви, но теперь я смогу, я должен, я не стану просто проходить мимо ее двери, а заговорю с ней, когда она будет отдавать мне мою посудину.

Сегодня в шесть вечера, у задних ворот, приди, прошу тебя, Мириам.

Нет!

Прошу, приди, Мириам!

Я мог бы когда-нибудь увидеть тебя, Мириам? Ну хоть сегодня, в шесть вечера, у задних ворот. Ты придешь?

Очередь сократилась, почти уже никого не осталось, кто мог бы рассчитывать на глоток молока.

Ноги не слушались меня, лишь бы в последнюю минуту не струсить, не испугаться собственной дерзости. Вот она уже держит мою посудинку, я открываю рот, один черпак, нет, не тот большой, а самый маленький. И она, она смотрит на меня без улыбки. Может, ты не узнаешь меня? Я глотаю слюну, наконец она улыбается мне, несколько печально, словно извиняясь, возвращает мне мою кастрюльку, ее дно едва побрызгано отвратительно голубоватой водянистой жидкостью. Но ведь это же я, Мириам, я, которого...

Я взял кастрюльку из ее руки и пошел по длинному коридору, в конце которого у овального окна опять сидел знаменитый голландец с четвертушкой рисовальной бумаги.

Что мне теперь делать?

Я вроде бы продолжал идти, но вдруг заметил, что совсем не движусь, не приближаюсь к старому художнику, скорее наоборот — все вокруг меня начало двигаться. Я увидел, как и старик закачался на своем стульчике, словно его швыряли из стороны в сторону волны, как он сам превращается в свою картину, а картина плавает на зарябившейся водяной глади.

Я не понимал, что со мной происходит, я только знал, что она меня больше не любит. Во рту у меня разливался гнусный сладковатый привкус, щеки быстро мертвели, руки тоже, я еще успел осознать, что не удержу в них эту легонькую, почти пустую кастрюльку, и вдруг громко зазвенел металл о каменный пол коридора...

Очнувшись, я увидел над собой старое лицо мастера Шпееро. Одной рукой он поддерживал меня за спину, другой — отирал лоб холодной влажной тряпочкой.

— Что случилось, что случилось, мальчик?

Прошла минута, другая, прежде чем я полностью вернулся в этот безжалостный мир. Но мог ли я открыть настоящую причину своего горя?

— Тетю увезли,— прошептал я.— Навсегда. Ту, что выходила замуж.

Пан Шпееро покивал белой головой.

— С нею Бог,— сказал он тихо,— и с нами со всеми.

Из сборника «Мои веселые утра»

Во вторник утром

(Рассказ сентиментальный)

Во вторник, часов в девять утра, зазвонил телефон. Отвечая, я всегда называю себя, но те, кто на другом конце провода, обычно не представляются. Разумеется, прослушивающие мой телефон и без того знают, что на

одном конце нахожусь я, но им вовсе не обязательно знать, кто — на другом. А иногда случается, что этого не знаю даже я. На сей раз голос показался действительно незнакомым.

— Это Лида, простите, не могли бы вы сказать, какова сейчас ваша профессия?

— Моя профессия?

— Да, ваша.

— Вы проводите какое-то исследование?

— Нет. Просто хочу знать, говорю ли я с тем человеком, который мне нужен.

Чувствовался легкий акцент. На мгновение подумалось, что когда-то я слышал этот голос, но ничего определенного так и не вспомнил.

— У меня много профессий!

— Медё, узнаю тебя по голосу,— обрадовалась она.— Я приехала в Прагу всего на два дня. Хочу тебя видеть.

— Ты откуда? — спросил я. Голос вдруг показался более знакомым.

— Прямо из Лондона. А вообще живу в Нью-Йорке.

— Понятно. И откуда ты звонишь?

— Из гостиницы рядом с Вацлавской площадью. Она на такой узкой улочке. «Алкрон», что ли. Все гостиницы в голове уже перепутались. Знаешь ее?

Я сказал, знаю.

— Можешь приехать?

— Сию минуту?

— Когда тебе будет угодно.

— Хорошо, приеду через час. Какую ты теперь носишь фамилию?

— Буду ждать тебя в вестибюле. Узнаешь меня. Все говорят, я мало изменилась.— Она засмеялась как настоящая пражская девчонка, и только по этому смеху я узнал ее. С тех пор как мы виделись в последний раз, прошло по меньшей мере два десятилетия.

Я кончил второй курс университета (в журналах уже были напечатаны кой-какие мои первые рассказы), когда мы познакомились. Она была чуть моложе, но уже года три замужем — во всяком случае так она говорила. Ее мужа я никогда (к счастью) не видел. Как и никого из ее семьи. Не сообщала она и своего адреса, а я и не спрашивал. Она продавала книги в лавчонке в нижнем конце Вршовиц. Мы, местные, называли этот магазинчик «У пана Мышика», хотя его давно национализировали, а пана Мышика погнали работать на рудники. Вот в этом магазинчике я с ней и познакомился. Сперва я ходил туда смотреть на книги... а потом на нее. Лицо ее почти исчезло из моей памяти, как и содержание книг, которые я там покупал. Внешность у нее была скорее заурядная: голубые глаза, крупные зубы, как у Моники Витти (хотя этого имени я тогда еще не слыхал), в ушах — золотые сережки. Сережки мне не нравились, но голубые глаза будоражили кровь.

Чем-то я вызвал ее расположение. Однажды, когда мы остались одни, она принесла мне со склада несколько книг, давно исчезнувших с прилавка. Среди них были Хемингуэй, Стейнбек, Моруа — нечто живительное посреди бесплодной пустыни доступного чтива. Спору нет, этими несколькими книжками она обогатила мои знания современной литературы куда больше, чем тогдашние факультетские преподаватели; правда, в то время я не мог ни понять этого, ни оценить.

Как-то, задержавшись в лавке уже после десяти (книги, выставленные на полках, я знал наизусть), я набрался духу и спросил, что она делает после работы. После работы, ответила она, спешит домой к мужу, но в полдень иногда бывает свободна.

В ближайший полдень мы решили пройтись по Гребовке, через день повторили эту прогулку. О чем говорили, убей бог, не помню, но не иначе, как я старался поразить ее своими литературными успехами и наверняка прочел ей лекцию о нашем новом обществе, ибо пребывал в том возрасте, когда человек еще способен восхищаться революционными идеалами и насильственными переменами, когда то, что более умудренных наполняет

ужасом или хотя бы тяжкими предчувствиями, он считает лишь невинными малозначащими перегибами. Разумеется, я пытался убедить ее в эпохальном величии времени, освободившего труженика и уничтожившего эксплуатацию. Мои усилия, как выяснилось потом, были совершенно напрасны, поскольку величие времени она познала с иной, нежели я, стороны. Ее родители лишились своего дела, кое-кого из близких упекли за решетку, а ей не дали учиться. Прекрасное освобождение.

Уже тогда у меня были весьма сложившиеся представления о женщине, которую я смогу полюбить, а следовательно, и о границах, какие нельзя преступать в отношениях с женщинами, не вписывавшимися в этот образ. Кстати, по моим понятиям, неприлично было любить женщин замужних. Если бы наши отношения зависели от одного меня, мы никогда не продвинулись бы дальше разговоров о политике или литературе.

Недели две длилось наше знакомство, когда она вдруг предложила прогуляться в Богдалец. Ее обеденный перерыв продолжался два часа — срок, на мой взгляд, слишком короткий для столь долгой дороги. Но она убедила меня, что я ошибаюсь и что мы дойдем туда всего за четверть часа.

Богдалец в ту пору был еще нетронутым уголком на окраине города. В теплые вечера сюда без всяких колебаний устремлялись десятки влюбленных пар в поисках укромного местечка, где можно было бы насладиться объятиями. Но позвольте — прийти сюда с той же целью средь бела дня? Дошли мы в самом деле за двадцать минут. Тут царило тихое безлюдье, лишь снизу от вршовицкого депо доносился рев паровоза. Вид на колею ласкал глаз: по сей день вспоминаю, как блестели на солнце стальные ленты, а по ним медленно скользили паровозы, поражавшие сверху своей игрушечностью. Я был готов усесться на пронизанный солнцем откос и продолжать содержательный разговор, допустим, о Максиме Горьком или постепенном отмирании государства, но она с полной уверенностью, выдававшей отличное знание местности, повела меня дальше по лесной тропке вдоль низкой ограды из колючей проволоки; остановившись там, где проволока была разорвана, она сделала мне знак, и мы оба проникли в ограниченное растительностью пространство. Там, на полянке столь маленькой, что я почувствовал себя как в каюте, мы легли на траву и стали целоваться, а потом, прежде чем я успел вспомнить о своих нравственных принципах, отдались любви.

Сперва я был потрясен содеянным мною, но пуще того тем, что́ допустила она — замужняя женщина! Я ждал, что она осыплет меня слезливыми попреками, но ничего подобного не случилось. Вид у нее был вполне довольный, если не счастливый.

В то время у меня не было девушки, и потому достаточно легко, подчиняясь скорее своей похоти, чем нравственным принципам, я усыпил всякие угрызения совести и уже через три дня повторил с ней эту прогулку. А затем мы бывали там чуть ли не ежедневно, если тому не мешал дождь, воскресенье или регулярные процессы, происходящие в женском организме. Наши отношения были строго однонаправленные, можно сказать — монотематические.

Мы никогда не встречались в другое время — наше время было точно ограничено ее обеденным перерывом. Мы ни разу не вошли вместе ни в одно помещение — ни в кино, ни в театр, ни на выставку, ни в ресторан. Улицы, которыми мы шли, вернее бежали, были всегда одни и те же, как и тот уголок, к которому мы устремлялись. Мы называли его «наша спаленка». И тогда он действительно был ею. А использовал ли ее еще кто-то в другое время — не знаю. На ближней стройке я нашел табличку с надписью:

ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН

За нарушение штраф 500 крон

И это убедительное предупреждение прикрепил на дереве в том месте, где мы пролезали сквозь колючую проволоку; тем самым я несомненно приумножил вероятность нашей безопасности.

«Спаленка», конечно, была лишена всяких удобств. От крыши над головой до водопровода. Ни одеяла, ни пледа. Под нами я расстилал свой плащ-болонью, который, невзирая на ясное небо, к маминому удивлению, всегда таскал с собой на случай дождя. Она же носила в своей сумке большую шелковую шаль, которой я прикрывал свою наготу (ее — прикрывал я), но в критические моменты шаль, естественно, всегда сползала.

Для любви у нас оставалось семьдесят пять минут. Перерывы мы заполняли разговорами. Но заводить серьезные разговоры о смысле жизни в такой ситуации как-то было неловко, и потому как равноценный собеседник в известной степени я был забракован. В основном я выслушивал ее короткие сообщения о дне минувшем, о том, что она приготовила на ужин, как муж Пепик негодовал на нее, как она гостила у брата. Но о своем прошлом или о своей семье она почти не рассказывала. Отец ее, владелец книжного магазина, умер. Какие-то родственники — очень богатые — жили в Америке, и как о чем-то разумеющемся она сообщала, что когда-нибудь поедет к ним и не вернется. О своем муже она ничего определенного не говорила. Я представления не имел ни как он выглядит, ни чем занимается. В ее рассказах он выступал то неотесанным мужланом, то тонким и культурным спутником жизни. Он мог быть кем угодно: инженером, монтажником или, скажем, архитектором. Когда однажды я спросил ее об этом в упор, она рассмеялась и сказала, что для нас обоих будет лучше, если я ничего не буду знать о нем. Позже я стал думать, что он выполняет важную, а следовательно, тайную государственную миссию, и это, разумеется, озадачивало меня.

Иной раз она как бы невзначай роняла, что вчера вечером была в баре на киностудии «Баррандов» и видела там знаменитых актеров. Или что в воскресенье они ездили куда-то в Южную Чехию на охотничью пирушку к одному заводчику. К какому? Какая разница, все равно я его не знаю. Может, это была правда, может, выдумка. Будто в те времена бывшие заводчики могли устраивать пирушки по случаю удачной охоты!

Однажды — об этом разговоре я часто потом вспоминал — мы все же затронули тему посерьезней. Она спросила, не хотел ли бы я жить в другой стране. Я не мог взять в толк, почему я должен хотеть жить в другой стране. Ну если бы в той стране, пояснила она, жил тот, кого я люблю. Если бы там, к примеру, жила она?

Я сказал, что она живет здесь, и я рад этому, потому что люблю ее и люблю эту страну. И я еще долго рассуждал о родном языке, родной стране и культуре, на которой человек воспитывается. Она слушала, казалось, с интересом, а то и с умилением. Но когда дома я задумался над ее вопросом, меня ошеломило внезапное прозрение: ее муж на дипломатической службе (отсюда загадочность его личности, отсюда эти не объяснимые иначе связи со знаменитостями, отсюда охотничьи пирушки), ему предстоит командировка куда-то за границу, и она, разумеется, поедет с ним. Эта догадка меня так огорчила, что я почти не спал ночь и на следующий день задал ей несколько наводящих вопросов, способных пролить свет на личность ее Пепика. Но она раскусила мой тайный умысел и — не ответила.

В середине лета мои родители и брат уехали отдыхать, я остался в квартире один. В тот же день я попытался уговорить ее пойти к нам. Я открывал ей явные преимущества настоящей комнаты по сравнению с нашим лесным уголком. Но все было напрасно. В квартиру, сказала она, в любой момент кто-то может нагрянуть, а в лесу она чувствует себя в полной безопасности. Кроме того, все, что она делает, не кажется ей изменой, так как в лесу она не успевает привыкнуть ко мне, даже по-настоящему воспринять меня. Вероятно, «воспринять» партнера скорее означало для нее измену, чем переспать с ним.

А вечером? Как мне хотелось провести с ней хоть один вечер: обнимать друг друга в темноте и никуда не спешить, не смотреть постоянно на часы.

Вечером ей все-таки положено быть со своим мужем, возразила она. И вот весь остаток лета мы продолжали ходить в Богдалецкую рощу, в то время как наша квартира зияла пустотой. На наше счастье, лето было

жаркое. Лишь однажды хлынул внезапно дождь, и я помню свой испуг, когда вдруг что-то холодное и мокрое облизало мой голый зад. В другой раз наш покой нарушил ребенок. Он зашуршал в траве, я оторвал взгляд от ее лица и увидел его в кустах в двух-трех шагах от нас. Ему было лет пять, не больше, и я даже не разобрал, мальчик это или девочка. Какой-то миг мы смотрели друг на друга, я попытался было прикрыться той самой шелковой шалью, но он вдруг повернулся и бросился наутек.

Только тогда она открыла глаза и поглядела ему вслед. Это потому, что он еще не умеет читать, сказала она. Не понял твоей таблички!

В конце лета похолодало и зарядили дожди. Моя болонья, расстеленная на земле, мгновенно намокала и пачкалась — я чистил ее по ночам, чтобы не заметила мама. Нашей «спаленкой» уже нельзя было пользоваться. Раз-другой я наведался к ней в лавку, даже купил ненужные книги, приглашал в кино, погулять или хотя бы вместе пообедать. Она отвергла все. Сказала, что пройдет зима, и мы снова пойдем в нашу «спаленку». Я просил ее дать мне такое обещание, боялся, что за зиму она забудет меня. Нет, повторяла она, мы туда еще обязательно сходим.

Через сколько-то дней в магазине я ее не нашел, и мне никто не хотел сказать, что с ней. То ли приняли меня за стукача, то ли сами ничего не знали. Наконец новый заведующий намекнул, что она уехала. Смылась, мол, за бугор.

Я не мог в это поверить. Мне казалось, она умерла, однако все следующее лето я ловил себя на том, что с тоской слежу за градусником и барометром: достаточно ли тепло будет в полдень, чтобы лежать на траве.

Спустя несколько лет я получил от нее письмецо из Америки. Его содержание было столь нейтральным, что не называй она меня «Медё», я не смог бы сказать с уверенностью, что письмо от нее. Обратного адреса не было, да и кто знает, хватило ли бы у меня духу в те годы ей отвечать.

Разумеется, я не узнал ее. Но, к моему удивлению, она узнала меня. Она поднялась с кожаного кресла и улыбаясь пошла навстречу. Зубы у нее были по-прежнему как у Моники Витти, но в ушах вместо сережек качались большие золотые кольца; на обнаженной шее — золотой ошейник.

— Привет, Медё! — сказала она и поцеловала меня.

У нее был восхитительный макияж — на лице нельзя было обнаружить ни единой морщинки. Она была даже интереснее, чем двадцать лет назад.

Я сел в кресло напротив. На столе рядом с ней стояла рюмка с каким-то питьем. Не заказать ли и для меня что-нибудь, спросила она. Нет, пить я не мог, был за рулем, да и потом, скорее, мне положено было ее угощать.

— Как хочешь.— Она смотрела на меня, улыбаясь. С любопытством или, вернее — не знаю, почему мне так показалось,— бесстыдно. Сказала, что приехала со своим мужем; он здесь на службе, без конца совещается, приходит поздно вечером, и до этого времени она полностью принадлежит себе.

— Значит, теперь уже не только в обед? — спросил я.

Улыбнулась.

— Муж все тот же?

— Который? — спросила.

— Пепик.

— Какой Пепик? — удивилась она, потом вспомнила.— Того я выдумала. Или нет? Даже не помню. Мой муж американец,— объяснила она.— Торгует пшеницей и бобовыми. Ужасно нудное занятие, но зато приходится много ездить. И деньги водятся. Каждый год можно катануть в Европу или в Австралию. Куда захочется.

— И тебе это нравится?

Она пожала плечами.

— Согласись, это же лучше, чем продавать книжки.— Она снова поглядела на меня своим бесстыдным взглядом.— А ты как? Женился?

Я кивнул.

— Есть дети?

— Да.

— Двое?
— Да.
— Девочка и мальчик?
— Как по ладони читаешь. Или ты расспрашивала обо мне?
— У всех жены и по двое детей,— сказала она.— И у половины из них — девочка и мальчик. Сколько им?

Я назвал две цифры, пожалуй, не совсем точные, но какое это имело значение?

— А жене изменяешь?
— Разумеется, нет,— ответил я.
— Разумеется, да. Все мужья изменяют своим женам. А мы — своим мужьям,— добавила она.— Нечего нам рассказывать друг другу байки...— Она говорила, словно мы расстались неделю назад. Возможно, потому, что чуть выпила. Или, скорее, усвоила искусство быстрого преодоления расстояния между собой и собеседником — во всяком случае в манере вести разговор. Этим искусством многие американцы владеют в совершенстве, скрывая таким путем даже от самих себя, что до конца ни с кем не сближаются.
— Как жизнь? — наклонилась она ко мне.— Ты не особенно изменился. Волосы такие же густые.
— Да,— согласился я,— моим волосам живется отлично.
— А тебе?
— Тоже. Нам обоим отлично живется.— Я несколько сбил ее с толку.
— Здесь чудесно! — Она изменила тон.— В Лондоне лил дождь. Два дня мы сидели в гостинице, только по вечерам выбирались на какой-нибудь мюзикл. Жуткая дребедень в кабаке на Пиккадилли. Ты же был в Лондоне, знаешь.
— Семь лет назад был там даже в театре.
— Представляешь, я видела твою пьесу,— вспомнила она.
— Серьезно?
— У нас в Нью-Йорке. Надеялась тебя там увидеть. Но ты не приехал.
— Как-то не по пути мне.
— Но это имело смысл.
— Да и потом, у меня нет паспорта,— объяснил я.
— Как это?
— Отобрали. У многих отобрали. У писателей, журналистов, политиков и прочая. А спектакль был ничего?
— В Нью-Йорке?
— Тот, что ты видела.
— Вполне. Мне понравился. Писали, что чем-то напоминает Дюрренматта. Выходит, что ты отсюда никуда?
— Пожалуй, и мог бы, только уж навсегда.
— Почему тогда не уезжаешь?
— Я же сказал, мне здесь замечательно.

Она пожала плечами.

— Ты все еще веришь в небылицы, о которых когда-то мне толковал?
— Ты могла это понять, если видела мою пьесу.
— Я поняла. Оттого и удивляюсь тебе.
— Здесь занятная жизнь,— сказал я,— а писатель в некотором роде — искатель приключений. Покой скучен ему, упорядоченность и конформизм его губят. Подчас здесь со мной происходят вещи, точно в детективном романе. Машина с выключенными фарами, преследование, обыски. Даже на похоронах друга меня снимают скрытой камерой, которая не очень-то и скрыта.
— В чем-то, однако, ты изменился,— заметила она.
— В самом деле?
— Ты всегда говорил ужасно серьезно. Ты даже не говорил, а проповедовал. Казалось, у тебя начисто нет чувства юмора.
— Самозащита,— пояснил я.— Против абсурда, в котором живем.

Она посмотрела на меня вопросительно, но я, по обыкновению, когда

приходилось подробнее объяснять суть этого абсурда, почувствовал все возрастающее отвращение что-то доказывать, на что-то жаловаться.

У каждого на свете есть какие-то близкие, и он обеспокоен их судьбой. Он старается не думать о неминуемой смерти. Но в этой стране людей разлучает не только смерть, здесь людей разлучает страх. И того, кто вздумает сопротивляться ему, ждет нелегкая участь. Иных вытолкнут за границу, как некогда ее, и я вряд ли доживу до встречи с ними; а те, что останутся?..

Один мой молодой друг считался на факультете надеждой чешской философии, теперь он служит ночным сторожем. В институте философии. Это ли не пример нашей особой абсурдности?

Мой бывший главный редактор, талантливый литературный критик, уже семь лет моет витрины. Другой знакомый философ — проходчик в метро. Директор театра, что поставил мою последнюю пьесу (последний из тех, кто еще смел ставить), сидит за решеткой. Переправил якобы какую-то литературу за границу. Я бы мог продолжать в том же духе. Заткнули рот самым благородным и творческим людям, а из самых бездарных и услужливых напекли новых главных редакторов, директоров театров, писателей и философов. Изрезали тонны книг, запретили хорошие фильмы, цензоры повымели библиотеки, задушили всякую информацию о внешнем мире, а зарубежные «голоса» усиленно забивают непрерывным ревом глушилок. Язык изуродовали так, что он стал не похож на язык наших предков. Уничтожили костелы, театры, журналы, издательства, научные и культурные общества, повыворотили даже старинные мостильные камни.

Все это, как и многое другое,— бесконечно абсурдно, особенно в наше устойчиво мирное время, хотя и достаточно мелко по сравнению с сибирскими лагерями, массовыми послереволюционными казнями, газовыми камерами или хиросимской бомбой. И однако же истинный абсурд коренится не столько в деталях, сколько в их продолжительности, в их цепеобразности и нагромождении, в их изнурительном повторении и способности проникать в каждую щелочку жизни. И в конце концов привыкаешь, что на журнальных полках не сыщешь приличного журнала, что весь народ хором славит какую-то чужую революцию, привыкаешь настолько, что перестаешь замечать этот абсурд. А однажды, собравшись в дорогу, решаешь взять с собой в поезд что-нибудь почитать и в надежде, что пока еще о собаках пишут так, чтобы не унижать человека, покупаешь кинологический вестник. И что же? Открываешь журнал, и на первой же странице щерится на тебя статья о чужой революции, и ты вдруг отчетливо видишь образ ничтожества, на который обречен: ты что твоя собака. Но разве все это объяснишь? Данте ошибался, думая, что ад или чистилище можно описать; описать можно лишь отдельные муки. А самое жестокое в них — их продолжительность — представить нельзя: это нужно испытать.

И я лишь сказал:

— Человек может либо сжечь себя, либо потешаться над этим.

— Чехи предпочитают надо всем потешаться,— сказала она.

— Не все.

— Я знаю, совершит ли кто-то самосожжение или даст себя сжечь — все это опять же у нас, у чехов. Но тебе никогда не приходило в голову, что есть третий выход?

— Какой? — спросил я, хотя знал, что́ она имеет в виду.

— Просто уехать,— сказала она.

— Меня бы заела тоска. Тебе никогда не бывает тоскливо?

— Иной раз, конечно, накатывают воспоминания. Сойдемся с нашими и поминаем злату Прагу.

— И обо мне вспоминаешь?

— Как видишь. И то место. Знаешь какое?

Я кивнул.

— Одно время мы жили под Детройтом у самой железной дороги. Когда гудел паровоз, мне всегда казалось, что это во сне. Мне иногда снится то место. Причем тебя там может и не быть. Мне просто снится та рощица. Как я лежу и смотрю на небо сквозь ветки.

— Вот видишь, у меня есть хотя бы то преимущество, что в любой момент могу сходить к тому месту. Когда взгрустнется.

— А ты был там с тех пор?

— Нет. Зачем? Обычно снятся те места, куда невозможно попасть. Но я часто проезжаю мимо. Лес там остался.

Она наклонилась ко мне и сказала:

— Пойдем туда вместе? Скоро полдень, будем там как раз в наше время!

Я смотрел на ухоженную кожу ее лица, на платье, сшитое бог знает в каком модном салоне, и представлял себе, как она ложится на грязную траву в Богдалецкой роще. Но это была ее идея.

На дворе на безоблачном небе сияло июльское солнце.

— Я счастлива, что нашла тебя,— сказала она, садясь рядом в машину.— Я мечтала еще раз побывать там с тобой.

Я повернул и с безнадежностью окинул взглядом машины, следовавшие за нами.

— Кого ты там видишь? — спросила она.

— Никого.

Она наклонилась и поцеловала меня:

— Тебе не мешает, что за тобой хвост?

— Ничуть. Во многих странах такого внимания удостаиваются только самые выдающиеся личности.

— И ты вынужден терпеть это?

— Если хочу здесь жить.

— Но почему ты хочешь здесь жить?

— Это моя родина,— сказал я устало.— Человеку необходимо такое место. Дело тут не только в моей извращенности.

По меньшей мере пять перекрестков следовал за нами красный «фиат».

— У тебя могут быть неприятности, что ты едешь со мной?

— Нет, исключено!

— Уже легче. Я могу выпить? — Она вытащила из сумки маленькую дорожную фляжку, оплетенную лыком, и налила рюмочку. Сначала предложила мне, но здесь было не лучшее место, где я мог бы с ней выпить.

— Ну что же, расскажу немного о себе.— И она начала как бы вскользь описывать свою жизнь. Насколько я понял, она с мужем владеет целым островом на Мичиганском озере, там у нее роскошная вилла и два превосходных жеребца. И еще у них вилла в Швейцарии и что-то на Гавайских островах. Кроме того...

Красный «фиат» свернул, теперь за нами ехала белая «волга». Что ж, естественно: в городе всегда за тобой кто-то едет.

Я спросил, где еще она побывала, и она стала перечислять страны разных континентов. Сколько же она, эта девушка, с которой я когда-то занимался любовью в Богдалецкой рощице, тратила денег и энергии на свои удовольствия! Откажись она даже от самой малости, она могла бы на сэкономленные средства обеспечить жизнь (а значит, и творчество) кого-то из моих коллег, вынужденных зарабатывать поденщиной. Но если она действительно так богата, что может заняться благотворительностью, с какой стати ей помогать именно чешским интеллектуалам, а не, предположим, индийским детям, обреченным на голодную смерть?

Я проехал старинный мост над железной дорогой и свернул на разбитое шоссе, окаймленное по сторонам виллами. Наконец мы на месте. Она обернулась, кивнула на заднее сиденье и сказала: — У тебя там покрывало, может, возьмем с собой?

Я тоже обернулся. Никакой машины за нами не было. Или — если и ехала — осталась за углом.

— Полагаешь?

Я протянул руку к покрывалу — смешно, право, здесь, в городе!

Из-за угла вышел парень в клетчатой рубашке и джинсах. Руки в карманах, направляется к роще.

Какое-то время я провозился в напрасном старании сложить покрывало так, чтобы по размеру оно походило на большой платок.

Вокруг многоэтажки. Некогда голое поле превратилось теперь в стройплощадку. Вдоль леса по разъезженной дороге катили два грузовика, доверху полные глины. Мы подошли к обочине леса.

— На что ты, собственно, живешь? — задала она мне привычный вопрос.

— На заграничные гонорары.

Мы шли по тропинке.

Вид у нее был крайне неподходящий: в туфельках на высоких каблуках и платье, в котором она еще вчера, возможно, прохаживалась по Оксфорд-стрит.

— Найдешь это место? — спросила она.

— Попытаюсь.

Позади нас на стройке тарахтел кран, визгливый голос отдавал нечленораздельные приказы. Мне казалось, что тропинка, которой мы шли, ведет не туда, куда вела когда-то. Может, часть деревьев вырубили, а те, что остались, выросли за двадцать лет до неузнаваемости.

— Почему ты живешь здесь, если издаешься за границей?

— Не столь важно, где издаешься, как то, о чем пишешь.

— И о чем же ты пишешь?

— Об этом! — объяснил я.

Ни колючей проволоки, ни таблички здесь, разумеется, не было. Исчез и кустарник. Лес был настолько сквозной, что виден был его дальний конец, там на скамейках сидели пенсионеры.

Мы повернули.

— Это, наверное, не та дорога,— сказала она.— Попробуй найти другую.

— Все дороги не те. Здесь уже нет того места!

— Не уходить же нам несолоно хлебавши!

— Не надо было тебе уезжать!

— Пришлось!

— Почему?

— Здесь нельзя было жить! — Она остановилась и протянула ко мне руки. Мы обнялись, поцеловались. По дороге кто-то шел за нами. Парень в клетчатой рубашке и джинсах. На лице сияло выражение профессиональной безучастности.

— Ты вспоминал обо мне?

— Когда ты исчезла, я думал о тебе часто.

— Я написала несколько писем, но ты не ответил.

— Я получил только одно.

— В самом деле?

— Здесь это в порядке вещей, тебе просто не вручают писем.

Мы вернулись к машине.

— Мы могли бы пойти ко мне в гостиницу,— предложила она,— муж вернется только ночью.

— Правда?

— Улетел куда-то. В Брно, кажется.

— Эта гостиница не для свиданий,— возразил я.— Думаю, там следят за каждым гостем. А номера прослушиваются.

— Не шути, пожалуйста!

— А я не шучу!

— Немыслимо! — Она уже снова сидела рядом со мной.— Пойдем тогда в другую гостиницу,— сказала она тихо.— Запишемся под чужими именами. Или ты боишься?

— Мы не можем записаться под чужими именами, в каждой гостинице нужно предъявить паспорт. С него спишут твое имя и отправят в органы. Я не пуганая ворона, не думай, просто знаю, как это делается.

— Не такой уж ты искатель приключений, за какого пытался выдать себя.

Что я должен был ей объяснить? Я сказал:

— Мы никогда не были в гостинице, теперь это не имеет смысла.

Она молчала.

— Жаль! — сказал я.— Обидно, что мы не нашли того места.

— Я все равно рада, что ты повез меня туда. Буду вспоминать. Хотя бы когда останусь дома одна. Огромный дом, двенадцать комнат, но я там иногда совсем одна. Только с собакой.

— Детей нет?

Она покачала головой.

— Этот дом кажется мне пустым, хотя там полно вещей. Муж коллекционирует примитивное искусство: на стенах маски, щиты, расшитые юбки и тотемы. Но от этого, скорее, тоскливо. У нас часто гости, целыми вечерами говорим о чем угодно, об искусстве, о книгах, кто что повидал на свете. Пьем пиво из банок или джин, но утром, когда проснешься, веришь ли...— Она развела руками, потом вынула из сумки платок и аккуратно осушила глаза.

Когда мы остановились перед гостиницей, я предложил:

— Если хочешь, давай где-нибудь вместе пообедаем.

— Мы никогда вместе не обедали,— сказала она.— Не имеет смысла.

Я не возразил.

— Мы больше никогда не увидимся,— сказала она.— Мне хотелось бы тебя кое о чем спросить.

— Ради бога!

— Ты же не думаешь, что за границей не смог бы обеспечить себя?

— Нет, не думаю.

— Или что там был бы менее свободен?

— И этого не думаю!

— И говоришь, тебе позволили бы уехать?

— Но я еще говорил, почему не хочу уезжать.

— Это не настоящие доводы! Ты можешь серьезно ответить, почему ты не уезжаешь?

С минуту я колебался, потом ответил:

— Нет, не могу!

— Но хотя бы ты это знаешь?

Я мог бы повторить: потому что это моя родина. Потому что здесь мои друзья, они нужны мне, а я — им. И здесь говорят на том же языке, что и я. Потому что хочу оставаться писателем, а быть им для меня значит думать о тех, чья судьба тревожит меня. Высказаться, выразить их мечту о свободе, о более достойной жизни. И я могу это сделать только в стране, где я вырос, к чьей судьбе и делам приобщился или был приобщен.

Чужая свобода, завоеванная чужими руками, не может наполнить истинным счастьем, как и чужие печали не поразят подлинным горем. Мне казалось бы, что я понапрасну растрачиваю свои дни. Я мог бы ответить: потому что люблю ходить по камням пражских улиц — одними их названиями со мной говорит история, близкая и понятная. Но я мог бы ответить и иначе: мою родину уже нельзя отыскать, она исчезла, как и то место в лесочке. Большинство моих друзей уехало или собирается в путь. Язык ежечасно корежат в прессе и эфире, коими безраздельно владеют власть предержащие. Исчезают улочки. Большую часть их переименовали или переименуют, и пребывают они в запустении. А мостильный камень, говорят, продают для строительства дамб в Нидерланды.

Человеку в жизни чаще всего приходится выбирать между двумя видами страдания, двумя обличиями тщеты, двумя вариантами отчаяния. Ему дано лишь решить, какое из них представляется более терпимым или даже заманчивым, при каком из них ему остается иллюзия гордости или хотя бы удовлетворения.

Я мог бы привести множество «за» и «против», но все равно она не поняла бы меня. И я ответил:

— Не знаю!

Воскресным утром

(Рассказ чудаческий)

Разбудил меня звон костельного колокола, и я тотчас отметил равномерный стук дождевых капель. Этот год изобиловал дождями и полицейскими обысками.

К службе приглашали в деревне два храма. Первым в этот ранний час благовестил католический, и, значит, его призывы меня не касались. В той мере, в какой я имел право называться христианином, я принадлежал ко второму. И эту комнатушку нашел для меня мой друг, здешний евангелический священник.

Священника звали Петр, он был лет на пятнадцать, по меньшей мере, моложе меня и на голову выше. Носил очки, ботинки сорок шестого размера, толстый свитер, который связала ему жена, и обращался ко мне на «ты». Для роли пастыря он казался излишне самоуверенным: едва ли не каждый слыл у него дураком и нищим духом (кроме двух блаженных дурачков, ревностно посещавших все церковные мероприятия,— к ним он относился с поистине пастырским терпением), но во всем остальном это был человек достойный и со своей паствой весьма обходительный.

Я встал с постели и осторожно подошел к низкому оконцу. Домик принадлежал вдове рабочего-стекольщика. На всех полочках и столиках теснились вазочки и фигурки из дутого стекла, и всякий раз, проходя мимо, я опасался разбить какую-нибудь из них.

Я выглянул в окно. Мое пристанище было последним постоянно обитаемым строением: на пути к реке стояли еще три дома, один из них был совершенной развалюхой, два других, разумеется, заняли пражане и отделали их по своему вкусу. Особенно самый дальний домик, стены которого были увешаны колесными ободами, цепами и граблями, выглядел так, словно призван был служить рекламой для этнографического музея. Что скрывалось внутри, я не знал, ибо его хозяин, футбольный тренер, в данное время разъезжал со своей командой по Европе. Однако сейчас домик был за пределами моего внимания — я смотрел на реку, по которой катил широкий поток воды. Обычно в этой связи добавляют «мутной», и она, несомненно, была мутной, но на таком расстоянии, да еще в царившем полумраке, цвета ее я не различал. Кусок луга между домом тренера и рекой был затоплен целиком, над водой выступала лишь невысокая насыпь дороги, которая затем по узкому деревянному мосту вела на другой берег и там исчезала за клином леса.

Дождь лил беспросветно. Я оделся и пошел в кухоньку завтракать. Хозяйка уехала на воскресенье к дочери, я был совершенно один и мог спокойно писать до самого вечера. Но чем больше тишины, тем хуже обычно пишется...

Этот год особым покоем меня не баловал. Мои друзья составили хартию в защиту прав человека. Хотя моей подписи под ней не было, но, полагаю, я сочинил достаточно собственных текстов, по которым любой может судить, что́ я думаю о мире и о правах человека. И, конечно, от своей ответственности я не увиливал. Наша вездесущая пресса, естественно, взялась поносить и осуждать всех тех, кто подписал документ. Тотчас на собраниях нашлись трудящиеся, выступившие с протестом. То ли против прав человека вообще, то ли против тех, кто их добивается. Пожалуй, это им и самим не было ясно. Скорей всего они говорили себе то, что будут повторять чуть не всю жизнь: лучше ничего не знать и ни о чем не думать!

В течение нескольких дней многих моих друзей арестовали, иных вышвырнули с работы. И стало даже как-то неловко, что тебя самого минула чаша сия. К счастью, и по мне вскоре ударили в центральной газете: я не только, мол, подписал хартию, но гожусь в отличные связные для зарубежных журналистов, ибо якшаюсь со всеми знаменитыми личностями. Ну а уж если журналист не застанет меня дома, он может обратиться к моей приятельнице — американской актрисе, которая сейчас живет в Праге.

Особой логики в этом совете я не усмотрел — разве что мог бы успеть познакомить эту актрису со всеми знаменитостями. Но это был прекрасный повод сообщить в газете мой адрес. Напечатали его с предельной точностью. Имя американской актрисы и адрес ее отеля напечатали также. Но вот с предельной ли точностью — не ручаюсь. До сих пор я ведь никогда о ней не слыхал. Скоро стали приходить письма. Два были угрожающие, остальные — восторженно одобрительные и, за исключением очень немногих, сплошь — анонимные.

Подписавшийся «Мученик» сообщал мне: «Согласно результатам выборов за кандидатов Народного фронта голосовали две сотых процента от общего числа избирателей — я подсчитал, и получилось примерно 33 000 человек. Они были мужественны, но вы, которых гораздо меньше, мужественны вдвойне. Пускай говорят, что у вас дорогие и роскошные квартиры, любовницы и всякое прочее. Следуя волчьей морали, вы тем более могли бы молчать. А вы вступились за нас, пострадавших от беруфсфербота [1], и мы глубоко вам за это признательны. Не слушайте ничьих советов, и моего в том числе, сами решайте, как вам жить. Даже если все вокруг возьмутся вас поносить и обзывать сумасшедшими. Все, что вы написали и напечатали, сущая правда. К сожалению, наш народ, в основном со страху, говорит правду только в постели или за кружкой пива. И то, если говорящий на все сто уверен, что собеседник более пьян, чем он, и его жена завтра же не подаст на развод».

Один водитель трамвая свое письмо закончил просьбой: «Еще хочу Вам сказать, чтоб Вы не сердились на народ этой страны, потому что мы никак не можем помочь Вам открыто. Кто бы осмелился и как? Все боятся. Вы лучше знаете свои права, а главное, с такими известными людьми не так-то легко разделаться, как с простым человеком...» Зато один из разгневанных, представившийся Франтой Волеком из Вышкова, сообщал мне, что читал о «моей преступной деятельности» и о том, что я подписал эту сраную бумагу. «Не знаю, кто объединяет у нас это сучье племя,— сетовал он,— и по какому праву все эти преступники, чье место за решеткой или в психушке, вытирают свой слюнявый рот о нашу прекрасную родину. Где ты был, уважаемый клозет, когда мы, рискуя жизнью, дрались с фашистами за нашу свободу? В следующем месяце приеду в Прагу, достанем тебя,— перешел он вдруг на «плюралис маэстатис», на множественное величества,— и потолкуем с тобой по-нашенски, на кулачки, чтоб ты знал, как тебя и всю твою сволоту здесь уважают, такая падаль только этот язык и понимает».

Франта Волек, естественно, не объявился, зато все чаще стали приходить ко мне те, которым полагалось, по его мнению, быть «за решеткой или в психушке». Никогда не посещало меня столько людей, как в те дни. Мы пили чай и обсуждали самые последние события: допросы, домашние обыски, увольнения и пасквили, на которые невозможно было, а точнее, запрещено отвечать. И конечно же, новейшие материалы и сообщения, приносившие со всего мира слова поддержки от самых разных людей — от глав государств до собратьев-писателей. Это немного облегчало наши невзгоды.

Самым частым моим гостем был пан профессор — не уверен, надо ли указывать его имя, раз уж я всегда называл его только «пан профессор».

Сначала это было лишь литературное знакомство — много лет назад я читал его статьи в философском журнале. Затем ему, как и всем прочим, кто что-то знал или, главное, о чем-то думал, запретили печататься и читать лекции на факультете. Потом выгнали и из института философии. Два года он работал корректором в типографии, но потом его и оттуда уволили. Он устроился истопником, но как на грех через несколько дней в котельной лопнула труба, и весь подвал затопило водой. Явился уголовный розыск и так застращал беднягу, что у него случился нервный срыв и он попал в психушку. Ему было пятьдесят шесть. В войну три года он провел

---

[1] Запрет на профессию *(нем.)*.

в концлагере (после войны пробыл там еще дольше, но это не засчитывалось) и имел право на досрочное получение пенсии. Через две недели его отправили из психушки домой, а поскольку у него были еще астма и диабет, уже за несколько месяцев до пенсии его признали полным инвалидом. Он сидел дома, переводил Хайдеггера и писал статьи против той псевдонаучной стряпни, что наводняла специальные журналы. Его статьи, разумеется, нигде не публиковались, он под копирку переписывал их на машинке и рассылал авторам и серьезным специалистам, каких, кстати, у нас не так много, чтобы нельзя было их обслужить этим примитивным способом.

Но сейчас, перестав заниматься собственным творчеством, он перепечатывал различные документы, переводы статей и сведения о тех, кто так или иначе пострадал от произвола властей.

Он приходил утром, то есть в те часы, когда я, пользуясь некоторым затишьем, пытался писать. Уже на лестнице я различал его медленные, чуть тяжеловесные шаги. Он звонил один раз долго и два раза коротко, давая понять, что это он, а не кто-то менее желанный. «Я не задержу вас,— говорил он с порога,— знаю, работы у вас по горло!»

Как-то раз его сухощавая фигура показалась мне удивительно округлившейся. Когда я уверил его, что, напротив, у меня нет никакой работы, он снял пальто и стал торопливо вытаскивать из карманов пиджака аккуратно сложенные листы. «Это открытое письмо журналистам, а это — всем революционным социалистам, пан писатель!» Он едва переводил дух: чтобы добраться до меня, ему пришлось взойти на холм к нашему дому, а потом еще на второй этаж. Все, что он принес, было новостью для меня, и он радовался, что пришел с этой информацией ко мне первым. Он снял пиджак и сразу уменьшился в объеме.

— Сколько же у вас этого? — поинтересовался я.

— Нашлепал двадцать пять и тотчас к вам. Есть что-нибудь утешительное, пан писатель?

Я попытался выложить все утешительные новости, которых было обычно меньше, чем неутешительных, да еще присовокупил те, что к нашей жизни имели весьма отдаленное отношение.

— Не отнимает ли у вас время эта перепечатка? — вернулся я к его листкам.

— Ну часок-другой, не более того.

— Жалко все же,— сказал я.— С вашими способностями и образованием...

— Что вы, для меня это удовольствие. Я все равно не в силах ничего делать, не могу сосредоточиться. Прочту эти благоглупости, и никакие мысли в голову не лезут. Если бы хоть так не отвечал, чувствовал бы себя рабом. Люди ждут правды!

— Во всяком случае, не рассовывайте все сразу по карманам,— заметил я.— А то еще схватят вас с поличным...

— Но в этом же нет ничего преступного,— возразил он.

Однажды я увидел из окна, как его щуплая фигурка семенит по нашей глухой, крутой улочке. В руках у него был прекрасный черный чемоданчик, даже издали сиявший новизной.

— Я учел ваше предупреждение,— закричал он еще в дверях.— Купил для бумаг вот эту вещицу.

— Что там у вас?

— Все! — ответил он гордо.

— Двадцать пять экземпляров?

Он кивнул и подал мне чемоданчик:

— Попробуйте открыть!

Возле дужки замка был цифровой код.

— Кодовый замок? — спросил я.

— Кодовый,— подтвердил он лукаво.— Если схватят меня с ним, скажу, забыл число!

— М-да,— сказал я с сомнением. Казалось маловероятным, что незнание числа помешает им проникнуть внутрь.

— Думаете, мне не поверят? — Он взял у меня назад чемоданчик.— В моем возрасте естественно забывать. Кроме того, у меня есть такая справка! — Он немного повертел код, потом явно обеспокоился, снял пиджак и стал сосредоточенно думать.— Представляете, пан писатель, я таки действительно его забыл. Да еще очки там внутри, без них цифры так и пляшут перед глазами.— И он подал мне чемоданчик, чтобы теперь уже я попытал счастья.

А пока он стал рассказывать, как многие его знакомые, не имеющие права печататься, обзавелись покровителями среди тех, кому необходимо печататься, дабы чем-то заполнить журналы. Покровители за часть гонорара подписывают статью, выполняя тем самым еще и свою академическую нагрузку.

— Потешно, ей-богу,— веселился пан профессор,— случается, главный редактор нашего философского журнальчика разнесет кого-нибудь так, что и к суду его впору привлечь, а потом возьмет да в тот же номер сунет его основополагающую статью, благо подписана она неким почитаемым покровителем. Уверяю вас, пан писатель, когда историки начнут копаться во всей этой неразберихе, работенки у них будет невпроворот.

— Вы полагаете, кто-то в этом будет копаться?

— Пожалуй, вы правы, у людей будут совсем другие заботы,— согласился он.— Нехватка энергии, воды и, естественно, пищи. Я недавно попытался было написать, что все мы живем в плену ложных представлений и забот, что, если мы не начнем заниматься реальным состоянием мира, история нам этого не простит! Я написал об этом весьма мягко, к тому же этаким их языком, невнятным и обтекаемым, но когда показал статью своему покровителю, тот пришел в ужас. И сразу заявил, что появись он с ней в каком-нибудь журнале, ему самому придется искать себе покровителя. А самое страшное,— посетовал он,— даже если вы и найдете человека, согласного выдать плоды вашего духа за свои, вы должны еще постараться, чтобы ваш дух был сродни его духу. Но возможно ли это, коли от своего духа они уже давно отреклись?

Тем временем я подошел к тридцати пяти, и замок вдруг открылся.

— Господи,— воскликнул пан профессор,— как я мог забыть, это же дата, когда Аристотель открыл в Ликее школу своих знаменитых перипатетиков! — И он преподнес мне сорок страниц собственноручно переписанного текста.

Так я проводил время. В беседах, за чтением или сочинением актуальных статей. После нескольких месяцев этот образ жизни стал меня угнетать. Текущая политика надолго меня не захватывает. Я собирался писать эссе о Гавличке [1], и мой издатель за океаном просил прислать хоть что-нибудь в ближайшее время.

Когда среди посетителей появился мой молодой друг, всеми почитаемый деревенский пастырь, и я пожаловался ему на тяжелые условия работы, он тотчас пригласил меня к себе.

Деревня лежала почти у австрийской границы. В основном, здесь смотрели (если вообще что-то смотрели) венское телевидение. По словам молодого священника, люди садились у «ящика» и тут же засыпали, особенно когда передавали новости. Поэтому весть о хартии еще не успела, к счастью, сюда просочиться.

— У нас ты чудесно отдохнешь,— обещал он мне, глядя на меня со своей двухметровой высоты.— Никто тебе не будет мешать, разве что наши «падшие» девушки будут на тебя покрикивать, да иной раз заглянут Лукашек с Карелом. Они маленько того...— И он общепринятым жестом дал мне понять, что говорит о ком-то, у кого в голове не все дома.— Но, может, тебе-то они покажутся занятными,— добавил он,— подчас думается, что такие люди наделены даром особого видения.

Здесь и вправду покоя было предостаточно. Я много слушал «голоса»,

[1] Карел Гавличек-Боровский (1821—1856) — чешский писатель, журналист, политический деятель. В годы наступившей после 1849 г. реакции был выслан в Бриксен (Тироль). В сознании чехов — символ борьбы за народное освобождение и права человека.

почитывал Гавличка, который еще сто тридцать лет назад писал о тех же правах, каких ныне тщетно добивались мои друзья.

Раз в неделю я посещал урок Закона Божия и оставался на молодежном сходе. Там, после религиозных бесед, нагонявших на меня скорее скуку, играли во всякие игры, что, напротив, развлекало меня. Лукашек, несмотря на свой дурашливый вид, однажды, например, составил викторину, которая была в истинно сюрреалистическом духе. Один из вопросов звучал так: «Можно ли живьем замуровать человека в четвертое измерение?»

Иногда я бродил по деревне. В ней насчитывалось всего девяносто домов, но последний, если идти вверх по течению, уже соседствовал с первым домом другого села. Там был стекольный завод, производивший дутое стекло и разной формы рюмки и кружки, причем такой старый, а заработки на нем такие позорно низкие, что даже в этом бедном крае недоставало рабочих, и сюда свозили «падших» девушек, которых отлавливали по всей республике и осуждали на принудительное перевоспитание. Жили они здесь в обшарпанном общежитии, за ничтожную плату ломали спину, задирали любое существо мужского пола и всегда готовы были дать ходу.

С одной из этих девушек мне довелось познакомиться ближе — в свободное время она заглядывала в приход, где выслушивала наставления моего друга о безграничной милости Божьей, и в благодарность за это помогала его супруге мыть посуду и обирать в огороде гусениц с салата.

У нее была явная примесь цыганской крови и подходящее библейское имя Магдалина. Не знаю, насколько она была открыта для милости Божьей, но однажды, очутившись со мною с глазу на глаз, подошла ко мне и шепотом поманила: «Пан доктор, пошли трахнемся!»

Я позавтракал, было без четверти девять, был серый, беспросветно дождливый день. Я надел сапоги, плащ с капюшоном и отправился в костел.

Служба только что началась. Пани пасторша играла на фисгармонии, мой молодой друг в черном облачении сидел за столом и пел. В костел ходили или очень старые люди (их я не очень-то различал), или совсем молодые. Среднее поколение здесь представлял один я. На сей раз дождь размыл и ряды самых верных. Кроме нескольких старушек, я заметил лишь знакомые лица двух блаженных дурачков. Лукашек по обыкновению сидел на первой скамье и готов был записывать каждое слово, которое произнесет мой молодой друг, а Карлуша, мучимый ересью (красивый, темноглазый, сухое лицо, обрамленное бородой Христа), сидел в одиночестве на самой дальней скамье. Когда я вошел, оба вперили в меня взгляд: Лукаш — радостно дружеский, Карел — настороженный; он даже чуть пригнулся, словно узрел входящего беса. Я сел на скамью у входа и попытался в песеннике отыскать нужную песню, хотя никогда не пою и на тексте духовных песен не могу сосредоточиться.

Когда мы все поднялись для молитвы, снова скрипнула дверь, и внутрь проскользнула «падшая» Магдалина. Она огляделась, с минуту как бы благочестиво постояла у входа и затем, виляя задиком, направилась ко мне. На ней была блузка из белоснежного силона; намокнув, он стал совсем прозрачным и открывал взору те части ее тела, которые смотрелись как два детеныша газели, если пользоваться сравнением, уместным в этом крае. Над детенышами пестро блестела нитка дешевеньких бус.

Она легонько боднула меня бедром, облизала приоткрытые губы и словно зашептала слова молитвы. Но я-то хорошо знал, какие слова я бы услышал, прозвучи ее голос громче.

Так мы молились, испрашивая Божью милость. Я старался не глядеть на полуобнаженные груди своей соседки. Конечно, любопытно было узнать о ней что-нибудь, а точнее: как она согрешила и почему ходит сюда, тогда как большинство «падших» девушек скорей всего и не ведают, что такое место существует.

Она догадалась, что я думаю о ней, и через плечо заглянула в открытую Библию. Я пододвинул книгу так, чтобы ей было удобно читать, а она в награду за это оперлась на меня одним из своих детенышей.

Проповедь была построена на притче о Лазаре и богаче, который не

попадет в Царство небесное. Говорил он впечатляюще. Собравшимся бабушкам, двум юродивым, «падшей» Магдалине, своей супруге и мне он пытался объяснить, что богатство не столько состояние, сколько отношение человека к вещам и людям. Человек может владеть ничтожно малым, но если он любит вещи больше, чем людей, и служит им преданней, чем Господу, он закрывает себе дорогу в Царство небесное. Обстоятельно говорил он и о сегодняшнем мире, где большинство живет ради вещей, не радея о страждущих, о тех, кто обделен и несправедливо унижен (при этом он бросил взгляд на нашу скамью, но я так и не понял, имел ли он в виду меня или мою соседку, хотя вполне возможно — нас обоих), что люди заняты в основном накопительством, выискиванием все новых и новых вещей: то холодильника, то стиральной машины, то лучшего телевизора или гаража для автомобиля. Но однажды, посреди этой неуемной погони за вещами, их настигнет смерть, и Судия спросит: «Для чего вы жили, зачем вы жили? И что они смогут ответить? Разве не знаем мы, что Господь, когда придет судить живых и мертвых, именно так спросит нас? И никто из нас не избежит Его суда, никто не уйдет от ответа. Но что мы ответим Ему?»

И призвав нас всех думать о том, что мы ответим Ему, мой молодой друг кончил проповедь. Мы запели.

Пока пастор читал проповедь, блаженный Лукашек не переставая делал замечания (его слабоумие проявлялось скорее в непредсказуемом поведении, чем в тупости), бабушки клевали носом или, погрузившись в себя, по временам кивали головой, Карел слушал какие-то одному ему доступные звуки, «падшая» Магдалина жадно пожирала глазами проповедника, а я — если попытаться точно определить свои чувства — растворялся в совершаемом обряде и был бесконечно рад, что тоже включен в него, что и ко мне обращаются как к одному из прихожан, как к Человеку.

В последнее время я был как бы исторгнут из всех связей, из всякого сообщества, не считая сообщества таких же изгоев. Естественно, у меня попытались отнять право и обращаться к кому-то. Меня лишили моей аудитории, и она, аудитория, естественно, за меня не вступилась.

На днях в приходе мы говорили о том, как мало верующих встает на защиту своих пастырей, преследуемых властями. Вспомнили мы и Гавличка, который, вернувшись из бриксенского изгнания, был обречен на одиночество и забвение. И когда сто двадцать лет назад он умер, всего несколько друзей отважились прийти на его похороны.

Этот народ, сказал мой друг, тогда был недостоин Гавличка, а теперь недостоин тех, кто борется за его права.

Но мне не хотелось бы так строго судить свой народ. В последние годы мне пришлось не раз хоронить тех, кого можно было бы считать правозащитниками. На похоронах было много людей; хотя нас всегда кто-то фотографировал, последний раз и вовсе особо рьяные службисты запустили за кладбищенской стеной двигатели мотоциклов, чтобы не слышно было ни священника, ни оратора. Но и этот адский рев не помешал кому-то возложить, говорят, на гроб почившего терновый венец. Как Гавличку. Не знаю, так ли это,— на кладбище было столько народу, что к гробу я не протиснулся. Впрочем, в одной биографии я читал, что и терновый венец, который пани Немцова [1] возложила на гроб Гавличку, возник лишь в народном предании. Людям необходимы терновые венцы и мученики. Одним, чтобы взывать к ним, другим, чтобы покаянно признаваться, что недостойны их.

Когда мы вышли из костела, дождь прекратился, но по небу все еще ползли низкие и серые лохмотья туч. Мой молодой друг стоял у входа, склоняясь к своим старушкам, и, как положено, с каждой обменивался словом и рукопожатием. Я ждал, чтобы поблагодарить его за проповедь. «Падшая» Магдалина ждала меня, так как ей некуда было идти, ждали и оба юродивых, привыкших к вниманию пастора. В конце концов Царство Божие им было обещано персонально — и, пожалуй, по праву.

[1] Божена Немцова (1820—1862) — чешская писательница, основоположница современной чешской прозы.

Едва мой друг распрощался с последней старушкой, как к нему обратился Христоподобный юноша:

— Пан пастор, как страшно они шипели! Ползали вокруг и шипели!

— Кто ползал, Карлуша? — спросил мой друг, кивнув мне и «падшей» Магдалине.

Я знал, что Карел нездешний, что приехал он сюда на лето к дяде, что ему двадцать и периодами, когда он чувствовал себя лучше, работал наборщиком (представляю, как бы я кончил, доведись мне набирать то, что пишут нынче).

— Мне хотелось, чтоб они меня ужалили,— говорил Карел,— ужасно вдруг захотелось, кто-то же должен испытать это.

— Наверное, Карлуша, тебе приснился дурной сон.

— Что вы, пан пастор,— стоял на своем юноша с ликом Христа,— я его видел.

— Карлуша,— вмешался в разговор Лукашек, улыбаясь всем неизменной улыбкой,— ты думаешь, он не околеет?

— Думаю, нет,— ответил Карел,— это чудовище, глаза светятся, страшные такие глаза. И будет всех подряд жалить, пока не завладеет жертвой!

— Мне кажется, Карлуша, тебя опять тревожат мысли о самоубийстве,— сказал мой друг пастор, когда мы уже шли по мокрому асфальту к приходу.

— Конечно,— подтвердил юноша,— вы же знаете, я хочу долго умирать. Кому-то надо испытать это, и это должно быть очень медленное и мучительное умирание, чтобы человечество могло искупить грехи. Просто змей — этого мало! Я хочу, чтоб меня распяли! Пусть будет ужасная физическая боль! А плевки эти, Господи, люди плевали в Него, в Христа, пан пастор, и как же Он велик, скажу я вам, люди плевали в Него, а Он молился за них! — На лице юноши изобразилась такая боль, словно в его ладони уже вбивали гвозди. Он шел и разглядывал на асфальте трещины и потому то удалялся от нас, то подходил так близко, что мы невольно чуть отступали перед ним.

— Но Христос и был распят ради того, чтобы больше никто не плевал в тебя,— сказал мой друг священник, несколько упрощая смысл Христовой жертвы,— он искупил твою вину, чтобы спасти тебя от всех ужасов.

— Да, распятие было великим чудом,— согласился Карел,— было и всегда будет.

— Знаете, пан пастор,— вмешался Лукашек, улыбаясь так, словно рассказывал анекдот,— я тоже хотел покончить с собой! Хотел отравиться потому, что на свете нет ни одной стоящей мысли, которую бы не изрек кто-то раньше. Но сейчас я не хочу умирать, надо сдать выпускные экзамены.

— Правильно, Лукашек,— похвалил его мой друг.— Человек надеждой живет!

Что до выпускных экзаменов, Лукашек не выдумывал. Его действительно приняли в гимназию. Во-первых, его родители были стекольщики, а во-вторых, в его больном мозгу таился математический гений. Лукашек играючи решал в уме квадратные уравнения и не мог взять в толк, как это людям не дано представить себе четырехмерное пространство, когда для него это проще простого.

Карел отошел, заинтересовавшись трещиной в асфальте, наступила минутная тишина.

Лукашек улыбался, улыбалась и «падшая» девушка Магдалина, но если Лукашек улыбался себе или всему миру, Магдалина улыбалась мне и глазами подавала знак, чтобы нам вместе куда-нибудь улизнуть. Во всяком случае, я так ее понимал.

Карел снова подошел к нам.

— Скажи, пожалуйста, зачем тебе аттестат? — спросил он вполне логично.— Образование в могилу не возьмешь!

— Не ехидничай! — одернул его мой друг.

— Пан пастор,— сказал Лукашек, который по всем остальным предметам, кроме математики, имел тройки из милости,— хорошо бы нам как-нибудь собраться, чтобы вы объяснили некоторые теологические термины. Я, к примеру, не знаю, что такое любовь. И что такое покаяние.

— А у меня дома грязь! — вставил вдруг Карел.

— Какая грязь, Карлуша? — спросил мой друг священник, и я восхитился его терпением.

— Лечебная. От ревматизма,— объяснил Карел.— Я в ней сплю, это и есть покаяние.

— Правда, пан пастор? — обрадовался Лукашек легкости такого определения.

— Не все так просто, мальчики,— сказал мой друг и уже своим обращением исключил меня и Магдалину,— когда-нибудь и впрямь об этом побеседуем.

По мере того как мы приближались к перекрестку, где наши пути расходились, перед нами возникала картина наводнения. За то время, пока мы были в костеле, вода стала стремительно прибывать.

Как ни странно, это зрелище показалось мне не угрожающим, а скорее захватывающим. Я никогда в жизни не видел половодья, хотя еще мальчиком написал о нем рассказ. Но как и все прочее, я его просто выдумал.

Мы остановились. Один Карлуша, допрыгнув до канавы, полной воды, зачарованно уставился на затопленную долину. «Я знаю, он придет! — восклицал он во внезапном пророческом экстазе.— Я знаю, он уже идет!» Он протянул руку к залитым лугам, и сделал это так выразительно, что мы невольно поглядели в том направлении.

— Кого ты опять видишь, Карлуша? — спросил мой друг пастор.

— Его, конечно! — объяснил юноша.— Он уже шагает по водам, и Ему ничто не мешает. Потому что Он — любовь! На Нем белое платье, на голове — терновый венец! Вон Он, вон там! — кричал он нетерпеливо.

И мы все действительно стали смотреть поверх широкой равнины застывших вод. Что видели остальные — не знаю, но я углядел лишь белую чайку, парящую над водами, и на меня вдруг накатила тоска, что я не вижу ничего другого, что мне отказано в даре прозревать невидимое, проникать в самую суть вещей и событий, что я, должно быть, никогда не открою никого, кто мог бы приносить мне облегчение или благую весть любви.

Мы расстались. Я пошел к домику, где ничего моего не было, где меня никто не ждал. Мой друг тем временем направился к приходу в счастливом окружении своей блаженной паствы.

Дома я быстро переоделся и, осторожно пробравшись между фигурками, сел к столу.

Не хотелось ни читать, ни писать. Я был полон чужих голосов и какого-то трепетного ожидания. Может, оно было вызвано необычайностью половодья, а может, в меня вселилось нечто от того безумного и пророческого экстаза юноши, похожего на Христа. Но я и вправду ждал чего-то невероятного.

У меня никогда не было сомнений, что пророки таили в себе немалую долю безумия. Хотя бы уже потому, что нормальный человек устремлен к предметам и вещам, а пророк — к видениям.

Случается, конечно, пророк увлекает за собой толпу, и та на какое-то время вдохновляется его видениями. Но нормальный человек отличается от пророка еще и тем, что он действует, осуществляет что-то — так толпа начинает претворять провиденное в жизнь. Разумеется, все кончается возвратом в мир вещей, еще более истовым идолопоклонством и забрасыванием пророков камнями.

Таков вечный круговорот, разлад между материей и духом, между заземленной предметностью и мечтательным безумием, между мечтой владеть вещами и достигать примирения с чем-то, что сверх человека.

Мне близко извечное безумие пророков. Я преклоняюсь перед их безумием, хотя знаю, что они осуждены на осмеяние, презрение и вечно обновляемое непонимание. Но именно они уже в древности провидели то,

что ныне начинают понимать и менее прозорливые: бешеная жажда владеть вещами и покорять мир вместо самообуздания в конце концов отделит человека от истоков жизни.

Я встал из-за стола. Пора было заняться обедом. Но проходя мимо окна, я увидел, что по озеру, возникшему на лугу за домом, скользит в мою сторону лодка. Миновав дом футбольного тренера, она достигла пока еще сухого кусочка луга близ моего дома — и тут в гребце я узнал «падшую» Магдалину. Она выпрыгнула из лодки и бросилась к моему домику. Я открыл дверь.

— Пан докто-о-ор! — подзывала она меня.

Я снова надел сапоги, а она, тем временем доскакав до моей двери, сообщила, что сверху, из прихода, заметили какого-то человека, который застрял на другой стороне реки за мостом. Вся дорога там уже под водой, а человек, видать, нездешний и не знает куда идти дальше, и ко всему у него с собой еще чемодан. Поэтому пастор и решил ее послать с лодкой и привезти этого человека, а если я хочу, то могу поехать с ней.

— А вы умеете хорошо грести? — спросил я.— Там, в самом русле, верно, бурное течение.

— Дома гребла. Но, может, перед этим желаете трахнуться? — спросила она, по-своему объяснив себе мои колебания. Она заглянула в пустую хатенку и захихикала. Но я предпочел предложить ей свои услуги по части гребли.

Мы сели в лодку, я — на веслах, она напротив, указав мне, куда держать путь. Мы впритык проплыли дом футбольного тренера, и я с ужасом осознал, насколько поднялась вода — мы были почти вровень с первым этажом. И тут я впервые, правда, мельком увидел груду собранных в доме вещей: металлические трубы, блестевшие на стене, расписные сундуки, мадонны из Пршибрама, несколько распятий, висевших в ряд, точно в церковном хранилище.

Подчас думается, что эта упорная тяга собирать вещи проистекает не только из инстинктивной потребности защититься от лишений и голода — человек скорее стремится перейти за грань собственной жизни во времени. Но как он может перейти за нее?

Мыслью, воплощенной в творческом акте, поступке или вещи, которую сам изладил или хотя бы добыл. Большинство людей не способно на творческий акт, возможностей для подвигов становится все меньше, не говоря уж о том, что подвиги менее долговечны, чем сам человек. И что же остается? Человек, понимая, что смертен, хочет оставить по себе пирамиду, или хотя бы дом, или даже постель с перинами и несколько стеклянных фигурок.

Пророки, философы или художники, способные перейти за эту грань своими видениями, обычно не могут понять этой потребности остальных. А эти остальные не понимают, что люди, способные превысить себя и свое время мыслью или творчеством, не испытывают потребности владеть вещами. И задумываясь порой над непостижимым поведением пророков, объясняют его либо безумством, либо совсем уж ложными мотивами: особо изощренным корыстолюбием или жаждой власти.

Сократ, Иисус, Гус или Гавличек непостижимы для них, они чаще всего убивают таких или, в лучшем случае, изгоняют. Но они не могут понять пророков и потом, когда тех давно нет в живых, и они уже сами обращаются к их завету и скорбят по ним, страдавшим от нищеты или в изгнании. Они не понимают, что те, кто представляется им мучениками, были скорее счастливы или по крайней мере — не менее счастливы, чем их современники, воплотившие в вещах свои мечты.

— Кто же увидал этого человека? — спросил я.

— Карел, а кто же? — ответила моя попутчица.— Они сперва не поверили, а потом пан пастор принес бинокль и тоже увидел.

И я снова почувствовал странное возбуждение. Чтобы отогнать его, я спросил:

— Вы откуда, Магда?

— Из-под Градца,— ответила «падшая» девушка. Она сняла промокшие туфли и оперлась босыми ступнями о мои колени. Похихикала.

— Вы здесь давно?

— Второй год.

— Не скучно?

— Скучно? — удивилась она.— Мне тут лучше, чем дома.— У нее был звучный, но грубый голос. Если бы я не видел ее, то по звуку голоса решил бы, что она раза в два старше. Она вытащила из кармашка сигарету, предложила и мне. Я сказал, что не курю, да и все равно не смог бы курить, коль сижу за веслами.

Оставив позади дом тренера, набитый сундуками, мы приблизились к руслу реки. Из-за туч на миг выскользнуло солнце. Магдалина послала навстречу ему облачко дыма и блаженно вздохнула.

— Под Градцем у вас семья?

— Ага.— И сообщила мне, что отец работает трактористом, а мать — в коровнике. Мать — цыганка, но не чистая, только наполовину. Когда покрасилась, никто даже не догадывался, что она темная, говорила Магдалина с гордостью. И все дети — совсем белые, только она цветом не вышла, ни дать ни взять — цикорий. А потому как этих белых ребят, до нее рожденных, было семеро, отец не верил, что эта восьмая, цикорная, тоже его, и хотел избавиться от нее сразу после рождения.

— А мама вас никуда не отдала?

— А ей, побирушке, жалко было надбавки за ребенка,— хихикнула моя попутчица,— хотя она тоже свирепела, что я черная. Драла меня, как могла, оба по очереди били.

Еще в последнем классе, рассказывала Магдалина, она переехала к Яро, что на дороге работал, дома почти не показывалась. Но мать с отцом помалкивали, опять же ради надбавки. На все остальное им было плевать. Но как-то зимой она зашла домой, а тут вдруг мороз ударил, она возьми да надень утром старое материно пальто. «Жуткая хламида, рукава все в навозе»,— она так живописала его, что я понял: пальто сыграло в ее судьбе немалую роль. «Воротник козлячий, гроша ломаного никто б не дал за него, но мать вмиг к ментам кинулась и стукнула, что я его увела. И знаете, во сколько эта куркулиха его оценила? В полторы тыщи!» Во всей истории с матерью-стукачкой этот момент явно возмущал ее более всего. «Она стукнула, потому что думала, я эту сраную шмотку кому-то сбагрила, и она из меня бабки вытянет. Но когда меня загребли, этот пальтец как раз на мне был. Я говорю, чего психуете, я ж его поносить взяла, а они все равно на суд потянули. Прокурорша орала, что из меня потаскуха выйдет, а я ведь только с одним Яро ходила, он был тогда мой миленок, и мне бы всю физию расквасил, если б я к другому в постель полезла»,— говорила она с достоинством.

— И они вас осудили?

— Послали в колонию, а оттуда сюда.

— А жалобу вы подавали?

— Да я рада-радешенька была, что от них попала сюда.

Было не совсем ясно, что она имеет в виду: семью или суд, но скорей всего то и другое.

— А парень ваш что?

— А что ему делать, когда я срок отматывала в колонии? — спросила она, глядя в небо, на котором все яростнее метались тучи, а под ними сновали спугнутые птицы.— Написал, что все время думает обо мне, и чтоб я не злилась, что он нашел другую. Вот это от него.— Она сняла свои дешевенькие разноцветные бусы, я похвалил их. Тогда она ревела вовсю, продолжала она, но девки сказали, чтоб не психовала, что мужиков на свете — навалом. Только здесь ничего путного ей не подворачивается, на заводе одно старичье, в такой жарище они только о пиве и думают...

— Значит, вам здесь не очень нравится? — заключил я, подгребая к выступу леса. Всюду была вода, и находился ли под нами луг или поле — один Бог ведает. В этом зрелище затопленного края было что-то вековечное

и сверхчеловеческое, оно рождало ощущение какого-то вневременного существования. Словно коснулось меня запредельное: Бог, Вечность или Справедливость. И, как ни удивительно, это снизошедшее на меня настроение моя попутчица никак не нарушала — в ней тоже было что-то от вечности.

Мы благополучно пересекли русло реки, и, когда объехали выступ леса, я заметил посреди водяной глади узенькую полоску дороги, в нескольких местах перехваченную водой. И там на каменной тумбе, удаленной от нас настолько, что нельзя было различить черты лица, сидел человек с чемоданчиком в руках.

— Мне везде нравится,— ответила она.— Лишь бы этой старой куркулихи не видеть. Она что думала? Я б ей эту шмотку назад принесла. А надбавка-то тю-тю,— добавила она мстительно,— полгода еще получала, и фигу! — Снова выглянуло солнце, она сощурила глаза и вытянулась на сиденье.

Меж тем человек на дороге углядел нас, соскочил с каменной тумбы на сухой островок и стал подпрыгивать, махать руками, кричать, словно потерпевший кораблекрушение, а я уже начал различать его черты, вспомнил и чемоданчик. И так растрогался, что даже сердце зашлось. Я крикнул:

— Сейчас подплывем, пан профессор!

Мы погрузили пана профессора в лодку: ботинки у него были мокрые, брюки подвернуты до колен, он дрожал от холода и пережитого.

Едва я уселся за весла, как он наклонился ко мне и шепотом сообщил, что везет уйму потрясающих материалов: статей, воззваний, список писателей, не имеющих права печататься, и список новых сторонников хартии, и все это он хранит для меня по меньшей мере неделю. Поначалу он колебался, но потом решил, что я тут умираю от любопытства, каковы теперь дела в Праге, и вот сел в поезд и прикатил ко мне. «Однако в Праге, пан писатель, уже два дня светит солнышко, а здесь всемирный потоп. Сперва думал, пройду по этой дороге, да вода стала прямо на глазах подниматься».

— На сей раз вы не забыли число? — спросил я, поблагодарив его за столь долгую и трудную дорогу ко мне.

— Бог с вами,— радовался он,— на этот раз я нашел потрясающее число.— И наклонившись ко мне, он зашептал так, чтобы никто посторонний не услышал: — Дату, когда Карнеад из Кирены начал цикл своих блистательных лекций. Эту дату я хорошо помню, а они вряд ли знают ее. Или, полагаете, я ошибаюсь?

— Определенно, не знают! — уверил я его, изо всех сил пытаясь направить лодку к дому футбольного тренера.

Мы уже приближались к земной тверди, когда я увидел что-то круглое, плывущее нам навстречу. Я перестал грести, и мы все уставились на этот предмет. «Смотрите, это же прялка!» — воскликнул пан профессор.

И только сейчас я заметил, что вода распахнула одно из окон тренерского дома, и оттуда потихоньку выплывала всякая старинная утварь: качалась на волнах расписная миска, плыла деревянная досточка с надписью «Добро пожаловать, кто с добром к нам жалует», вода хлопала разрисованными дверцами шкафа, под конец в окно протиснулся простой крестьянский стул. Он уже проплывал мимо нас, и на его покачивавшуюся спинку вдруг опустилась белоснежная чайка и принялась оглядывать широкие просторы благостных для нее вод, как капитан озирает со своего мостика океан.

В эту минуту пан профессор, наклонившись ко мне, прошептал:

— Терпения нет, я вам пока хоть кусочек прочту, думаете, при этой девушке можно?

Я уверил его, что можно, но он печально покачал головой: — А вот досада, очки-то у меня внутри, а без них я циферки не различаю!

Я отдал весла Магдалине, взял у него чемоданчик и спросил:

— Так какое число?

— Я же вам сказал,— всполошился пан профессор,— разве нет?

— Вы сказали об этих лекциях в Греции,— уточнил я,— философию

я не изучал. Во всяком случае, систематически,— добавил я для точности,— но кое-какие лекции по истории философии я когда-то посещал.

— А дату я вам не сказал? — удивился пан профессор.— А я-то обрадовался, что не надо больше держать ее в голове.

Я весь ушел в себя, мы проплыли мимо одинокого военного барабана, мимо разделочной доски, инкрустированной по бокам перламутром, мимо пршибрамской мадонны с золотой короной на голове и маленького деревянного ларца, хранящего в своем нутре невесть какие сокровища. Стоило протянуть руку — и все богатства твои.

— Вам ничего не понравилось? — спросил я Магдалину.

Она изумленно посмотрела на меня:

— А что мне с этим делать, оно же мокрое! — И я понял, что некое чудо свело нас всех троих в этой лодке.

Пан профессор тем временем тихонько стал называть имена Хрисиппа и Филона из Ларисы и затем, склонившись ко мне, сказал, что у него выходит сто пятьдесят шестой год.

Я было хотел спросить — до или после Рождества Христова, но побоялся обидеть его и стал набирать число. Мы оба напряженно ждали, откроется ли чемоданчик.

14.4.1978

Конкретные стихи

Перевод с немецкого и вступление Г. САПГИРА

Начиная с второй половины почти прошедшего века существует (в основном в Европе) конкретная поэзия. Поэты этого направления захотели почувствовать себя больше художниками, чем литераторами. И они стали писать как бы рисовать. Буквы и слова оказались красивы и многозначны. Повторением одного слова или варьированием одного сочетания слов можно было нарисовать графическую картину или выразить философскую идею — часто ироническую. Это было открытие. Старые вопросы: «Что есть человек?», «Что есть мир?», «Что есть мир и я?» — в конкретной поэзии зазвучали по-новому, лаконично и свежо. Материалом поэзии и, можно сказать, ее душой стало слово, буква, которые в разных контекстах могли порождать бесконечное количество смыслов и оттенков смыслов, эмоций и оттенков эмоций. Орнамент таил в себе божественное содержание, как выяснилось. И вот что хотелось бы заметить: авангард всегда стремится уйти от литературы, от ее штампов, и в результате он обогащает литературу.

Ойген Гомрингер

это черный ящик
здесь есть
есть здесь
этот черный ящик

das schwarze geheimnis	the black mystery
ist hier	is here
hier ist	here is
das schwarze geheimnis	the black mystery

3 вариации к «никакой ошибки в системе»

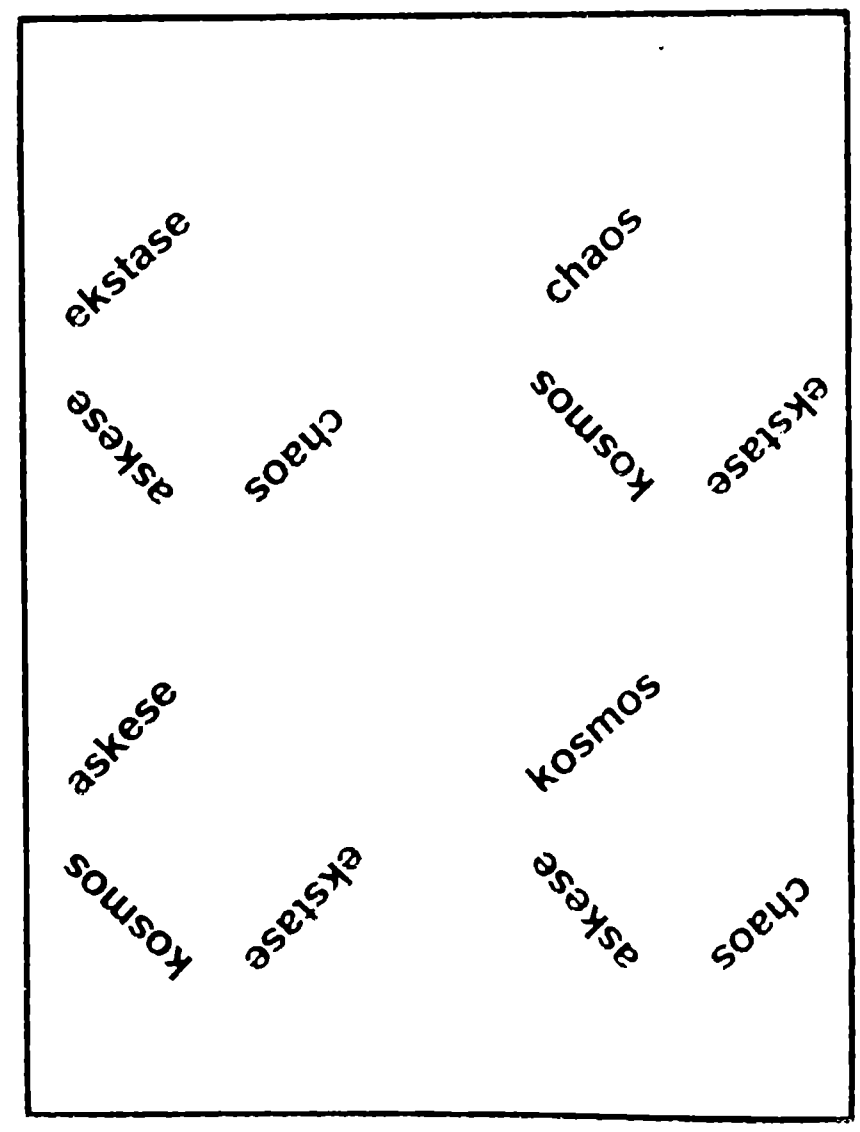
1

никакой ошибки в системе
никакой обишки в системе
никакой боишки в системе
никакой боикши в системе
никакой коибши в системе
никакой обикши в системе
никакой обивши к системе
никакой обивши с кистеме
никакой обившис к истеме
никакой обившис к ситеме
никакой обившис к симете
никакой обившик с итесме
никакой обишкив с истеме
никакой шоибки в системе
никакой ошибки в системе

2

никакой ошибки нет в системе
никакой ошибки вне системы

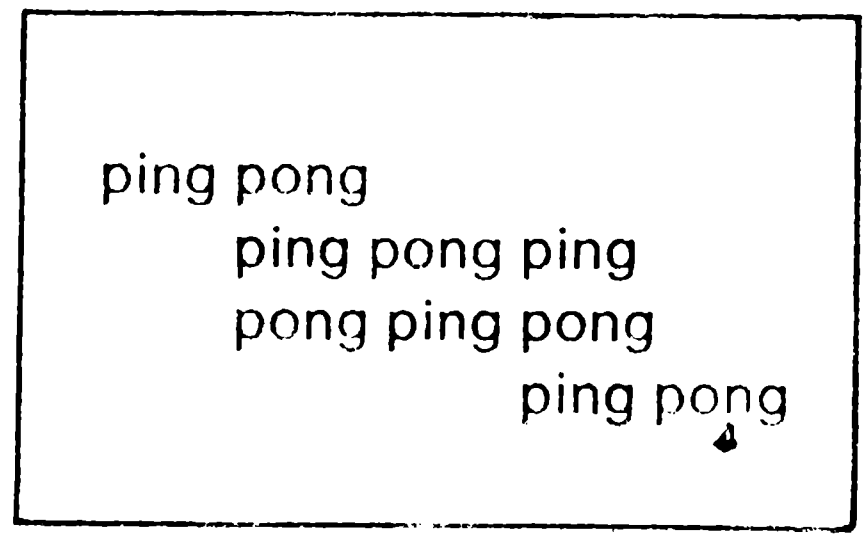
Ойген Гомрингер



никакой ошибки в несистеме
никакой ошибки в тень сисемы
никакой ошибки в те сисемы
никакой ошибки нерв сисемы
никакой ошибки винт сисемы

3

никакой системы в ошибке
никакой системы ошибок
никакой системы системы
никакой ошибки ошибки
никакой шипучки в сифоне
никакой проблемы на Шипке
никакой коровы в калошах
шибко шибко каша в кастрюле
ника койка сумма семестра
вика бяка шутки улыбки



Ойген Гомрингер

Франц Мон

надо что-то сделать
что-то сделать надо
сделать надо что-то
то что надо сделать

сделать надо то что
сделать надо вот что
что сделать надо
надо сделать: что

сделать что-то надо
то сделать что надо
сделать надо то
что надо сделать

есть
ты есть
так как ты есть
так как ты есть тот
так как ты есть тот кто
так как ты есть тот кто ты есть

ты есть тот кто ты есть
кто ты есть ты есть тот
тот есть ты ты есть тот

тот ты есть есть ты тот
ты тот есть есть тот ты

тот кто есть есть ты
ты кто есть есть тот
есть тот кто ты есть

Франц Мон

ТЫ ЕСТЬ ТОТ КТО ТЫ
ТОТ ЕСТЬ ТЫ КТО ТЫ
ЕСТЬ ТЫ ТОТ ТЫ КТО
КТО ТЫ ЕСТЬ ТЫ ТОТ

ТЫ КТО ЕСТЬ ЕСТЬ ТЫ ТОТ
ТОТ ЕСТЬ ТЫ КТО ТЫ ЕСТЬ
ТЫ КТО ТЫ ТОТ ЕСТЬ ЕСТЬ

ТЫ ТОТ ТЫ ТОТ
ТЫ ТОТ КТО ТЫ
КТО ТЫ ТЫ ТОТ
ТОТ ТЫ КТО ТЫ
ТЫ ТЫ ТОТ ТОТ
КТО КТО ТЫ ТЫ

ТЫ ТОТ
КТО ТЫ

волосы
волосы дыбом
волос в супе
жизнь на волоске
за волосы притянуто

правды в ногах
одна нога тут
ноги в руки
из рук вон

жизнь на руке
рука в супе
руки дыбом
за волосы притянуто

спиной к стене
стеной к спине
спиной к лицу
лицом к стене
стеной к лицу

лицом к спине
спиной к спине
спиной к стене
стеной к стене
лицом к лицу

Эрнст Яндль

film
film
film
film
fi m
f im
fi m
f im
f m
fl m
f im
f m
flim
film
flim
film
f lm
f lm
fl m
f lm
fl m
f m
f lm
fl m
f m
f lm
f m
fl m
f lm
fl m
fl m
fl m
fl m
fl m
fl m
flim
film
flim
film
f m
film
f m
flim
film
flim
film
film
film
film

Герхард Рюм

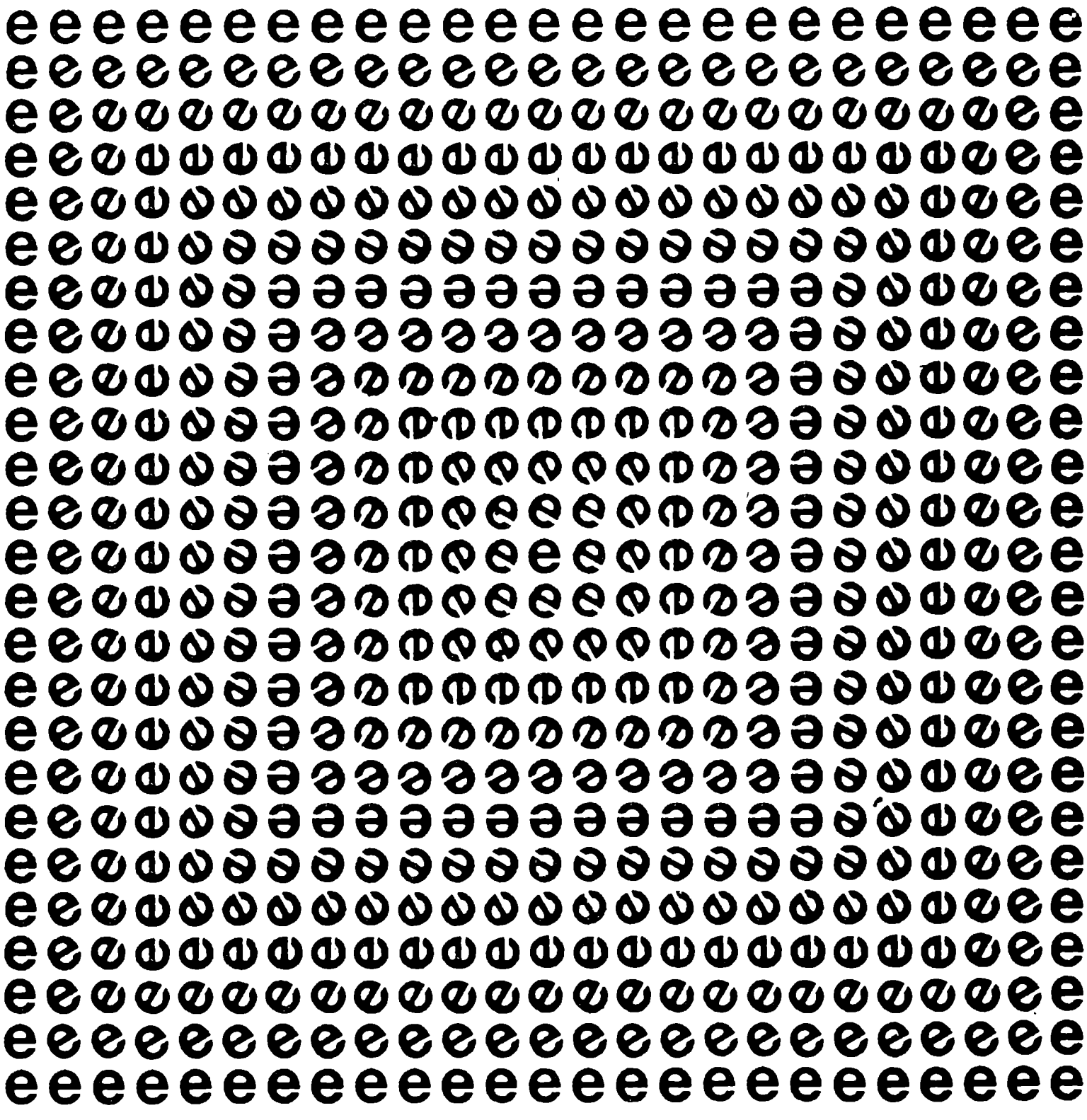
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть плоть
плоть плоть плоть в плоть

Тимм Ульрихс

Мысле-игра
(карты Декарта)

я мыслю, поэтому существую.
я существую, поэтому мыслю.
поэтому мыслю: я существую?
поэтому я — существую, мыслю.

Тимм Ульрихс

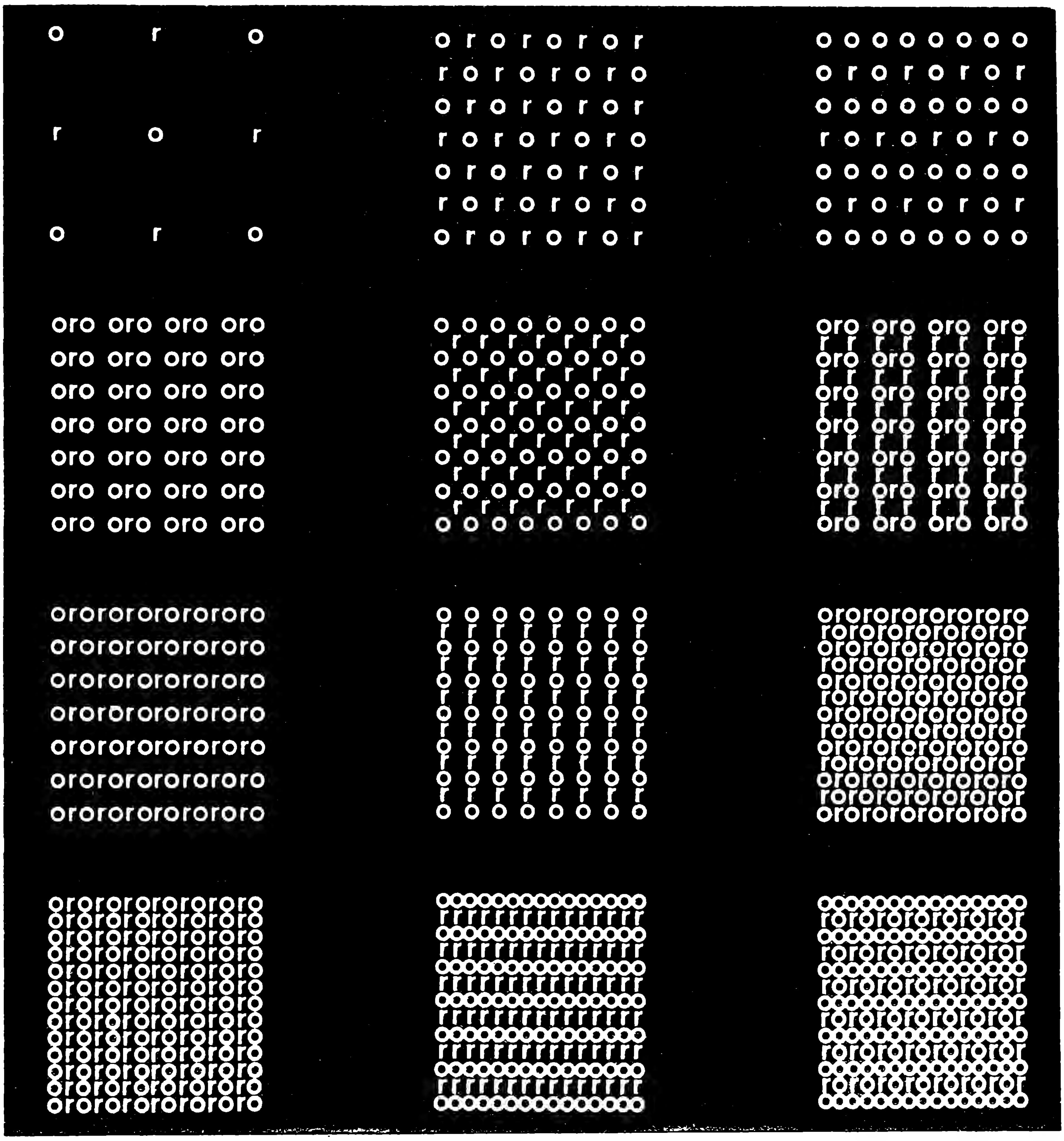


```
roseroseros    erose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
roseroseroseroserose
          eros
```

Тимм Ульрихс

```
n   t
n ↑ t
n   t
n   t
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
nicht
 ich
 ich
 ich
 ich
 ich
```

Эрнст Яндль



Матиас Гёриц. «Золотая весть»

ОЛДОС ХАКСЛИ

Через много лет

РОМАН

Перевод с английского и комментарии В. БАБКОВА

От переводчика

Олдос Хаксли начинал как сатирик. Аристократ до мозга костей, внук (и более того, однофамилец) знаменитого биолога Гексли и внучатый племянник не менее знаменитого поэта и критика Мэтью Арнольда, он никогда не сидел в башне из слоновой кости или черного дерева; его популярность, особенно среди молодежи, росла с каждым романом. Критики тоже хвалили его. В 1932 году, когда вышел «О дивный новый мир», он даже удостоился чести быть поставленным на одну доску с Томасом Манном. Но реакцией литературоведов на последующие его книги было по большей части недоумение, если не откровенная ругань и намеки на слабоумие.

Что же произошло? С сатирой, с «социальной зоологией» было покончено. (Была, впрочем, еще одна антиутопия, «Обезьяна и сущность», 1948). Хаксли начал активно пропагандировать свое мировоззрение. Ругать же человека, берущего на себя смелость учить других, всегда легко и всегда отыщется за что.

Предлагаемый вниманию читателей роман написан почти сразу после переезда Хаксли на постоянное жительство в Калифорнию. Это одно из трех самых значительных его произведений второго периода творчества («Слепой в Газе», 1936; «Через много лет», 1939; «Время должно остановиться», 1944; к ним же примыкает и последняя его книга — утопия «Остров», 1962). Следует, правда, оговориться, что речь здесь идет только о Хаксли-беллетристе, хотя он в не меньшей степени был эссеистом, искусствоведом, философом, историком. Пересказывать идеи писателя — значит исполнять нечто вроде увертюры на металлофоне. Не стоит этого делать, тем более что сам Хаксли предпочитал излагать свои мысли именно в художественной форме.

Сейчас у нас сложилась примерно та же ситуация, что на Западе лет шестьдесят назад: на смену автору модных антиутопий приходит другой Хаксли, с голосом негромким и внятным. Хотелось бы, чтобы и здесь он нашел свою аудиторию.

Деревьев жизнь прейдет, леса поникнут,
Туман прольется тихою слезою,
И пашня примет пахаря в объятья,
И лебедь через много лет умрет.

Теннисон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Все было оговорено в телеграммах: Джереми Пордиджу следовало искать цветного шофера в серой форменной одежде с гвоздикой в петлице, а цветному шоферу — англичанина средних лет с томиком стихов Вордсворта. Несмотря на вокзальную сутолоку, они без труда нашли друг друга.

— Вы шофер мистера Стойта?

— Мистер Пордидж, саа?

Джереми кивнул и слегка развел руками — жест манекена, Вордсворт в одной руке, зонтик в другой,— как бы показывая, что прекрасно сознает все свои недостатки и сам посмеивается над ними: этакая жалкая фигура, и к тому же в самом нелепом облачении. «Настоящий заморыш,— словно говорила его поза,— да уж какой есть». Оборонительное и, так сказать, профилактическое самоуничижение вошло у Джереми в привычку. Он прибегал к этому средству на каждом шагу. Вдруг новая мысль поставила его в тупик. Не принято ли здесь, на этом их демократическом Дальнем Западе, пожимать руки шоферам — особенно неграм, просто чтобы показать, что ты не корчишь из себя важную птицу, хотя твоей стране и выпало на долю нести бремя Белого Человека?*[1] В конце концов он решил воздержаться. Точнее говоря, решение было принято за него — как всегда, подумал он про себя, испытывая от сознания собственных недостатков странное извращенное удовольствие. Пока он гадал, как поступить, шофер снял картуз и, щеголяя старомодной учтивостью черной прислуги, но немного переигрывая, поклонился и сказал с широкой белозубой улыбкой: «Добро пожаловать в Лос-Анджелес, мистер Пордидж, саа! — Затем, сменив тональность своего распева с торжественной на доверительную, продолжал: — Я признал бы вас даже по голосу, мистер Пордидж. И без книги».

Джереми чуть смущенно усмехнулся. Проведя в Америке неделю, он стал стесняться своего голоса. Плод обучения в стенах кембриджского Тринити-колледжа за десять лет до войны, он был тонок и мелодичен, звучание его напоминало вечернюю молитву в английском соборе. Дома никто этого не замечал. Джереми никогда не приходилось ради самообороны подшучивать над своим голосом, не то что над внешностью или над возрастом. Здесь же, в Америке, все было иначе. Стоило ему заказать чашечку кофе или спросить дорогу в уборную (которая в этой непостижимой стране и уборной-то не называлась), как на него начинали глазеть с беспардонным любопытством, словно на забавного уродца в парке аттракционов. Это уже переходило всякие границы.

---

[1] Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

— Где мой носильщик? — поспешно сказал он, чтобы сменить тему разговора.

Через несколько минут они были в пути. Устроившись на заднем сиденье, подальше от шофера, чтобы не быть втянутым в беседу, Джереми Пордидж с удовольствием отдался чистому наблюдению. За окном бежала Южная Калифорния; оставалось только глядеть и не зевать.

Первыми перед его взором предстали бедные кварталы, где жили африканцы и филиппинцы, японцы и мексиканцы. Какие перетасовки и комбинации черного, желтого и коричневого! Какое сложное смешение кровей! А девушки — как они были прекрасны в этих платьях из искусственного шелка! «В муслине белом леди-негритянки». Его любимая строка из «Прелюдии» *. Он улыбнулся про себя. А трущобы тем временем уступили место высоким зданиям делового района.

Народ на улицах пошел посветлее. На каждом углу — закусочная. Мальчишки продавали газеты с заголовками, кричащими о наступлении Франко на Барселону. Большинство девушек, казалось, молятся про себя на ходу; но потом, поразмыслив, он решил, что они просто пережевывают жвачку. Жуют, а не молятся. Затем автомобиль внезапно нырнул в туннель и выскочил в другом мире — просторном, неопрятном мире пригородов, бензоколонок и афиш, маленьких коттеджей с садиками, незастроенных участков и бумажного мусора, разбросанных там и сям магазинчиков, контор и церквей — церквей примитивных методистов *, выстроенных, как ни странно, в стиле гранадской Картухи *, католических церквей, похожих на Кентерберийский собор, синагог, замаскированных под Айя-Софию *, сциентистских церквей * с колоннами и фронтонами, точно банки. Был зимний день и раннее утро; но солнце сияло ярко, на небе ни облачка. Машина ехала на запад, и косые солнечные лучи по очереди высвечивали перед нею, словно прожектором, каждое здание, каждую рекламу и афишу, будто специально демонстрируя новоприбывшему все здешние виды.

ЗАКУСКИ. КОКТЕЙЛИ. КРУГЛОСУТОЧНО.

ДЖАМБО-ЭЛЬ.

ДЕЛАЙТЕ ДЕЛО, ЕЗДИТЕ СМЕЛО НА КОНСОЛЬ-СУПЕРБЕНЗИНЕ!

ЧУДО-ПОХОРОНЫ В БЕВЕРЛИ-ПАНТЕОНЕ ОБОЙДУТСЯ *НЕДОРОГО*.

Автомобиль катил дальше, и вот на открытом месте возник ресторан в виде сидящего бульдога, вход меж передних лап, глаза освещены изнутри.

«Зооморф,— пробормотал себе под нос Джереми Пордидж, и еще раз: — Зооморф». Как истый ученый, он любил смаковать слова. Бульдог канул в прошлое.

АСТРОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ *, ВРАЧЕВАНИЕ ДУШ.

ОТВЕДАЙТЕ НАШИХ НАТБУРГЕРОВ — что это за штуки? Он решил попробовать, как только подвернется случай. И запить джамбо-элем.

ОСТАНОВИСЬ И ЗАЛЕЙ КОНСОЛЬ-СУПЕРБЕНЗИНА.

Шофер неожиданно остановил машину.

— Десять галлонов самого лучшего,— распорядился он и, обернувшись к Джереми, пояснил:— Это наша компания. Мистер Стойт, вот кто ее президент.— Он указал через улицу на другую вывеску.

ССУДЫ НАЛИЧНЫМИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ,— прочел Джереми,— КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ.

— Эта тоже наша,— гордо сказал шофер.

Они тронулись дальше. С огромной афиши глядело лицо прекрасной девушки, искаженное страданием,— ни дать ни взять Магдалина.

РАЗБИТАЯ ЛЮБОВЬ,— гласила надпись.— ПО НАУЧНЫМ ДАННЫМ, 73 ПРОЦЕНТА ВЗРОСЛЫХ СТРАДАЮТ ГАЛИТОЗОМ *.

В ПЕЧАЛЬНУЮ МИНУТУ ПОЗВОЛЬТЕ БЕВЕРЛИ-ПАНТЕОНУ СТАТЬ ВАШИМ ДРУГОМ.

МАССАЖ ЛИЦА, ПЕРМАНЕНТ, МАНИКЮР.

БУДУАРЧИК БЕТТИ.

Сразу за будуарчиком было отделение «Уэстерн юнион». Отправить телеграмму матери... Боже милосердный, он едва не забыл! Джереми подался вперед и извиняющимся тоном, каким всегда говорил с прислугой, попросил шофера на минутку остановиться. Машина встала. С озабоченным выражением на робком, кроличьем личике Джереми вылез и затрусил через улицу в отделение.

«Миссис Пордидж, «Араукарии», Уокинг, Англия»,— написал он, чуть улыбаясь. Изысканная нелепость этого адреса служила ему постоянным источником удовольствия. «Араукарии», Уокинг. Купив дом, мать хотела изменить его название как слишком претенциозно-буржуазное, слишком похожее на шутки Хилери Беллока *. «Но в этом же вся прелесть,— запротестовал он.— Это же очаровательно». И он стал объяснять ей, как великолепно подходит им этот адрес. Какое изящное комическое несоответствие между названием дома и внутренним обликом его обитателей! И какой тонкий, парадоксально перевернутый смысл в том обстоятельстве, что старая подруга Оскара Уайльда, умудренная жизнью, изысканная миссис Пордидж будет писать свои блестящие письма из «Араукарий», и из этих же самых «Араукарий», находящихся, заметьте, в *Уокинге*, будут появляться труды, полные разносторонней учености и особого рафинированного остроумия, коими ее сын снискал себе репутацию. Миссис Пордидж почти сразу сообразила, куда он клонит. Слава Богу, ей не приходилось ничего разжевывать. Ей было вполне достаточно намеков и анаколуфов *; уж она-то схватывала все на лету. «Араукарии» остались «Араукариями».

Надписав адрес, Джереми помешкал, задумчиво сдвинул брови и начал было грызть кончик карандаша — фамильная привычка,— но тут же, сбитый с толку, обнаружил, что у *этого* карандаша имеется латунный наконечник, а от него тянется цепочка. «Миссис Пордидж, «Араукарии», Уокинг, Англия»,— прочел он вслух, надеясь, что эти слова вдохновят его и он сочинит правильное, безупречное послание — именно такое, какого ждет от него мать, одновременно и нежное, и остроумное, полное искреннего почтения, скрытого за ироничными фразами, признающее ее материнское превосходство, но и подшучивающее над ним, дабы старая леди могла потешить свою совесть, воображая сына совершенно свободным, а себя — матерью, лишенной всяких тиранических притязаний. Это было нелегко, да еще с карандашом на цепочке. После нескольких бесплодных попыток он остановился на таком, хотя и явно неудовлетворительном, варианте: «Ввиду субтропического климата рискую нарушить обещание насчет белья точка Хотел бы видеть тебя здесь но только ради себя ведь ты вряд ли оценишь этот недоделанный Борнмут без конца и края точка».

— Недоделанный что? — спросила молодая женщина за стойкой.

— Б-о-р-н-м-у-т,— продиктовал Джереми. Голубые глаза его блеснули за бифокальными стеклами очков; он улыбнулся и погладил свою лысую макушку — жест, которого сам он никогда не замечал, но которым непроизвольно предварял все свои обычные шуточки.— Это, знаете ли, такое мутное местечко,— сказал он особенно мелодичным голосом,— куда никто по доброй воле не поплывет.

Девица непонимающе поглядела на него; потом, заключив по его виду, что было сказано нечто смешное, и памятуя о том, что Вежливость с Посетителями — девиз «Уэстерн юнион», изобразила ослепительную улыбку, которой явно домогался несчастный старый болван, и продолжала читать: «Надеюсь ты хорошо проведешь время в Грасе точка Нежно целую Джереми».

Телеграмма получилась дорогая; но, к счастью, подумал он, вынимая бумажник, к счастью, мистер Стойт переплатил ему огромного лишку. Три месяца работы, шесть тысяч долларов. Так что можно кутнуть.

Он вернулся в автомобиль, и они поехали дальше. Миля за милей оставались позади, а пригородные дома, бензоколонки, пустыри, церковки, магазины по-прежнему неотрывно сопровождали их. Улицы огромного жилого района, тянущиеся справа и слева в просветах между пальмами, перечными деревьями, акациями, постепенно сходили на нет.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ БЛЮДА. ГОРЫ МОРОЖЕНОГО.
ИИСУС СПАСЕТ МИР.
ГАМБУРГЕРЫ.

Снова путь им преградил красный свет. К окну подошел мальчишка-газетчик. «Франко добивается успехов в Каталонии»,— прочел Джереми и отвернулся. Ужасы этого мира достигли предела, за которым они только докучали ему. Из автомобиля перед ними вышли две пожилые леди, обе с перманентной завивкой и в малиновых брюках, у обеих на руках по йоркширскому терьеру. Собак посадили на тротуар у подножия светофора. Не успели зверьки собраться с мыслями, чтобы извлечь выгоду из этого удобного соседства, как зажегся зеленый свет. Негр включил первую скорость, и машина покатила вперед, в будущее. Джереми думал о матери. Малоприятно, но у нее тоже был йоркширский терьер.

ТОНКИЕ ВИНА.
САНДВИЧИ С ИНДЕЙКОЙ.
ЦЕРКОВЬ ПОДНИМЕТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ.
ПОЛЬЗА ДЛЯ БИЗНЕСА — ЭТО ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАС.

Откуда ни возьмись выплыл второй зооморф, на сей раз агентство по недвижимости в виде египетского сфинкса.

ГРЯДЕТ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА.

БЮСТГАЛЬТЕРЫ «ТРИЛЛФОРМА» ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ВЕЧНУЮ ЮНОСТЬ.

БЕВЕРЛИ-ПАНТЕОН — НЕОБЫКНОВЕННОЕ КЛАДБИЩЕ.

С самодовольством Кота в Сапогах, демонстрирующего владения маркиза Карабаса, негр оглянулся на Джереми, повел рукой в сторону вывески и сказал:

— И это тоже наше.

— Вы имеете в виду Беверли-пантеон?

Шофер кивнул.

— Это лучшее кладбище в мире, верно говорю,— сказал он и после минутного молчания добавил: — Может, вы захотите поглядеть его. Нам почти по пути.

— Премного благодарен,— сказал Джереми с самой изысканной английской любезностью. Затем, чувствуя, что ему следовало бы выразить свое согласие в более теплой и демократичной форме, прокашлялся и с сознательным намерением воспроизвести местный диалект добавил, что это будет просто *шикарно*. Последнее слово, сказанное тринити-колледжским голосом, прозвучало так неестественно, что он покраснел от смущения. К счастью, шофер, занятый дорогой, ничего не заметил.

Они свернули направо, миновали храм розенкрейцеров *, две больницы для кошек и собак, школу военных барабанщиц и еще две рекламы Беверли-пантеона. Когда повернули влево, на бульвар Сансет, Джереми мельком увидел молодую женщину, которая что-то покупала; на ней были светло-лиловый купальник без бретелек, платиновые серьги и черный меховой жакет. Потом и ее закружило и унесло в прошлое.

В настоящем же осталась дорога у подножия крутой холмистой гряды, дорога, окаймленная небольшими фешенебельными магазинчиками, ресторанами, ночными клубами, зашторенными от дневного света, учреждениями и многоквартирными домами. Затем и они в свою очередь безвозвратно исчезли. Придорожный знак известил путешественников, что автомобиль пересек границу Беверли-Хиллс *. Окрестности изменились. Вдоль дороги потянулись сады богатого жилого района. Сквозь деревья Джереми видел фасады домов, всех без исключения новых, выстроенных почти без исключения со вкусом: элегантных, изящных стилизаций под усадьбы Ласенса *, под Малый Трианон *, под Монтичелло *; беспечных пародий на торжественные сооружения Ле Корбюзье; фантастических калифорнийских вариантов мексиканских асиенд и новоанглийских ферм.

Свернули направо. Вдоль дороги замелькали огромные пальмы. Заросли мезембриантемы * вспыхивали под солнечными лучами ярким багрянцем. Дома следовали друг за дружкой, словно павильоны бесконечной

международной выставки. Глостершир сменял Андалусию и сменялся по очереди Туренью и Оахакой, Дюссельдорфом и Массачусетсом.

— Здесь живет Гарольд Ллойд *, — объявил шофер, указывая на нечто вроде Боболи *.— А здесь Чарли Чаплин. А здесь Пикфэйр *.

Дорога стала резко подниматься вверх. Шофер показал через глубокую затененную прогалину на противоположный холм, где виднелось строение, похожее на жилище тибетского ламы.

— А там Джинджер Роджерс *. Да, *сэр*,— он важно кивнул, крутанув баранку.

Еще пять-шесть поворотов, и автомобиль оказался на вершине холма. Внизу и позади них была равнина с городом, распростертым по ней, точно карта, уходящая далеко в розовое марево.

Впереди же и по бокам высились горы — гряда за грядою, насколько хватал глаз, лежала высушенная Шотландия, пустынный край под однообразным голубым небом.

Машина обогнула оранжевый скалистый уступ, и тут же на очередной вершине, до сих пор скрытой из поля зрения, показалась гигантская надпись из шестифутовых неоновых трубок: «БЕВЕРЛИ-ПАНТЕОН, КЛАДБИЩЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ»,— а над нею, на самом верху, копия Пизанской башни в натуральную величину, только эта стояла ровно.

— Видите? — значительно произнес негр.— Башня Воскресения. В двести тысяч долларов, вот во сколько она обошлась. Да, *сэр*.— Он говорил с подчеркнутой торжественностью. Можно было подумать, что эти деньги выложены им из собственного кармана.

Глава вторая

Час спустя они уже вновь были в пути, успев повидать все. Абсолютно все. Покатые лужайки, словно зеленый оазис посреди скалистой пустыни. Живописные рощицы. Могильные плиты в траве. Кладбище домашних животных с мраморной группой по мотивам лэндсировского * «Величия и бесстыдства». Крохотную Церковь Поэта, миниатюрную копию церкви Святой Троицы в Стратфорд-он-Эйвоне, укомплектованную могилой Шекспира и круглосуточной органной службой — ее имитировал автомат Вурлицера *, а скрытые динамики разносили по всему кладбищу.

Потом, вплотную к ризнице, Комнату Невесты (ибо в церкви-малютке и женили, и отпевали) — эта Комната, объяснил шофер, только что заново отделана под будуар Нормы Ширер в «Марии Антуанетте». А рядом с Комнатой Невесты — изысканный, черного мрамора Вестибюль Праха, ведущий в Крематорий, где на всякий экстренный случай постоянно грелись три новенькие, работающие на самом современном топливе печи для кремации.

Затем под неутихающий аккомпанемент «Вурлицера» они пошли осматривать Башню Воскресения — но только снаружи, поскольку внутри ее занимали исполнительные учреждения «Корпорации кладбищ Западного побережья». Затем Детский Уголок со статуями Питера Пэна и Младенца Христа, с группками алебастровых детей, играющих с бронзовыми кроликами, прудом, где плавали лилии, и устройством, именуемым «Фонтан Радужной Музыки», из которого непрерывно извергались вода, подсвеченная разноцветными огнями, и тремоло вездесущего «Вурлицера». Затем быстро, подряд, осмотрели Садик Тишины, крошечный Тадж-Махал, покойницкую образца Старого Света. И, приберегенный шофером напоследок как главное, самое сногсшибательное свидетельство величия его босса, собственно Пантеон.

Возможно ли, спрашивал себя Джереми, чтобы *такое* действительно существовало? Это казалось просто невероятным. Беверли-пантеон был лишен всякого правдоподобия, на *такое* у Джереми никогда не хватило бы фантазии. И именно этот факт доказывал, что он его действительно видел. Он закрыл глаза, чтобы не мешало мелькание за окном, и попытался

восстановить в памяти детали этой невероятной реальности. Здание, построенное по мотивам бёклиновского * «Острова мертвых». Круговой вестибюль. Копия роденовского «Поцелуя», залитая розовым светом невидимых прожекторов. И эти лестницы из черного мрамора. Семиэтажный колумбарий, бесконечные галереи, ярус за ярусом — могильные плиты. Бронзовые и серебряные погребальные урны, похожие на спортивные кубки. В окнах — витражи, напоминающие работы Бёрн-Джонса *. Начертанные на мраморных скрижалях библейские изречения. На каждом этаже — проникновенное мурлыканье «Вурлицера». Скульптуры...

Вот что было самым невероятным, подумал Джереми, не открывая глаз. Скульптуры, вездесущие, как «Вурлицер». Статуи на каждом шагу — сотни статуй, закупленных, скорее всего, оптом у какого-нибудь гигантского концерна по их производству в Карраре или Пьетрасанте. Сплошь женские фигуры, все обнаженные, все с самыми роскошными формами. Такого рода статуи прекрасно смотрелись бы в холле первоклассного борделя где-нибудь в Рио-де-Жанейро. «О Смерть,— вопрошала мраморная скрижаль у входа в каждую галерею,— где твое жало?» * Безмолвно, но красноречиво статуи предлагали свой утешительный ответ. Статуи юных прелестниц без одеяний — одни лишь тугие пояса с бернииевской * реалистичностью врезáлись в их парросскую плоть *. Статуи юных прелестниц, чуть подавшихся вперед; юных прелестниц, скромно прикрывающихся обеими руками; юных прелестниц, сладко потягивающихся, или изогнувшихся, или наклонившихся завязать ремешок сандалии, а заодно и продемонстрировать свои великолепные ягодицы, или обольстительно откинувшихся назад. Юных прелестниц с голубками, с пантерами, с другими юными прелестницами, с очами, возведенными горе в знак пробуждения души. «Я есмь воскресение и жизнь» *,— провозглашали надписи.— «Господь — Пастырь мой; и оттого я ни в чем не буду нуждаться» *. Ни в чем, даже в «Вурлицере», даже в прелестницах, туго перетянутых поясами. «Поглощена смерть победою» *— и победой не духа, но тела, хорошо упитанного, неутомимого в спорте и в сексе, вечно юного тела. В мусульманском парадизе совокупления длились шесть веков. Этот же новый христианский рай благодаря прогрессу выдвигал сроки, близкие к тысячелетним, и добавлял к сексуальным радости вечного тенниса, непреходящего гольфа и плавания.

Неожиданно дорога пошла под уклон. Джереми вновь открыл глаза и увидел, что они достигли дальнего края гряды холмов, среди которых располагался Пантеон.

Внизу лежала коричневая долина с разбросанными там и сям зелеными лоскутами и белыми точками домов. На дальнем ее конце, милях в пятнадцати — двадцати отсюда, горизонт украшала ломаная линия розоватых гор.

— Что это? — спросил Джереми.

— Долина Сан-Фернандо,— ответил шофер. Он показал куда-то недалеко.— Там живет Граучо Маркс *,— объяснил он.— Да, *сэр*.

У подножия холма автомобиль свернул влево, на широкую дорогу, которая бетонной лентой в окаймлении пригородных коттеджей пересекала равнину. Шофер прибавил скорость; щиты на обочине мелькали друг за другом с обескураживающей быстротой. ЭЛЬ ДОРОЖНЫЙ ПРИЮТ ОБЕД И ТАНЦЫ В ЗАМКЕ ГОНОЛУЛУ ДУХОВНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ И ПРОМЫВАНИЕ КИШЕЧНИКА К ЖИЛОМУ МАССИВУ ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ КУПИТЕ ГРЕЗУ О ДЕТСТВЕ *ЗДЕСЬ*. А за полосой щитов проносились мимо безукоризненно ровные ряды абрикосовых и ореховых деревьев — уходящие в сторону от дороги аллеи сменяли одна другую, вырастая и уносясь взмахами гигантского опахала.

Огромными каре с квадратную милю величиной слаженно передвигались апельсиновые сады, темно-зеленые и золотые, отблескивающие на солнце. Вдали маячил таинственный крутой росчерк горного хребта.

— Тарзана,— неожиданно произнес шофер; и впрямь, над дорогой возникло это слово, выписанное белыми буквами.— Тарзана-колледж,— продолжал негр, указывая на несколько дворцов в испанском колониаль-

ном стиле, скучившихся вокруг романской базилики.— Мистер Стойт только что подарил им Аудиторию.

Они повернули направо, на дорогу поуже. Деревья пропали, уступив место необъятным полям люцерны и заплесневелым лугам, но через несколько миль появились опять, еще более великолепные. Тем временем горы на северном краю долины приблизились, а слева туманно вырисовался другой хребет, сбегающий в долину с запада. Они ехали дальше. Вдруг дорога сделала резкий поворот, словно направляясь в точку, где два хребта должны были сойтись. И тут неожиданно, в просвете между двумя фруктовыми садами, взору Джереми открылась совершенно ошеломительная картина. Примерно в полумиле от подножия гор, точно островок неподалеку от береговых скал, вздымался ввысь каменистый холм с крутыми, а кое-где и отвесными стенами. На его вершине, как бы естественным образом вырастая из нее, стоял замок. Но какой! Главная башня его походила на небоскреб, угловые низвергались к основанию холма со стремительной плавностью бетонных дамб. Замок был готический, средневековый, феодальный — вдвойне феодальный, готический, так сказать, до предела, более средневековый, чем любая постройка тринадцатого столетия. Ибо это... это Чудище — иначе Джереми не мог его назвать — было средневековым отнюдь не вследствие пошлой исторической необходимости, подобно Куси * или, допустим, Алнику *, но благодаря чистой прихоти и капризу воображения, как бы платонически. Оно было средневековым в той мере, в какой мог позволить себе быть средневековым только остроумный и беспечный современный архитектор, в какой это могли технически реализовать самые умелые современные инженеры.

Джереми был так поражен, что даже заговорил.

— Господи, что это? — спросил он, указывая на выперший из холма кошмар.

— Как что? Дом мистера Стойта,— ответил слуга; и, улыбнувшись еще раз с гордостью полномочного заместителя владельца всех этих богатств, добавил: — Не дом, а картинка, верно говорю.

Апельсиновые рощи опять сомкнулись; откинувшись на сиденье, Джереми Пордидж невесело размышлял, не слишком ли он поторопился, ответив Стойту согласием. Плата была царская; работа, составление каталога почти легендарного архива Хоберков, обещала быть весьма увлекательной. Но это кладбище, это... Чудище,— Джереми потряс головой. Он, конечно, знал, что Стойт богат, собирает картины, а его усадьба считается калифорнийской достопримечательностью. Но никто никогда не намекал ему, что здесь его ждет *это*. Его тонкий вкус, вкус добродушного аскета, был жестоко оскорблен; его страшила перспектива встретиться с человеком, способным на такую чудовищную безвкусицу. Какая связь, какая близость мысли или чувства могут возникнуть между этим человеком и скромным ученым? Зачем он просил ученого приехать? Очевидно, не из-за особой любви к трудам этого ученого. Да и читал ли он их вообще? Представлял ли он себе хоть чуть-чуть облик этого ученого? Способен ли он, к примеру, понять, почему ученый не захотел изменить название «Араукарии»? А сможет ли он оценить точку зрения ученого на...

Эти тревожные думы были прерваны автомобильным гудком — шофер сигналил с громкой и оскорбительной настойчивостью. Джереми поднял глаза. Впереди, ярдах в пятидесяти, по дороге еле-еле полз дряхлый «форд». К его крыше, подножкам, багажнику был с грехом пополам приторочен убогий домашний скарб — старая железная плита, скатанные матрацы, корзина с кастрюлями и сковородками, сложенная палатка, жестяная ванночка. Проносясь мимо, Джереми мельком заметил троих хилых детей с равнодушными взглядами, женщину в наброшенной на плечи дерюге, ее худого, небритого мужа.

— Сезонники,— презрительно пояснил шофер.

— А кто это? — спросил Джереми.

— Да сезонники же,— повторил негр с ударением, будто оно все объясняло.— Эти, по-моему, из Пыльного края *. Номер канзасский. Они у нас навели собирают.

— Навели собирают? — недоуменно отозвался Джереми.

— Ну, апельсины, навели. Сейчас сезон. Хороший для них год выдался, верно говорю.

Они опять выехали на открытое место, и опять впереди появилось Чудище, на сей раз выросшее в размерах. Теперь у Джереми хватило времени рассмотреть его как следует. Одна стена с башнями ограждала холм у основания, а на полдороге к вершине, в соответствии с самой надежной средневековой моделью, разработанной после крестовых походов, имелась вторая линия обороны. На макушке стояла главная крепость, квадратная, окруженная более мелкими строениями.

С главной башни Джереми перевел взгляд на кучку домиков в долине, недалеко от подножия холма. На фасаде самого большого из них красовалась надпись: «Приют Стойта для больных детей». Два флага, один звездно-полосатый, другой с алой буквой «S» на белом поле, развевались на ветру. Затем все вновь скрылось из виду за рощей облетевших ореховых деревьев. Почти в тот же миг шофер переключил скорость и нажал на тормоз. Автомобиль плавно остановился, догнав человека, быстро идущего по траве вдоль обочины.

— Подвезти, мистер Проптер? — окликнул шофер.

Незнакомец повернул голову, улыбнулся шоферу в знак приветствия и подошел к окошку. Это был крупный мужчина, широкоплечий, но довольно сутулый; в темных волосах его пробивалась седина, а лицо, подумал Джереми, походило на лица тех статуй, которые готические скульпторы помещали высоко на западных фронтонах соборов: выдающиеся части перемежались на нем с глубокими затененными складками и впадинами, вырезанными подчеркнуто грубо, чтобы их было видно даже издалека. Но это любопытное лицо, продолжал он свои наблюдения, не только било на эффект, выигрывало не только на расстоянии; оно смотрелось и вблизи, в нем была и теплота,— выразительное лицо, говорящее об уме и восприимчивости наряду с внутренней силой, о мягкой и ироничной открытости вкупе с энергией и напором.

Привет, Джордж,— сказал незнакомец, обращаясь к шоферу.— Это очень мило с твоей стороны.

Да я ж так рад видеть вас, мистер Проптер,— искренне сказал негр. Затем, полуобернувшись, повел рукой в сторону Джереми и с витиеватой церемонностью произнес: — Позвольте познакомить вас с мистером Пордиджем из Англии. Мистер Пордидж, это мистер Проптер.

Двое мужчин пожали друг другу руки, и после обмена любезностями Проптер уселся в автомобиль.

— Вы к Стойту в гости? — спросил он, когда машина тронулась.

Джереми покачал головой. Нет, он по делу; приехал поглядеть кое-какие рукописи — бумаги Хоберков, если уж быть точным.

Проптер слушал внимательно, время от времени кивая, а когда Джереми кончил говорить, с минуту сидел молча.

— Взять неверующего христианина,— наконец сказал он задумчиво,— и остатки стоика; тщательно перемешать с хорошими манерами и старосветским образованием, добавить немного деньжат и варить несколько лет в университете. Получится блюдо под названием «ученый и джентльмен». Что ж, бывают и худшие разновидности человеческих особей.— Он издал легкий смешок.— Пожалуй, я и сам мог бы считать себя таковым — когда-то, давным-давно.

Джереми испытующе посмотрел на него.

— Вы не Уильям ли Проптер, а? — спросил он.— «Очерки о Контрреформации» часом не ваши?

Его собеседник чуть поклонился.

Джереми поглядел на него в изумлении и восторге. Да разве это возможно? — спрашивал он себя. Эти «Очерки» были одной из его любимых книг — образцовой, как он всегда считал, в своем роде.

— Обалдеть можно! — вслух сказал он, намеренно и как бы в кавычках употребляя школьное словцо. Он давно обнаружил, что и в разговоре, и на

письме можно добиться замечательного эффекта, если с толком употребить в культурном, серьезном контексте какую-нибудь жаргонную фразочку, ввернуть что-нибудь по-детски невежественное и беспардонное.— Будь я проклят! — снова выпалил он, и нарочитая глуповатость этих реплик заставила его погладить лысину и откашляться.

Опять наступило молчание. Затем, вместо того чтобы заговорить об «Очерках», как ожидал Джереми, Проптер покачал головой и сказал:

— Да мы почти все.

— Что почти все? — спросил Джереми.

— Обалдели,— ответил Проптер.— И прокляты. В психологическом смысле слова,— добавил он.

Ореховая рощица кончилась, и впереди, по правому борту, опять показалось Чудище. Проптер кивнул в его сторону.

Бедняга Джо Стойт! промолвил он.- Это ж надо повесить себе на шею такой жернов! Не говоря уж обо всех остальных жерновах в придачу. Нам с вами здорово повезло, правда? Ведь у нас никогда не было возможности стать чем-нибудь похуже ученого и джентльмена! — И, еще немного помолчав, продолжал с улыбкой: — Бедняга Джо. К нему эти определения никак не подходят. Вам он покажется труднопереносимым. Ведь он наверняка станет вам грубить, просто потому, что людей вашего типа по традиции уважают больше, чем его. К тому же,— добавил он, глядя Джереми в лицо со смешанным выражением симпатии и сочувствия,— вы, вероятно, из тех, кто сам располагает ко всякого рода нападкам. Боюсь, кроме ученого и джентльмена, вы еще и немножко мученик.

Слегка задетый нетактичностью нового знакомого и одновременно тронутый его дружелюбием, Джереми натянуто улыбнулся и кивнул.

— Возможно,— продолжал Проптер,— возможно, Джо Стойт будет меньше действовать вам на нервы, если вы узнаете, что заставило его обалдеть именно на такой лад.— И он снова указал на Чудище.- Мы с ним вместе ходили в школу, Джо и я,— только тогда-то никто его по имени не звал. Мы звали его Квашня или Пузо. Потому что, как вы понимаете, Джо был нашим школьным толстяком, единственным толстяком среди нас в те годы.— Он чуть помолчал, затем продолжал другим тоном: — Я часто думал, отчего это над толстяками всегда смеются. Вероятно, в самой излишней полноте кроется что-то неладное. Нет, например, ни одного святого, который был бы толстяком, кроме, конечно, Фомы Аквинского; но я не вижу оснований считать Фому настоящим святым, святым в популярном смысле слова, а это, между прочим, и есть его истинный смысл. Если Фома святой, то Винсент де Поль *— нет. А если святой — Винсент, в чем нет никаких сомнений, тогда нельзя считать святым Фому. И, возможно, его толстый живот сыграл здесь свою роль. Кто знает? Впрочем, все это пустяки. Мы ведь говорили о Джо Стойте. А бедняга Джо, как я уже сказал, был толстяком и, будучи таковым, служил нам вечной мишенью для насмешек. Боже, как мы карали его за его гормональные нарушения! А его отклик оказался таким, что хуже не придумаешь. Сверхкомпенсация... Ну вот я и дома,— добавил он, выглядывая из окошка: автомобиль сбавил скорость и остановился перед маленьким белым бунгало посреди небольшой эвкалиптовой кущи.— Мы еще побеседуем об этом в другой раз. Но не забудьте, если бедняга Джо чересчур обнаглеет, вспомните, кем он был в школе, и пусть вам станет жалко его — его, а не себя.

Он выбрался из машины, хлопнул дверцей и, помахав шоферу, быстро пошел по тропинке к домику.

Автомобиль тронулся дальше. Озадаченный и в то же время приободренный встречей с автором «Очерков», Джереми сидел, спокойно глядя в окно. Они были уже совсем близко от Чудища, и вдруг он в первый раз заметил, что холм с замком окружены рвом. В нескольких стах ярдов от края воды автомобиль проехал меж двух колонн, увенчанных геральдическими львами. В это мгновение он, очевидно, пересек невидимый луч, направленный на фотоэлемент, ибо не успели они миновать львов, как подъемный мост начал опускаться. За пять секунд до того как они достигли

рва, мост лег на место; машина прокатила по нему и затормозила у главных ворот во внешней стене замка. Шофер вышел и, сняв телефонную трубку, удобно укрытую в одной из бойниц, доложил о прибытии. Бесшумно поднялась хромированная решетка, распахнулись двери из нержавеющей стали. Они въехали внутрь. Машина стала подниматься в гору. Во второй линии укреплений тоже имелись ворота, автоматически раскрывшиеся при их приближении. Между внутренней стороной этой второй стены и склоном холма был сооружен железобетонный мост, на котором легко умещался теннисный корт. Внизу, в тени, Джереми заметил что-то знакомое. Секундой позже он опознал копию Лурдского грота *.

— Мисс Монсипл — католичка,— заметил шофер, ткнув пальцем в сторону грота.— Вот он и сделал его для нее. У *нас-то* в семье все пресвитериане,— добавил он.

— А кто такая мисс Монсипл?

Шофер замялся.

— Это молодая леди, она вроде как дружит с мистером Стойтом,— наконец пояснил он; потом сменил тему.

Они по-прежнему ехали в гору. За гротом оказался большой кактусовый сад. Потом дорога завернула на северный склон холма, и кактусы сменились травой и кустарником. На небольшой терраске, словно сойдя со страниц какого-нибудь мифического журнала мод для жительниц Олимпа, стояла сверхэлегантная нимфа работы Джамболоньи *; из ее безупречно отполированных грудей извергались две водяные струи. Чуть поодаль, за проволочной сеткой, сидели среди камней или прохаживались, бесстыдно демонстрируя голые зады, несколько бабуинов.

Все еще поднимаясь, автомобиль снова повернул и добрался наконец до круглой бетонной площадки, вынесенной на кронштейнах над пропастью. Сняв шляпу, шофер опять разыграл сценку приветствия старозаветным слугой юного плантатора, прибывшего в свои владения, затем начал разгружать багаж.

Джереми Пордидж подошел к балюстраде и заглянул вниз. Под площадкой был почти отвесный обрыв футов в сто, потом склон круто сбегал к внутренней кольцевой стене, а за нею — к внешним укреплениям. Дальше блестел ров, а на другом его берегу раскинулись апельсиновые сады. «Im dunklen Laub die goldn' Orangen glühen» [1],— пробормотал он про себя, а затем: — «Меж ветвей блестят они. Как фонарики в тени» *. У Марвелла, решил он, лучше, чем у Гёте. И апельсины словно заблестели ярче, обрели бóльшую значимость. Джереми всегда было трудно переваривать прямые, непосредственные впечатления, это всегда более или менее выводило его из равновесия. Жизнь становилась безопасной, вещи обретали смысл, только если их переводили в слова и заключали в книжный переплет. Апельсины заняли подобающее место; но замок? Он обернулся и, опершись на парапет, посмотрел вверх. Чудище нависало над ним, громадное, наглое. Нет, с *этим* в поэзии никто дела не имел. Ни Чайлд Роланд, ни Король Фулы, ни Мармион, ни леди Шалотт, ни сэр Леолайн *. Сэр Леолайн, повторил он про себя с удовлетворением знатока, смакующего романтическую абсурдность, сэр Леолайн, богатый феодал, чей замок — как там? — пес беззубый охранял. Но у мистера Стойта не было беззубого пса — у него были бабуины и Священный грот, у него была хромированная решетка и бумаги Хоберков, у него было кладбище, похожее на увеселительный парк, и башня, похожая на...

Внезапно послышался раскатистый шум; огромные, обитые гвоздями двери в глубине раннеанглийского портика разъехались, и на площадку, словно подхваченный ураганом, вылетел плотный краснолицый человечек с густой снежно-белой шевелюрой. Коротышка устремился прямо к Джереми, нисколько не меняясь в лице. Оно сохраняло то замкнутое, хмурое выражение, при помощи которого американские деловые люди, игнорируя общепринятые любезности, сразу дают иностранцам понять, что они жители свободной страны и на мякине их не проведешь.

---

[1] К листве, горя, там померанцы льнут («Миньона», пер. С. Шервинского).

Поскольку Джереми воспитывали не в свободной стране, он автоматически заулыбался навстречу этому несшемуся на него человеку, в котором угадал своего хозяина и работодателя. Обескураженный непоколебимой мрачностью его лица, он вдруг почувствовал свою улыбку — почувствовал, что она неуместна, что с нею он, должно быть, выглядит круглым дураком. Глубоко смущенный, он попытался прогнать ее.

— Мистер Пордидж? — хриплым, лающим голосом спросил незнакомец.— Рад видеть. А я Стойт.— Во время рукопожатия он по-прежнему пристально, без улыбки вглядывался Джереми в лицо.— Вы старше, чем я думал,— прибавил он.

Во второй раз за это утро Джереми воспроизвел свою самоуничижительную позу, извиняющуюся позу манекена.

— Гонимый ветром палый лист,— сказал он.— Годы берут свое. Годы...

Стойт оборвал его.

— Сколько вам лет? — громким повелительным тоном, точно полицейский сержант у пойманного воришки, спросил он.

— Пятьдесят четыре.

— Всего пятьдесят четыре? — Стойт покачал головой.— В пятьдесят четыре еще молодцом надо быть. Как у вас с половой жизнью? — неожиданно спросил он.

В замешательстве Джереми попытался отшутиться. Он замигал; он похлопал себя по лысине.

— Mon beau printemps et mon été ont fait le sault par la fenêtre [1],— процитировал он.

— Чего? — нахмурясь, сказал Стойт.— Со мной по-иностранному говорить без толку. У меня и образования-то нету.— Внезапно он разразился неприятным, резким смехом.— У меня тут нефтяная компания,— сказал он.— Две тысячи бензозаправок в одной только Калифорнии. И работают там сплошь выпускники колледжей.— Он снова торжествующе расхохотался.— Подите поговорите по-иностранному с ними! — На миг он умолк, затем, сменив тему по какой-то неясной ассоциации, продолжал: — Мой агент в Лондоне — ну, который обделывает там мои дела,— сказал мне ваше имя. Что вы самый подходящий человек для этих... как их там? В общем, для документов, которые я купил этим летом. Чьи они — Робуков? Хобуков?

— Хоберков,— поправил Джереми и с мрачным удовлетворением отметил, что он был абсолютно прав. Этот человек никогда не читал его книг, даже никогда не слыхал о его существовании. Между прочим, не следует забывать, что в детстве у него была кличка Пузо.

— Хоберков,— с презрительным нетерпением повторил Стойт.— Короче, он сказал, что вы годитесь.— Потом, без паузы или перехода: — Так что вы имели в виду насчет половой жизни, когда говорили не по-нашему?

Джереми смущенно засмеялся.

— Я хотел сказать, для моего возраста... В общем, все нормально.

— Да вы-то почем знаете, что нормально для вашего возраста? — возразил Стойт.— Подите спросите об этом у дока Обиспо. Бесплатно. Он на жалованье. Домашний врач.— Резко меняя предмет разговора, он спросил: — Хотите посмотреть замок? Я вас проведу.

— О, это очень мило с вашей стороны,— бурно поблагодарил Джереми. Затем, желая завязать легкую вежливую беседу, добавил: — А я уже побывал у вас на кладбище.

— У меня на кладбище? — повторил Стойт с подозрением в голосе; подозрение вдруг обернулось гневом.— Что это значит, черт возьми? — завопил он.

Напуганный такой вспышкой ярости, Джереми пробормотал что-то насчет Беверли-пантеона и финансового участия мистера Стойта в этой компании, о котором он узнал от шофера.

---

[1] Моя весна, а с ней и лето исчезли, выпрыгнув в окно *(франц.)*.

— Понятно,— произнес Стойт, отчасти успокоившись, но все еще хмурясь.— А я думал, вы про то...— Он оборвал фразу на середине, так и оставив Джереми в недоумении.— Пошли,— рявкнул он и, сорвавшись с места, понесся к дверям.

Глава третья

В шестнадцатой палате «Приюта Стойта для больных детей» царила сумрачная тишина; солнечный свет едва пробивался сквозь опущенные жалюзи. Дети отдыхали после завтрака. Трое из пяти выздоравливающих спали. Четвертый лежал, разглядывая потолок и задумчиво ковыряя в носу. Пятая, маленькая девчушка, нашептывала что-то кукле, такой же белокурой арийке, как и она сама. Устроившись у одного из окон, молоденькая сестра с головой погрузилась в последний выпуск «Откровенных признаний».

«Сердце его дрогнуло,— читала она.— Со сдавленным криком он прижал меня к себе. Несколько месяцев пытались мы противостоять этому; но магнит нашей страсти был слишком силен. Его настойчивые губы зажгли ответный огонь в моем ослабевшем теле.

— Жермен,— прошептал он.— Не отталкивай меня. Сейчас ты пожалеешь меня, правда, милая?

Он был нежен и одновременно жесток — но именно такой жестокости и ждет от мужчины влюбленная девушка. Я почувствовала, как меня уносит потоком...»

В коридоре послышался шум. Дверь в палату распахнулась, словно под порывом ураганного ветра, и кто-то ворвался внутрь.

Сестра удивленно подняла глаза, с мучительным трудом оторвавшись от захватывающей «Цены чувства». Резкий переход к действительности почти немедленно вызвал гневную реакцию.

— Это еще что такое? — негодующе начала она; потом признала вошедшего и сразу сменила тон: — Ах, мистер Стойт!

Задумчивый малыш перестал ковырять в носу и повернул голову на шум, а девочка бросила шептаться с куклой.

— Дядюшка Джо! — одновременно закричали они.— Дядюшка Джо!

Остальные, проснувшись, подхватили крик.

— Дядюшка Джо! Дядюшка Джо!

Стойт был тронут таким теплым приемом. Его лицо, прежде подавлявшее Джереми своей мрачностью, расплылось в улыбке. Шутливо протестуя, он закрыл уши руками.

— Сейчас оглохну! — воскликнул он. Затем тихо пробормотал в сторону, сестре: — Бедные детишки! Прямо аж до слез пробирает.— Голос его стал хриплым от волнения.— Как подумаешь, до чего они были больные...— Он покачал головой, не закончив фразы; потом продолжал другим тоном, махнув мясистой рукой в сторону Джереми Пордиджа, который вошел за ним в палату и остановился у двери: — Да, кстати. Это мистер... мистер... Черт! Забыл ваше имя.

— Пордидж,— сказал Джереми и напомнил себе, что Стойта некогда звали Квашней.

— Ну да, Пордидж. Спросите его про историю и литературу,— насмешливо посоветовал он сестре.— Он их знает насквозь.

Джереми начал было скромно уточнять, что в его компетенцию входит лишь период от опубликования «Оссиана» до смерти Китса *, но Стойт уже вновь отвернулся от него к детям и громким голосом, в котором потонули певучие пояснения его спутника, воскликнул:

— Угадайте, что Дядюшка Джо вам принес!

Стали угадывать. Конфеты, жвачку, воздушные шарики, морскую свинку. Стойт, довольный, на все отрицательно качал головой. Наконец, когда ресурсы детского воображения были исчерпаны, он полез в карман своей старой твидовой тужурки и извлек оттуда сначала свисток, затем губную гармошку, затем маленькую музыкальную шкатулку, затем трубу, затем

деревянную погремушку, затем автоматический пистолет. Последний он, однако, поспешно сунул обратно.

— А теперь сыграем,— сказал он, раздав инструменты.— Ну-ка, все вместе. Раз, два, три.— И, отбивая ладонями такт, запел «Вниз по реке Суони».

На этом заключительном аккорде в длинной цепи потрясений и неожиданностей кроткое лицо Джереми приняло еще более очумелый вид.

Ну и утро! Прибытие на рассвете. Чернокожий шофер. Бесконечные пригороды. Беверли-пантеон. Чудище среди апельсиновых деревьев и знакомство с Уильямом Проптером и с этим ужасным Стойтом. Потом, внутри замка, Рубенс и великий Эль Греко в холле, Вермеер в лифте, гравюры Рембрандта по стенам в коридорах, Винтергальтер * в буфетной.

Потом будуар мисс Монсипл в стиле Людовика XV, с Ватто *, двумя Ланкре * и оснащенным по последнему слову техники сатуратором в нише рококо, и мисс Монсипл собственной персоной, попивающая малиновую и мятную газировку с мороженым у своего личного маленького бара. Его представили, он отверг аппетитный пломбир и, словно влекомый ураганом, был на предельной скорости унесен дальше, обозревать прочие достопримечательности. Например, комнату отдыха с фресками Серта *, изображающими слонов. Библиотеку с резьбой по дереву Гринлинга Гиббонса *, но без книг, поскольку Стойт еще не удосужился их приобрести. Малую столовую с Фра Анджелико * и мебелью из Брайтонского павильона *. Большую столовую, оформление которой воспроизводило внутреннее убранство мечети в Фатехпур-Сикри. Залу для танцев с зеркалами и кессонированным потолком. Витражи тринадцатого столетия в сортире на двенадцатом этаже. Гостиную с картиной Буше * «La petite Morphil» [1], повешенной вверх ногами над розовым атласным диваном. Молитвенную, куда перевезли по частям из Гоа всю тамошнюю часовню, и ореховую исповедальню, которой пользовался в Аннеси св. Франсуа де Саль *. Бильярдную в функциональном стиле *. Закрытый бассейн. Бар времен Второй империи * с обнаженными Энгра. Два гимнастических зала. Сциентистскую комнату-читальню, посвященную памяти усопшей миссис Стойт. Зубной кабинет. Турецкую баню. Потом, вместе с Вермеером, вниз, в недра холма,— взглянуть на хранилище, где сложены бумаги Хоберков. Снова вниз, еще глубже, к надежно замкнутым погребам, силовым установкам, агрегатам для кондиционирования, колодцу и насосной станции. Потом опять вверх, на уровень земли, в кухню, где шеф-повар, китаец, показал мистеру Стойту только что доставленную партию черепах с островов Карибского моря. Еще вверх, на пятнадцатый этаж, в комнату, которую отвели Джереми на время его пребывания здесь. Еще шестью этажами выше, в рабочий кабинет, где Стойт отдал секретарше несколько распоряжений, продиктовал пару писем и имел долгий телефонный разговор со своими посредниками в Амстердаме. А когда все это кончилось, подошел час визита в больницу.

Тем временем в шестнадцатой палате собралась кучка сестер — они наблюдали, как дядюшка Джо с разлетающейся, словно у Стоковского *, белой гривой неистовыми взмахами рук понуждает детей извлекать из своих инструментов все более отчаянную какофонию.

— Сам-то ровно как ребенок,— растроганно, почти нежно сказала одна из них.

Другая, явно с литературными наклонностями, сообщила, что это напоминает ей сцену из Диккенса. «Как вы считаете?» — требовательно осведомилась она у Джереми.

Тот нервно улыбнулся и сделал неопределенное, уклончивое движение головой, которое можно было истолковать как кивок.

Третья, более практичная, пожалела, что не захватила с собой «кодак». Неофициальный снимок президента «Консоль ойл», Калифорнийской корпорации «Земля и недра», Тихоокеанского банка, «Кладбищ Западного

---

[1] «Малютка Морфиль» *(франц.)*.

побережья» и т. д., и т. д. ... Она отбарабанила названия главных предприятий Стойта не без иронии, но и со смаком, как убежденный легитимист, обладающий чувством юмора, мог бы перечислять титулы испанского гранда. За такую фотографию газеты дали бы хорошие деньги, уверяла она. И в подтверждение своим словам принялась объяснять, что у нее есть дружок, который работал с рекламной фирмой, и уж он-то знает, а ведь всего неделю назад он говорил ей, что...

Когда Стойт выходил из больницы, его бугристое лицо все еще лучилось довольством и доброжелательностью.

— Поиграешь с детишками, и так на душе славно,— то и дело повторял он Джереми.

От дверей больницы к дороге вела широкая лестница. У ее подножия ждал голубой «кадиллак» Стойта. Рядом с ним стоял другой автомобиль, поменьше,— когда они приехали, его здесь не было. Как только Стойт увидел чужую машину, его сияющее лицо омрачилось подозрением. Похитители детей, шантажисты — все может быть. Рука его опустилась в карман. «Кто там?» — заорал он так громко и свирепо, что Джереми на миг испугался, уж не спятил ли он ни с того ни с сего.

Из окошка автомобиля выглянула большая лунообразная курносая физиономия, которую украшали изжеванный окурок сигары и расплывшаяся вокруг него улыбка.

— А, это ты, Клэнси,— сказал Стойт.— Почему мне не доложили, что ты здесь? — продолжал он. Его лицо густо покраснело; он нахмурился, и щека у него начала подергиваться.— Я не люблю, когда вокруг разъезжают чужие машины. Понял, Питерс? — завопил он на своего шофера — конечно, не потому, что тот был в чем-нибудь виноват, а просто потому, что он оказался рядом, подвернулся под горячую руку.— Понял, я спрашиваю? — Тут он вдруг вспомнил, что говорил ему доктор Обиспо в прошлый раз, когда шофер вот так же вывел его из себя. «Значит, вы и впрямь хотите сократить себе жизнь, мистер Стойт?» Доктор говорил прохладным, вежливым тоном, но как бы слегка забавляясь; улыбался с саркастической снисходительностью. «Значит, вам и вправду не терпится заработать удар? Между прочим, уже второй; а ведь в следующий раз вы одним испугом не отделаетесь. Ну что ж, коли так, продолжайте в том же духе. Продолжайте». Громадным усилием воли Стойт подавил в себе злобу. «Бог есть любовь,— сказал он про себя.— Смерти нет» *. Его покойная супруга, Пруденс Макглэддери Стойт, была христианкой-сциентисткой. «Бог есть любовь»,— повторил он и подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему не приходилось бы терять самообладание. «Бог есть любовь». Это все они виноваты.

Тем временем Клэнси вылез из машины и стал взбираться по ступенькам — нелепое толстопузое существо на тонких ножках, таинственно улыбающееся и подмигивающее.

— В чем дело? — спросил Стойт, от всего сердца желая, чтобы этот идиот перестал наконец гримасничать.— Да, кстати,— добавил он,— это мистер... мистер...

— Пордидж,— сказал Джереми.

Клэнси был рад познакомиться. Рука, протянутая Джереми, оказалась неприятно липкой.

— У меня для вас но́вости,— хриплым, заговорщическим шепотом произнес Клэнси и, приставив ладонь ко рту, чтобы его слова и сигарная вонь доставались только Стойту, спросил: — Знаете Титтельбаума?

— Это из городской инженерной службы?

Клэнси кивнул.

— Один из тех самых ребят,— загадочно пояснил он и снова подмигнул.

— Ну и что он? — спросил Стойт, и, несмотря на то, что Бог есть любовь, в голосе его вновь послышалась нотка сдерживаемой ярости.

Клэнси бросил взгляд на Джереми Пордиджа, затем с тщательно разработанной мимикой Гая Фокса, беседующего с Кейтсби * на сцене

провинциального театра, взял Стойта за локоть и отвел в сторонку, на несколько ступеней выше.

— Знаете, что Титтельбаум мне сегодня сказал? — риторически спросил он.

— Откуда мне знать, черт подери?

(Стоп. Бог есть любовь. Смерти нет.)

Игнорируя признаки надвигающейся вспышки, Клэнси продолжал гнуть свою линию.

— Он сказал мне, что они там решили насчет...— он еще больше понизил голос,— насчет долины Сан-Фелипе.

— Ну так *что* же они решили? — Стойт опять был на грани срыва.

Прежде чем ответить, Клэнси вынул изо рта окурок, выбросил его, извлек из жилетного кармана новую сигару, сорвал с нее целлофановую обертку и сунул, не зажигая, на то же место, где была старая.

— Они решили,— сказал он очень медленно, чтобы каждое слово звучало как можно выразительнее,— они решили провести туда воду.

Негодование на лице Стойта наконец сменилось интересом.

— Хватит, чтобы оросить всю долину? — спросил он.

— Хватит, чтобы оросить всю долину,— торжественно повторил Клэнси.

Последовала пауза. Потом Стойт спросил:

— Сколько у нас времени?

— Титтельбаум считает, что об этом не пронюхают еще месяца полтора.

— Полтора месяца? — Стойт чуть помешкал, затем решился.— Хорошо. Займись этим не откладывая,— сказал он повелительным тоном человека, привыкшего командовать.— Отправляйся в город сам и возьми с собой еще людей. Независимые покупатели; хотите заняться скотоводством; построить ранчо для отдыхающих. Покупай сколько сможешь. Кстати, как сейчас идет эта земля?

— Примерно по двенадцать долларов акр.

— Двенадцать,— повторил Стойт и прикинул в уме, что цена подскочит до сотни, как только начнут прокладывать трубы.— И сколько, по-твоему, ты сможешь скупить?

— Тысяч тридцать, наверно.

Лицо Стойта просветлело от удовольствия.

— Хорошо,— бросил он.— Прекрасно. Меня, конечно, не упоминать,— добавил он и затем, без всякой паузы или перехода, спросил: — Сколько хочет Титтельбаум?

Клэнси презрительно улыбнулся.

— Кину ему сотни четыре-пять.

— Так мало?

Его собеседник кивнул.

— Титтельбаум продается по дешевке,— сказал он.— Щеки надувать не станет. Ему деньги нужны позарез.

— Зачем? — спросил Стойт, который питал профессиональный интерес к человеческим слабостям.— Игра? Женщины?

Клэнси покачал головой.

— Врачи,— объяснил он.— У него ребенок парализованный.

— Парализованный? — с искренним сочувствием отозвался Стойт.— Бедняга.— Он немного помедлил; затем, во внезапном порыве великодушия, широким жестом указал на больницу: — Пусть пришлет ребенка сюда. Это лучший стационар в штате по детскому параличу, а платить за лечение ему не придется. Ни цента.

— Черт возьми, ну вы даете,— восхищенно сказал Клэнси.— Вы благородный человек, мистер Стойт.

— Пустяки,— ответил Стойт, направляясь к автомобилю.— Я рад, что могу это сделать. Помнишь, как там в Библии сказано про детей. И потом,— добавил он,— когда я навещаю этих детишек, мне так хорошо становится. Вроде как душу греет.— Он похлопал себя по бочкообразной

груди.— Передай Титтельбауму, пусть напишет бумагу на ребенка. И привези мне лично. Я прослежу, чтоб обошлось без задержек.— Он забрался в машину и хлопнул дверцей; потом, наткнувшись взглядом на Джереми, без единого звука снова распахнул ее. Бормоча что-то извиняющееся, Джереми вскарабкался на сиденье. Стойт опять захлопнул дверцу, опустил стекло и выглянул.

— Пока,— сказал он.— И не теряй времени с этим делом насчет Сан-Фелипе. Поработай на совесть, Клэнси; получишь десять процентов площади, которая пойдет сверх двадцати тысяч акров.

Он поднял стекло и велел шоферу трогаться. Машина выехала на дорогу к замку. Откинувшись на спинку сиденья, Стойт размышлял о бедных детишках и о деньгах, которые он заработает на покупке земли в долине Сан-Фелипе.

— Бог есть любовь,— повторил он еще раз во внезапном прозрении, отчетливым шепотом.— Бог есть любовь. — Джереми стало страшно неловко.

Опустился перед голубым «кадиллаком» подъемный мост, поднялась хромированная решетка, раздвинулись створки ворот во внутренней крепостной стене. Семеро китайчат, дети шеф-повара, катались на роликовых коньках по бетонному теннисному корту. Внизу, в Священном гроте, работала бригада каменщиков. Увидев их, Стойт скомандовал шоферу остановиться.

— Гробницу для монашек строят,— сказал он Джереми, когда они вышли из машины.

— Для монашек? — удивленно отозвался Джереми.

Стойт кивнул и пояснил, что его агенты в Испании купили скульптуры и металлические украшения из часовни одного монастыря, разрушенного анархистами в начале гражданской войны.

— А заодно прислали и несколько монашек,— добавил он.— В смысле, бальзамированных. А может, они просто на солнце высохли, не знаю уж. Короче, привезли их. К счастью, у меня нашлась отличная штука, куда их упаковать.

Он указал на надгробие, которое каменщики пристраивали к южной стене Грота. На мраморной плите над большим римским саркофагом стояли изваянные безвестным камнерезом времен Якова I * фигуры джентльмена и леди — оба в круглых плоеных воротниках, коленопреклоненные,— а за ними, в три ряда по три, девять дочерей, от великовозрастных до самых маленьких.

— «Hic jacet Carolus Franciscus Beals, Armiger [1]...» — принялся читать Джереми.

— В Англии купил, два года назад,— оборвал его Стойт. Потом повернулся к рабочим.— Когда закончите, ребята? — спросил он.

— Завтра днем. А может, нынче к вечеру.

— Ладно, валяйте,— сказал Стойт, отворачиваясь.— Надо вытащить этих монашек со склада,— объяснил он по дороге к машине.

Они тронулись дальше. Крохотный колибри, повиснув в воздухе на почти невидимых трепещущих крылышках, приник к струе, которую нимфа Джамболоньи извергала из своей левой груди. Со стороны загона для бабуинов донеслись пронзительные вопли — там дрались и совокуплялись. Стойт закрыл глаза. «Бог есть любовь,— повторил он, надеясь продлить восхитительное состояние эйфории, которую вызвали у него бедные детки и хорошие вести от Клэнси.— Бог есть любовь. Смерти нет». Он ожидал, что от этих слов по нутру его опять разольется тепло, словно после глотка виски. Но вместо этого, точно его разыгрывал какой-то зловредный бесенок, он обнаружил, что думает о высохших, как мертвые ящерицы, трупах монашек и о своем собственном трупе, о Страшном Суде и о геенне. Пруденс Макглэддери Стойт была сциентисткой; но Джозеф Бадж Стойт, его отец, был гласситом *, а Летиция Морган, его бабка по матери,

---

[1] Здесь покоится Чарльз Франсис Билз, эсквайр *(лат.)*.

всю жизнь оставалась плимутской сестрой *. Над его кроватью, в мансарде маленького домика в Нашвилле, Теннесси, висело написанное ярко-оранжевыми буквами на черном фоне изречение из Библии: «Страшно впасть в руки Бога живаго» *. «Бог есть любовь,— отчаянно твердил Стойт.— Смерти нет». Но для подобных ему грешников вечно живым будет только червь.

«Если все время бояться смерти,— говорил Обиспо,— то и впрямь умрешь. Страх — это яд, и не такой уж медленный».

Сделав еще одно громадное усилие, Стойт вдруг принялся насвистывать. Он насвистывал песенку «Как славно обниматься при луне», но, взглянув на него, Джереми поспешно отвел глаза, словно увидел что-то жуткое и постыдное, ибо лицо его спутника было лицом приговоренного к смерти.

— Зануда чертов,— пробормотал себе под нос шофер, наблюдая, как патрон выбирается из машины и идет к дому.

Молча, стремительно — Джереми едва поспевал за ним — Стойт миновал готический портал, пересек прихожую в романском стиле с колоннадой, как у часовни Богоматери в Дареме, и, не снимая надвинутой на глаза шляпы, ступил в сумрачную тишь огромной залы.

Шаги вошедших отдавались эхом в сотне футов над ними, под самым куполом. Вдоль стен недвижно, как привидения, стояли железные рыцари. Вверху растворяли окна в густолиственный мир фантазии роскошно-тусклые гобелены пятнадцатого века. В одном конце залы, похожем на пещеру, сияло выхваченное из тьмы скрытым прожектором «Распятие св. Петра» Эль Греко — словно чудесное откровение, символ чего-то непостижимого и глубоко зловещего. В другом, освещенном не менее ярко, висел портрет Элен Фурман * во весь рост — на ней была лишь накидка из медвежьей шкуры. Джереми перевел глаза с одной картины на другую — с эктоплазмы * распинаемого вниз головой святого * на самую реальную, кровь с молоком, человеческую плоть, которую так любил видеть и осязать Рубенс; с тела в лоскутах неземных цветов, зеленовато-белой охры и кармина, оттененных прозрачной чернотой, на теплые розовые и кремовые, перламутрово-голубые и зеленые тона фламандской обнаженной натуры. Два сияющих символа, необычайно глубоких и выразительных,— но что же они символизируют, что? Это оставалось тайной.

Стойт не обратил внимания ни на одно из своих сокровищ и прошагал через залу, мысленно проклиная усопшую жену за то, что своей верой в вечную жизнь она навела его на мысль о смерти.

Дверь лифта находилась в нише между колоннами. Стойт открыл ее, зажегся свет, и они увидели перед собой голландскую даму в голубом шелку, сидящую за клавесином — сидящую, подумал Джереми, в самом центре равновесия, в мире, где стали одним целым красота и логика, живопись и аналитическая геометрия. Но ради чего? Какие истины о природе вещей нашли здесь свое символическое выражение? И тут была тайна. Где искусство, сказал себе Джереми, там всегда тайна.

— Закройте дверь,— приказал Стойт; затем, когда приказ был выполнен, добавил: — Искупаемся перед ленчем,— и нажал самую верхнюю в длинном ряду кнопок.

Глава четвертая

В апельсиновой роще уже работало больше десятка семей, когда сезонник из Канзаса с женой, тремя детьми и рыжим псом поспешил вдоль посадок к участку, назначенному ему надсмотрщиком. Они шли молча, потому что им было нечего сказать друг другу и не хотелось тратить силы на разговоры.

Всего полдня, думал мужчина; всего четыре часа до конца работы. Им еще повезет, если они успеют заработать хоть семьдесят пять центов. Семьдесят пять центов. Семьдесят пять центов; а ведь правая передняя

шина долго не протянет. Если они хотят ехать дальше на Фресно, а потом на Салинас, придется сменить ее. Но даже самая дрянная старая шина стоит денег. А деньги — это еда. Ух и жрут же они! — с внезапной злостью подумал он. Если б он был один, если б ему не надо было таскать с собой ребят и Минни, он мог бы открыть какую-никакую торговлишку. Рядом с шоссе, чтобы можно было заработать на продаже яиц, фруктов и всякой всячины тем, кто ездит мимо; продавать гораздо дешевле, чем на рынке, и все-таки иметь неплохой доход. А потом он, наверное, смог бы купить корову и пару свиней; а потом нашел бы себе деваху — такую толстую, он любит, когда потолще: толстую, молодую и с...

Его жена снова раскашлялась; не дала помечтать. Ох и жрут! Сами столько не стоят. Трое ребят, и все слабые. Да еще Минни сидит на шее со своими болячками, приходится за нее вкалывать!

Пес остановился понюхать столб. С неожиданным, удивительным проворством канзасец сделал два быстрых шага вперед и пнул животное прямо в ребра. «Ты, гад! — крикнул он.— Пшел с дороги!» Взвизгнув, пес отбежал прочь. Канзасец повернул голову, надеясь поймать на детских лицах выражение жалости или неодобрения. Но горький опыт научил детей не давать ему повода переключиться с собаки на них. Все три маленьких, бледных личика глядели из-под взъерошенных волос с полнейшим безучастием и апатией. Глухо пробормотав себе под нос, что всыплет им как следует, если они не будут стараться, мужчина разочарованно отвел глаза. Их мать даже не обернулась. Она шла прямо вперед, болезнь и усталость не позволяли ей отвлекаться. Опять наступило молчание.

Вдруг младшая девочка пронзительно вскрикнула. «Смотрите!» — показывала она. Впереди стоял замок. На верхушке самой большой его башни виднелась тонкая, словно паутина, металлическая конструкция с несколькими площадками; последняя площадка была футов на двадцать — тридцать выше парапета. Там, на фоне яркого голубого неба, чернела крохотная человеческая фигурка. Они увидели, как фигурка подняла над головой руки и ласточкой полетела вниз, исчезнув за зубчатой кромкой башни. Вырвавшийся у детей пронзительный возглас удивления дал канзасцу тот самый повод, какого он тщетно искал минуту назад. Теперь можно было отвести душу. «Кончайте орать!» — заорал он; потом набросился на них, раздавая подзатыльники. С огромным трудом женщина вынырнула из бездны своей всепоглощающей усталости; она остановилась, поглядела назад, протестующе вскрикнула, поймала мужа за руку. Он так свирепо оттолкнул ее, что она чуть не упала.

— И ты тоже хороша,— закричал он на нее.— Валяешься только да жрешь. Не напасешься на тебя. Осточертели вы мне все, ясно? Осточертели,— повторил он.— И заткнитесь у меня, поняли?

После разрядки на сердце у него заметно полегчало; он отвернулся и быстро зашагал вдоль рядов усыпанных апельсинами деревьев, зная, что его жене будет очень трудно поспеть за ним.

Из бассейна на верху башни открывался изумительный вид. Стоило вам, лежа на спине в прозрачной воде, повернуть голову, как вы видели в проемах между зубцами сменяющие друг друга равнины и горы, зеленые, рыжие, лиловые и светло-голубые. И вы лежали, глядели и думали — при условии, что вы были Джереми Пордиджем,— о той самой башне из «Эпипсихидиона» *, окна которой

> Глядели на златой восток,
> Поднявшись вровень с буйными ветрами.

Разумеется, если вы были мисс Вирджинией Монсипл, дело обстояло иначе. Вирджиния не лежала, не глядела, не думала об «Эпипсихидионе», а глотнула еще разок виски с содовой, забралась на самую высокую площадку для прыжков, подняла руки, бросилась вниз, скользнула под водой и, вынырнув около ничего не подозревающего Пордиджа, схватила его за пояс и утопила с головой.

— Вы сами напросились,— сказала она, когда Джереми, ловя воздух

и отплевываясь, снова вынырнул на поверхность.— Лежали тут и не двигались, точно какой-нибудь дурацкий Будда.— Ее улыбка была полна снисходительного презрения.

Вечно у Дядюшки Джо какие-то странные гости! Был у него англичанин с моноклем, ходил разглядывал доспехи; потом один заика, картины чистил; потом еще один чудак, который и говорить-то умел только по-немецки,— тот смотрел всякие дурацкие горшки и тарелки; а сегодня вот новый смешной англичанин, похожий на кролика, а голос как песни без слов для саксофона.

Джереми Пордидж сморгнул попавшую в глаза воду и увидел прямо перед собой расплывчатое — потому что был дальнозорок, а очки снял,— смеющееся лицо девушки, а за ним, в перспективе, колеблющиеся, неясные очертания ее тела. Нечасто приходилось ему оказываться в таком близком соседстве с подобным созданием. Он проглотил досаду и улыбнулся ей.

Мисс Монсипл протянула руку и похлопала Джереми по лысой макушке.

— Здорово блестит,— сказала она.— Прямо как слоновая кость. Я знаю, как я вас буду звать: Слоник. Пока, Слоник.— Она отвернулась, подплыла к лестнице, вылезла, подошла к столику, уставленному бутылками и бокалами, допила виски с содовой, потом отошла и присела на кушетку, где, в черных очках и купальных трусах, принимал солнечную ванну мистер Стойт.

— Ну, Дядюшка Джо,— сказала она с игривой нежностью в голосе,— как настроеньице?

— Прекрасно, Детка,— ответил он. Это была правда; солнце растопило его дурные предчувствия; он снова жил в настоящем, в том радужном настоящем, где от тебя зависит счастье больных детей; где есть Титтельбаумы, готовые за пятьсот долларов подарить информацию, стоящую по меньшей мере миллион; где небо голубеет и солнышко ласково пригревает живот; где, наконец, можно очнуться от блаженной дремоты и увидеть малютку Вирджинию, улыбающуюся тебе так, словно она и вправду небезразлична к своему доброму Дядюшке Джо — и, более того, небезразлична не только как к старику — нет, сэр; потому что, в конце-то концов, возраст человека определяется тем, как он себя чувствует и на что он способен; а когда дело касалось Детки, разве он не чувствовал себя молодым? Разве он не был еще кое на что *способен*? Да, сэр. Стойт улыбнулся сам себе; его переполняло самодовольство.

— Порядок, Детка,— сказал он вслух и положил толстую, короткопалую руку на обнаженное колено девушки.

Из-под полуприкрытых век мисс Монсипл украдкой бросила на него понимающий взгляд, в котором как бы сквозил намек на нечто неприличное, известное им одним; потом коротко рассмеялась и потянулась.

— Чудо как хорошо! — сказала она и, совсем закрыв глаза, опустила поднятые руки, соединила их на затылке и расправила плечи. Это была поза, которая выгодно обрисовывала грудь, изгиб живота и, соответственно, плавную округлость ягодиц,— таким позам евнухи в серале обучают новоприбывших перед первой встречей с султаном; и именно такую позу, вспомнил Джереми, случайно глянув в ее сторону, он видел на четвертом этаже Беверли-пантеона у одной из статуй, показавшихся ему особенно неприличными.

Стойт посмотрел на нее сквозь темные очки, взглядом жадным и вместе с тем по-отцовски нежным. Вирджиния была для него деткой не только в переносном, фигуральном смысле слова. Он питал к ней одновременно и чистейшую отеческую любовь, и самую ненасытную страсть.

Он глядел на нее снизу вверх. Сияющая белизна купальника подчеркивала красоту ее темного загара. Все линии крепкого молодого тела перетекали одна в другую легко и плавно; не было ни угловатостей, ни резких переходов. Взгляд Стойта переместился на ее каштановые волосы и скользнул вниз, по скату лба, по широко расставленным глазам и маленькому, вызывающе прямому носику ко рту. Рот был самой замечательной ее

чертой. Потому что как раз благодаря короткой верхней губке лицо мисс Монсипл имело характерное детски-невинное выражение — выражение, которое сохранялось всегда, независимо от того, что она делала: рассказывала сальные анекдоты или беседовала с епископом, пила чай в Пасадене или крепкие напитки в мужском обществе, развлекалась тем, что называла «вкуснятинкой», или слушала́ мессу. В действительности Вирджиния была молодой женщиной, ей уже исполнилось двадцать два; но эта укороченная верхняя губка делала ее похожей на едва вступившую в пору юности, несовершеннолетнюю девочку. На шестидесятилетнего Стойта этот своеобразный порочный контраст между невинным видом и реальной искушенностью действовал чрезвычайно возбуждающе. Вирджиния была деткой в обоих смыслах не только для него; она была такой и объективно, сама по себе.

Восхитительное создание! Рука, до сих пор спокойно лежавшая на ее колене, чуть сжала его. Какой гладкостью, какой роскошной, осязаемой упругостью отозвалось это пожатие в его широких, сильных пальцах!

— Джинни! — сказал он.— Детуля моя!

Детка открыла большие голубые глаза и уронила руки. Напрягшаяся спина расслабилась, приподнятые груди подались вперед и вниз, обмякнув, точно живые существа. Она улыбнулась ему.

— Чего ты щипаешься, Дядюшка Джо?

— Хочу тебя скушать,— отвечал ее добрый Дядюшка Джо с людоедской нежностью.

— Я жесткая.

Стойт издал сентиментальный смешок.

— Ути, малышка, жесткая она у меня! — сказал он.

Жесткая малышка наклонилась и поцеловала его.

В этот миг Джереми Пордидж, который спокойно любовался панорамой, продолжая декламировать про себя «Эпипсихидион», случайно снова обратил взор к лежанке и был настолько смущен увиденным, что чуть не затонул; ему пришлось как следует поработать руками и ногами, чтобы всплыть обратно. Развернувшись в воде, он добрался до лесенки, вылез и, не дав себе времени обсохнуть, поспешил к лифту.

— Однако,— сказал он себе, глядя на Вермеера.— *Однако!*

— А я утром обделал одно дельце,— сказал Стойт, когда Детка снова выпрямилась.

— Что за дельце?

— Славное дельце,— ответил он.— Может принести большие деньги. По-настоящему большие.

— Сколько?

— Может, полмиллиона,— осторожно сказал он, преуменьшая выигрыш, на который надеялся,— может, миллион, а то и больше.

— Дядюшка Джо,— сказала она,— по-моему, ты просто чудо.

В голосе ее прозвучала неподдельная искренность. Она и вправду считала, что он чудо. В привычном ей с детства мире тот, кто умел заработать миллион долларов, непременно должен был быть чудесным человеком. Это единодушно, явным или неявным образом, утверждали все: родители, друзья, учителя, газеты, радио, реклама. А кроме того, Дядюшка Джо положительно нравился Вирджинии. Ведь он так здорово ее тут устроил, и спасибо ему за это. И потом, она всегда относилась к другим с симпатией; любила делать людям приятное. Когда она делала приятное другим, ей тоже становилось хорошо — даже если эти другие были старовaты, вроде Дядюшки Джо, и даже если то, чего они от нее хотели, порой оказывалось не слишком аппетитным.

— По-моему, ты просто чудо,— повторила она.

Дядюшка Джо был чрезвычайно доволен.

— Да тут нет ничего сложного,— с напускной скромностью сказал он, надеясь на дополнительные комплименты.

Вирджиния не заставила его ждать.

— Ну прямо, ничего сложного! — решительно возразила она.— Я же говорю, ты чудо. И помалкивай у меня, ясненько?

Совершенно покоренный, Стойт снова забрал в пригоршню упругую плоть загорелой ноги и нежно пожал ее.

— Если все выйдет как надо, я тебе что-нибудь подарю,— сказал он.— Чего тебе хочется, Детка?

— Чего мне хочется? — повторила она.— Да мне ничего не надо.

Она не притворялась равнодушной. Ибо это была правда: просто так, на спокойную голову, ей никогда ничего не хотелось. Только если она чувствовала, что ей чего-нибудь не хватает — например, газировки с мороженым, или порции «вкуснятинки», или норковой шубки с витрины,— тогда ей действительно ужасно хотелось получить это, причем сразу же, не откладывая. А загадывать наперед, придумывать, что ей хотелось бы получить потом,— нет, так она не умела. Большая часть жизни Вирджинии протекала в наслаждении чередой моментов счастливого настоящего; а если обстоятельства вынуждали ее перейти из этой безмятежной вечности в мир времени, то он оказывался маленькой, тесной вселенной, простирающейся в будущее не более чем на одну-две недели. Даже работая статисткой за восемнадцать долларов в неделю, она не утруждала себя мыслями о деньгах, о финансовой независимости и о том, что будет, если несчастный случай помешает ей демонстрировать свои красивые ноги. А затем появился Дядюшка Джо и с ним все, чего душе угодно, будто оно росло на деревьях — на бассейновом дереве, на фруктово-шоколадном, на парфюмерном. Теперь ей стоит лишь протянуть руку — и желаемое очутится в ней, словно яблоко, которое срываешь, гуляя по родному саду в Орегоне. Так какой же интерес в подарках? Зачем ей чего-то хотеть? И потом, ее равнодушие к подаркам явно доставляло Дядюшке Джо кучу удовольствия, а Дядюшку Джо ей всегда бывало приятно порадовать.

— Честно, Дядюшка Джо, мне ничегошеньки не надо.

— Вот как? — неожиданно раздался поблизости чей-то чужой голос.— Ну так мне надо.

Черноволосый и щеголеватый, в безупречном костюме, к лежанке проворно шагнул доктор Зигмунд Обиспо.

— Точнее,— продолжал он,— мне надо ввести в gluteus medius [1] великого человека одну целую пять десятых кубика тестостерона. Так что давайте-ка, душечка,— сказал он Вирджинии насмешливо, но с оттенком беззастенчивого вожделения,— гуляйте отсюда. Оп! — Он слегка, фамильярно хлопнул ее по плечу и еще раз, когда она встала освободить ему место,— по белому атласу пониже спины.

Девушка живо обернулась, чтобы осадить его; однако, переведя взгляд с волосатой туши, именуемой мистером Стойтом, на привлекательное лицо насмешника, выражающее оскорбительную иронию и в то же время лестное мужское желание, передумала и, вместо того чтобы громко отправить его куда следует, скорчила гримасу и показала ему язык. Прежде чем она успела спохватиться, попытка дать отпор вылилась в поощрение наглеца и демонстрацию солидарности с ним за спиной у Дядюшки Джо. Бедный Дядюшка Джо! — подумала она с приливом нежного сочувствия к славному старичку. На миг ей стало стыдно. Вся беда, разумеется, в том, что Обиспо слишком уж симпатичный; что он умеет рассмешить ее; что ей нравится его восхищение; что ей интересно потакать ему и смотреть, как он поведет себя дальше. Ей даже нравилось сердиться на него, когда он хамил, а хамил он постоянно.

— Тоже мне Дуглас Фербенкс нашелся,— сказала она, пытаясь уничтожить его презрением; затем направилась прочь со всей величественностью, какую только позволяли ей напустить на себя две узкие полоски белого атласа, и, облокотясь на парапет, стала разглядывать долину внизу. Среди апельсиновых деревьев копошились крохотные, как муравьи, фигурки. Она лениво погадала, что они там делают; потом ее мысли перешли к более интересным и важным вещам. К Зигу и к тому, что рядом с ним она всегда чувствовала какое-то волнение и ничего не могла с собой поделать,

---

[1] Ягодичную седалищную мышцу *(лат.)*.

даже если он вел себя, как сейчас. И, может быть, наступит день... наступит день, когда, просто ради любопытства, если ее в этом замке совсем одолеет скука... Бедный Дядюшка Джо! — подумала она. Ну а на что он, собственно, рассчитывал, в его-то годы? Как ни странно, за все эти месяцы она ни разу не дала ему повода для ревности — если, конечно, не считать Инид и Мэри Лу; а их-то она не считала; потому что она ведь на самом деле не такая; а то, что произошло, было обыкновенным пустяком; мило, но совершенно ничего не значит. А вот с Зигом, если что случится, будет по-другому; хотя, конечно, и не очень серьезно; не то что, к примеру, с Уолтом или даже с малышом Бастером, тогда, в Портленде. И не как с Инид и Мэри Лу, потому что хочешь не хочешь, а мужчины почти всегда смотрят на такие вещи чересчур серьезно. Только это и мешает с ними связываться, да еще, конечно, то, что все это грех; но последнее почему-то редко когда берешь в расчет, особенно если парень по-настоящему симпатичный (а Зиг, как ни верти, именно такой, пусть даже немного в стиле Адольфа Менжу; и надо же, именно такие вот чернявые, с прилизанными волосами всегда доставляли ей самое большое удовольствие!). И если, скажем, выпьешь пару бокальчиков и чувствуешь, что неплохо бы капельку пощекотать нервы, тогда ведь тебе и в голову не придет, что это грех; а потом одно цепляется за другое, и не успеешь сообразить, что случилось,— глядь, а оно *уже* случилось; и вообще, она просто не могла поверить, что это так дурно, как говорил отец О'Райли; и уж во всяком случае, Пресвятая Дева гораздо понятливей и добрее его; жутко вспомнить, как он ел, когда его приглашали к обеду,— свинья свиньей, другого слова не подберешь; а разве обжорство лучше, чем то, другое? Так кто он такой, чтобы учить?

— Ну, как мы себя чувствуем? — осведомился занявший место Вирджинии Обиспо, подражая манерам профессиональной сиделки. Он был в самом чудесном расположении духа. Его работа в лаборатории продвигалась вперед неожиданно быстро; новый препарат из желчных солей творил с его печенью настоящие чудеса; благодаря буму в производстве оружия его авиационные акции поднялись еще на три пункта; и, наконец, было очевидно, что Вирджиния долго не продержится.— Как сегодня наш маленький больной? — продолжал он, совершенствуя найденный образ за счет пародийного английского акцента; ибо после обучения он целый год проработал в Оксфорде, повышая квалификацию.

Стойт неразборчиво буркнул что-то в ответ. Дурашливость Обиспо всегда раздражала его. Каким-то чутьем он угадывал в ней скрытое издевательство. Стойта не покидало чувство, что за якобы добродушными шутками Обиспо стоит расчетливое и злое презрение. При мысли об этом кровь закипала у Стойта в жилах. Но стоило ей закипеть, как у него, он знал, поднималось давление, укорачивалась жизнь. Он не мог позволить себе высказать Обиспо все, что хотел. Больше того, он и прогнать его не мог. Обиспо был неизбежным злом. «Бог есть любовь; смерти нет». Но Стойт с ужасом вспоминал, что у него был удар, что он стареет. В тот раз он едва не умер; Обиспо поставил его на ноги и обещал ему еще десять лет жизни, даже если эти его исследования пойдут не так гладко, как он надеялся; а если они пойдут хорошо — тогда больше, гораздо больше. Двадцать лет, тридцать, сорок. А может, этот гнусный жидок и вообще ухитрится доказать, что миссис Эдди была права. Вдруг и в самом деле никакой смерти не будет — хотя бы только для него одного. Прекрасная перспектива! А пока... Стойт вздохнул покорно, глубоко. «Всем нам приходится нести свой крест»,— подумал он про себя, повторяя через много-много лет те самые слова, какие говаривала его бабка, заставляя внучка пить касторку.

Тем временем Обиспо простерилизовал иглу, отломил кончик стеклянной ампулы, наполнил шприц. Все движения он проделывал с неким утонченным изяществом, с демонстративной и самодовольной точностью. Это выглядело так, словно он был одновременно и балетной труппой, и зрителем — зрителем весьма искушенным и придирчивым, это верно; но зато какой труппой! Нижинский, Карсавина, Павлова, Мясин *— все на одной сцене. Даже самые бурные овации были вполне заслуженны.

— Готово,— окликнул он наконец.

Послушно и молча, как дрессированный слон, Стойт перевалился со спины на живот.

Глава пятая

Джереми уже оделся и сидел в подземном хранилище, которое отныне должно было служить ему рабочим кабинетом. Сухая едкая пыль старых бумаг пьянила его, как понюшка крепкого табаку. Пока он готовил папки и точил карандаши, лицо его раскраснелось; лысина заблестела от пота; глаза за стеклами бифокальных очков горели нетерпением.

Наконец-то! Все готово. Он повернулся на вращающемся стуле и некоторое время сидел неподвижно, упиваясь счастливыми предвкушениями. Документы Хоберков, бесчисленные пачки, обернутые в коричневую бумагу, ждали своего первого читателя. Двадцать семь больших коробок, набитых еще непоруганными невестами безмолвья *. Он улыбнулся про себя при мысли, что ему суждено стать их Синей Бородой. Тысячи невест безмолвья, собранных в течение веков многими поколениями неутомимых Хоберков. Хоберк за Хоберком, бароны за рыцарями, графы за баронами, а затем граф Гонистерский за графом Гонистерским, вплоть до последнего, восьмого. А после восьмого — ничего, кроме налогов на наследство, да старого дома, да двух старых дев, все глубже погрязающих в одиночестве и причудах, в бедности и фамильной гордости, но под конец — увы! — погрязших более в бедности, чем в гордости. Они клялись, что никогда не продадут архива; но потом все-таки согласились на предложение Стойта. Бумаги приплыли в Калифорнию. Теперь их бывшие хозяйки смогут заказать себе по-настоящему пышные похороны. И на этом Хоберкам придет конец. Чудесный кусок английской истории! Быть может, поучительный; а быть может — и это еще вероятнее,— просто бессмысленный, просто повесть, рассказанная идиотом *. Повесть об убийцах и заговорщиках, о покровителях наук и коварных интриганах, о юных наложниках и воспевателях епископов и королей, об адмиралах и сводниках, о святых, и героинях, и нимфоманках, о слабоумных и премьер-министрах, о садистах и коллекционерах. И здесь лежало все, что от них осталось; в двадцати семи коробках, как попало, без всякой описи, никем не тронутое, абсолютно девственное. Ликуя над своим сокровищем, Джереми забыл все передряги путешествия, забыл Лос-Анджелес и шофера-негра, забыл о кладбище и замке, забыл даже о Стойте. Теперь он владел бумагами Хоберков — он один. Словно ребенок, который лезет в рождественский чулок, зная, что там его ждет необыкновенный подарок, Джереми выудил из первой коробки коричневый пакет и разрезал веревку. Какое пестрое богатство обнаружилось внутри! Книга домашних расходов за годы 1576-й и 1577-й; рассказ представителя побочной линии Хоберков об экспедиции сэра Кенельма Дигби * в Скандерун; одиннадцать писем на испанском от Мигеля де Молиноса * к той самой леди Энн Хоберк, обращение которой в католичество стало причиной семейного скандала; пачечка медицинских рецептов, писанных почерком начала восемнадцатого века; трактат «О смерти» Дреленкура * и случайный томик из сочинения Андреа де Нерсья * «Félicia, ou Mes Fredaines» [1]. Он едва успел вскрыть второй пакет и гадал, кому бы мог принадлежать светло-каштановый локон, обнаруженный им между страниц собственноручных записок Третьего графа на тему последнего папского заговора, как в дверь постучали. Он поднял глаза и увидел, что к нему направляется невысокий смуглый человек в белом халате. Вошедший улыбнулся, сказал: «Не буду мешать», но тем не менее помешал.

— Моя фамилия Обиспо,— представился он.— Доктор Зигмунд Обиспо; лейб-медик при дворе его величества короля Стойта Первого — и, будем надеяться, последнего.

---

[1] «Фелиция, или Мои шалости» *(франц.)*.

Явно довольный собственной шуткой, он захохотал неожиданно громким металлическим смехом. Затем изящно-брезгливым жестом, словно аристократ, роющийся в куче мусора, взял со стола одно письмо Молиноса и принялся медленно, вслух разбирать первую строку этого послания, написанного плавным, аккуратным почерком семнадцатого века.

— «Ame a Dios como es en sí y no como ce lo dice y forma su imaginación» [1].— Он поглядел на Джереми поверх письма с довольной улыбкой.— Легче сказать, чем сделать, я так считаю. Женщину, и ту мы не можем любить, как она есть; а ведь этот феномен, женская человеческая особь, как-никак имеет под собой объективное материальное основание. И порой весьма недурное. В то время как старикашка Диос есть чистый дух — другими словами, чистая фантазия. А этот болван, кем бы он там ни был, пожалуйте,— пишет другому болвану, что людям не следует любить Бога таким, каким рисует его их собственная фантазия.— Опять нарочито аристократическим жестом, одним движением кисти, он презрительно бросил письмо на стол.— До чего же все это нелепо! — продолжал он.— Набор слов, именуемый религией. Другой набор слов, именуемый философией. Еще полдюжины наборов, именуемых политическими идеалами. И все эти слова или двусмысленны, или вообще лишены смысла. И люди входят из-за них в такой раж, что готовы ухлопать соседа, если ему случится произнести не то слово. Слово, которое на деле значит меньше хорошей отрыжки. Просто сотрясение воздуха, даже не избавляющее вас от лишних газов в желудке. «Ame a Dios como es en si»,— насмешливо повторил он.— Все равно что сказать: принимай икоту, как она есть. Не понимаю, как вы, приверженцы litterae humaniores [2], умудряетесь все это терпеть. Сидите по уши в бессмыслице — и не надоедает?

Джереми улыбнулся робкой, извиняющейся улыбкой.

— Смысла ведь как-то и не очень ищешь,— сказал он. И, предотвращая дальнейшую критику самоуничижением и унижением любимого дела, продолжал: — Просто, знаете ли, забавно бывает покопаться в разном старом хламе.

Доктор Обиспо рассмеялся и одобрительно похлопал Джереми по плечу.

— Молодец! — сказал он.— Вы хоть искренни. Это мне по вкусу. Обычно представители вашей ученой братии — вылитые Пекснифы *. Так и норовят вывалить на тебя кучу всякой высоконравственной муры! Вам это знакомо: мудрость-де лучше знания, Софокл лучше науки. «Любопытно,— всегда говорю я, если им вздумается затеять со мной беседу на эту тему,— любопытно, что вы обязаны своим заработком именно тому, благодаря чему спасется человечество». А вот вы не делаете из своей любимой мушки слона. Вы честный человек. Признаёте, что занимаетесь своим делом только ради забавы. Что ж, и я занимаюсь своим по той же причине. Ради забавы. Хотя, разумеется, если вы станете тыкать мне в нос своим Софоклом, я вполне могу начать распинаться насчет науки и прогресса, науки и счастья, даже науки и абсолютной истины, если уж вы такой упрямый.

Его веселье было заразительно. Джереми тоже улыбнулся.

— Хорошо, что я не такой упрямый,— певуче, с деланной скромностью сказал он, как бы давая собеседнику понять, что ни капли не заинтересован в отыскании абсолютной истины.

— Заметьте,— продолжал Обиспо,— что я вовсе не равнодушен к прелестям вашей работы. Софоклом, конечно, меня не проймешь. И я помер бы со скуки, если б мне пришлось возиться со всем этим,— он кивнул на двадцать семь коробок.— Но должен признать,— заключил он любезно,— что в свое время старые книжки доставили мне немало удовольствия. Право, немало.

Джереми кашлянул и погладил лысину; затем помигал, готовясь отпустить восхитительную суховатую шуточку. Но, к несчастью, Обиспо не

---

[1] Любите Бога таким, каков он есть, а не таким, каким рисуют его слова других или ваша фантазия *(исп.)*.

[2] Гуманитарных наук *(лат.)*.

оставил ему необходимой паузы. Искренне не замечая его приготовлений, он глянул на часы и поднялся со стула.

— Я готов показать вам свою лабораторию,— сказал он.— До ленча еще уйма времени.

«Мог бы и спросить, охота ли мне смотреть его дурацкую лабораторию»,— подумал про себя Джереми, проглотив заготовленную шутку; а ведь как была хороша! Конечно, ему хотелось и дальше разбирать бумаги Хоберков; но, не найдя в себе мужества сказать об этом, он покорно встал и направился к двери вслед за Обиспо.

Долголетие, объяснял по пути доктор. Вот над чем он бьется. С тех самых пор, как окончил медицинский. Но, разумеется, врачебная практика не давала ему работать над этим сколько-нибудь серьезно. Практика губительна для серьезной работы, между прочим заметил он. Разве у вас выйдет что-нибудь путное, если вам приходится тратить все свое время на пациентов? Пациенты делятся на три типа: тех, что воображают себя больными, но на самом деле здоровы; тех, что на самом деле больны, но выздоровеют и так; и тех больных, кому гораздо лучше было бы помереть сразу. Если человек способен к серьезной работе, убивать время на пациентов — сущий идиотизм. И конечно, его вынуждали к этому только денежные затруднения. И он мог всю жизнь катиться по этой дорожке. Тратить силы на разных болванов. Но тут, совершенно неожиданно, подвалило счастье. К нему обратился Джо Стойт. Это был прямо-таки перст судьбы.

— Ах, что за чу́дная находка,— пробормотал Джереми, вспомнив любимую фразу из Колриджа.

Джо Стойт, повторил Обиспо, Джо Стойт,— а песок из него сыпался вовсю. Сорок фунтов лишнего веса, и уже схлопотал один удар. К счастью, не очень сильный; но этого оказалось достаточно, чтобы старикашку бросило в пот. Верно говорят, что можно испугаться до смерти! (Обиспо оскалил белые зубы в жизнерадостной волчьей усмешке.) Джо, так тот просто впал в панику. И благодаря этой панике Обиспо освободился от своих пациентов; получил прочный заработок, лабораторию для трудов над проблемой долголетия, замечательного ассистента; благодаря ей были оплачены его изыскания по фармацевтике в Беркли *, эксперименты с обезьянами в Бразилии, экспедиция на Галапагосские острова для изучения черепах. Он получил все, чего только может пожелать исследователь, в придачу с самим Джо вместо подопытной морской свинки; Стойт был готов подвергнуться какой угодно вивисекции без наркоза, только бы это дало ему надежду протянуть еще несколько лет.

Правда, сейчас он ничем особенным старого хрыча не потчует. Не позволяет ему набирать вес; приглядывает за почками; да взбадривает время от времени половыми гормонами; да еще следит за этими подозрительными артериями. Самое обыкновенное разумное лечение для человека его возраста и с его болезнями. Однако, пока суд да дело, он напал на след кое-чего нового, и притом многообещающего. Через несколько месяцев, а то и недель он уже сможет дать определенное заключение.

— Это очень интересно,— вежливо солгал Джереми.

Они шли по узкому коридору с беленными стенами, уныло освещенному простыми электрическими лампочками. В открытых дверях мелькали огромные кладовые, набитые тотемными столбами и рыцарскими доспехами, чучелами орангутангов и мраморными скульптурами Торвальдсена *, позолоченными бодхисаттвами и первыми паровыми машинами, лингамами, дилижансами и перуанской керамикой, распятиями и образцами редких минералов.

Тем временем Обиспо снова завел речь о долголетии. Исследования на эту тему, утверждал он, пока находятся на донаучной стадии. Масса наблюдений, и ни одной объясняющей их гипотезы. Сплошной хаос фактов. И каких странных, каких удивительных фактов! Благодаря чему, например, цикада живет столько же, сколько бык? А канарейка может пережить три поколения овец? Почему собаки в четырнадцать лет уже старые, а столетние попугаи еще хоть куда? Почему наши женщины становятся бесплодными

к пятидесяти, а самки крокодила откладывают яйца и на третьей сотне? По какой такой причине щука доживает до двухсот лет без всяких признаков старения? В то время как несчастный старикан Джо Стойт...

Неожиданно из бокового коридора вынырнули люди с носилками, на которых лежали две мумии монашек. Произошло столкновение.

— Ослы чертовы! — громко выругался Обиспо.

— Сам осел!

— Не видите, куда прете?

— Заткни хайло!

Обиспо презрительно отвернулся и пошел прочь.

— Ишь умник нашелся! — пустили ему вслед.

Во время этого обмена репликами Джереми с живейшим любопытством разглядывал мумии.

— Босоногие кармелитки *,— сказал он, ни к кому не обращаясь; и, смакуя это непривычное сочетание звуков, повторил со вкусом еще раз: — Босоногие кармелитки.

— Задница ты босоногая,— свирепо огрызнулся первый носильщик, мигом обернувшись к новому противнику.

Джереми кинул только один взгляд на его красную рассерженную физиономию и, бесславно стушевавшись, бросился догонять своего провожатого.

Наконец доктор остановился.

— Пришли,— сказал он, отворяя дверь. Изнутри пахнуло мышами и спиртом.— Пожалуйста,— радушно пригласил он.

Джереми вошел. Мыши тут действительно были — ряды клеток тянулись по стене прямо напротив двери. Слева, через три вырубленных в скале окна, виднелся теннисный корт и отдаленная панорама гор и апельсиновых рощ. За столом перед одним из окон смотрел в микроскоп какой-то человек. Услышав их, он поднял лохматую белокурую голову и повернул к ним по-детски чистое, открытое лицо.

— Привет, док,— с обаятельной улыбкой сказал он.

— Мой ассистент,— пояснил Обиспо.— Питер Бун. Пит, это мистер Пордидж.

Поднявшийся из-за стола Пит оказался юным гигантом атлетического сложения.

— Зовите меня просто по имени,— сказал он, когда Джереми назвал его мистером Буном.— Меня все Питом зовут.

Джереми подумал, стоит ли предлагать этому юноше, чтобы он называл его Джереми, но, как обычно, замешкался, и удобный момент был безвозвратно упущен.

— Пит — светлая голова,— снова заговорил Обиспо тоном, призванным выразить дружескую симпатию, но на деле звучащим несколько свысока.— Прекрасно разбирается в физиологии. И руки у него золотые. Мышей оперирует — просто загляденье.— Он похлопал парня по плечу.

Пит улыбнулся — его улыбка показалась Джереми немного смущенной, словно ему трудно было сразу сообразить, как реагировать на эти лестные замечания.

— Правда, чересчур близко принимает к сердцу политику,— продолжал Обиспо.— Это у него единственный недостаток. От которого я пытаюсь его избавить, но пока, боюсь, не очень-то успешно. А, Пит?

Юноша снова улыбнулся, на сей раз более уверенно; теперь он явно обрел под ногами твердую почву.

— Да уж, не очень,— подтвердил он. Затем, повернувшись к Джереми, спросил: — Знаете утренние новости из Испании? — На его широком симпатичном открытом лице появилась озабоченность.

Джереми покачал головой.

— Там творится что-то ужасное,— мрачно сказал Пит.— Когда я думаю об этих беднягах — у них ведь ни самолетов, ни артиллерии, ни...

— А вы не думайте,— весело посоветовал Обиспо.— Сразу на душе полегчает.

Юноша глянул на него, потом снова отвел глаза, не произнеся ни слова. После краткого молчания он вынул часы.

— Пойду-ка я купнусь перед ленчем,— сказал он и направился к двери.

Обиспо взял клетку с мышами и поднес Джереми чуть ли не к самому носу.

— Эта компания у меня на половых гормонах,— пояснил он шутливым тоном, который отчего-то показался его гостю оскорбительным. Затем встряхнул клетку, и мыши ответили ему писком.— Видите, какие резвунчики — до поры. Жаль только, эффект временный.

Не стоит, конечно, пренебрегать и временными эффектами, заметил он, ставя клетку на место. Временное улучшение всегда лучше, чем временное ухудшение. Поэтому он и вкалывает старику Джо тестостерон. Хотя он не так уж и нужен старому дурню, пока здесь торчит эта девчонка Монсипл.

Вдруг Обиспо зажал себе рот ладонью и оглянулся на окна.

— Слава Богу,— сказал он,— Пита уже нет. Бедняжечка! — На лице у него появилась насмешливая улыбка.— Нашел в кого влюбиться! — Он постучал себя по лбу.— Она для него что-то вроде теннисоновской героини. Химически чистая. С месяц назад он тут чуть не убил одного, который заикнулся, что она со стариком... Ну, понятно. Интересно, зачем, по его мнению, она тут торчит. Наверное, чтобы рассказывать Дядюшке Джо о спиральных туманностях... Что ж, если ему нравится так о ней думать, уж я-то ему жизнь отравлять не стану.— Обиспо снисходительно усмехнулся.— Да, так, значит, вернемся к Дядюшке Джо...

Короче, одно только присутствие этой девицы с успехом заменяет добавочные гормоны. Но все это до поры. Тут и сомнений нет. Броун-Секар *, Воронов * и прочие — они шли по ложному пути. Думали, будто причиной старения является понижение сексуальной активности. А на самом деле это всего лишь один из симптомов. Старость берет начало где-то в другой области и распространяется на все тело, включая и его половые функции. Гормональные средства — это только полумера, так, для бодрости. На время помогут, но от старости не спасут.

Джереми подавил зевок.

Вот, например, продолжал Обиспо, почему некоторые животные могут прожить гораздо дольше человека, не выказывая почти никаких признаков старения? Где-то в нашей биологической структуре заложена ошибка. Крокодилы избежали этой ошибки; черепахи тоже. А еще этим могли бы похвалиться некоторые виды рыб.

— Гляньте-ка сюда,— сказал он и, перейдя комнату, отдернул занавеску; там, за стеклом, оказался большой, вделанный в стену аквариум. Джереми тоже подошел и заглянул внутрь.

В зеленоватом подсвеченном полумраке висели две огромные рыбины — они почти соприкасались головами, но были неподвижны, лишь изредка подрагивал плавник да ритмично раздувались жабры. В нескольких дюймах от их выпученных глаз бежала вверх, к свету, бесконечная цепочка воздушных бусинок, вокруг воду то и дело прочерчивало серебром — это шныряли туда-сюда мелкие рыбешки. Погруженные в оцепенелое блаженство, чудища ни на что не обращали внимания.

Карпы, объяснил Обиспо; карпы из прудов одного замка во Франконии — как называется замок, он забыл, но, в общем, где-то неподалеку от Бамберга. Род обеднел; но карпы были фамильной ценностью, продавать их не хотели. Чтобы украсть эту пару и вывезти ее из страны в специальном автомобиле с резервуаром под задним сиденьем, Джо Стойту пришлось выложить кругленькую сумму. Они весят по шестьдесят фунтов; больше четырех футов длиной; а кольца у них на хвосте помечены 1761 годом.

— Начало моего периода,— с внезапным интересом промямлил Джереми. В 1761-м вышел «Фингал». Сопоставление карпов и Оссиана, карпов и любимого поэта Наполеона, карпов и первых намеков на «кельтские сумерки» * показалось ему чрезвычайно любопытным. Какая прекрасная тема для очередного маленького эссе! Двадцать страниц эрудированной бессмыслицы — богохульства в зарослях лаванды,— изысканной, озорной ученой непочтительности к знаменитым или безвестным мертвецам.

Но Обиспо не дал ему додумать. Он вновь принялся неутомимо нахлестывать своего конька. Вот они перед нами, произнес он, указывая на гигантских рыб; их возраст близок к двумстам годам; они абсолютно здоровы; признаки старения отсутствуют; не видно причины, почему бы им не прожить еще лет этак триста—четыреста. Вот они; а вот вы. Он обвиняюще повернулся к Джереми. Вот вы; человек всего-навсего средних лет, но уже лысый, уже развились дальнозоркость и одышка; зубы уже плохонькие; не способны к длительной физической нагрузке; хронические запоры (что, разве я не прав?); память у вас уже не та, что прежде; желудок пошаливает; потенция идет на спад — если, конечно, уже не исчезла навеки.

Джереми вымученно улыбался и с каждым новым пунктом согласно кивал, пытаясь изобразить полное удовлетворение. Внутри же его жгла смесь горечи, вызванной этим чересчур верным диагнозом, и раздражения против диагноста, слишком уж безжалостного в своей научной отрешенности. С шутливым самоуничижением говорить о собственной надвигающейся старости было совсем не то, что слышать беспардонные высказывания на эту тему от человека, которого вы интересуете только благодаря вашему отличию от какой-то дурацкой рыбы. Однако он по-прежнему кивал и улыбался.

Вот вы, повторил Обиспо в заключение диагноза, и вот карпы. Почему вам не удается решать свои физиологические проблемы столь же успешно? Где, как, почему совершили вы промах, из-за которого уже лишились зубов и волос и который довольно скоро и вовсе сведет вас в могилу?

Эти вопросы поставил старина Мечников — и сам же смело попытался на них ответить. Выяснилось, что все его ответы неверны: фагоцитоза * не возникает; кишечная автоинтоксикация не является единственной причиной старения; нейронофаги * оказались мифическими чудовищами; употребление кислого молока не ведет к заметному продлению жизни; а вот удаление толстого кишечника заметно ее сокращает. Посмеиваясь, он вспомнил операции, на которые незадолго до войны была такая мода. Старички и старушки вырезáли себе толстые кишки и в результате начинали, словно канарейки, испражняться каждые несколько минут! И проку от этого, разумеется, не было никакого — операция, благодаря которой они надеялись дожить до ста лет, сводила их в могилу всего через год-другой. Обиспо откинул назад прилизанную голову и вновь разразился металлическим смехом — это была его обычная реакция на любое упоминание о человеческой глупости, виновной в каких-либо несчастьях. Бедный старикашка Мечников, продолжал он, утирая слезы, выступившие у него на глазах от этого бурного веселья. Все время попадал пальцем в небо. И, однако же, он наверняка подошел к истине ближе, чем думают. Да, предположение, что корень зла таится в кишечном стазе и автоинтоксикации, было ошибочным. Но что искать надо где-то там, в кишках,— это, пожалуй, верно. Где-то в кишках, повторил Обиспо; и больше того, он думает, что напал на след.

Он умолк и некоторое время стоял неподвижно, барабаня пальцами по стеклу аквариума. Тучные, более чем почтенного возраста карпы, безмятежно повисшие на полпути между поверхностью воды и илистым дном, не обращали на него ни малейшего внимания. Обиспо кивнул на них головой. Свет не видел более неудобных подопытных животных, сказал он возмущенно, однако с примесью угрюмого удовлетворения. Только тот, кто пробовал работать с рыбами, имеет право говорить о технических трудностях. Самая простая операция оборачивается кошмаром. Ну-ка, попробуйте проследить, чтобы на столе, под наркозом, жабры у них оставались достаточно влажными! Или вам больше нравится оперировать под водой? А случалось ли вам определять у рыбы основной обмен веществ, или снимать у нее электрокардиограмму, или измерять кровяное давление? Приходилось ли делать анализ ее выделений? А если да, то вы знаете, что и собрать-то их далеко не просто! Пробовали вы изучать химический механизм рыбьего пищеварения и ассимиляции? Мерить у рыбы кровяное давление в разных условиях? Или скорость ее нервной реакции?

Нет, не пробовали, презрительно сказал Обиспо. И пока не попробуете, у вас нет права жаловаться на что бы то ни было.

Он задернул занавеску перед аквариумом, взял Джереми под локоток и отвел обратно к мышам.

— Поглядите-ка вон на тех,— промолвил он, указывая на несколько клеток из верхнего ряда.

Джереми поглядел. Мыши, предложенные его вниманию, ничем не отличались от всех прочих.

— А что с ними такое? — спросил он.

Доктор Обиспо рассмеялся.

— Будь эти животные людьми,— торжественно объявил он,— всем им уже перевалило бы за сотню.

И он принялся очень быстро и возбужденно рассказывать о жирных спиртах и о кишечной флоре карпов. Ибо секрет — ключ ко всей проблеме старения и долголетия — крылся именно здесь. Здесь, в стеринах и удивительной флоре рыбьих кишок.

Ох уж эти стерины! (Обиспо нахмурился и укоризненно покачал головой.) Вечные спутники старости. Самый очевидный пример, разумеется,— холестерин. Дряхлое животное можно определить как животное, имеющее в стенках артерий накопления холестерина. Тиоцианат калия, видимо, обладает способностью эти накопления рассасывать. Под действием тиоцианата калия старые кролики проявляют признаки омоложения. И старые люди тоже. Но опять только до поры. Очевидно, холестерин в артериях — лишь одна из бед. Но ведь и холестерин — лишь один из стеринов. Эти жирные спирты очень близки по строению. Запросто превращаются один в другой. Но почитайте работы Шнееглока и публикации из Упсалы *, и вы узнаете, что некоторые стерины — это настоящие яды, гораздо вреднее холестерина, даже в малых количествах. Лонгботем, кстати, предположил, что есть связь между жирными спиртами и опухолями. Иначе говоря, рак может в конечном счете оказаться одним из симптомов стеринового отравления. Сам он даже рискнул бы сказать, что благодаря стериновому отравлению и происходит весь процесс старческого вырождения у человека и других млекопитающих. Чем до сих пор еще никто не занимался — так это выяснением вопроса, какую роль играют жирные спирты в жизни тварей вроде карпа. Этому он и посвятил весь последний год. Исследования убедили его вещах в двух-трех: первое — что у карпов жирные спирты в больших количествах не скапливаются; второе — что они не превращаются в более ядовитые стерины; и третье — что оба этих преимущества обусловлены особым составом кишечной флоры карпов. Ах, что это за флора! — пылко вскричал Обиспо. Какое богатство, какое чудесное разнообразие! Ему еще не удалось выделить организмы, которые создают у карпа иммунитет к старости, не удалось до конца понять и природу соответствующих химических процессов. Тем не менее главное было установлено. Так или иначе, вместе или в одиночку, эти организмы умудрялись предотвращать переход рыбьих стеринов в яды. Потому-то карпы и жили по двести лет без всяких признаков одряхления.

Может ли флора карпа прижиться в кишечнике млекопитающего? А если да, окажет ли она то же химическое и биологическое воздействие на организм? В последние месяцы он и пытается это выяснить. Сначала ничего не выходило. Однако недавно они применили новый метод — метод, защищающий флору от процесса пищеварения, дающий ей время свыкнуться с новыми условиями. Она стала укореняться. На мышах это сразу дало заметный эффект. Старение приостановилось, даже пошло вспять. С физиологической точки зрения животные стали моложе по меньшей мере года на полтора, по человеческой мерке — столетние моложе шестидесятилетних.

Снаружи, в коридоре, зазвенел электрический звонок. Настало время ленча. Они вышли из комнаты и направились к лифту. Обиспо все еще говорил. Мыши, сказал он, зверюшки не очень-то надежные. Он уже начал пробовать то же самое на больших животных. Если получится с собаками и бабуинами, должно получиться и с Дядюшкой Джо.

Глава шестая

Почти вся обстановка малой столовой была вывезена из Брайтонского павильона. Красный лакированный стол поддерживали четыре позолоченных дракона, еще два служили кариатидами для каминной доски, тоже красной и лакированной. Это была греза Регентства * о восточной роскоши. Нечто вроде того, подумал Джереми, усевшись на алый с золотом стул, нечто вроде того, что при слове «Китай» могло бы привидеться, например, Китсу, или Шелли, или лорду Байрону; точно так же, как прелестная «Леда» Этти *, вон там, рядышком с «Благовещеньем» Фра Анджелико, есть точное воплощение их фантазий на темы языческой мифологии; самая подходящая иллюстрация (подумав об этом, он усмехнулся про себя) к «Эндимиону» и «Освобожденному Прометею», к «Греческой вазе» и «Одам Психее» *. Присущие эпохе мысли, чувства и представления разделяются всеми, кто живет и работает в эту эпоху,— всеми, от ремесленника до гения. Регентство есть Регентство, и неважно, берешь ты свой образец сверху или выуживаешь со дна корзины. В 1820 году человек, закрывший глаза и пытающийся нарисовать в воображении створчатые окна, распахнутые навстречу волшебному прибою далеких морей, увидел бы не что иное, как башенки Брайтонского павильона. При мысли об этом Джереми улыбнулся от удовольствия. Этти и Китс, Брайтон и Перси Биши Шелли — какая чудесная тема! Гораздо лучше, чем карпы и Оссиан; лучше, поскольку Нэш и принц-регент забавнее любой, пусть и великовозрастной рыбы. Однако для беседы за накрытым столом не годится даже самая лучшая тема, если вам не с кем ее обсудить. Но кто же, спросил себя Джереми, кто из присутствующих в этой комнате хотел или мог бы поговорить с ним о подобном предмете? Ни мистер Стойт; ни, разумеется, мисс Монсипл, ни две ее молодые подружки, приехавшие из Голливуда, чтобы позавтракать с ней; ни доктор Обиспо, которого мыши интересуют больше, чем книги; ни Питер Бун, который об этих книгах, верно, и слыхом не слыхивал. Единственным, от кого можно было бы ожидать интереса к характерным чертам конца эпохи Георгов *, был некто, представленный ему как доктор Герберт Малдж — доктор философии, доктор богословия, директор Тарзана-колледжа. Но в настоящий момент доктор Малдж громко и красноречиво, словно с церковной кафедры, рассуждал о новой Аудитории, которую недавно подарил колледжу Джо Стойт и которую вскоре ждало торжественное открытие. Малдж был крупный, приятной наружности человек и голос имел соответствующий — одновременно сочный и вкрадчивый, звучный и слащавый. Речь его текла неспешно, но плавно и безостановочно. Произнося свои безупречные периоды так, что в них явно слышались Заглавные Буквы, он вдохновенно уверял мистера Стойта и всех, кому была охота его слушать, что для юношей и девушек Тарзана-колледжа будет Истинным Счастьем собраться в прекрасном новом корпусе ради Совместной Деятельности. Например, ради всякого рода Религиозных Отправлений; ради того, чтобы насладиться Лучшими Произведениями Сценического и Музыкального Искусства. О, их ждет настоящий Душевный Подъем! Имя Стойта будут с благоговением и любовью вспоминать многие поколения Питомцев и Питомиц Тарзана-колледжа — он сказал бы даже, что вспоминать его будут вечно, ибо Аудитория есть monumentum aere perennius [1], След на Песке Времени — да, да, без сомнения, След. А теперь, продолжал доктор Малдж, поедая пюре из курицы, теперь колледжу просто необходима новая Школа Искусств. Поскольку Искусство, как мы теперь начинаем понимать, является одним из самых мощных воспитательных средств. Ведь в наше время, в двадцатом веке, Религиозный Дух находит наиболее явное воплощение именно в Искусстве. Посредством Искусства Личность достигает своего полного Творческого Самовыражения и...

«Чушь! — подумал про себя Джереми.— Бред собачий!» И скорбно

---

[1] Памятник меди нетленней *(лат.)* *.

улыбнулся при мысли о том, что хотел завести с этим имбецилом беседу о связи между Китсом и Брайтонским павильоном.

* * *

Питер Бун обнаружил себя отделенным от мисс Монсипл одной из ее голливудских подружек — той, что посветлее. Желая поглядеть на Вирджинию, он натыкался на препятствие из ресниц и губной помады, из золотистых кудряшек и густого, почти осязаемого аромата гардений. Кого-нибудь другого подобное препятствие, возможно, и отвлекло бы; но Пит обращал на него не больше внимания, чем уделил бы кучке обыкновенной грязи. Его интересовало только то, что находилось за этим передним планом: очаровательно короткая верхняя губка, маленький носик, вид которого трогал до слез — такой этот носик был изящный и дерзкий, такой смешной и милый; длинный завиток блестящих каштановых волос; широко расставленные и широко раскрытые глаза — они мерцали мягким юмором и, казалось ему, таили в своей темно-синей глубине бесконечную нежность, неизмеримую женскую мудрость. Он любил ее так сильно, что саднило в груди, перехватывало дыхание; вместо сердца он чувствовал пустоту, заполнить которую могла лишь она одна.

А она тем временем обсуждала со светловолосым Передним Планом новую роль, которую Переднему Плану удалось отхватить в киностудии «Космополитен-Перльмуттер». Фильм назывался «Скажи это в чулках», а Передний План должен был играть в нем богатую девицу, убежавшую из дома, чтобы жить своим умом, ставшую танцовщицей на Западе, в стриптизе для золотоискателей, и, наконец, вышедшую замуж за ковбоя, оказавшегося сыном миллионера.

— Классная штучка,— сказала Вирджиния.— Ты согласен, Пит?

Пит был согласен; он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы она этого пожелала.

— Это напомнило мне про Испанию,— заявила мисс Монсипл. И, пока Джереми, подслушивавший их разговор, лихорадочно пытался сообразить, какая цепочка ассоциаций привела ее от «Скажи это в чулках» к гражданской войне — скажем, «Космополитен-Перльмуттер», антисемитизм, нацисты, Франко; или богатая девица, классовая борьба, Москва, Негрин *; или стриптиз, модернизм, радикализм, республиканцы,— пока он тщетно силился угадать истину, Вирджиния попросила юношу рассказать им, что он делал в Испании; а когда он начал отнекиваться, стала настаивать — потому что это было так жутко интересно, потому что Передний План еще никогда об этом не слышал, да потому, в конце-то концов, что она так хотела.

Пит покорился. Едва слышно, языком, состоящим из жаргона и клише, перемежаемых словами-паразитами и неразборчивыми восклицаниями,— тем языком, подумал Джереми, украдкой слушая его сквозь цветистые разглагольствования доктора Малджа, тем поразительно убогим и жалким языком, на который обрекает большинство молодых англичан и американцев, завзятых демократов, страх показаться слишком не похожими на других, или чересчур много умничающими, или до неприличия кичащимися своей образованностью,— он начал описывать свои приключения в бытность добровольцем, членом Интернациональной бригады в героические дни 1937 года. Это был трогательный рассказ. За безнадежно изуродованной речью Джереми угадывал пылкое стремление юноши к свободе и справедливости; его мужество, его любовь к товарищам; его ностальгию — даже в соседстве с этой коротенькой верхней губкой, даже посреди захватывающего научного поиска — по жизни людей, объединенных верностью общему делу, сплотившихся перед лицом суровых тягот и вместе несущих бремя опасностей и смертельных угроз.

— Точно,— повторял он,— классные были ребята.

Они все были классные ребята: Кнуд, который однажды спас ему жизнь,— это случилось в Арагоне; Антон, и Мак, и несчастный малыш Дино, которого убили; Андре, который потерял ногу; Ян, у которого была

жена и двое детей; Фриц, который шесть месяцев провел в нацистском концлагере, и все остальные — самые чудесные ребята на свете. А он-то хорош — подвел их, взял и свалился с ревматизмом, а потом схлопотал миокардит — а это означало негодность к строевой службе, нельзя ничего, кроме сидячей работы. Поэтому он и сидит здесь, извиняющимся тоном сказал Питер. Но до чего ж тогда было здорово! Вот, например, когда они с Кнудом сделали ночную вылазку, взобрались в темноте по обрыву и застали врасплох целый взвод марокканцев; убили человек шесть и вернулись с пулеметом и тремя пленными...

— А как вы относитесь к Творческому Труду, мистер Пордидж?

Джереми, позволивший себе возмутительно расслабиться и забыть о докторе Малдже, виновато встрепенулся.

— К творческому труду?— промямлил он, пытаясь выиграть время.— К творческому труду? Ну конечно, положительно. Вне всякого сомнения,— уже увереннее закончил он.

— Рад слышать от вас это,— произнес Малдж.— Потому что именно такова цель, к которой я стремлюсь в Тарзана. Творческий Труд — все более и более Творческий. Сказать вам, какая у меня завстная мечта? — Ни Стойт, ни Джереми не отозвались на предложение. Однако Малдж, нимало не смутившись, продолжал: — Я хочу сделать из Тарзана активный Центр Новой Цивилизации, которой суждено расцвести здесь, на Западе.— Он поднял большую, пухлую руку, точно принося торжественную клятву.— Наш Замечательный Город Лос-Анджелес скоро превратится в Афины Двадцатого Века. Я хочу, чтобы Тарзана стал его Парфеноном и его Академией, его Стоей * и его Святилищем Муз. Религия, Искусство, Философия, Наука — я хочу, чтобы Тарзана стал для них родным домом, чтобы благодаря нам они согревали своим теплом мир, чтобы...

Посреди рассказа о марокканцах и ночной стычке Пит, словно очнувшись, заметил, что его слушает только Передний План. Вирджиния — сначала украдкой, а потом совершенно прямо и откровенно — переключила свое внимание на соседей слева; там доктор Обиспо нашептывал что-то другой ее подруге, шатенке.

— Как-как? — спросила Вирджиния.

Обиспо наклонился поближе к ней и начал снова. Три головы, гладкая черная, темно-русая в тщательно завитых кудряшках и золотисто-каштановая, почти соприкасались. По выражению на их лицах Пит догадался, что доктор рассказывает один из своих любимых непристойных анекдотов. Утихшая было под действием ее улыбки и просьбы рассказать об Испании сосущая боль в груди — на том месте, где вместо сердца зияла пустота,— возобновилась с удвоенной силой. Это была сложная боль, смешанная из ревности и мучительного чувства утраты и собственной неполноценности, из боязни, что его ангела могут развратить, и еще более глубокого страха, который он не отваживался даже сознательно сформулировать, что и развращать-то некого, что ангел этот вовсе не такой уж ангел, каким видится ему в свете его пылкой любви. Красноречие Пита мигом иссякло. Он умолк.

— Ну, и что же дальше? — спросил Передний План с написанным на лице жадным интересом и восхищением перед его отвагой, которое всякий другой юноша счел бы чрезвычайно лестным.

Он покачал головой.

— Так, ничего особенного:

— Но марокканцы-то...

— Черт! — нетерпеливо воскликнул он.— Да какое это имеет значение?

Его слова потонули в громком взрыве хохота, который разбросал три заговорщицки сдвинутые головы — черную, русую, прелестную каштановую — в разные стороны. Он взглянул на Вирджинию и увидел лицо, искаженное смехом. Над чем? — отчаянно вопрошал он себя, стараясь оценить степень ее испорченности; и в мыслях у него сразу, одним махом пронеслись все слышанные когда-то школьные анекдоты, шутки и стишки.

Может, она смеялась над этим? Или над этим? А если над *этим*? Боже

упаси! Он изо всех сил надеялся, что не над *этим*; но чем больше он надеялся, тем крепче становилась безумная уверенность, что именно над *этим* она и смеялась.

— ...важнее всего,— говорил Малдж,— Творческий Труд в Искусстве. Отсюда насущнейшая потребность в новой Школе Искусств, Школе Искусств, достойной Тарзана-колледжа, достойной высочайших традиций...

Раздавшийся со стороны девушек взрыв смеха по силе был пропорционален витающим над столом социальным табу. Стойт резко обернулся к нарушителям спокойствия.

— Что там за шуточки? — подозрительно спросил он. Он не собирался позволять Детке слушать похабщину. Его нелюбовь к похабщине в смешанной компании была почти такой же искренней, как у его бабки, плимутской сестры.— Чего вы там радуетесь?

Ответил ему Обиспо. Он рассказал им один анекдот, который слышал по радио, объяснил он со своей обычной подчеркнутой вежливостью, столь походившей на сарказм. Весьма забавная историйка. Может, мистеру Стойту тоже угодно послушать? Так он повторит.

Стойт яростно хрюкнул и отвернулся.

Мимолетный взгляд на хмурое лицо хозяина убедил доктора Малджа в том, что обсуждение, касающееся Школы Искусств, лучше отложить до более удобного случая. Жаль; а ему-то казалось, что дело уже идет на лад. Но ничего не попишешь! Бывает и так. Директор колледжа, испытывающий хроническую нужду в пожертвованиях, Малдж прекрасно изучил богачей. Он знал, например, что они, как гориллы, с трудом поддаются приручению, весьма подозрительны, попеременно скучают и раздражаются. К ним нужен осторожный подход, обращаться с ними следует мягко и прибегая к бесчисленным уловкам. И даже тогда они могут вдруг рассвирепеть и показать зубы. Полжизни разговоров с банкирами, стальными магнатами и удалившимися от дел мясозаготовителями научили Малджа переносить мелкие неудачи вроде сегодняшней, проявляя истинно философское терпение. С безмятежной улыбкой на крупном лице, лице благородного римлянина, он повернулся к Джереми.

— А как вам нравится наш калифорнийский климат, мистер Пордидж? — спросил он.

Тем временем Вирджиния заметила, что Пит помрачнел, и мигом догадалась о причине его страданий. Бедняжка Пит! Но если он и правда думает, что ей больше нечего делать, кроме как постоянно слушать его рассказы про эту дурацкую войну в Испании... а не про войну, так про лабораторию; а они там занимаются вивисекцией, это ведь просто ужас; потому что, в конце концов, на охоте звери хоть убежать могут, особенно если плохо стреляешь, вот как она; да к тому же охотиться так интересно и так здорово выбраться в горы подышать свежим воздухом; а Пит режет их под землей, в этом своем подвале... Нет уж, если он думает, что ей делать больше нечего, он сильно ошибается. Все равно он славненький мальчик; а до чего влюблен! Приятно, когда рядом есть люди, которые так к тебе относятся; как-то поднимает настроение. Хотя иногда бывает и утомительно. Потому что им начинает казаться, будто у них есть на тебя какие-то права; будто они могут тебя журить и вообще лезть в твои дела. Пит, правда, не злоупотребляет разговорами; зато у него такая манера смотреть — словно собака, которая не одобряет, что хозяйка взяла еще один коктейль. Говорит глазами, как Хеди Ламарр,— только Хеди-то своими глазами говорит совсем не то, что он; собственно, как раз противоположное. Вот и сейчас то же самое — а что она такого сделала? Ей просто надоела эта глупая война, и она стала слушать, что Зиг рассказывает Мэри Лу. И не позволит она никому мешать ей жить, как она хочет, вот и весь сказ. Это ее дело. А Пит, когда так на нее смотрит, кажется ничем не лучше какого-нибудь Дядюшки Джо, или ее мамаши, или отца О'Райли. Ну, эти-то, понятно, не только смотрят; они еще и поговорить любят. Пит, конечно, не со зла так, бедняжка,— просто он еще ребенок, глупенький еще; и влюблен-то, как ребенок, как тот мальчишка-школьник из последнего

фильма Дины Дурбин. Бедняжка Пит, снова подумала она. Не повезло ему, но что тут поделаешь, если ей никогда не нравились такие большие светловолосые парни типа Кэри Гранта. Не тянуло ее к ним, вот и весь разговор. Он славный; ей приятно, что он в нее влюблен. Но и только.

Она поймала через угол стола его взгляд, подарила ему ослепительную улыбку и пригласила, если у него найдется полчасика после ленча, отправиться с ними и научить ее и подружек кидать подковы.

Глава седьмая

Наконец встали из-за стола; компания распалась. Доктор Малдж отправился в Пасадену, на встречу со вдовой одного фабриканта, выпускавшего резиновые изделия, в надежде разжиться тридцатью тысячами долларов на новое женское общежитие. Стойт, как всегда по пятницам после полудня, уехал в Лос-Анджелес на заседания правлений и деловые консультации. Обиспо собирался проводить какие-то операции на кроликах и спустился в лабораторию готовить инструменты. Пита ждала стопка научных журналов, но он все-таки позволил себе поблаженствовать несколько минут в обществе Вирджинии. А Джереми — Джереми призывали к себе бумаги Хоберков. Придя в свой подвал, он почувствовал почти физическое облегчение, будто вернулся к привычному домашнему уюту. Время полетело стрелой, но сколько оно принесло удовольствия, сколько пользы! За три часа среди хозяйственных отчетов и деловой переписки отыскалась еще одна связка писем от Молиноса. А также третий и четвертый тома «Фелиции». А также иллюстрированное издание «Le Portier des Carmes» [1] и еще переплетенный, словно молитвенник, экземпляр редчайшего из творений Божественного Маркиза, «Les Cent-Vingt Jours de Sodome» [2]. Какое сокровище! Какая неожиданная удача! Впрочем, подумал Джереми, не такая уж неожиданная, если вспомнить историю рода Хоберков. Ибо время выпуска книг заставляло предположить, что они были собственностью Пятого графа — того, который носил титул более полувека и умер, когда ему перевалило за девяносто, при Вильгельме IV *, закоренелым грешником. Учитывая характер этого старого джентльмена, вы не могли удивляться, напоровшись на склад порнографии,— наоборот, имели все основания рассчитывать на большее.

Настроение у Джереми подымалось с каждым новым открытием. Как всегда в самые счастливые свои минуты, он начал мурлыкать себе под нос песенки, запомнившиеся со времен детства. Молинос вызвал радостное «трам-пам-пам-тирирам-пам-па!», «Фелиция» и «Le Portier des Carmes» появились на свет под романтический напев «Пчелки и жимолости». А «Les Cent-Vingt Jours», которых он никогда прежде не читал и даже в глаза не видел, привели его в такое восхищение, что, раскрыв этот псевдотребник (он взял книгу скрепя сердце,. поскольку надо же было делать и черновую библиографическую работу) и обнаружив вместо англиканских молитв суховато-изящную прозу маркиза де Сада, Джереми не удержался и пропел строчки из «Розы и Кольца» *, те самые строчки, которым его, трехлетнего, научила мать и которые с тех пор остались для него символом детского изумления и восторга, единственной вполне адекватной реакцией на всякий нежданный подарок, всякий ниспосланный судьбою чудесный сюрприз.

Плюшечка румяная — просто объедение,
Не кончайся, плюшечка, сделай одолжение!

Она, к счастью, пока и не думала кончаться, не была даже начата; непрочтенная книга лежала перед ним, обещая приятное и полезное времяпрепровождение. Он снисходительно усмехнулся, вспомнив укол ревности, который испытал наверху, в бассейне. Пусть этот Стойт услаждает себя какими угодно девочками; хорошо написанное порнографическое сочинение

[1] «Привратник Кармского монастыря» * *(франц.)*.
[2] «Сто двадцать дней Содома» *(франц.)*.

восемнадцатого века лучше всякой Монсипл. Он закрыл томик, который держал в руках. Тисненый сафьяновый переплет его был прост и изящен; золотые буквы на корешке, лишь слегка потускневшие за столько лет, гласили: «Книга Литургий». Он отложил его на уголок стола вместе с другими curiosa [1]. Когда закончит на сегодня работу, возьмет всю коллекцию с собой в спальню.

— «Плюшечка румяная — просто объедение! — промурлыкал он себе под нос, разворачивая очередной сверток с документами, а потом: — Знойным летом на лугу, где жимолость благоухает и вся Природа отдыхает».— Вордсвортовская манера описания природы всегда чрезвычайно импонировала ему. Новая пачка бумаг оказалась перепиской между Пятым графом и несколькими известными вигами по поводу огораживания, в его пользу, трех тысяч акров общинного выгона в Ноттингемшире. Джереми сунул письма в папку, набросал на карточке краткое предварительное описание ее содержимого, отправил папку в шкаф, а карточку — в специальный ящичек; затем нагнулся и выудил из рождественского чулка следующую связку. Разрезал шпагат. «Ты милый мой, мой сладенький цветочек, я пчелка». Интересно, что подумал бы об этом доктор Фрейд? Анонимные памфлеты против деизма нагоняли скуку; он отложил их в сторону. Но тут же обнаружился «Серьезный призыв» Лоу * с собственноручными пометками Эдварда Гиббона *, а затем несколько отчетов, составленных для Пятого графа мистером Роджерсом из Ливерпуля; в них подсчитывались расходы и выручка от трех экспедиций по торговле рабами, которые граф финансировал. Как явствовало из бумаг, второе путешествие оказалось особенно удачным: в пути погибло менее пятой части груза, а остальное было продано в Саванне по необычайно высоким ценам. При сем Роджерс прилагал чек на семнадцать тысяч двести двадцать четыре фунта одиннадцать шиллингов и четыре пенса. Другое послание, писанное по-итальянски, из Венеции, оповещало того же графа о появлении в продаже поясного изображения Марии Магдалины кисти Тициана по цене, которую итальянский корреспондент находил смехотворно малой. В покупателях недостатка не было, но из уважения к столь же ученому, сколь и прославленному английскому cognoscente [2] владелец соглашался подождать ответа от его светлости. Тем не менее его светлости настоятельно советовали не откладывать дела в долгий ящик; ибо в противном случае...

* * *

Было пять часов пополудни; солнце стояло низко над горизонтом. Облаченная в белые тапочки и носки, белые шорты, спортивную кепочку и розовый шелковый свитер, Вирджиния пришла посмотреть, как кормят бабуинов.

Ее мотороллер, тоже розовый, стоял у обочины дороги, наверху, футах в тридцати — сорока от питомника. Вместе с Обиспо и Питом она спустилась оттуда поглядеть на животных вблизи.

Прямо напротив их пункта наблюдения, на выступе искусственной скалы, сидела обезьяна-мать, держа в руках сморщенный, разлагающийся трупик детеныша, с которым никак не могла расстаться, хотя умер он две недели назад. Время от времени она с истовой, машинальной нежностью принималась вылизывать маленькое тельце. Под напористыми движениями ее языка от трупика отделялись клочки зеленоватой шерсти и даже кусочки шкуры. Обезьяна аккуратно вынимала их изо рта черными пальцами, потом снова начинала лизать. Над нею, у входа в маленькую пещерку, неожиданно затеяли драку два молодых самца. Воздух наполнился воплями, рычанием и скрежетом зубов. Затем один из дерущихся отбежал в сторону, а второй тут же напрочь забыл о ссоре и принялся искать перхоть у себя на груди. Справа, на другом уступе, огромный старый самец с кожаной мордой и серым ежиком волос, точно у англиканского богослова

---

[1] *Здесь:* книги легкомысленного содержания *(лат.)*.

[2] Знатоку *(устар. итал.)*.

семнадцатого столетия, охранял принадлежащую ему самку. Это был бдительный страж; ибо, стоило ей пошевелиться без его дозволения, как он оборачивался и кусал ее; а тем временем его маленькие черные глазки и широкие ноздри, зияющие на конце трубообразной морды, так и рыскали туда-сюда с неослабным подозрением. Пит вынул из принесенной с собой корзины картофелину и бросил в его сторону; потом туда же полетела морковка и вторая картофелина. Блеснув ярко-красными ягодицами, старый бабуин сорвался со своего насеста, схватил морковку и, поедая ее, засунул одну картошку за левую щеку, другую — за правую; потом, дожевывая морковь, подбежал к ограде и стал выпрашивать еще. Путь был свободен. Молодой самец, который искал у себя перхоть, вдруг заметил открывшуюся возможность. Бормоча от возбуждения, он соскочил на уступ, где по-прежнему сидела самочка, не отважившаяся последовать за своим повелителем. Через десять секунд они уже совокуплялись.

Вирджиния восторженно захлопала в ладоши.

— Прелесть какая! — воскликнула она.— Ну точно как люди!

Ее слова почти потонули в очередном взрыве обезьяньего гомона.

Пит прервал раздачу корма, чтобы сказать спутникам, как давно он не видел мистера Проптера. Может, им всем спуститься с холма да пойти заглянуть к нему?

— Из обезьяньего питомника в Проптеров загончик,— отозвался Обиспо,— а из Проптерова загончика опять в Стойтов дом и Монсиплову норку. Что скажете, ангел?

Вирджиния бросила старому самцу картошку — бросила с таким расчетом, чтобы заставить его обернуться и отойти назад к выступу, где осталась его самка. Она надеялась, что ей удастся подвести бабуина поближе и он увидит, как подружка коротает время в его отсутствие.

— А что, пошли навестим душку Пропи,— сказала она не оборачиваясь. Затем кинула за ограду еще одну картофелину. Взметнув серым ежиком, бабуин скакнул к ней; но вместо того чтобы посмотреть вверх и обнаружить, что миссис Б. дарит свою любовь молодому альпинисту, несносное животное опять немедленно повернулось к заграждению, прося добавки.— Старый болван! — крикнула Вирджиния и на сей раз бросила картошку прямо в него; она попала ему по носу. Девушка рассмеялась и повернулась к остальным.

— Мне нравится душка Пропи,— сказала она.— Я его немножко боюсь; но вообще он душка.

— Прекрасно,— сказал Обиспо,— тогда пойдемте вытащим заодно и мистера Пордиджа, пока мы тут рядом.

— Да-да, пойдем возьмем нашего Слоника,— согласилась Вирджиния и, представив себе плешивого Джереми, погладила свои каштановые кудри.— Он же такой милашка, правда?

Предоставив Питу кормить бабуинов, они выбрались обратно на дорогу; лестница поодаль вела прямо к вырубленным в скале окнам комнаты Джереми. Вирджиния толчком распахнула стеклянную дверь.

— Слоник,— окликнула она,— мы пришли вам мешать.

Джереми промямлил было в ответ что-то шутливо-галантное; потом оборвал фразу на полуслове. Он вдруг вспомнил о стопке скабрезных книг, лежащих на углу стола. Встать и убрать книги в шкаф значило бы привлечь к ним внимание; под рукой у него не было ни газеты, чтобы накрыть их, ни приличных книг, чтобы перемешать те и другие. Ему ничего не оставалось, кроме как надеяться на лучшее. Эта надежда вспыхнула в нем с неистовой силой, и почти тут же случилось самое худшее. Рассеянно, только ради того, чтобы занять чем-нибудь руки, Вирджиния взяла томик Нерсья, открыла его на одной из добросовестно выполненных во всех подробностях гравюр, глянула, потом, с расширившимися глазами, поглядела опять и испустила радостно-изумленный возглас. Доктор Обиспо тоже посмотрел и в свою очередь не удержался от восклицания; потом оба разразились гомерическим хохотом.

Джереми сгорал от стыда и слабо улыбался, пока его донимали шуточ-

ками: стало быть, *это* составляет предмет его изучения, значит, *вот как* он коротает время. Господи, до чего утомительны люди, думал он, как грустно, что они совсем лишены чуткости!

Вирджиния перелистнула страницы и наткнулась на другой рисунок. Вновь раздался возглас, в котором смешались восторг, удивление и на сей раз недоверчивость. Разве это возможно? Неужели так и впрямь делают? Она разобрала по буквам надпись под иллюстрацией: «La volupté frappait á toutes les portes» [1], потом недовольно покачала головой. Не стоило и стараться; она не поняла ни слова. Эти школьные уроки французского — дрянь дрянью, тут и говорить нечего. Кроме какой-то чепухи вроде le crayon de mon oncle [2] и savez-vous planter le chou [3], они ее ничему не научили. Она всегда считала, что ученье — пустая трата времени, и сейчас лишний раз в этом убедилась. И зачем только эту книжку напечатали по-французски? При мысли о том, что из-за несовершенств системы образования в штате Орегон она никогда не сможет прочесть де Нерсья, на глаза Вирджинии навернулись слезы. Нет, это уж слишком!

Джереми пришла на ум блестящая идея. Почему бы не предложить перевести ей эту книгу — viva voce [4] и фразу за фразой, как переводчик на заседании совета Лиги Наций? Да-да, почему бы и нет? Чем дольше он размышлял, тем более удачной казалась ему эта мысль. Он решил так и сделать и начал уже обдумывать, в какую форму лучше всего облечь это предложение, но тут Обиспо спокойно взял томик у Вирджинии из рук, прихватил со стола оставшиеся три книжки — среди них были «Le Portier des Carmes» и «Cent-Vingt Jours de Sodome» — и опустил всю коллекцию в карман своей куртки.

— Не волнуйтесь,— сказал он Вирджинии.— Я вам их переведу. А теперь нам пора обратно к бабуинам. Пит, наверное, уже удивляется, куда мы пропали. Пойдемте, мистер Пордидж.

Молча, но внутренне кипя от возмущения, проклиная себя за бессилие, а доктора — за наглость, Джереми вышел за ними через стеклянную дверь и спустился по лестнице.

Пит уже опорожнил корзину и приник к ограде, внимательно наблюдая за поведением животных внутри. Когда они подошли, он обернулся. Его симпатичное юное лицо светилось возбуждением.

— Знаете, док,— сказал он,— по-моему, действует.

— Что действует? — спросила Вирджиния.

Ответная улыбка Пита прямо-таки сияла счастьем. О да, он был счастлив! Дважды и трижды счастлив. Ведь Вирджиния была так мила с ним, что это с лихвой компенсировало его мучения за завтраком, когда она отвернулась и стала слушать тот грязный анекдот. А может, это вовсе и не был грязный анекдот; наверно, он просто оболгал ее, без всякой причины подумал о ней плохо. Нет, это никак не мог быть грязный анекдот — ни в коем случае, ведь лицо ее, когда она снова повернулась к нему за столом, походило на лицо ребенка из его домашней Библии с картинками — того самого, что смотрит так невинно и послушно, в то время как Христос говорит: «Таковых есть Царствие Божие» *. И не только это служило причиной его счастья. Он был счастлив еще и потому, что препарат, изготовленный из кишечной флоры карпов, похоже, начал оказывать действие на получавших его бабуинов.

— По-моему, они стали активнее,— пояснил он.— И шерсть у них вроде как больше лоснится.

Это наблюдение доставило ему почти такую же радость, как присутствие Вирджинии здесь, в волшебных лучах заходящего солнца, как память о том, что она была так мила с ним, и растущее убеждение в ее абсолютной невинности. И правда, ему смутно чудилось, будто омоложение бабуинов и прелесть Вирджинии имеют какую-то внутреннюю связь — связь не

---

[1] Сладострастие обивало пороги *(франц.)*.
[2] Карандаш моего дядюшки *(франц.)*.
[3] Умеете ли вы сажать капусту *(франц.)*.
[4] *Здесь:* вслух *(лат.)*.

только друг с другом, но в то же время и с патриотами Испании, с антифашизмом. Три разные вещи, а сливаются в одну... Были, кажется, такие стихи, их заставляли учить в школе,— как там говорилось?

О милая, я б не любил тебя так сильно,

Когда бы не любил чего-то там *(он сейчас не мог припомнить, чего именно)* сильней *.

Он ничего не любил *сильней,* чем Вирджинию. Но то, что ему были так необычайно дороги наука и справедливость, его теперешние исследования и друзья-товарищи в далекой Испании, странным образом влияло и на любовь к Вирджинии — она становилась еще более глубокой и, как это ни парадоксально, более преданной.

— Ну что, тронулись? — наконец предложил он.

Обиспо поглядел на часы.

— Совсем забыл,— сказал он.— Мне нужно успеть написать до обеда несколько писем. Придется, видно, повидаться с Проптером в другой раз.

— Вот досада! — Пит постарался, чтобы в его словах прозвучало искреннее сожаление, хотя на самом деле ничего подобного не испытывал. Он был даже рад. Он восхищался доктором Обиспо как замечательным исследователем, но отнюдь не считал его подходящей компанией для юной невинной девушки вроде Вирджинии. Его ужасала мысль, что она может поддаться влиянию такого прожженного циника. К тому же, если говорить о его собственных отношениях с Вирджинией, Обиспо вечно совал ему палки в колеса.

— Вот досада! — повторил он.

Радость его была столь велика, что он чуть ли не бегом одолел лестницу, ведущую от питомника к дороге; одолел так быстро, что сердце у него сильно и неровно забилось. Проклятый ревматизм!

Обиспо отступил, чтобы пропустить Вирджинию; одновременно он слегка похлопал по карману, где лежали «Les Cent-Vingt Jours de Sodome», и подмигнул ей. Вирджиния подмигнула в ответ и пошла по лестнице вслед за Питом.

Немного спустя Обиспо уже шагал по дороге вверх, а остальные — вниз. Точнее сказать, шагали только Джереми с Питом, а Вирджиния, для которой сама идея перемещения из одного места в другое с помощью ног была попросту немыслимой, уселась на свой мотороллер цвета клубники со сливками и, трогательно положив руку на плечо Питу, катила вниз под действием силы гравитации.

Обезьяний гомон за ними постепенно утихал, и вот за следующим поворотом появилась нимфа Джамболоньи, по-прежнему неустанно извергающая из грудей две водяные струи. Вирджиния внезапно прервала разговор о Кларке Гейбле и с негодованием бичующего порок праведника заметила:

— Просто не понимаю, как Дядюшка Джо терпит здесь эту штуку. Гадость какая!

— Гадость? — изумленно откликнулся Джереми.

— Да, гадость! — решительно повторила она.

— Вам не нравится, что на ней ничего не надето? — спросил он, вспомнив две атласные асимптоты к обнаженной натуре, которые были на ней там, наверху, в бассейне.

Она нетерпеливо качнула головой.

— Нет, то, как выливается вода.— Она скорчила гримасу, словно ей попалось что-то отвратительное на вкус.— По-моему, это ужасно.

— Но почему? — не отставал Джереми.

— Потому что ужасно.— Это было все, что она могла сказать в объяснение. Дитя своего века, века кормления из бутылочек и контрацепции, она была оскорблена этой вопиющей непристойностью, вынырнувшей из прошлого. Это было просто ужасно; вот и все, что она могла сказать. Повернувшись к Питу, она вновь заговорила о Кларке Гейбле.

Напротив входа в Грот Вирджиния остановила мотороллер. Каменщики уже сложили гробницу и ушли; в Гроте не было ни души. Дабы не

оскорбить Богородицу, Вирджиния поправила свою лихо заломленную кепочку; затем взбежала по ступеням, чуть помедлила у порога, осенила себя крестом и, войдя внутрь, преклонила колени перед образом. Остальные в молчании ждали ее на дороге.

— Прошлым летом у меня был синусит, и Пресвятая Дева просто спасла меня,— объяснила Вирджиния Джереми, вновь выйдя к своим спутникам.— Поэтому я и попросила Дядюшку Джо построить для Нее этот Грот. Правда, здорово было, когда архиепископ приезжал освящать его? — добавила она, повернувшись к Питу.

Пит кивнул в знак подтверждения.

— С тех пор как Она здесь, я даже не простудилась ни разу,— продолжала Вирджиния, садясь на мотороллер. Лицо ее сияло торжеством; каждая победа Небесной Владычицы одновременно была и персональным достижением Вирджинии Монсипл. Затем, словно на кинопробе, где потребовалось изобразить утомление и жалость к себе, она вдруг и без всякого предупреждения провела рукой по лбу, глубоко вздохнула и совершенно упавшим, полным уныния голосом произнесла: — Все равно я сегодня ужасно устала. Наверно, после ленча слишком долго была на солнце. Пожалуй, лучше пойду прилягу.

И ласково, но очень твердо отклонив предложение Пита проводить ее обратно в замок, она развернула мотороллер передом в гору, подарила юноше последнюю, самую обворожительную, чуть ли не влюбленную улыбку и взгляд, сказала: «До свидания, Пит, милый», дала газ и, разогнавшись под ускоряющееся тарахтенье мотора, взяла крутой подъем и скрылась за поворотом. Спустя пять минут она уже была в своем будуаре и, стоя у фонтанчика с содовой, готовила себе шоколадно-банановый сплит. Сидя в позолоченном кресле с атласной обивкой couleur fesse de nymphe [1], доктор Обиспо читал вслух и тут же переводил первый том «Les Cent-Vingt Jours».

Глава восьмая

Мистер Проптер сидел на скамейке под самым большим из своих эвкалиптов. Горы к западу от домика уже плоско чернели на фоне закатного неба, но вершины тех, что высились впереди, на севере, еще жили, облитые светом и тенью, розовато-золотым и темно-синим. Замок на переднем плане покорял глаз чарующей, сказочной красотой. Проптер поглядел на него, на холмы, потом выше, на бледное небо, просвечивающее сквозь неподвижную листву эвкалипта; потом закрыл глаза и беззвучно повторил ответ кардинала Беруля * на вопрос «Что есть человек?» Впервые он прочел эти слова больше тридцати лет назад, когда писал об этом кардинале. Уже тогда они привели его в восхищение своей великолепной точностью и выразительностью. С течением времени и ростом жизненного опыта они стали казаться ему более чем выразительными, приобрели еще более богатые оттенки, еще более глубокий смысл. «Что есть человек? — прошептал он про себя.— C'est un néant environné de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu, et rempli de Dieu, s'il veut. Ничто, объятое Богом, нуждающееся в Боге, способное принять Бога и наполнить себя Им, если пожелает того». А что это за Бог, которого люди способны принять в себя? Проптер ответил определением Иоганна Таулера * из первого абзаца его «Следования Христу»: «Бог есть бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание». Значит, человек есть ничто, объятое бытием, удаленным от всякой твари, и нуждающееся в нем, ничто, способное принять в себя свободную мощь, исполниться чистого делания, если пожелает того. *Если* пожелает,— печально, с внезапной горечью подумал Проптер. Но как же мало людей желает этого и как мало желающих знают, к чему стремиться и как достичь цели! Истинное знание едва ли менее редко, чем неустанная готовность ему следовать. Среди тех немногих, что ищут

---

[1] Цвета ягодиц нимфы *(франц.)*.

Бога, большинство по неведению находит лишь такие отражения собственных желаний, как Бог — Покровитель в Битвах, Бог избранного народа, Бог-заступник, Спаситель.

Отвлекшись на эти мысли об отрицательном, постепенно теряя чуткую прозрачность сознания, Проптер углубился в еще более бесплодные размышления о конкретных, насущных житейских проблемах. Он вспомнил утренний разговор с Хансеном, управляющим владениями Стойта в долине. Хансен обращался с сезонниками, приехавшими на сбор фруктов, еще хуже, чем прочие наниматели. Он пользовался их нищетой и многочисленностью, чтобы снизить заработную плату. На его посадках за два-три цента в час маленьким детям приходилось работать под палящим солнцем целые дни. А дома́, куда они возвращались, окончив дневной труд, были отвратительными лачугами на голом месте у самой реки. За аренду этих лачуг Хансен брал по десять долларов в месяц. За десять долларов в месяц людям предоставлялось право мерзнуть или погибать от духоты; спать по-свински, всем скопом; служить добычей клопам и вшам; страдать от офтальмии, а то и от дизентерии или глистов. И тем не менее Хансен был вполне порядочный, мягкосердечный человек: он возмутился бы и вспылил, если бы у него на глазах пнули собаку; он бросился бы защищать попавшую в беду женщину или обиженного ребенка. Когда Проптер обратил на это его внимание, лицо Хансена потемнело от гнева.

Сезонники — другое дело, сказал он.

Проптер попытался выяснить, почему это другое дело.

Он выполняет свой долг, сказал Хансен.

Но разве его долг состоит в том, чтобы обращаться с детьми хуже, чем с рабами, и заставлять их мучиться от глистов?

Он выполняет долг по отношению к владельцу посадок. Он ничего не делает для себя.

Но почему поступать дурно ради кого-то другого лучше, чем делать это ради себя самого? Результаты в обоих случаях совершенно одинаковы. От исполнения вами того, что вы называете своим долгом, жертвы страдают ничуть не меньше, чем от действий, идущих, как вы полагаете, на пользу лично вам.

После этого Хансен дал волю своему гневу и разразился яростной бранью. Это был, подумал Проптер, гнев здравомыслящего, но ограниченного человека, которого вынуждают задавать себе нескромные вопросы относительно поступков, совершаемых им как нечто само собой разумеющееся. Он не хочет задавать себе эти вопросы, ибо понимает, что иначе ему придется или вести себя по-прежнему, однако с циничным сознанием того, что он поступает дурно, или же, если ему не хочется быть циником, совершенно изменить весь ход своей жизни, чтобы привести свою любовь к хорошим делам в соответствие с реальными фактами, раскрывшимися благодаря самодопросу. Для большинства людей всякая радикальная перемена еще ненавистнее циничности. Единственный способ обойти дилемму — это любой ценой сохранить неведение, позволяющее по-прежнему поступать дурно, лелея успокоительную веру в то, что этого требует долг — долг по отношению к фирме, к своим компаньонам, к семье, к городу, к государству, к отечеству, к церкви. Ибо, конечно же, случай бедняги Хансена отнюдь не уникален; птица невысокого полета, а значит, ограниченный в возможности творить зло, он вел себя точно так же, как все те радетели за народное благо, государственные мужи и прелаты, что идут по жизни, сея во имя своих идеалов и верности своим категорическим императивам горе и разрушение.

Да, разговор с Хансеном мало что ему дал, грустно заключил Проптер. Придется попытать счастья с Джо Стойтом. Прежде Джо всегда отказывался слушать, ссылаясь на то, что земельные владения — дело Хансена. Отговорка была очень удобной, и он понимал: добиться от Джо другого ответа будет трудновато.

От Хансена и Джо Стойта мысли его перенеслись к семье только что прибывших сюда сезонников-канзасцев — он сдал им один из своих до-

миков. Трое хилых от недоедания детей с уже гнилыми зубами; женщина, изглоданная Бог знает какими замысловатыми недугами, уже глубоко погрузившаяся в вялость и апатию; ее муж, который попеременно негодовал и жаловался на судьбу, буйствовал или угрюмо молчал.

Он повел новичка купить овощей со здешних огородов и кролика семье на ужин. Сидя с ним вместе и свежуя кролика, он принужден был выслушивать потоки бессвязных жалоб и обвинений. Канзасец проклинал рынок пшеницы, цены на котором резко падали, как только его дела начинали налаживаться. Банки, где он занимал деньги, а потом не мог расплатиться. Засухи и ветры, которые превратили его ферму в сто шестьдесят акров бесплодной, занесенной пылью пустыни. Судьбу, которая всегда была против него. Людей, которые так подло с ним поступали — всегда, всю жизнь!

Оскомину набившая история! Он слышал ее, с незначительными отклонениями, уже тысячу раз. Иногда это были издольщики с южных земель, лишенные своих наделов хозяевами, отчаянно старавшимися достичь самоокупаемости. Иногда, подобно этому сезоннику, они имели свои фермы и лишились их не по воле финансистов, а благодаря действию сил природы — сил природы, которые сами же превратили в разрушительные, выведя под корень всю траву и не сея ничего, кроме пшеницы. Иногда это были наемные рабочие, место которых заняли тракторы. Все они пришли в Калифорнию, как в землю обетованную, а Калифорния уже низвела их до уровня бродячих батраков и быстро обращала в неприкасаемых. Только святой, подумал Проптер; только святой может быть наемным рабочим и парией без вреда для себя, ибо только святой примет этот жребий с радостью, так, словно выбрал его по собственной воле. Бедность и страдание облагораживают только тогда, когда их избирают добровольно. Вынужденные бедность и страдания делают людей хуже. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели человеку, ставшему бедным не по своей воле, попасть в Царство небесное. Вот, например, этот несчастный малый из Канзаса. Как он отозвался на вынужденную бедность и страдания? Насколько Проптер мог судить, за свое невезение он отыгрывался на тех, кто слабее его. Стоит только вспомнить, как он орал на детей... Слишком хорошо знакомый симптом.

Когда кролик был освежеван и выпотрошен, Проптер прервал монолог своего компаньона.

— Знаете, какое место в Библии самое глупое? — неожиданно спросил он.

Ошарашенный и явно слегка испуганный, канзасец покачал головой.

— Вот какое,— сказал Проптер, вставая и передавая ему кроличью тушку.— «Возненавидели Меня напрасно» *.

Сидя под эвкалиптом, Проптер устало вздохнул. Обращать внимание неудачников на то, что они наверняка, пусть отчасти, сами повинны в своих неудачах; объяснять им, что неведение и глупость караются природой вещей не менее жестоко, чем откровенно злой умысел,— эти занятия никак не назовешь приятными. Это всегда неприятно, однако, насколько он мог судить, абсолютно необходимо. Ибо разве остается надежда, спросил он себя, разве остается хоть самый слабенький лучик надежды человеку, который и вправду верит, что его «возненавидели напрасно» и что он не повинен в своих несчастьях? Очевидно, нет. Мы видим — об этом свидетельствуют простые факты,— что несчастья и ненависть всегда имеют причину; мы видим также, что люди, страдающие от этих несчастий и навлекающие на себя эту ненависть, обычно могут повлиять по меньшей мере на некоторые из этих причин. Они всегда в какой-то степени виноваты сами — прямо или косвенно. Прямо, когда совершают глупые или злонамеренные поступки. Косвенно, когда не проявляют столько ума и сострадания, сколько могли бы. А эти упущения они обычно делают тогда, когда избирают путь бездумного следования принятым стандартам и образу жизни их современников. Мысли Проптера вернулись к тому несчастному канзасцу. Самодовольный, наверняка не любимый соседями,

невежественный земледелец, но этим дело не исчерпывается. Самое главное его преступление — это то, что он считает окружающий мир нормальным, устроенным рационально и правильно. Подобно всем прочим, он позволил рекламе умножить его потребности; он научился мерить счастье богатством, а успех — количеством денег в кармане. Подобно всем прочим, он и думать позабыл о том, что можно кормиться со своего хозяйства, и привык рассчитывать лишь на «выгодные культуры», и не изменил своего образа мыслей даже тогда, когда эти культуры уже перестали приносить ему всякую выгоду. Затем, подобно всем прочим, он залез в долги к банкам. И наконец, подобно всем прочим, убедился в абсолютной правоте специалистов, которые твердят вот уже лет тридцать: в полузасушливых землях плодородный слой удерживает трава; вырвите траву, уйдет и плодородный слой. Что, в свой черед, и случилось.

Канзасец превратился в батрака и парию; и эта новая жизнь отнюдь не шла ему на пользу.

Еще одной исторической фигурой, которой Проптер посвятил специальное исследование, был святой Петр Клавер *. Когда в гавань Картахены вошли корабли, груженные рабами, Петр Клавер был единственным из белых людей, отважившимся спуститься в трюмы. Там, в неописуемой жаре и смраде, в испарениях мочи и кала, он ухаживал за больными, он перевязывал раны, натертые кандалами, он обнимал людей, которые предались отчаянию, и говорил им слова ласки и утешения — а в промежутках беседовал с ними об их грехах. *Их* грехах! Современного гуманиста это рассмешило бы, а то и шокировало. И все же — таким оказался вывод, к которому постепенно и неохотно пришел Проптер,— и все же св. Петр Клавер был, наверное, прав. Конечно, не совсем прав; ибо, действуя на основе ошибочного знания, пусть даже из самых лучших побуждений, никто не может быть прав более, чем отчасти. Но, во всяком случае, прав настолько, насколько этого можно ожидать от хорошего человека с философией католика времен Контрреформации. Прав, веря, что у каждого, в каком бы положении он ни оказался, были упущенные возможности сделать добро, каждый совершал поступки, чреватые дурными, а порой и роковыми последствиями. Прав в убеждении, что даже самым обездоленным можно и нужно напоминать об их собственных недостатках.

Изъяном мировоззренческой картины Петра Клавера была ее ошибочность, достоинствами — простота и наглядность. Имея персонифицированного Бога, способного даровать прощение, имея рай и ад и абсолютную реальность человеческих индивидуальностей, имея формулу, что благие намерения уже достойны похвалы, и святую веру в целый ряд необоснованных утверждений — имея все это, человек поистине не затруднится убедить в греховности даже новоприбывшего раба и подробно объяснить ему, как с нею бороться. Но если нет ни единственной богодухновенной книги, ни одной на весь мир святой церкви, ни посредников-патеров, ни волшебства священных обрядов, если нет персонифицированного Бога, у которого можно вымолить прощение за дурные дела, если существуют, даже в мире морали, только причины и следствия да сложнейшая система взаимосвязей — тогда, понятно, становится гораздо труднее объяснить людям, как следует изживать свои недостатки. Ибо каждый человек призван иметь не только недремлющую добрую волю, но и недремлющий ум. И это еще не все. Ибо, если индивидуальность не абсолютна, если личность есть лишь пустая выдумка своеволия, безнадежно слепого по отношению к реальному, более-чем-личностному сознанию, которое оно ограничивает и отвергает, тогда усилия всякого человека должны быть в конечном счете направлены на актуализацию этого более-чем-личностного сознания. Так что вдобавок к доброй воле недостаточно одного ума; должна быть сосредоточенность мысли, преломляющая и превышающая ум. Много званых, а мало избранных *— ибо мало кто знает даже, в чем состоит спасение. Взять хотя бы того же канзасца... Проптер уныло покачал головой. Все против бедняги — его слепая ортодоксальность, его уязвленное и воспаленное себялюбие, его

хроническая раздражительность, его низкий интеллект. Три первых недостатка еще можно было бы исправить. Но что поделать с четвертым? Так уж устроен мир — он не прощает слабости. «...У неимеющего отнимется и то, что имеет» *. Как там сказано у Спинозы? «Человеку можно простить многое, но это не избавляет его от страданий. Лошади простительно, что она не человек; однако ей волей-неволей приходится быть лошадью, а не человеком». И тем не менее наверняка можно сделать что-нибудь даже для людей, подобных этому канзасцу,— сделать так, чтобы не понадобилось прибегать к пагубной лжи о природе вещей. Например, лгать, что там, наверху, кто-то есть; или по-другому, на более современный лад — что человеческие ценности абсолютны и что Бог — это нация, или партия, или человечество в целом. Наверняка, убежденно подумал Проптер, наверняка для таких людей что-нибудь да можно сделать. Вначале, услышав от него о цепи причин и следствий и о переплетении взаимосвязей, канзасец просто возмутился — возмутился так, словно ему нанесли личное оскорбление. Но затем, увидев, что его ни в чем не упрекают, ничего не пытаются ему навязать, он начал проявлять интерес, начал понимать, что какое-то зерно в этом есть. Мало-помалу его, наверное, можно научить мыслить чуть более реалистично — хотя бы о том, как устроена повседневная жизнь, о внешнем мире явлений. А если это получится, то для него, наверное, будет не такой уж непреодолимой трудностью научиться мыслить чуть-чуть реалистичнее и о самом себе, понять, что его драгоценное «я» — всего лишь выдумка, что-то вроде кошмара, страшно перевозбужденное ничто, способное, если это возбуждение уляжется, исполниться Бога — Бога, мыслимого и ощущаемого как нечто большее, чем индивидуальное сознание, как свободная мощь, чистое делание, бытие, удаленное от... Вернувшись таким образом к исходной точке, Проптер вдруг как бы заново увидел весь длинный, извилистый, бестолковый путь, проделанный им ради ее достижения. Он пришел на эту скамью под эвкалиптом, чтобы сосредоточиться, чтобы на какое-то время ощутить за своими личными мыслями и чувствами присутствие того, иного сознания, той свободной, чистой мощи, превышающей его собственную. Он пришел ради этого; но стоило ему потерять бдительность, как воспоминания отыскали лазейку; принялись, облачко за облачком, наплывать размышления — они поднимались, словно морские птицы с гнездовья, и застили солнце. Жизнь индивидуальности есть рабство; и индивидуальное начало в человеке будет бороться за это рабство с бесконечной изобретательностью и самым изощренным коварством. Платой за свободу является постоянная бдительность, а он оказался не на высоте. И дело тут, подумал он уныло, вовсе не в том, что дух бодр, а плоть немощна *. Это совершенно неправильное противопоставление. Дух-то всегда бодр; а вот личность, которую образует сознание вкупе с телом, желает оставаться косной — но личность, между тем, отнюдь не немощна, а необычайно сильна.

Он опять поглядел на горы, на бледное небо, просвечивающее сквозь листву, на стволы эвкалиптов, окрашенные сумерками в мягкие коричневато-розовые, лиловые, серые тона; потом закрыл глаза.

«Ничто, объятое Богом, нуждающееся в Боге, способное принять Бога и исполниться Им, если человек пожелает того. А что есть Бог? Бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание». Его сосредоточенность постепенно переставала быть волевым актом, намеренным отторжением назойливого роя мыслей, чувств и желаний. Ибо мало-помалу эти мысли, желания и чувства оседали, точно муть в кувшине с водой, и по мере их оседания сосредоточенность плавно переходила в нечто вроде спокойного, ничем не понуждаемого созерцания, одновременно пристального и безмятежного, чуткого и пассивного,— созерцания, объектом которого служили мысленно произнесенные слова, но вместе с ними и то, что их окружало. Но тем, что окружало эти слова, и было само созерцание; ибо сосредоточенность, которая превратилась сейчас в не требующее усилий созерцание,— чем и являлась она, как не одной из сторон, частичным проявлением того безличного, ничем не потревоженного сознания, куда

были обронены и теперь тихо опускались эти слова? И чем глубже опускались они, провожаемые внимательным созерцанием в его собственные бездны, тем более проступал их новый смысл — и перемена эта касалась не подразумеваемых под словами сущностей, а скорее способа их постижения, который из интеллектуального по преимуществу стал интуитивным и прямым, так что природа человека в его потенциальности и Бога в актуальности постигались как бы благодаря чувственному переживанию, путем непосредственной причастности.

И его существо, это вечно хлопочущее ничто, словно преобразилось в открытый резервуар, готовый принять в себя мир и чистоту, отрешение от житейской суеты и страстей, блаженную свободу от индивидуальности...

Звук приближающихся шагов заставил его открыть глаза. По дорожке, ведущей к скамье под эвкалиптами, шли Питер Бун и тот англичанин, с которым он ехал в машине. Проптер поднял руку и улыбнулся в знак приветствия. Ему нравился юный Пит. Тут были налицо и врожденный ум, и врожденная доброта; были восприимчивость, бескорыстие и непроизвольное благородство душевных движений и отклика на все происходящее. Чудесные, замечательные свойства! Жаль только, что сами по себе, не руководимые знанием об истинной природе вещей, они пока были бессильны служить добру, абсолютно не способны привести к тому, что разумный человек мог бы назвать спасением. Чистое золото, но все еще в виде руды, невыплавленное, необработанное. Возможно, когда-нибудь мальчик и научится использовать свое золото. Но сначала ему надо захотеть научиться этому — а вдобавок захотеть отучиться от множества вещей, которые сейчас кажутся ему самоочевидными и правильными. А это будет тяжело — хотя и по другим причинам, но так же тяжело, как для того несчастного канзасца.

— Привет, Пит,— окликнул он.— Иди, посиди со мной. Ты и мистера Пордиджа привел; это славно.— Он подвинулся на середину скамейки, чтобы они могли усесться по обе стороны от него.— Ну как, познакомились с Людоедом? — спросил он Джереми, кивая на виднеющийся впереди замок.

Джереми сделал кислую мину и кивнул.

— Я не забыл прозвища, которым его наградили в школе,— промолвил он.— Это мне и правда немного помогло.

— Бедняга Джо,— сказал Проптер.— Люди почему-то считают, что толстяки должны быть этакими счастливчиками. Но кому же нравится вечно выслушивать насмешки? Жизнерадостный вид, который они иногда на себя напускают, и их подшучивание над собой — все это делается лишь ради алиби и для профилактики. Высмеивание собственных недостатков служит им прививкой, которая позволяет не так болезненно переносить чужие издевательства.

Джереми улыбнулся. Уж насчет этого-то он знал все.

— Помогает выходить из неловкого положения,— сказал он.

Проптер кивнул.

— Но, к несчастью,— произнес он,— за Джо такой привычки никогда не водилось. Джо был из той породы толстяков, что вечно выпендриваются. Из породы драчунов. Из породы задир и любителей покомандовать. Из породы хвастунов и выскочек. Из тех, что покупают себе популярность, угощая девчонок мороженым, даже если для этого приходится тайком заглядывать в бабушкин кошелек. Из тех, кто продолжает воровать, даже если его поймают, отлупят и убедят, что теперь ему прямая дорога в ад. Бедняга Джо, он всю жизнь был представителем именно этой разновидности толстяков.— Он снова махнул в сторону замка.— Это его памятник ущербному гипофизу. Кстати, о гипофизах,— продолжал он, поворачиваясь к Питу,— как продвигается твоя работа?

Сидя под эвкалиптом, Пит мрачно размышлял о Вирджинии — он в сотый раз пытался понять, почему она их бросила, сообразить, не обиделась ли она на него за что-нибудь, действительно ли она так устала, или, может быть, есть какая-то другая причина. Но при упоминании о работе юноша поднял голову, и лицо его просветлело.

— Все идет просто здорово,— ответил он и торопливо, азартно, мешая жаргонные словечки и научные термины, что довольно странно воспринималось на слух, рассказал Проптеру о результатах, которых они уже добились на мышах и, похоже, вот-вот добьются на бабуинах и собаках.

— А если все получится,— спросил Проптер,— что тогда будет с вашими собаками?

— Мы продлим им жизнь! — торжествующе ответил Пит.

— Нет-нет, это-то мне понятно,— сказал его собеседник.— Я имел в виду другое. Ведь собака — это как бы недоразвитый волк. Она больше похожа на зародыш волка, чем на взрослую особь, верно?

Пит кивнул.

— Другими словами,— продолжал Проптер,— это кроткое, послушное животное, поскольку оно не успело одичать. Не в этом ли видят один из механизмов эволюции?

Пит снова кивнул.

— Существует как бы такое гормональное равновесие,— пояснил он.— Потом происходит мутация и нарушает его. У вас получается новое равновесие, а оно, оказывается, замедляет скорость развития. Вы растете; но делаете это так медленно, что успеваете умереть, прежде чем перестанете быть зародышем вашего прадедушки.

— Точно,— сказал Проптер.— И что же случится, если удлинить жизнь животному, проделавшему такой эволюционный путь?

Пит рассмеялся и пожал плечами.

— Придется чуток потерпеть, тогда увидим,— ответил он.

— Пожалуй, будет малоприятно,— сказал Проптер,— если ваши собаки в процессе роста начнут деградировать.

Пит опять жизнерадостно рассмеялся.

— Представьте только, как старушки драпанут от своих любимых мопсов,— сказал он.

Проптер как-то странно поглядел на Пита и некоторое время молчал, словно ожидая от него дальнейших комментариев. Однако других комментариев не последовало.

— Что ж, меня радует твой оптимизм,— сказал он. Затем повернулся к Джереми.— Ведь, если я не ошибаюсь, мистер Пордидж,— ведь пороков своих не оставишь, коли в обхвате прибавишь?

— Иль, с дуб высотою, лет триста стоймя простоишь *,— подхватил Джереми, улыбаясь от удовольствия, которое всегда вызывала у него кстати приведенная цитата.

— Что бы мы делали, если бы прожили до трехсот лет? — размышлял вслух Проптер.— Вы полагаете, что по-прежнему были бы ученым и джентльменом?

Джереми кашлянул и похлопал себя по лысине.

— Джентльменом-то наверняка перестал бы быть,— ответил он.— Уже сейчас, слава Богу, перестаю.

— Ну а ученый держался бы до конца?

— Что ж, ведь книг в Британском музее — читать не перечитать.

— А ты, Пит? — сказал Проптер.— По-прежнему будешь заниматься научными исследованиями?

— Почему бы и нет? Что же может помешать заниматься этим хоть целую вечность? — горячо ответил юноша.

— Целую вечность? — повторил Проптер.— А тебе не кажется, что это может немного надоесть? Опыт за опытом. Или книга за книгой,— добавил он, адресуясь к Джереми.— В общем, одна чепуховина за другой. Тебе не кажется, что это начнет слегка угнетать?

— Не понимаю почему,— сказал Пит.

— Значит, время тебе не докучает?

Пит покачал головой:

— С чего бы это?

— А отчего же нет? — сказал Проптер, глядя на него с ласковой симпатией.— Время ведь, знаешь ли, весьма неприятная штука.

— Это только если боишься смерти или старости.

— Да нет,— не согласился Проптер,— даже если не боишься. Оно кошмарно по сути своей — так сказать, по своей внутренней природе.

— По внутренней? — Пит озадаченно поглядел на него.— Не понимаю я этого,— сказал он.— По внутренней природе?..

— Если брать его в форме настоящего, тогда это, конечно, кошмар,— вмешался Джереми.— Но если оно оказывается перед вами в виде ископаемого — ну, например, как бумаги Хоберков...— он не закончил.

— О да, вполне безобидно,— согласился Проптер с невысказанным выводом.— Но вообще-то история — вещь нереальная. Прошедшее время представляет собой всего лишь зло на расстоянии; да и само изучение прошлого есть, разумеется, временной процесс. Коллекционирование осколков окаменелого зла не может быть более чем эрзацем, заменой непосредственного переживания вечности.— Он с интересом глянул на Пита, пытаясь угадать, какой отклик найдут в нем эти слова. Так сразу окунуться в самую суть, начать с самого главного, с сердцевины тайны — это, конечно, рискованно; есть опасность вызвать в ответ лишь недоумение, а то и раздраженное неприятие. Пит, пожалуй что, склонялся к первому, но его недоумение, видимо, подогревалось любопытством; ему явно хотелось разобраться, в чем же тут дело.

Джереми тем временем почувствовал, что беседа принимает весьма нежелательный оборот.

— О чем мы, собственно, толкуем? — кисло спросил он.— О Новом Иерусалиме, что ли?

Проптер добродушно улыбнулся ему.

— Не волнуйтесь,— ответил он.— Об арфах и херувимах я не скажу ни слова.

— И на том спасибо,— пробормотал Джереми.

— Мне никогда не доставляли удовольствия бессмысленные разговоры,— продолжал Проптер.— Я стараюсь употреблять лишь слова, имеющие какое-то отношение к фактам. Поэтому меня и интересует вечность — вечность психологическая. Ведь это факт.

— Для вас — возможно,— сказал Джереми, своим тоном ясно давая понять, что более цивилизованные люди не страдают подобными галлюцинациями.

— Не только для меня. В этом может убедиться всякий, кто выполнит необходимые условия.

— И зачем же человеку выполнять эти условия?

— А зачем люди едут в Афины и глядят на Парфенон? Затем, что дело того стоит. Вот так же и с вечностью. Опыт переживания вневременного блага стоит любых трудов, связанных с приобретением этого опыта.

— Вневременное благо,— неприязненно повторил Джереми.— Не понимаю, что это значит.

— И неудивительно,— сказал Проптер.— Ведь вы так толком и не поймете, что значит «Парфенон», пока не увидите его воочию.

— Да, но я по крайней мере видел Парфенон на фотографиях; я читал его описания.

— Описания вневременного блага вы тоже читали,— ответил Проптер.— И не раз. Ими полны все книги по философии и религии. Читать-то вы их читали, а вот билета в Афины купить так и не удосужились.

Погрузившись в негодующее молчание, Джереми вынужден был признать, что его собеседник прав. И эта чужая правота вызвала у него еще большую, чем прежде, неприязнь ко всему разговору.

— Ну, а время,— объяснял Проптер Питу,— что́ это, в русле наших рассуждений, как не та среда, где зло распространяется, не та стихия, в которой зло живет и вне которой — умирает? А на самом деле оно больше, чем просто стихия зла, больше, чем его родная среда. Если ты зайдешь в своем анализе достаточно далеко, то выяснится, что время-то как раз и есть зло. Одно из проявлений его глубинной сути.

Джереми слушал с растущим неудовольствием, все более и более

раздражаясь. Его страхи были не напрасны: старикан полез в дебри самой неудобоваримой теологии. Вечность, вневременное переживание блага, время как воплощение зла — ей-Богу, подобные проповеди и в книгах-то выглядят донельзя занудно; но когда тебя потчуют всем этим вот так, не обинуясь, да еще не в шутку, а всерьез,— нет, тут и впрямь не знаешь куда деваться. Почему, черт возьми, люди не могут просто вести разумную, культурную жизнь? Почему не могут принимать все как есть? В девять — завтрак, в полвторого — ленч, в пять — чай. И разговоры. И ежедневная прогулка с Гладстоном, йоркширским терьером. И библиотека; сочинения Вольтера в восьмидесяти трех томах; неисчерпаемый кладезь Хораса Уолпола *; и, для разнообразия, «Божественная комедия»; а потом, если вдруг возникнет соблазн чересчур серьезного отношения к средним векам, автобиография Салимбена * и «Рассказ Мельника» *. И время от времени дневные визиты — священник, леди Фредегонд со слуховой трубкой, мистер Вил. И споры о политике — правда, за эти несколько месяцев, после аншлюса и Мюнхена, политические споры превратились в одно из тех малоприятных занятий, которых умный человек старается избегать. И еженедельная поездка в Лондон — ленч в «Реформе» *, а обед непременно со стариком Триппом из Британского музея; и болтовня о том о сем с несчастным братцем Томом из Министерства иностранных дел (да только и это на глазах становилось занятием, которого лучше избегать). А потом, разумеется, Лондонская библиотека; вечерня в Вестминстерском соборе, если повезет и там будут петь Палестрину *; а каждую вторую неделю, с пяти до шести тридцати, полтора часа в обществе Мэй или Дорис на их квартирке в Мэйда-Вейл. Визит в гнездилище порока и разврата, как ему нравилось это называть; бездна удовольствия. Вот они, реальности этой жизни; почему бы не принять их, спокойно и трезво? Так нет же, людям непременно надо болтать о вечности и тому подобной чепухе. Вся эта болтовня обычно вызывала у Джереми желание побогохульничать и спросить, есть ли у Бога boyau rectum [1], заявить, как тот японец из анекдота, что он был совершенно смущен и сбит с толку положением Благородной Птицы *. Но, к несчастью, бывали случаи вроде сегодняшнего — они-то и раздражали больше всего,— когда такая реакция оказалась бы явно неуместной. Потому что этот чудак Проптер, в конце концов, написал «Очерки»; от его речей нельзя было отмахнуться, как от фантазий обыкновенного недоумка. Кроме того, он не проповедовал христианства, так что шуточки по поводу антропоморфизма тут не годились. Это прямо-таки выводило из себя! Он попытался изобразить высокомерное равнодушие и даже замурлыкал себе под нос «Пчелку и жимолость». Этим он хотел дать понять, что от человека, стоящего на более высоком уровне развития, никак нельзя требовать интереса к подобному бессмысленному разговору.

Комичное зрелище, подумал Проптер, наблюдая за ним; если, конечно, постараться не замечать, какое оно гнетущее.

Глава девятая

— Время и желания,— сказал Проптер,— желания и время — две стороны одного и того же; они представляют собой первичную материю зла. Вот видишь, Пит,— добавил он другим тоном,— видишь, какой сомнительный подарок ты преподнесешь нам, если твоя работа увенчается успехом. Еще целый век, а то и больше, времени и желаний. Пару лишних жизней, полных потенциального зла.

— Но и потенциального добра,— вставил юноша с протестующей ноткой в голосе.

— И потенциального добра,— согласился Проптер.— Только оно очень далеко от того дополнительного времени, которое ты хочешь нам подарить.

---

[1] Прямая кишка *(франц.)*.

— Почему? — спросил Пит.

— Потому что потенциальное зло заключено во времени, а потенциальное добро — нет. Чем дольше живешь, тем с большим количеством зла соприкасаешься — это происходит само собой. А добро — другое дело. Человек не обретает больше добра, просто существуя дольше. Странно,— задумчиво продолжал он,— что люди всегда бились лишь над проблемой зла. Только над ней. Как будто природа добра — это что-то самоочевидное. Вовсе нет. Есть и проблема добра, по меньшей мере столь же трудная, как и проблема зла.

— И ее решение?..— спросил Пит.

— Решение очень простое и совершенно неприемлемое. Актуальное добро — вне времени.

— Вне времени? Но тогда как же...

— Я недаром сказал, что решение неприемлемое,— промолвил Проптер.

— Но если оно вне времени, тогда...

— Тогда ничто из существующего во времени не может быть актуальным добром. Время есть потенциальное зло, а желания превращают это потенциальное зло в актуальное. А вот заключенное во временно́м акте добро может быть только потенциальным, более того — актуализироваться оно может только вне времени.

— Но здесь-то, во времени,— ну, просто делая обычные вещи... черт возьми! — мы ж поступаем иногда правильно. Так какие поступки можно считать хорошими?

— Строго говоря, их нет вовсе,— ответил Проптер.— Но на практике — что ж, думаю, некоторые поступки заслуживают такого названия. Хорошим можно назвать любой поступок, способствующий освобождению тех, кого он касается.

— Освобождению? — нерешительно повторил юноша. Он привык понимать это слово только как имеющее экономическую или революционную окраску. Но мистер Проптер явно не собирался призывать его свергнуть капиталистов.— Освобождению от чего?

Проптер помедлил с ответом. Стоит ли в это углубляться? — подумал он. Англичанин настроен враждебно; времени осталось мало; а сам паренек пока еще абсолютно невежествен. Но его невежественность отчасти компенсировалась доброй волей и трогательным стремлением постичь неведомое. Он решил попытать счастья и продолжить начатый разговор.

— Освобождению от времени,— сказал он.— Освобождению от желаний и переживаний. Освобождению от своей личности.

— Вот тебе и раз,— сказал Пит.— Вы же всегда говорите о демократии. Но ведь она держится на уважении к личности!

— Конечно,— согласился Проптер.— Уважение к личности необходимо для того, чтобы она могла преодолеть самое себя. Рабство и фанатизм усиливают одержимость временем, злом, своим собственным «я». Отсюда и ценность демократических институтов и скептического умонастроения. Чем больше ты уважаешь личность, тем скорее она сможет обнаружить, что всякая личность — тюрьма. Потенциальное добро — это все, что помогает тебе обрести свободу. Актуализированное добро находится вне тюрьмы, в безвременности, в состоянии чистого, незаинтересованного сознания.

— Я не очень-то силен в абстракциях,— сказал юноша.— Давайте возьмем какие-нибудь конкретные примеры. Хотя бы науку. Это как, хорошее дело?

— Хорошее, плохое или нейтральное, смотря как ею заниматься и в каких целях использовать. Хорошее, плохое или нейтральное прежде всего для самих ученых — точно так же, как искусство и гуманитарные дисциплины могут быть хороши, плохи или нейтральны для художников и гуманитариев. Они хороши, если облегчают освобождение; нейтральны, если от них нет ни помощи, ни вреда; плохи, если делают освобождение более трудным, усиливая власть индивидуального. И заметь, очевидное бескорыстие ученого или художника вовсе не обязательно означает истинную

свободу от пут личности. Ученые и художники — это люди, верящие в то, что мы неопределенно называем идеалами. Но что такое идеал? Идеал есть всего лишь сильно увеличенная проекция какой-нибудь из сторон личности.

— Повторите еще разок,— попросил Пит, и даже Джереми, позабыв о своем напускном равнодушии, выказал явную заинтересованность.

Проптер повторил.

— И это верно,— промолвил он,— для любого идеала, кроме самого высокого, а именно идеала освобождения — освобождения от личности, освобождения от времени и желаний, освобождения ради союза с Богом, если вы не возражаете против этого слова, мистер Пордидж. Многие возражают,— добавил он.— Это одно из тех слов, которые особенно шокируют нашу высоколобую публику. Я всегда, как могу, стараюсь щадить их чувства. Итак, вернемся к нашему идеалисту,— продолжал он, с удовольствием отметив, что Джереми не смог сдержать невольную улыбку.— Если он служит любому идеалу, кроме самого высокого,— будь то идеал красоты для художника, или идеал истины для ученого-естественника, или идеал того, что нынче почитается добродетелью, для гуманитария,— то он не служит Богу; он служит какой-то гипертрофированной черте себя самого. Он может быть безгранично предан своему идеалу, но в конечном счете объектом его преклонения оказывается какая-нибудь из сторон его собственной личности. Его несомненное бескорыстие на самом деле является не свободой от своего «я», а всего лишь иной формой закрепощения. Это значит, что наука может быть плоха для ученых, даже когда она якобы выступает в роли избавителя. То же самое относится и к искусству, и к гуманитарным дисциплинам, и к гуманистической деятельности.

Джереми с тоской вспомнил о своей библиотеке в «Араукариях». И почему этот свихнувшийся старик не желает принимать вещи такими, как есть?

— Ну а остальные? — допытывался Пит.— Те, кто не занимается наукой? Разве им она не помогает стать свободнее?

Проптер кивнул.

— Но параллельно и привязывает их еще крепче к самим себе. Более того, мне сдается, что в целом она скорей усиливает порабощение, нежели ослабляет его, и с течением времени этот перевес в дурную сторону будет становиться все заметнее и заметнее.

— Почему вы так считаете?

— Я сужу по ее приложениям,— ответил Проптер.— В первую очередь, это производство оружия. Новые самолеты, новые бомбы, новые пушки и газы — каждое усовершенствование увеличивает общий объем страха и ненависти, расширяет сферу влияния националистической истерии. Другими словами, каждый новый вид оружия затрудняет людям уход от своего «я», мешает им забыть те ужасные отображения самих себя, которые они называют идеалами патриотизма, героизма, доблести и тому подобное. И даже менее пагубные приложения науки едва ли более удовлетворительны. Ибо к чему ведут эти приложения? К увеличению числа вещей, которыми люди стремятся завладеть; к появлению новых средств искусственной стимуляции; к возникновению новых потребностей благодаря пропаганде, отождествляющей обладание с успехом, а постоянную искусственную стимуляцию — со счастьем.

Но постоянная стимуляция извне есть источник порабощения; то же относится и к жажде приобретательства. А ты еще грозишь продлить нам жизнь, чтобы мы могли и дальше подстегивать себя, и дальше стремиться к приобретениям, и дальше размахивать флагами, и ненавидеть наших врагов, и бояться воздушных налетов, поколение за поколением, все глубже и глубже увязая в вонючей трясине нашей индивидуальности.— Он покачал головой.— Нет, не разделяю я твоих симпатий к науке.

Наступило молчание; Пит обдумывал, спросить ли мистера Проптера о любви. В конце концов он решил не спрашивать. Вирджиния — это святое. Но почему же, почему она повернула назад у Грота? Может быть, он обидел ее каким-нибудь словом или поступком? Желая отвлечься от этих

тягостных мыслей, а заодно и узнать мнение собеседника о последней из трех вещей, кажущихся ему необычайно важными, он взглянул на Проптера и спросил:

— А как насчет социальной справедливости? Взять хотя бы Французскую революцию. Или Россию. А то, что сейчас происходит в Испании,— борьба за свободу и демократию против фашистской агрессии?

Говоря об этом, он думал остаться совершенно бесстрастным, как истый ученый, но на последних словах его голос чуть дрогнул. Несмотря на избитость (а может, именно благодаря ей), такие словосочетания, как «фашистская агрессия», все еще глубоко волновали его.

— Французская революция породила Наполеона,— сказал Проптер после минутной паузы.— Наполеон породил германский национализм. Германский национализм породил войну 1870 года. Война 1870 года породила войну 1914-го. Война 1914-го породила Гитлера. Таковы отрицательные результаты Французской революции. За освобождение же французских крестьян от феодальной зависимости и расширение политической демократии ей можно сказать спасибо. Положи хорошее на одну чашу весов, а плохое — на другую и посмотри, что перевесит. Затем проделай ту же операцию с Россией. На одну чашу положи крах царизма и капитализма, на другую положи Сталина, положи тайную полицию, голод, двадцать лет лишений для ста пятидесяти миллионов жителей, ликвидацию интеллигентов, кулаков и старых большевиков, несметные полчища заключенных в лагерях; положи воинскую повинность, обязательную для всех, будь то мужчина или женщина, ребенок или старик, положи революционную пропаганду, подтолкнувшую буржуазию к изобретению фашизма.— Проптер покачал головой.— Или взять борьбу за демократию в Испании,— продолжал он.— Не так давно за демократию боролись по всей Европе. Трезвый прогноз можно построить, только исходя из прошлого опыта. Вспомни последствия 1914 года, а потом спроси себя, есть ли у лоялистов * хоть один шанс установить либеральный режим в конце долгой войны. Их противники побеждают; поэтому у нас просто не будет возможности увидеть, к чему привели бы этих исполненных благих намерений либералов внешние обстоятельства и их собственные страсти.

— Ну так извините,— вырвалось у Пита,— чего же вы ждете от людей, если на них нападают фашисты? Чтобы они сидели смирно и дали перерезать себе глотки?

— Разумеется, нет,— сказал Проптер.— Я жду, что они будут драться. И эти ожидания основаны на моих прежних наблюдениях за тем, как люди себя ведут. Но тот факт, что люди реагируют на подобного рода ситуации подобного рода действиями, еще не доказывает, что эта реакция — наилучшая. Опыт заставляет меня ждать от них именно такого поведения. И опыт же подсказывает мне, что, если они поведут себя таким образом, последствия будут ужасны.

— Ну и чего же вы от нас хотите? Чтобы мы сидели сложа руки и ничего не делали?

— Да нет, делайте,— сказал мистер Проптер.— Но только то, что действительно может помочь.

— А что может помочь?

— Во всяком случае, не война. Не насильственная акция вроде революции. Да и вообще, по-моему, никакая крупномасштабная политика тут не поможет.

— Тогда что же?

— Вот это-то нам и предстоит понять. Основные направления достаточно ясны. Но нужно еще как следует разобраться в практических деталях.

Пит уже не слушал. Мысли его перенеслись к тем дням в Арагоне, когда жизнь казалась полной глубокого смысла.

— Но мои парни там, в Испании,— вырвалось у него,— вы не знаете их, мистер Проптер. Они же замечательные, честное слово, замечательные. Не жмоты, не трусы, ну и... преданные, и все такое.—

Он боролся с ущербностью своего словаря, со страхом, как бы его не высмеяли за умничанье, за чересчур высокопарную манеру выражаться.— Они жили не для себя, ручаюсь вам, мистер Проптер.— Он заглянул в лицо собеседнику просительным взглядом, словно умоляя его поверить.— Они жили ради чего-то гораздо большего, чем они сами,— вроде того, о чем вы только что говорили; ну, то есть, больше, чем просто личного.

— А как насчет парней Гитлера? — спросил Проптер.— Как насчет парней Муссолини? Как насчет парней Сталина? Ты думаешь, они не такие же смелые, не такие же верные друзья, не так же преданы своему общему делу и не так же твердо убеждены, что их дело правое, что они — честные и благородные борцы за справедливость и свободу? — Он испытующе поглядел на Пита, но Пит молчал.— То, что люди бывают наделены многими добродетелями,— продолжал Проптер,— отнюдь не помогает им делать добро. Ты можешь иметь все добродетели — все, кроме двух, которые действительно что-то значат, то есть умения понимать и сострадать *,— я повторяю, ты можешь иметь все остальные и быть при этом закоренелым злодеем. Собственно говоря, если ты не обладаешь большинством добродетелей, то из тебя не выйдет настоящего злодея. Вспомни хотя бы мильтоновского Сатану. Отважный, сильный, великодушный, надежный, благоразумный, умеющий владеть собой, способный на самопожертвование. Надо воздать должное и диктаторам: некоторые из них по добродетельности почти догнали самого Сатану. Догнать-то, конечно, не догнали, но почти. Поэтому им и удается творить так много зла.

Опершись локтями на колени и нахмурясь, Пит молчал.

— Но это чувство,— наконец промолвил он.— Чувство, которое всех нас связывало. Вы понимаете, о чем я,— ну, о дружбе; только это было больше, чем просто дружба. И чувство, что мы здесь все вместе... боремся за одно дело... и это дело стоит того... и потом, эта постоянная опасность, и дождь, и этот жуткий холод по ночам, и летняя жара, и пить хочется, и даже эти вши и грязь — все поровну, и плохое, и хорошее,— и знаешь, что завтра, может быть, твоя очередь, а может, кого-нибудь из ребят... и ты угодишь в полевой госпиталь (а там запросто может не хватить обезболивающего, разве только на ампутацию или что-нибудь в этом роде), а то и сразу на кладбище. Все эти чувства, мистер Проптер... выходит, в них нет никакого смысла?

— Смысл этих чувств только в них самих,— сказал Проптер.

Джереми увидел возможность для контратаки и тут же с несвойственной ему живостью воспользовался ею.

— А разве к вашему ощущению вечности, или как там ее, то же самое не относится? — спросил он.

— Разумеется,— ответил Проптер.

— В таком случае, как же вы можете приписывать ему какую-то ценность? Смысл чувства в нем самом, вот и весь разговор.

— Верно,— согласился Проптер.— Но что, собственно, такое «оно само»? Другими словами, какова природа чувства?

— Ну, это вопрос не ко мне,— сказал Джереми, шутливо-озадаченно подняв брови и покачав головой.— Ей-Богу, не знаю.

Проптер улыбнулся.

— Я знаю, что вы не хотите знать,— сказал он.— Поэтому спрашивать вас не буду. Я просто констатирую факты. Чувство, о котором идет речь,— внеличностное переживание вневременного покоя. Следовательно, освобождение от личности, вневременность и покой — это и есть его «смысл». Теперь рассмотрим чувства, о которых говорил Пит. Все они — переживания личного характера, вызванные временными обстоятельствами и сопровождающиеся возбуждением. Торжество личности в мире, где хозяйничают время и желания,— вот в чем «смысл» этих чувств.

— Но не назовете же вы самопожертвование торжеством личности,— сказал Пит.

— Назову, и непременно,— возразил Проптер.— По той простой причине, что в большинстве случаев так оно и есть. Принесение себя

в жертву по любым мотивам, кроме самого высшего,— это жертва идеалу, который является всего-навсего проекцией личности. То, что обычно называют самопожертвованием, есть лишь принесение одной части личности в жертву другой, отказ от одного комплекса личных чувств и страстей ради другого — как в том случае, когда отказ от переживаний, связанных с деньгами или сексом, окупается ощущением превосходства, чувствами солидарности с единомышленниками и ненависти к врагу, на которых стоит патриотизм и все бесконечные разновидности политического и религиозного фанатизма.

Пит покачал головой.

— Иногда,— сказал он с грустной и недоуменной улыбкой,— иногда вы говорите почти как Обиспо. Ну, знаете, — цинично.

Проптер рассмеялся.

— Циником быть не так уж плохо,— сказал он.— Надо только знать, где остановиться. Большинство вещей, которые преподносились нам как достойные всяческого уважения, на деле не заслуживают ничего, кроме насмешки. Чему, например, учили тебя? Тому, что верность своим принципам, умеренность, мужество, благоразумие и прочие добродетели хороши сами по себе, в любых условиях. Тебя уверяли, что самопожертвование всегда прекрасно, а благородные порывы непременно ведут к лучшему. А все это — чепуха, сплошная ложь, придуманная людьми в свое оправдание, чтобы и дальше отрицать Бога и барахтаться в собственном эгоизме. Если ты не привыкнешь относиться к высокопарной болтовне попов, банкиров, профессоров, политиков со стойким и неизменным цинизмом, ты пропащий человек. Нет тебе спасенья. Ты будешь приговорен к вечному заточению в своем «я» — обречен быть личностью в мире личностей; а мир личностей и есть *этот* мир, мир алчности, страха и ненависти, мир войн, капитализма, диктатур и рабства. Да, Пит, придется тебе стать циником. И особенно по отношению ко всем тем чувствам и поступкам, которые ты приучен считать хорошими. Многие из них вовсе не так уж хороши. На деле они — зло, их лишь принято считать похвальными. Но, к несчастью, зло остается злом независимо от того, что о нем думают. Если докопаться до сути, книжники и фарисеи окажутся ничуть не лучше мытарей и грешников. Пользуясь уважением других, они и сами начинают себя ценить,— а ничто так не питает эгоизм, как это самоуважение. Далее, мытари и грешники обычно бывают просто животными, они не могут принести большого вреда — на это у них не хватает ни энергии, ни выдержки. А вот книжники и фарисеи обладают всеми добродетелями, кроме двух единственно ценных, и достаточно умны, чтобы понимать все, кроме истинной природы вещей. Мытари и грешники только развратничают, да объедаются, да напиваются допьяна. А люди, которые затевают войны, люди, которые обращают себе подобных в рабов, люди, которые пытают, и убивают, и лгут во имя своих драгоценных идеалов,— словом, люди по-настоящему злые,— они-то как раз никогда не бывают мытарями и грешниками. Нет, это добродетельные, уважаемые люди с самой тонкой душевной организацией, с самыми лучшими мозгами, с самыми благородными помыслами.

— Стало быть, по-вашему,— заключил Пит с сердитым отчаянием,— сделать вообще ничего нельзя. Так, что ли?

— И да, и нет,— ответил Проптер, как всегда спокойно и рассудительно.— На чисто человеческом уровне, в плену времени и желаний, наверное, так и есть: в конечном счете, ничего сделать нельзя.

— Но ведь это пораженчество! — воскликнул Пит.

— Разве быть реалистом означает пораженчество?

— Но хоть что-то же наверняка можно сделать!

— Откуда ты взял это «наверняка»?

— А как же тогда реформаторы и всякие такие люди? Если вы правы, значит, они только зря тратят время.

— Это зависит от того, что они думают о своей деятельности,— сказал Проптер.— Если они понимают, что могут лишь ненадолго смягчить отдельные недуги, если смотрят на себя как на людей, чья нелегкая зада-

ча — вынуждать зло течь по новым руслам, мало отличающимся от старых,— тогда они имеют право рассчитывать на успех. Но если они думают, будто порождают добро там, где раньше было зло,— что ж, тогда они действительно зря тратят время, и вся человеческая история ясно это показывает.

— Но почему же они не могут породить добро там, где раньше было зло?

— Почему мы падаем вниз, когда прыгаем с десятого этажа? Потому что так уж устроен мир, и тут никуда не денешься. Мир устроен так, что на чисто человеческом уровне времени и желаний ничего, кроме зла, не существует. Если ты решишь трудиться только на этом уровне и только во имя типичных для него целей и идеалов, то не жди никакого обращения зла в добро, иначе ты просто сумасшедший. Сумасшедший, ибо твой опыт должен был бы показать тебе, что на этом уровне никакого добра нет. Есть только зло разных степеней и видов.

— Чего же вы в таком случае хотите от людей? Что им делать?

— Не надо говорить так, словно я один во всем виноват,— сказал Проптер.— Этот мир придумал не я.

— Но что бы вы им посоветовали?

— Если им хочется новых разновидностей зла, тогда пусть продолжают делать то же, что сейчас. Но если они хотят добра, им придется изменить тактику. И вот что отрадно,— добавил Проптер другим тоном,— отрадно, что тактика, способная принести добрые плоды, есть. Мы уже поняли, что на чисто человеческом уровне ничего сделать нельзя,— вернее, сделать-то можно много чего, только до добра это не доведет. Однако есть возможность действовать на тех уровнях, где добро действительно существует. Так что, Пит, как видишь, я не пораженец. Я стратег. По-моему, коли уж ввязываться в битву, так лучше вести ее способом, обещающим хоть малую надежду на успех. По-моему, если ты ищешь золотое руно, разумнее искать его там, где оно есть, чем, совершая чудеса храбрости, носиться по стране, где все овчинки черны как смоль.

— Так где же мы должны биться за добро?

— Там, где оно есть.

— Но где оно есть?

— На уровне ниже человеческого и на том, что выше его. На животном уровне и на уровне... назови его как хочешь: уровень вечности или, если не возражаешь, уровень Бога; уровень духа — только это, пожалуй, одно из самых двусмысленных слов в нашем языке. На низшем уровне добро существует как правильное функционирование организма согласно законам его собственного бытия. На высшем оно принимает форму познания мира без пристрастия или неприязни; форму непосредственного ощущения вечности, преодоления личностного начала, выхода сознания за границы, наложенные индивидуальностью. Чисто человеческая деятельность препятствует проявлению добра на двух других уровнях. Ибо, пока мы остаемся только людьми, над нами властвует время, нас держат в плену наши собственные индивидуальности и их раздутые отображения, которые мы называем своими политическими кредо, своими идеалами, своими религиями. А результат? Одержимые временем и своим «я», мы вечно чем-то обеспокоены, вечно чего-то жаждем. Но ничто так не мешает нормальному функционированию организма, как переживания и резкая смена настроений, как алчность, страхи и тревоги. Почти во всех наших физических расстройствах и недугах прямо или косвенно виновны наши волнения и страсти. Мы волнуемся и жаждем добиться своего, а расплата за это — повышенное кровяное давление, сердечные болезни, туберкулез, язва желудка, низкая сопротивляемость инфекции, неврастения, сексуальные отклонения, сумасшествие, самоубийство. Не говоря уж обо всем остальном.— Проптер сделал округляющий жест.— Сильное желание мешает нам даже правильно видеть,— продолжал он.— Чем больше напрягаешь глаз, тем больше затрудняешь аккомодацию. То же самое и с положением тела: чем больше мы озабочены тем, что нужно сделать в следующую секунду, тем больше мешаем своему телу принять естественную позу и тем самым, соответственно, затрудняем

нормальное функционирование всего организма. Словом, из-за того, что мы люди, нам не удается реализовать добро физиологически, инстинктивным образом, хотя это доступно нам как животным. То же самое, mutatis mutandis [1], справедливо и по отношению к высшей сфере. Из-за того, что мы люди, нам не удается реализовать духовное и вневременное добро, хотя оно доступно нам как потенциальным обитателям вечности, как тем, кому могут быть открыты видения райского блаженства. Страсти и тревоги лишают нас само́й возможности выхода за пределы личности, не позволяют познать, сначала с помощью разума, а потом и путем непосредственного переживания, истинную природу мира.

Проптер на мгновение умолк; потом, внезапно улыбнувшись, заговорил снова:

— К счастью, мало кому из нас удается все время оставаться только людьми. Мы забываем о своей жалкой, ничтожной индивидуальности и об этих ее ужасных гигантских отображениях в мире идеального — забываем и расслабляемся, ненадолго опускаясь до животного уровня, где никому не причиняем вреда. Наш организм получает возможность жить по своим собственным законам; другими словами, может реализовывать все добро, на какое способен. Поэтому мы и сохраняем отчасти телесное и душевное здоровье. Даже в больших городах четыре человека из пяти — а это не так уж мало — умудряются за всю жизнь ни разу не попасть в сумасшедший дом. Если бы человеческое постоянно брало в нас верх, количество психических заболеваний подскочило бы с двадцати процентов до ста. Но, слава Богу, большинство из нас не способны на такое постоянство — животное начало всегда берет свое. С другой стороны, у некоторых людей довольно часто — а хотя бы раз, может быть, и у всех — бывают светлые моменты мгновенного проникновения в суть вещей, какой она предстает перед взором, свободным от времени и вожделений; тогда удается увидеть мир таким, каким он мог бы быть, если бы мы не променяли Бога на свои индивидуальности. Эти озарения застают нас врасплох; затем наши тревоги и страсти возвращаются, и вот уже наше «я», его безумные идеалы и преступные планы затмевают вспыхнувший свет.

Наступило молчание. Солнце село. На западе, за горами, еще брезжила бледно-желтая полоска с зеленоватой каймой, выше переходящей во все более густую синеву. Над головой было уже черным-черно.

Пит сидел неподвижно, глядя на темное, но еще прозрачное небо над северной грядой. Этот голос, поначалу такой спокойный, а потом, в конце, такой решительный и звучный, эти слова, то безжалостно ниспровергавшие все, перед чем он преклонялся, то пробуждавшие в нем полуосознанную надежду отыскать нечто неизмеримо более драгоценное, глубоко тронули его, но вместе с тем он был смущен и растерян. Нужно было посмотреть по-новому буквально на все, что его окружало,— на политику, науку, а может быть, и на любовь, на Вирджинию. Такая перспектива страшила его, но в то же время и привлекала; суждения Проптера вызывали у него негодование, но он все равно любил этого необыкновенного старика и восхищался им; любил за его дела, а главное, за то, каким он, единственный из всех знакомых Пита, *был,*— за его бескорыстное дружелюбие, за его спокойную силу, за мягкость и в то же время непреклонность, за умение не выпячивать себя, хотя всегда так ясно чувствовалось, что он *здесь* и настоящей жизни в нем больше, чем в любом другом.

Джереми Пордидж тоже не остался равнодушным к тому, что говорил Проптер, и даже, подобно Питу, ощутил прилив некоторого беспокойства — беспокойства тем более неприятного, что он уже испытывал его прежде. Предмет разговора был хорошо знаком ему. Ибо, конечно же, он читал все главные книги на эту тему — иначе ему пришлось бы признать себя законченным невеждой,— читал Шанкару и Экхарта, св. Иоанна Креста и палийские манускрипты, Шарля де Кондрана, и «Бардо», и Патанджали, и Псевдо-Дионисия *. Он читал их и был задет за живое, у него

[1] С соответствующими поправками *(лат.)*.

возникло смутное ощущение, будто ему следует сделать еще какой-то шаг; и именно благодаря тому, что он был задет за живое, Джереми стал предпринимать самые отчаянные усилия, чтобы высмеять их не только перед другими, но в первую очередь перед самим собой. «Вы так и не купили билета в Афины»,— сказал этот умник, чтоб ему провалиться! Зачем он вообще лезет к скромному ученому со своими дурацкими выдумками? Все, что ученому нужно,— это жить спокойно и принимать вещи такими, как есть. Такими, как есть,— его книги, его непритязательные опусы, и леди Фредегонд со слуховой трубкой, и Палестрину, и пудинг с мясом и почками в «Реформе», и Мэй с Дорис. Тут он вспомнил, что нынче пятница; будь он в Англии, сегодняшний вечер прошел бы на квартирке в Мэйда-Вейл. Он попытался забыть о Проптере, вызвав в воображении эти привычные, раз в две недели, вечера: розовые абажуры; запах тальковой пудры и пота; его троянок, как он называл их за чрезвычайное усердие, в кимоно от Маркса и Спенсера; развешанные по стенам копии картин Пойнтера * и Альмы Тадемы * (восхитительная ирония — картины, которые викторианцы считали произведениями искусства, всего через несколько десятков лет превратились в порнографию и стали служить украшением спальни проституток!) и, наконец, саму любовную рутину, такую цинично-бесстыдную, так добросовестно и профессионально опохабленную — именно этот цинизм и похабство и составляли для Джереми главную ее прелесть, ценились им выше любой романтики и вздохов при луне, выше какой угодно поэзии и всяких там «Liebestods» [1]. Гнездилище порока и разврата! Это был апофеоз утонченности, логическое завершение хорошего вкуса.

Глава десятая

В эту пятницу послеобеденная поездка Стойта в город прошла на редкость спокойно. За минувшую неделю не случилось никаких неприятностей. Во время всех его многочисленных встреч и разговоров никто не сказал и не сделал ничего такого, что вывело бы его из себя. Сведения о ситуации в деловых кругах были вполне удовлетворительны. Японцы закупили очередную сотню баррелей нефти. Медь поднялась на два цента. Спрос на бентонит тоже определенно вырос. Правда, количество просьб о банковских кредитах оставляло желать лучшего; зато еженедельный оборот Пантеона благодаря эпидемии гриппа намного превысил среднюю величину.

Все шло так гладко, что Стойт покончил с делами на час раньше, чем рассчитывал. Дабы с толком использовать лишнее время, он решил по дороге домой заглянуть к своему управляющему и узнать, что творится в усадьбе. Разговор продолжался всего минуту-другую — однако этого оказалось достаточно, чтобы Стойт рассвирепел и ураганом понесся к машине.

— Едем к Проптеру,— грубым, не допускающим возражений тоном скомандовал он, захлопывая дверцу.

Он так и кипел негодованием. Да что этот нахал, Билл Проптер, себе позволяет? Сует нос не в свое дело. И все из-за этих паршивых бродяг, которые приезжают на апельсины! Все ради этих подонков, этих вонючих, грязных безработных! Стойт терпеть не мог толпы оборванных сезонников, от которых зависел сбор его урожая; его ненависть к ним была больше, чем обычная неприязнь богатого к бедным. Не то чтобы он не испытывал той сложной смеси страха и физического отвращения, скрытой жалости и стыда, которую богачи загоняют внутрь, превращая в источник постоянного раздражения. Было и это. Но помимо и сверх этой общей, классовой неприязни к беднякам он ненавидел их по другим, личным мотивам. Стойт сам был выходцем из бедных. За шесть лет, протекших со дня бегства Джо от отца и бабки в Нашвилле до его усыновления паршивой овцой в семье,

---

[1] «Двойных самоубийств» * *(нем.)*.

калифорнийским дядей Томом, он, как ему казалось, познал все, что следует знать о жизни бедняков. Эти годы посеяли в нем неискоренимую ненависть к самой этой жизни и в то же время неискоренимое презрение ко всем, кто оказался слишком глупым, или слишком слабым, или слишком невезучим, чтобы вырваться из того ада, куда они попали по рождению или благодаря обстоятельствам. Бедные были ему отвратительны не только потому, что представляли собой потенциальную угрозу его положению в обществе, не только потому, что их невзгоды требовали сочувствия, которое он не желал проявлять, но и потому, что напоминали о перенесенных в прошлом тяготах,— а то, что они по-прежнему оставались бедными, лишь подтверждало их ничтожество и его собственное превосходство. А поскольку он в свое время хлебнул лиха наравне с ними, то теперь было бы просто несправедливо избавлять их от мучений. И еще, раз их безвылазная бедность доказала, что они достойны презрения, то богатый человек вроде него имеет полное право всячески третировать этих жалких тварей. Такова была логика Стойта. И вдруг какой-то сумасшедший Билл Проптер пытается опровергнуть эту логику, подбивая управляющего не использовать избыток рабочей силы для снижения заработной платы, а, наоборот, поднять ее — это теперь-то, когда весь штат кишит безработными оборванцами! Мало того, надо еще, видите ли, о них заботиться, строить им хижины, как сам этот кретин,— двухкомнатные хижины по шестьсот — семьсот долларов каждая, и для кого же — для этих бродяг и их баб, да еще для этих мерзких детей, таких грязных, что он их в свою больницу и на порог не пустит, если, конечно, им не будет грозить смерть от аппендицита или чего-нибудь похуже,— тогда, ясное дело, пожалеешь. Но все-таки что он о себе воображает, этот несносный Проптер? И ведь не в первый раз уже вмешивается. Автомобиль катил в сгустившихся сумерках меж апельсиновых рощ, а Стойт, сжав правую руку в кулак, то и дело свирепо впечатывал его в мясистую ладонь левой.

— Я ему покажу,— шептал он.— Я ему покажу!

Пятьдесят лет тому назад, в школе, толстяка Джо дразнили все — не дразнил только Билл Проптер, хотя и был в числе старших и более сильных. Они встретились снова, когда Билл преподавал в Беркли, а сам он неплохо заработал на недвижимости и только начал заниматься нефтяным бизнесом. Отчасти в благодарность за поведение Билла Проптера в те годы, когда они были еще мальчишками, а отчасти и затем, чтобы показать свою силу, продемонстрировать, что превосходство теперь на его стороне, Джо Стойт решил помочь молодому ассистенту профессора. Однако, несмотря на скромное жалованье да две-три тысчонки долларов в год, оставленные ему отцом, Билл Проптер отверг всякую помощь. Он казался искренне благодарным, был дружелюбен и безупречно вежлив; но он ни за что не хотел перебираться в здание «Консоль ойл» — не хотел, ибо, как повторял снова и снова, у него есть все необходимое, а сверх этого ему ничего не нужно. Попытка Джо продемонстрировать свое превосходство потерпела крах. Крах был полным, ибо отказ Билла от его помощи заставил Джо втайне восхищаться этим глупцом более чем когда-либо. Восхищению же, вызванному помимо воли, не могло не сопутствовать известное раздражение. Джо Стойт злился на Билла за то, что было чересчур много причин относиться к нему с симпатией. Он предпочел бы питать к нему симпатию без всяких причин, несмотря на его недостатки. Но у Проптера было мало недостатков и много достоинств — достоинств, которыми сам Джо не обладал и поэтому расценивал их наличие у Билла как оскорбление. Получалось, что одни и те же черты Билла Проптера в равной мере пробуждали у Джо и симпатию, и антипатию. Он по-прежнему называл его глупцом; однако поведение Билла ощущалось им как постоянный упрек. Тем не менее природа этого постоянного упрека была такова, что Джо нравилась компания Проптера. Именно потому, что Билл осел на десятиакровом клочке земли в этой части долины, Стойт и решил возвести свой замок там, где он красовался теперь. Его тянуло к Биллу Проптеру, несмотря на то что чуть ли не каждое его слово или поступок вызывали у Джо раздражение.

Сегодня, благодаря ненависти Стойта к сезонникам, это хроническое раздражение переросло в настоящую ярость.

— Я ему покажу,— повторял он снова и снова.

Машина остановилась, и не успел шофер открыть ему дверцу, как Стойт пулей вылетел наружу и, не глядя ни вправо, ни влево, помчался по тропинке прямо к намеченной цели — видневшемуся неподалеку от дороги бунгало своего старого приятеля.

— Мы здесь, Джо,— окликнул его из тени эвкалиптов знакомый голос.

Стойт обернулся, вгляделся в полумрак, потом, не говоря ни слова, быстро пошел к сидящей на скамье троице. Его встретило дружное «добрый вечер», а Пит вежливо поднялся, уступая ему место. Даже не заметив этого, как, впрочем, и самого присутствия юноши, Стойт адресовался прямиком к Биллу Проптеру.

— Какого дьявола ты мешаешь работать моим людям? — чуть ли не во весь голос закричал он.

Проптер поглядел на него с удивлением, которое было не более чем умеренным. Он привык к этим вспышкам бедняги Джо; он уже давным-давно разгадал их истинную причину и по опыту знал, как следует вести себя в таких случаях.

— Кому я мешаю, Джо? — спросил он.

— Сам знаешь кому — Бобу Хансену. Какого черта ты полез к нему за моей спиной?

— Когда я пришел к тебе,— напомнил Проптер,— ты сказал мне, что это дело Хансена. Вот я и обратился к Хансену.

Возразить на это было нечего, и взбешенному Стойту оставалось только одно — взять еще тоном выше. Так он и сделал.

— Ты не даешь ему спокойно работать! Что ты ему вкручивал? — взревел он.

— Пит уступил тебе место,— заметил Проптер.— А за спиной у тебя железный стул. Выбирай что хочешь, Джо, и присаживайся.

— Не буду я садиться! — завопил Стойт.— Я жду ответа! Так что ты ему вкручивал?

— Вкручивал? — как всегда спокойно и неторопливо повторил Проптер.— Да одну довольно старую мысль, знаешь ли. Я не первый, кому она пришла в голову.

— Ты будешь отвечать или нет?

— Пожалуйста: я говорил ему, что всякие люди — это люди. Нельзя обращаться с ними, как с полевыми вредителями.

— Бродяги паршивые!

Проптер повернулся к Питу.

— По-моему, ты можешь сесть,— сказал он.

— Голь перекатная! Я больше терпеть не намерен!

— Кроме того,— продолжал Проптер,— я человек практичный. А ты нет.

— Я непрактичный? — отозвался Стойт изумленно и негодующе.— Это я-то? Да ты погляди, где живу я, и сравни с этой твоей крысиной норой.

— Вот именно. Потому-то я и прав. Ты безнадежный романтик, Джо; только романтик может думать, что люди будут работать, если им не хватает еды.

— Ты хочешь сделать из них коммунистов.— Слово «коммунист» подлило масла в огонь, и гнев Стойта вспыхнул с новой силой; теперь это был гнев праведника, отстаивающего не только свои личные интересы.— Да ты просто коммунистический агитатор! — Голос его дрогнул, грустно отметил Проптер, точь-в-точь как полчаса назад у Пита на словах «фашистская агрессия». Интересно, подумал он, заметил ли это мальчик, а если заметил, то сделал ли выводы? — Просто коммунистический агитатор,— с пылом крестоносца повторил Стойт.

— По-моему, мы говорили о еде,— сказал Проптер.

— Нечего тут финтить!

— О еде и о работе — разве не так?

— Я терпел тебя не один год,— продолжал Стойт.— Только ради прошлого. Но мое терпение лопнуло. Из-за тебя это место скоро станет опасным, здесь нельзя будет жить порядочным людям.

— Порядочным? — откликнулся Проптер; он едва не рассмеялся, но вовремя подавил в себе это желание. Если высмеять беднягу в присутствии Пита и Пордиджа, он может натворить непоправимых глупостей.

— Я заставлю тебя убраться из долины,— кричал Стойт,— я добьюсь, чтобы ты...— Неожиданно он оборвал фразу на середине и несколько секунд простоял как вкопанный, с выпученными глазами, по инерции еще двигая челюстью. Этот стук в ушах, эти побежавшие по лицу мурашки! Он вдруг вспомнил о своем высоком давлении, о докторе Обиспо, о смерти. Вспомнил ту огненно-красную надпись, что полыхала давным-давно над его детской кроваткой. Страшно впасть в руки Бога живого — не Бога Пруденс, конечно; нет, другого, *настоящего,*— Бога его бабки и его отца.

Стойт сделал глубокий вдох, достал из кармана платок, вытер лицо и шею, потом, не проронив больше ни слова, повернулся и зашагал прочь.

Проптер встал и поспешно догнал его; Стойт сердито отпрянул, но приятель все-таки взял его под руку и пошел рядом.

— Я хочу тебе кое-что показать, Джо,— сказал он.— Взгляни — ей-Богу, не пожалеешь.

— Не надо мне ничего,— процедил Стойт сквозь свои вставные зубы.

Не обращая внимания на его недовольство, Проптер настойчиво увлекал Стойта к задней стороне дома.

— Это устройство, которое разработал Эббот из Смитсоновского института *,— говорил он.— Для использования солнечной энергии.— Он на секунду отвлекся, чтобы пригласить остальных следовать за ними, потом вновь повернулся к Стойту и продолжал: — Оно гораздо компактнее, чем все прочие изобретения подобного рода. И при этом гораздо эффективнее.— И он стал описывать систему желобчатых рефлекторов, трубок с маслом, нагревающимся до температуры в четыреста — пятьсот градусов по Фаренгейту; бойлер для парового двигателя низкого давления; кухонную плиту и кипятильник, которые можно подключать к прибору, если используешь его для домашних целей.— Жалко, солнце село,— сказал он, когда вся компания уже стояла перед машиной.— С удовольствием показал бы вам, как работает от нее паровой двигатель. Я запустил эту штуку на прошлой неделе, и с тех пор она бесперебойно выдает две лошадиные силы по восемь часов в день. Неплохо, если учесть, что на дворе пока только январь. Летом мы ее погоняем как следует.

Стойт собирался и дальше хранить молчание — просто чтобы показать Биллу, что он еще сердится, что он не простил его; но интерес к машине и, главное, идиотская болтовня этого кретина, которая страшно его раздражала, заставили его изменить первоначальное намерение.

— На кой шут они тебе сдались, эти две лошадиные силы по восемь часов в день? — спросил он.

— Чтобы запустить мой электрический генератор.

— А зачем тебе генератор? У тебя что, нет электричества из города?

— Есть, конечно. Только я хочу выяснить, насколько можно обойтись без города.

— Да зачем?

Проптер испустил короткий смешок.

— Затем, что я сторонник джефферсоновской демократии.

— При чем тут, черт подери, джефферсоновская демократия? — произнес Стойт с растущим раздражением.— Нельзя, что ли, оставаться сторонником Джефферсона и получать электричество из города?

— Именно так,— отозвался Проптер.— Скорее всего, нельзя.

— Что ты имеешь в виду?

— То, что сказал,— мягко ответствовал Проптер.

— Я, между прочим, тоже сторонник демократии,— с вызывающим видом произнес Стойт.

— Знаю. А еще ты сторонник своей неограниченной власти во всех фирмах, которые тебе принадлежат.

— Да уж конечно!

— Для любителя неограниченной власти есть специальное наименование,— заметил Проптер.— Диктатор.

— На что это ты намекаешь?

— Только на факты. Ты любишь демократию, однако стоишь во главе фирм, где господствует диктаторский режим. А твои подчиненные вынуждены терпеть это единовластие, поскольку ты даешь им деньги на пропитание. В России деньги на пропитание дают людям правительственные чиновники. Может, ты думаешь, что так лучше,— добавил он, повернувшись к Питу.

Пит кивнул.

— Я за общественную собственность на средства производства,— сказал он. Ему впервые пришлось открыто выразить свои взгляды в присутствии нанимателя; он был счастлив, что отважился на роль Даниила *.

— Общественная собственность на средства производства,— повторил Проптер.— К сожалению, власти имеют склонность включать в категорию средств и самих производителей. Так что, если уж выбирать себе босса, я бы предпочел Джо Стойта, а не Джо Сталина. Этот Джо,— он положил руку на плечо Стойту,— этот Джо не сможет вынести тебе смертный приговор; не сможет сослать тебя в Арктику; не сможет помешать тебе найти другого босса. А его тезка...— Он покачал головой.— Нет уж,— добавил он.— Я просто жажду работать под началом именно этого Джо.

— Ты бы у меня вылетел в два счета,— пробурчал Стойт.

— Вообще-то мне не хочется никакого босса,— продолжал Проптер.— Чем больше боссов, тем меньше демократии. Но если люди не умеют обеспечивать себя сами, им приходится подыскивать себе босса, который занялся бы этим за них. Стало быть, чем меньше самостоятельности, тем меньше демократии. Во времена Джефферсона чуть ли не все американцы были самостоятельными. Они были экономически независимы. Независимы как от правительства, так и от большого бизнеса. Отсюда и Конституция.

— Конституцию пока никто не отменял,— сказал Стойт.

— Вне всякого сомнения,— согласился Проптер.— Но если бы сегодня нам пришлось сочинять новую, что бы у нас вышло? Мы должны были бы принять в расчет существование Нью-Йорка, Чикаго, Детройта; существование «Юнайтед Стейтс стил» и предприятий общественного пользования, «Дженерал моторс», и КПО [1], и правительственных учреждений. Ну и что бы из этого вышло? — повторил он.— Мы уважаем нашу старую добрую Конституцию, но фактически в стране действует другая. А если нам охота вернуться к первой, мы должны хотя бы примерно воссоздать те условия, в которых она была написана. Вот для чего мне понадобилась эта машинка.— Он похлопал прибор по корпусу.— Она поможет приобрести независимость всем, кто этого хочет. Правда, таких немного,— между прочим заметил он.— Слишком уж сильна пропаганда зависимости. Людям вдалбливают, что они не найдут счастья, пока не окажутся в полной зависимости от властей или крупного бизнеса. Но для тех, кто еще нуждается в демократии, кто хочет чувствовать себя свободным в джефферсоновском смысле, эта штука сможет стать подспорьем. Она хотя бы даст им свое топливо и электроэнергию, а это уже большое дело.

Стойт явно забеспокоился.

— Ты что, и вправду так считаешь?

— А почему бы и нет? — сказал Проптер.— В этих краях слишком много солнечного света пропадает зря.

Стойт подумал о компании «Консоль ойл», где он был президентом.

— Это не пойдет на пользу нефтяному бизнесу,— сказал он.

— Я бы страшно огорчился, если бы это пошло на пользу нефтяному бизнесу,— жизнерадостно ответил Проптер.

— А как же уголь? — Он участвовал в разработке копей в Западной Виргинии.— А железные дороги? — Увесистый пакет акций «Юнион

---

[1] Конгресс промышленных организаций.

Пасифик» принадлежал еще Пруденс.— Железным дорогам позарез нужны крупные перевозки. А сталь? — равнодушно добавил он: доля его в «Бетлем стил» была ничтожна.— Куда девать сталь, если поездам и грузовикам нечего будет возить? Ты идешь против прогресса,— воскликнул он в очередном приступе праведного негодования.— Хочешь повернуть вспять часы истории.

— Да ты не волнуйся, Джо,— промолвил Проптер.— На твоих паях это еще не скоро скажется. Чтобы все перестроить, нужно очень много времени.

Колоссальным усилием воли Стойт сдержал готовую сорваться с языка грубость.

— Ты, кажется, думаешь, будто у меня на уме одни деньги,— сказал он с достоинством.— Ну что ж, тебе, наверное, любопытно будет узнать, что я решил пожертвовать Малджу еще тридцать тысяч долларов на Школу Искусств.— Решение было принято сию минуту с единственной целью послужить орудием в нескончаемой борьбе с Биллом Проптером.— А если ты думаешь,— в голову ему пришел новый аргумент,— если ты думаешь, что я пекусь только о своих интересах, почитай «Нью-Йорк таймс», специальный выпуск ко Всемирной выставке. Нет, ты почитай,— настойчиво повторил он с пафосом фундаменталиста, советующего обратиться к Книге Откровения.— И увидишь, что самые передовые люди страны того же мнения, что и я.— Он вдруг заговорил непривычным для себя и совершенно не подходящим к ситуации выспренним тоном, как доктор Малдж после сытного обеда.— Чем дальше по пути прогресса, тем лучше организация, больше услуг от производителя, больше товаров покупателю! Вот, например, домохозяйка пришла к бакалейщику,— неожиданно добавил он,— и покупает какую-нибудь овсянку, которую рекламируют по всей Америке. Это и есть прогресс. А ты натащил в дом всяких хреновин и хочешь жить сам по себе, как последний идиот.— Стойт окончательно вернулся к своей привычной манере.— Да, Билл, как был ты дураком, так, видно, и останешься. И не забудь, что я тебе сказал: не лезь к Бобу Хансену. Я этого больше не потерплю.— В эффектной тишине он направился было восвояси; но, сделав несколько шагов, остановился и бросил через плечо: — Приходи обедать, если ты не против.

— Спасибо,— сказал Проптер.— Приду.

Вскоре Стойт уже садился в автомобиль. Он позабыл о своем высоком давлении, о Боге живом и ощутил вдруг прилив необъяснимого, беспричинного счастья. И не потому, что добился сколько-нибудь заметного успеха в борьбе с Биллом Проптером. Он не обманывал себя; больше того, он даже смутно чувствовал, что выглядел в сегодняшней схватке довольно глупо. Причина счастья была в ином. Он был счастлив, хотя никогда не признался бы в этом, потому что, несмотря на все раздоры, Билл по-прежнему относился к нему с симпатией.

По дороге домой он насвистывал себе под нос.

Войдя в замок (как обычно, не снимая шляпы, ибо даже по прошествии стольких лет контраст между его подчеркнуто пролетарскими манерами и этим шикарным дворцом доставлял ему какое-то детское удовольствие), Стойт пересек огромный вестибюль, поднялся на лифте наверх и устремился прямиком в будуар Вирджинии.

Когда он открыл дверь, двое находящихся в комнате сидели по меньшей мере футах в пятнадцати друг от друга. Вирджиния у бара с напитками задумчиво ела шоколадно-банановый сплит; доктор Обиспо, картинно расположившийся в кресле с обивкой из розового атласа, был занят прикуриванием сигареты.

Вспышка подозрения и ревности была для Стойта словно удар кулаком (ибо он ощутил ее физически в области живота), направленный прямо в солнечное сплетение. Лицо его исказилось, как от боли. Однако он ничего не увидел; конкретной причины ревновать не было, а их позы, поведение, лица не давали явного повода что-либо подозревать. Обиспо держался в высшей степени непринужденно и естественно, а ангельское личико Детки расцвело улыбкой, выражающей неподдельное изумление и восторг.

— Дядюшка Джо! — Она бросилась к нему и обвила руками его шею.— Дядюшка Джо!

Теплые нотки в ее голосе, ее мягкие губы произвели на Стойта магическое действие. Тронутый до глубины души, он промолвил: «Детуля моя!» — с выразительной расстановкой, вложив в эти слова максимальную двусмысленность. При мысли о том, что он, пусть на миг, осмелился подозревать это невинное и обожаемое, это теплое, упругое и благоухающее дитя, Стойт почувствовал угрызения совести. А тут еще и Обиспо, сам того не ведая, пристыдил его.

— Что-то мне не очень понравился ваш кашель сегодня днем,— сказал он, поднимаясь с кресла.— Поэтому я и зашел сюда, хотел повидать вас сразу, как только вернетесь.— Он полез в карман и извлек стетоскоп, вначале наполовину вытащив и тут же водворив на место книжку в кожаном переплете, напоминающую молитвенник.— Профилактика важнее лечения,— продолжал он.— Совершенно ни к чему дожидаться гриппа, если можно его предотвратить.

Вспомнив, какая удачная неделя выдалась для Беверли-пантеона благодаря эпидемии, Стойт встревожился.

— Но я неплохо себя чувствую,— сказал он.— По-моему, ничего такого не было — кашель как кашель. Просто мое обычное — ну, вы знаете, хронический бронхит.

— Вполне возможно. Но все равно, послушать надо.— С профессиональной сноровкой Обиспо повесил стетоскоп на шею.

— Он прав, Дядюшка Джо,— сказала Детка.

Тронутый такой заботой и в то же время обеспокоенный словами Обиспо, что это может быть грипп, Стойт снял пиджак и жилетку и принялся развязывать галстук. Вскоре он уже стоял под хрустальной люстрой голый до пояса. Вирджиния целомудренно удалилась обратно к бару. Обиспо вставил в уши изогнутые никелевые трубочки стетоскопа.

— Сделайте глубокий вдох,— сказал он, прослушивая грудь Стойта.— Еще раз. Теперь покашляйте.— Глядя мимо волосатой туши своего пациента, он видел на дальней стене обитателей безрадостного рая Ватто, готовящихся отплыть на поиски какого-то другого рая, несомненно, еще более унылого.— Скажите «а-а»,— скомандовал Обиспо, переводя взгляд с искателей Киферы * на передний план, почти целиком занятый грудной клеткой и животом Стойта.

— А-а,— сказал Стойт.— А-а. А-а.

С профессиональной тщательностью проверяя легкие в разных местах, Обиспо передвигал наконечник стетоскопа по поверхности округлой туши. Конечно, все у старого хрыча в порядке. Обычные хрипы. Возможно, ради пущего правдоподобия следует отвести этого пентюха в кабинет и просветить флюороскопом. Но нет, не стоит его чересчур волновать. Да к тому же вполне достаточно и простенького фарса.

— Еще покашляйте,— сказал он, перемещая стетоскоп в поросль седых волос вокруг левого соска. Помимо всего прочего, продолжал размышлять он, пока Стойт кое-как выдавливал из себя кашель, помимо всего прочего, эти старые брюханы очень уж скверно пахнут. И как молодые девицы это терпят, пусть даже за деньги, ей-Богу, непонятно. Однако факт есть факт — находятся тысячи таких, которые не только терпят, но и получают от этого удовольствие. Нет, слово «удовольствие» тут, пожалуй, не годится. Потому что в большинстве подобных случаев об удовольствии в нормальном, физиологическом смысле, наверное, и речи нет. Все происходит у них в сознании, а не в организме. Они любят своих старых пузанов умом; любят потому, что восхищаются ими, потому что их привлекает положение пузанов в обществе, или их знания, или их известность. Они спят не с мужчиной, а с репутацией, с воплощением некоего рода деятельности. А потом, некоторые из этих девиц — будущая живая реклама ко Дню Матери, а некоторые, вроде малютки Флоренс Найтингейл *, ждут не дождутся Крымской войны. В этих случаях сама старческая немощь их пузанов становится лишним плюсом. Девицы получают удовлетворение благодаря

тому, что спят не только с репутацией или кладезем мудрости — к примеру, с федеральным правосудием или председательством торговой палаты,— но, кроме и сверх того, с раненым солдатом, со слабоумным ребенком, с драгоценным вонючим дитятком, которое до сих пор какает в кроватку. Даже в этом нехитром экземпляре (Обиспо украдкой бросил взгляд в сторону бара), даже в ней есть что-то от Флоренс Найтингейл, что-то от Самой Замечательной Мамочки. (И это несмотря на тот факт, что при мысли о реальном материнстве она испытывает чуть ли не физическое отвращение.) Джо Стойт для нее немножко ребенок и немножко больной, за которым надо ухаживать, и в то же время он, разумеется, ее собственный, личный Авраам Линкольн. По счастливому стечению обстоятельств, он оказался еще и обладателем чековой книжки. Что, понятное дело, немаловажно. Но если б только это, Вирджиния не была бы так довольна жизнью. Чековая книжка обрела бóльшую цену благодаря тому, что находится в руках полубога, которому иногда нужно менять пеленки.

— Повернитесь, пожалуйста.

Стойт подчинился. Спина, подумал Обиспо, внушает заметно меньше отвращения, чем живот и грудь. Наверное, оттого, что она почти обезличена.

— Вдохните поглубже,— сказал он, ибо намеревался разыграть весь фарс с начала до конца и на этой новой сцене.— Еще.

Стойт сделал чудовищно глубокий вздох, точно китообразное.

— И еще,— сказал Обиспо.— И еще разок,— сказал Обиспо, под пыхтенье своего пациента размышляя о том, что его собственное главное достоинство заключается в разительной несхожести с этим насквозь провонявшим старым бурдюком.

Никуда она не денется, подумал он; больше того, ей придется принять и его условия. Никаких параллелей с Ромео и Джульеттой, никакой болтовни о Любви с большой буквы, никакой чепухи вроде весенних цветов, волшебных снов и чудесных оков, которыми полны популярные песенки. Только чувственность, без всякой романтики. Настоящие, невыдуманные, конкретные ощущения, не меньше — это уж само собой разумеется,— но и не больше (а вот это само собой наверняка не уразумеется; ведь эти сучки вечно норовят найти в тебе родственную душу или заставить тебя таскать их на руках). Не больше, хотя бы из уважения к научной истине. Он верил в научную истину. Факты есть факты, и нечего тут мудрить. Имеет, например, место факт, что молодые девицы на содержании у богатых стариков, как правило, легко поддаются соблазну. Имеет место и тот факт, что богатые старики, будь они даже сверхудачливыми бизнесменами, обычно так запуганы, невежественны и глупы, что их без труда надует, стоит ему только захотеть, любой умный человек.

— Еще раз скажите «а-а»,— громко произнес он.

— А-а. А-а.

Можно быть почти .а-абсолютно уверенным, что он ни о чем не догадается. Таковы все старики, об этом говорят факты. И факты же свидетельствуют о том, что любовь состоит исключительно из возбуждения и его утоления. Так зачем приукрашивать эти факты какими-то лишними выдумками? Почему не быть реалистом? Почему не использовать трезвый, научный подход к делу?

— А-а,— повторял Стойт.— А-а.

Кроме того, продолжал размышлять Обиспо, механически прислушиваясь к шорохам и потрескиваниям в недрах теплой, пахучей бочкообразной туши, кроме того, есть и более личные причины, благодаря которым неприкрашенная, химически чистая любовь кажется предпочтительнее. И эти личные причины, конечно, тоже факт; значит, с ними нельзя не считаться. Ведь это же факт, что лично он получает дополнительное удовольствие, навязывая избранной партнерше свою волю. Причем необходимо, чтобы это навязывание своей воли не давалось чересчур легко, не было само собой разумеющимся. Что сразу исключало профессионалок. Партнерше следовало быть любительницей, а любительницы обычно считают, что

возбуждение и его утоление должны всегда ассоциироваться с ЛЮБОВЬЮ, СТРАСТЬЮ, РОДСТВОМ ДУШ — именно так, прописными буквами. Навязывая партнерше свою волю, он тем самым навязывал ей противоположную теорию, теорию принятия возбуждения и утоления только ради них самих. Пусть она даст ему шанс проверить эту теорию на практике, хотя бы и неохотно, хотя бы внутренне протестуя, только ради опыта,— это все, что ему нужно. Один-единственный шанс. А дальше его забота. И если ему не удастся превратить ее в пылкую и убежденную сторонницу новой веры (уж он-то, по крайней мере, сделает все от него зависящее), значит, он потерпел поражение.

— А-а. А-а,— терпеливо повторял Стойт.

— Можете перестать,— великодушно разрешил ему Обиспо..

Только один шанс; он был практически уверен в успехе. Ведь это раздел прикладной физиологии, а он — ее знаток, специалист. Клод Бернар * в этой области. Вот оно, навязывание своей воли! Сначала заставляешь девицу смириться с мыслью, которая прямо противоречит всем привычным ей с детства представлениям, всей этой расхожей весенне-волшебной белиберде. Что ж, очень приятная маленькая победа. Но самые сладкие ее плоды можно начать пожинать только тогда, когда в дело вступит прикладная физиология. Вы берете достаточно разумную особь, настоящую стопроцентную американку со своими корнями, положением в обществе, системой взглядов, моральными нормами, вероисповеданием (в данном случае католическим, в скобках отметил Обиспо); вы берете эту добропорядочную гражданку, права которой целиком и полностью гарантированы Конституцией, вы берете ее (а приехала она на свидание, возможно, в шикарном «паккарде» своего мужа и прямиком с банкета, где произносились хвалебные речи в честь, скажем, доктора Николаса Мюррея Батлера или уходящего на покой архиепископа Индианаполиса), берете ее и начинаете методично, научным путем обрабатывать эту неповторимую личность, пока от нее не останется одно только тело, стонущее и бормочущее, сотрясаемое припадками мучительного наслаждения; а вы, великолепный Клод Бернар, виновник этой разительной перемены, получая свою долю удовольствия, тем не менее остаетесь ироничным, отстраненным, посмеивающимся про себя созерцателем.

— Еще несколько вдохов, если не возражаете.

Стойт с присвистом втянул в себя воздух, затем с тихим хрипом опорожнил легкие.

Глава одиннадцатая

После ухода Стойта наступило молчание. Долгое молчание; пока оно тянулось, каждый из троих думал о своем. Первым заговорил Пит.

— Как погляжу на что-нибудь этакое,— мрачно сказал он,— так сразу начинаю думать, стоит ли брать у него деньги. А вы, мистер Проптер, что бы сделали на моем месте?

— Что бы я сделал? — Проптер на мгновение задумался.— Я бы и дальше работал у Джо в лаборатории,— сказал он.— Но только пока буду твердо уверен, что вреда от моей деятельности не больше, чем пользы. В таких вещах надо быть утилитаристом. Утилитаристом, да не простым,— уточнил он.— Помесью Бентама * с Экхартом или, скажем, Нагарджуной *.

— Бедняга Бентам! — произнес Джереми, устрашенный тем, что творилось его именем.

Проптер улыбнулся.

— Действительно, бедняга Бентам! Такой славный, милый, умный чудак! Так близко подойти к истине и вместе с тем так чудовищно ошибаться! Тешить себя иллюзией, будто наибольшее счастье наибольшего числа людей может быть достигнуто на чисто человеческом уровне — уровне времени и зла, уровне отсутствия Бога. Бедняга Бентам! — повторил он.—

Каким великим человеком он стал бы, если б только мог понять, что добра не найти там, где его не существует!

— И как бы вел себя такой утилитарист,— спросил Пит,— если бы ему досталась работа вроде моей?

— Не знаю,— ответил Проптер.— Я слишком мало думал об этом, чтобы угадать его реакцию. И потом, чтобы решать не наобум, нужно иметь побольше опытного материала. Все, что я знаю,— это что я на твоем месте был бы осторожен. Предельно осторожен,— с ударением повторил он.

— А как насчет денег? — продолжал Пит.— Я ведь вижу, откуда они берутся и кому принадлежат; и это, по-вашему, не должно меня смущать?

— Деньги вообще грязная штука,— сказал Проптер.— Думаю, деньги бедняги Джо вряд ли заметно грязнее, чем чьи-нибудь еще. У тебя может быть другое мнение; но лишь потому, что ты впервые наблюдаешь человеческую среду, где они появляются. Ты словно один из тех городских ребят, которые привыкли получать молоко в стерилизованных бутылочках из сияющего белого фургончика. Когда они едут в деревню и видят, что его выкачивают из большой, толстой, вонючей животины, их охватывают ужас и отвращение. Так же и с деньгами. Ты привык получать их из-за бронзовой решетки в великолепном мраморном банке. А теперь попал за город и живешь в коровнике вместе с животным, которое выделяет этот продукт. И процесс выделения отнюдь не поражает тебя приятностью и гигиеничностью. Но тот же процесс шел и тогда, когда ты об этом не знал. И если бы ты не работал на Джо Стойта, то работал бы, наверное, в каком-нибудь колледже или университете. А где берут деньги колледжи и университеты? У богатых людей. Другими словами, у людей вроде Джо Стойта. И опять это грязь в стерильной упаковке — только на сей раз ты получаешь ее от джентльмена в шапочке и мантии.

— Значит, вы считаете, работа у меня нормальная? — сказал Пит.

— Нормальная,— ответил Проптер,— во всяком случае, не хуже любой другой.— Внезапно улыбнувшись, он сказал другим, менее серьезным тоном: — Приятно было услышать, что доктор Малдж получил свою новую Школу. Да еще сразу после Аудитории. Это же уйма денег. Но я думаю, слава покровителя наук и искусств стоит того. Между прочим, общество оказывает на богачей огромное давление, заставляя их превращаться в таких покровителей. А их толкает к этому стыд плюс страстное желание верить, что они благодетели человечества. К счастью, доктор Малдж из тех, кого можно подкармливать без опаски. Сколько бы Школ Искусств ни понастроили в Тарзана, это никогда не нарушит status quo. А попроси я у Джо тысяч пятьдесят долларов на финансирование исследований механизма демократии, он отказал бы мне категорически. Почему? Потому что он знает: это вещь опасная. Он, конечно, любит речи о демократии. (Кстати, Малджу только подкинь эту тему, заговорит насмерть.) Но он не одобряет грубых материалистов, которые пытаются претворить ее идеи в жизнь. Ты же видел, как разозлила его моя невинная солнечная машинка. Потому что она представляет собой хоть и крохотную, но угрозу большому бизнесу, откуда он качает деньги. И так бывало всякий раз, когда я рассказывал ему о своих мелких приспособлениях. Если вам не надоело, пойдемте их посмотрим.

Он повел гостей в дом. Здесь была маленькая электрическая мельничка, едва ли больше кофемолки, на которой он по мере надобности молол муку. Был ткацкий станок, на котором он научился работать сам и теперь учил работать других. Потом он повел их из дома в сарайчик, где при помощи нескольких электроинструментов общей стоимостью в две-три сотни долларов можно было делать любую плотницкую работу и даже кое-что по металлу. За сарайчиками стояли еще не законченные теплицы, ибо одних огородных участков для нужд его сезонников не хватало. А вон и их хижины, добавил он, указывая на ряд огоньков в сгущающейся тьме. Он может помочь лишь немногим; остальные вынуждены ютиться в русле пересохшей реки, где устроено нечто вроде мусорной свалки, и платить за

это удовольствие Джо Стойту. Работать с таким материалом, конечно, трудновато. Однако их страдания не оставляют выбора. О них просто необходимо заботиться. Очень немногие остались несломленными; и кое-кому из них удалось втолковать, что нужно делать, к чему стремиться. Двое или трое работали здесь с ним; еще двоим-троим он приобрел на свои деньги участки земли неподалеку от Санта-Сузаны. Это только начало, так что похвастаться особенно нечем. Потому что, ясное дело, нельзя даже начать по-настоящему экспериментировать, пока не будет вполне готовой общины, работающей в новых условиях. Но для того, чтобы поставить общину на ноги, нужны деньги. Много денег. Однако богачи не хотят с этим связываться; они предпочитают Школы Искусств в Тарзана. А у тех, кто в этом заинтересован, денег нет; отсутствие денег и есть одна из причин их интереса. Ссуду же брать опасно, сейчас их дают на слишком жестких условиях. Чтобы не оказаться у банка в рабстве, требуется исключительное везение.

— Все это нелегко,— сказал Проптер, когда они шли обратно к дому.— Но самое главное, что это реальное, нужное дело, каким бы трудным оно ни было. Вот видишь, Пит, кое-что сделать все-таки можно.

Проптер завернул на минутку в бунгало потушить свет, затем снова появился на крыльце. Все трое пошли по тропинке к дороге. Впереди маячил гигантский черный силуэт замка с редкими точками огоньков.

— Кое-что сделать можно,— вновь заговорил Проптер,— но только при условии, что ты знаешь, какова истинная природа мира. Если ты знаешь, что чисто человеческий уровень — это уровень зла, ты не будешь убивать время, пытаясь делать добро на этом уровне. Добро проявляется только на животном уровне и на уровне вечности. Зная это, ты сообразишь, что самые разумные действия на человеческом уровне должны носить предохранительный характер. Можно понять, что чисто человеческая деятельность имеет мало общего с проявлением добра на других уровнях. Вот и все. Но политики не знают природы реальности. Если б они ее знали, они не были бы политиками. Реакционеры или революционеры — все они гуманисты, все романтики. Они живут в мире иллюзий, в мире, который является всего-навсего проекцией их собственных личностей. Их действия были бы разумны, если бы этот вымышленный мир действительно существовал. Но, к несчастью, он существует только в их воображении. Поэтому все, что они делают, совершенно неразумно. Все их поступки — это поступки сумасшедших, и все они, как убедительно показывает нам история, приводят к более или менее плачевным последствиям. Но довольно о романтиках. Реалисты, которые постигли природу мира, знают, что чистый гуманизм ни к чему хорошему в этой жизни не приведет, и поэтому вся человеческая деятельность должна только помогать проявляться животному и духовному добру. Другими словами, они знают, что задача людей — сделать человеческий мир безопасным для зверей и духов. Или, может быть,— добавил он, оборачиваясь к Джереми,— может быть, вы, как англичанин, предпочитаете Вильсону * Ллойд Джорджа: «Дом, подходящий для героев» — так, кажется, у него? Дом, подходящий для зверей и духов, для физиологии и отрешенного сознания. Сейчас, боюсь, он для них никак не подходит. Мир, который мы себе создали,— это мир больных тел и безумных либо преступных личностей. Как нам изменить этот мир, чтобы он стал безопасным для нас самих как зверей и как духов? Найди ответ на этот вопрос, и ты поймешь, что делать.

Проптер остановился возле какого-то сооружения, похожего на придорожный склеп, вынул из кармана ключ, открыл маленькую стальную дверцу и, сняв трубку спрятанного внутри телефона, сообщил об их прибытии невидимому привратнику по ту сторону рва. Они пошли дальше.

— А что делает мир небезопасным для зверей и духов? — снова заговорил Проптер.— Очевидно, алчность и страх, тяга к власти, ненависть, злоба...

Неожиданно в лицо им ударил ослепительный свет и почти сразу погас.

— Это что еще за идиотские...— начал Джереми.

— Не беспокойтесь,— сказал Пит.— Они хотят убедиться, что это мы, а не шайка гангстеров. Просто посветили прожектором.

— Просто наш старый друг Джо самовыражается,— сказал Проптер, беря Джереми за локоть.— Другими словами, объявляет миру, что он боится, ибо он жаден и деспотичен. А жадным и деспотичным, помимо других причин, он стал и потому, что при нынешнем устройстве общества это поощряется. Наша задача — перестроить общество так, чтобы оставить неудачникам вроде Джо Стойта как можно меньше возможностей для реализации своего потенциала.

Когда они подошли ко рву, мост был уже опущен; шаги их гулко застучали по покрытию.

— Тебе нравится социализм, Пит,— продолжал Проптер.— Но социализм, кажется, обречен на централизацию и стандартизованное массовое производство во всех городах. Кроме того, я вижу здесь слишком много возможностей для запугивания: властолюбивым людям слишком легко проявлять свое властолюбие, а пассивным — отсиживаться в тени, становясь рабами.

Решетка поднялась им навстречу, разъехались створки ворот.

— Если хочешь сделать мир безопасным для зверей и духов, общество нужно организовать так, чтобы свести к минимуму количество страха, алчности, деспотичности, злобы. То есть иметь достаточную экономическую базу, чтобы избавиться хотя бы от этого источника бед. Затем, у людей должно быть достаточно личной ответственности, чтобы они не бездельничали. Достаточно собственности, чтобы они не боялись богачей, но чтобы и сами не могли никого запугивать. И то же самое с политическими правами и властью — первых должно быть достаточно, чтобы защитить большинство, вторая должна быть ограничена, чтобы предотвратить диктат меньшинства.

— Крестьяне какие-то получаются,— с сомнением сказал Пит.

— Крестьяне плюс малая механизация и электроэнергия. А это значит, что они уже не крестьяне, разве только потому, что в основном сами себя обеспечивают.

— А кто будет делать машины? Тоже крестьяне?

— Нет, те же люди, что и сейчас. Вещи, которые нельзя сделать иначе как путем массового производства, придется и дальше делать таким же способом. По моей прикидке, это около трети всей продукции. Остальные две трети логичнее производить на дому или в маленькой мастерской. Насущная, практическая задача — разработать технику такого мелкомасштабного производства. В наше время все исследования направлены на открытие новых областей для массового производства.

* * *

В Гроте перед изображением Пресвятой Девы неугасимо горели в ее честь двадцатипятифутовые электрические свечи. Наверху, на корте, второй дворецкий, две горничные и старший электрик играли смешанными парами в теннис.

— Так, по-вашему, люди согласятся уехать из городов и жить, как вы советуете, на маленьких фермах?

— Вот это разумно, Пит! — одобрительно сказал Проптер.— Честно говоря, я не рассчитываю, что люди уедут из городов, как не рассчитываю, что они научатся жить без войн и революций. Расчет у меня один: если я буду делать свое дело и все пойдет хорошо, найдутся и желающие сотрудничать со мной. А большего я не жду.

— Но если вы надеетесь привлечь на свою сторону только немногих, то какой же во всем этом смысл? Почему не попытаться сделать что-нибудь с городами и фабриками, ведь большинство-то останется там? Разве это не было бы практичнее?

— Смотря что понимать под этим словом,— сказал Проптер.— Ты, похоже, считаешь, что помогать огромному большинству людей вести жизнь обреченных — значит поступать практично, а помогать немногим

жить так, как подсказывает разум, непрактично. Я на этот счет другого мнения.

— Но их же так много. Для них необходимо что-то сделать.

— Необходимо,— согласился Проптер.— Но в то же время бывают обстоятельства, которые не позволяют сделать ничего. Ты не можешь сделать для человека ничего существенного, если он не хочет или не способен содействовать тебе хотя бы разумным поведением. Необходимо, например, помогать людям, которые гибнут от малярии. Но тебе не удастся оказать им реальную помощь, если они будут срывать с окон сетки и по-прежнему гулять каждый вечер у болота. Точно так же обстоит дело и с недугами организма общественного. Людям необходимо помогать, когда они стоят перед лицом войны, краха или порабощения, когда им угрожает внезапная революция или постепенное вырождение. Да, помогать необходимо. Однако факт остается фактом — ты не сможешь помочь им, если они упорно держатся той линии поведения, которая привела их к несчастью. Нельзя, например, спасти людей от ужасов войны, пока они не откажутся от удовольствия быть националистами. Нельзя спасти их от кризисов и депрессий, пока они не перестанут мыслить исключительно денежными категориями и считать деньги высшим благом. Нельзя предотвратить революцию и порабощение людей, если они, как и прежде, будут отождествлять прогресс с усилением централизации, а преуспеяние — с увеличением массового производства. Нельзя уберечь их от коллективного безумия и самоубийств, если они не прекратят воздавать божественные почести идеалам, являющимся всего лишь проекциями их собственных личностей,— другими словами, если они не прекратят вместо Бога поклоняться самим себе. Это насчет условий. Теперь рассмотрим нынешнюю ситуацию. Самые важные для нас факты таковы: жителям всех цивилизованных стран угрожает опасность; все они испытывают горячее желание ее избежать; но почти никто не хочет менять привычный образ мыслей и действий, а ведь именно благодаря ему люди попали в такое плачевное положение. Иначе говоря, их невозможно спасти, ибо они не желают слушать тех, кто предлагает разумный, реалистический план спасения. Что же в таком случае делать несостоявшимся спасителям?

— Но хоть что-нибудь делать надо,— сказал Пит.

— Даже если ускоришь этим процесс деградации? — Проптер горестно улыбнулся.— Делать, лишь бы делать,— продолжал он.— Я предпочитаю Оскара Уайльда. Плохое произведение искусства не может принести столько вреда, сколько необдуманное политическое деяние. У большинства людей не хватает ума, чтобы творить добро в иных масштабах, кроме самых крохотных. Пусть лучше они постараются не причинять зла; это проще и не дает таких ужасных результатов, как попытки делать добро неверными методами. Бить баклуши и прилично себя вести во многих случаях полезнее, чем активно пытаться воплотить в жизнь свои благие намерения.

Залитая светом прожектора, нимфа Джамболоньи по-прежнему неутомимо извергала в бархатную тьму струи воды. Электричество и скульптура, думал Джереми, глядя на нее,— они просто созданы друг для друга. Какие чудеса стали бы доступны Бернини, будь у него прожекторы! Эффектное освещение, фантастические разноцветные тени! Женщины-мистики в оргазме, кругленькие ангелочки, мертвецы, ракетами рвущиеся ввысь из католических могил, святые, каждый в своем персональном вихре из развевающихся одежд и мраморно-белых кудрей! Сколько радости! Сколько великолепия! Какое блестящее пародирование собственной манеры! Какая ошеломительная красота! Какой чудовищно дурной вкус! И какая досада, что этот человек вынужден был довольствоваться дневным освещением да сальными свечами!

— Нет,— отвечал Проптер на вопрос юноши, прозвучавший с явным упреком,— нет, я не стал бы бросать их на произвол судьбы. Я за то, чтобы постоянно повторять те истины, о которых им твердят снова и снова на протяжении трех последних тысячелетий. А в перерывах

активно разрабатывать детали лучшей системы и активно сотрудничать с теми немногими, кто понимает ее суть и готов заплатить цену, нужную для ее реализации. Кстати, цена эта по человеческим меркам весьма высока. Хотя, конечно, намного ниже той, какую природа вещей требует от упрямцев, ведущих стандартный человеческий образ жизни. Будь они более вразумляемыми, им не пришлось бы, например, расплачиваться войной — а это дорогая плата, особенно при современном вооружении. Не было бы нужды платить экономической депрессией и политическим порабощением.

— А что будет,— певучим голосом спросил Джереми,— что будет, если война все-таки докатится и до нас? Разве ваши немногие окажутся в лучшем положении, чем большинство?

— Как ни странно,— ответил Проптер,— это вполне может случиться. И вот почему. Если они научатся обеспечивать себя сами, пережить пору анархии им будет легче, чем людям, кровно зависящим от централизованных и специализированных структур. Нельзя добиваться добра, не готовя себя в то же время к самому худшему.

Он умолк, и они миновали остаток дороги почти в полной тишине; только где-то высоко наверху, в замке, работали два приемника, настроенных на разные станции. Бабуины — те уже спали.

Глава двенадцатая

Очутившись среди колонн часовни, где вешалки для шляп соседствовали с картинами Маньяско *, а Брынкуш * — с этрусским саркофагом, заменяющим подставку для зонтиков, Джереми неожиданно для себя воспрянул духом, словно вернулся в родные стены.

— Наверное, так выглядит изнутри сознание сумасшедшего,— сказал он, вешая шляпу на крючок и со счастливой улыбкой входя вслед за своими спутниками в огромный вестибюль.— Вернее, идиота,— уточнил он.— Потому что у сумасшедшего мысль движется, так сказать, по одной дорожке. А здесь,— он повел вокруг рукой,— никакой дорожки нет. Нет, ибо их бесконечное множество. Это ум гениального идиота. Его прямо распирает от лучших образцов мысли и слова.— Он произнес эти слова с педантичностью старой девы, отчего они прозвучали уж вовсе нелепо.— Греция, Мексика, ягодицы, распятия, машины, Георг IV, будда Амида *, наука, сциентизм, турецкие бани — все что хотите. И каждый пункт абсолютно не связан с остальными.— Он потер руки, глаза его за бифокальными стеклами очков довольно замигали.— Сначала это обескураживает. Но знаете что? Я начинаю получать от этого удовольствие. Оказывается, я совсем не прочь пожить в уме идиота.

— Нимало не сомневаюсь,— буднично заметил Проптер.— Именно таковы вкусы большинства.

Джереми обиделся.

— Вот уж не думал, что подобные вещи импонируют вкусам большинства,— сказал он, кивнув в сторону Эль Греко.

— Вы правы,— согласился Проптер.— Но можно жить в идиотическом мире и не утруждая себя возведением его железобетонной модели, набитой мировыми шедеврами.

Последовала пауза. Они вошли в лифт.

— Можно жить внутри образованного идиота,— снова заговорил Проптер.— В мешанине из не связанных между собой слов и обрывков информации. А если вы из низов, то можете жить в идиотском мире homme moyen sensuel [1] — мире, где элементами путаницы являются газеты и бейсбол, секс и хлопоты, реклама, деньги, галитоз и как бы не отстать от Джонсов. Существует иерархия идиотизмов. Мы с вами, понятно, предпочитаем вариант «люкс».

Лифт остановился. Пит отворил дверь, и они вышли в беленый коридор одного из подвальных этажей.

---

[1] Среднего «чувственного человека» *(франц.)*.

— Мировосприятие идиота лучше всего подходит тем, кто хочет вести спокойную жизнь и ни за что не отвечать. Конечно, при условии, что их не угнетает идиотизм сам по себе,— добавил Проптер.— Многих угнетает. Через некоторое время они устают от бездорожья. Им хочется собранности и целеустремленности. Хочется, чтобы их жизнь обрела какой-нибудь смысл. Потому они и становятся коммунистами, или принимают католическую веру, или присоединяются к Оксфордской группе *. Все что угодно, лишь бы найти дорожку. И в подавляющем большинстве случаев дорожку, разумеется, выбирают не ту. Это неизбежно. Ведь существует миллион ложных дорог, и только одна правильная; миллион идеалов, миллион проекций личности, но лишь один-единственный Бог и один рай. Большинство меняет бездорожье идиота на дорожку безумца — да еще, как правило, с криминальным уклоном. Самочувствие их после этого улучшается; но с практической точки зрения последнее всегда хуже первого. Если вы не хотите искать единственную сто́ящую вещь на свете, то мой совет: придерживайтесь идиотизма. Значит, вот где вы трудитесь? — сказал он уже другим тоном, ибо Джереми только что распахнул перед ним дверь своего сводчатого кабинета.— А это бумаги Хоберков, так я понимаю. Сколько же их тут! Носителей титула, наверное, уже не осталось?

Джереми кивнул:

— И самой фамилии тоже — вернее, почти. Никого, кроме двух обнищавших старых дев в доме с привидениями.— Он мигнул, погладил свою лысую макушку и, предварительно покашляв, с выражением произнес: — Дворянки в увяданье.— До чего изысканно! Это была одна из его любимых фраз.— И увяданье зашло уже довольно далеко,— присовокупил он.— Иначе они не продали бы архива. Раньше они всем отказывали.

— Как славно не принадлежать к древнему роду! — сказал Проптер.— Ох уж эта наследственная верность камням и известковому раствору, эти обязательства перед могилами, клочками бумаги и фамильными портретами! — Он покачал головой.— Идолопоклонство, да еще в такой мрачной форме.

Тем временем Джереми пересек комнату, открыл ящик стола и, вернувшись с пачкой подшитых бумаг, вручил их Проптеру.

— Полюбопытствуйте.

Проптер полюбопытствовал.

— От Молиноса! — удивленно воскликнул он.

— Я так и думал: значит, по носу табак,— сказал Джереми, испытывая нездоровое удовольствие оттого, что говорит о мистицизме до абсурда неподходящим языком.

Проптер улыбнулся.

— По носу табак,— повторил он.— Но не сказал бы, что моей любимой марки. С беднягой Молиносом как-то не все было ладно. Он обладал чем-то вроде... негативной чувственности, что ли. Обожал страдания. Душевные муки, дух, блуждающий в ночи,— он прямо-таки упивался этим. Без сомненья, несчастный искренне верил, что искореняет в себе своеволие; но, сам того не замечая, своими стараниями он только утверждал его в другой ипостаси. И очень жаль,— добавил Проптер, подходя к свету, чтобы рассмотреть письма как следует.— Ибо он явно кое-что знал о реальности, и не понаслышке. Это лишь доказывает, что никогда нельзя быть уверенным в достижении цели, даже если подойдешь достаточно близко, чтобы ее рассмотреть. Вот замечательная фраза,— заметил он в скобках.— «Ame a Dios,— вслух прочел он,— como es en sí y no como se lo dice y forma su imaginación».

Джереми едва не рассмеялся. Это совпадение показалось ему очень забавным: ведь сегодня утром то же самое место привлекло внимание Обиспо.

— Жалко, что ему не пришлось почитать Канта,— сказал он.— Dios en sí, по-моему, очень смахивает на Ding an sich [1]. Нечто, недоступное человеческому сознанию.

---

[1] Вещь в себе *(нем.)*.

— Недоступное *индивидуальному* человеческому сознанию,— согласился Проптер,— ибо индивидуальность эгоистична, а эгоизм есть отрицание реальности, отрицание Бога. Пока речь идет об обыкновенной человеческой личности, Кант совершенно прав: вещь в себе непознаваема. Dios en sí не может быть постигнут сознанием, которое подчинила себе личность. Но давайте допустим, что есть способ устранить из сознания все личное. *Если* вам это удастся, вы подойдете к реальности вплотную, вы окажетесь в состоянии постичь, что такое Dios en sí. А теперь обратите внимание: факты говорят нам со всей определенностью, что это возможно, что это удавалось людям, и не один раз. Тупиковый путь Канта предназначен лишь для тех, кому угодно оставаться на человеческом уровне. А если вы подниметесь на уровень вечности, impasse [1] перестанет существовать.

Наступило молчание. Проптер переворачивал страницы, время от времени останавливаясь, чтобы разобрать одну-две строки, писанные изящным бисерным почерком.

— «Tres maneras hay de silencio,— вслух прочел он после недолгой паузы.—La primera es de palabras, la segunda de deseos, y la tercera de pensamientos» [2]. Красиво пишет, правда? Возможно, именно этому он и обязан своим необычайным успехом. Ужасно, когда человек умеет правильно говорить неправильные вещи! Кстати,— добавил он, с улыбкой взглядывая Джереми в лицо,— как мало найдется среди великих стилистов таких, кто хоть раз сказал бы что-нибудь правильное. В этом беда гуманитарного образования. Лучшие образцы мысли и слова — прекрасно. Но в каком отношении они лучшие? Увы, всего лишь в отношении формы. Содержание же, как правило, бывает весьма убогим.— Он снова вернулся к письмам. Через некоторое время внимание его привлекло другое место.— «Oirá y leerá el hombre racional estas espirituales materias, pero no llegará, dice San Pablo, a comprenderlas: Animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus» [3]. И не только animalis homo,— заметил Проптер,— но и humanus homo. Да-да, прежде всего humanus homo. А еще можно добавить, что humanus homo non percipit ea quae sunt animalis. Пока мы думаем чисто по-человечески, мы не понимаем ни того, что выше нас, ни того, что ниже. Есть и другая трудность. Допустим, что мы больше не думаем исключительно по-человечески; допустим, мы научились интуитивно воспринимать те нечеловеческие реалии, в которые мы, так сказать, погружены с головой. Честь нам и хвала. Но что, если мы попытаемся передать обретенное таким образом знание другим? Нас ждет полная неудача. Ведь наш словарный запас целиком и полностью предназначен лишь для выражения чисто человеческих мыслей о чисто человеческих предметах. А мы-то хотим рассказать о нечеловеческой реальности и нечеловеческом образе мыслей! Отсюда — полная неадекватность всех суждений о нашей животной природе и в еще большей степени суждений о Боге, о духовном или о вечности.

Джереми робко кашлянул.

— Я мог бы привести очень даже адекватные суждения о...— он замялся, расплылся в улыбке, погладил свою блестящую лысину,— ну, о самых интимных проявлениях нашей животной природы,— скромно заключил он. Лицо его вдруг омрачилось; он вспомнил о найденном сегодня сокровище, которое умыкнул у него этот наглец Обиспо.

— Но на чем основана их адекватность? — спросил Проптер.— Не столько на мастерстве автора, сколько на внутреннем отклике читателя. Непосредственных животных ощущений словами не передать; слова лишь напоминают вам о том, что вы сами переживали в сходных ситуациях. Notus calor — так называет Вергилий чувство, охватывающее Вулкана в объятиях Венеры. Знакомый пыл. Никаких попыток описания или анализа; никакого стремления подобрать фактам словесный эквивалент. Нет,

---

[1] Тупик *(франц.)*.

[2] Молчание бывает трех видов. Первый — когда молчит язык, второй — когда молчат желания, а третий — когда молчит разум *(исп.)*.

[3] Рационалист будет читать и слушать о духовных материях, но ему так и не удастся, говорит Св. Павел, постичь их: человек-животное не понимает людей духа *(исп., лат.)*.

всего лишь намек. И простого намека оказалось достаточно, чтобы вложить в эти стихи необходимую чувственность и сделать их одним из шедевров любовной лирики в латинской поэзии. Вергилий предоставил трудиться читателям. Вообще говоря, это излюбленный прием большинства писателей-эротиков. Те немногие, что предпочитают брать труд на себя, обречены на барахтанье в метафорах, сравнениях, аналогиях. Вы знаете такого рода продукцию: пламя, ураганы, стрелы, рай.

— Долина лилий,— процитировал Джереми,— и приют блаженства.

— Не говоря уж о духе в плену низменных страстей,— сказал Проптер,— и прочих речевых фигурах. Их бесконечное множество, и у них лишь одна общая черта: все они состоят из слов, не имеющих ровно никакого отношения к описываемому предмету.

— Говорить одно, а подразумевать другое,— вставил Джереми.— Разве это не характерно для всей художественной литературы?

— Может быть,— ответил Проптер.— Но сейчас меня главным образом интересует то, что людям так и не удалось снабдить наши непосредственные животные ощущения осмысленными, неслучайными ярлычками. Мы говорим, например, «красное» или «приятное», но и только; мы не пытаемся найти словесные эквиваленты для отдельных аспектов постижения красного цвета или разнообразных приятных переживаний.

— Разве это не потому, что дальше «красного» или «приятного» просто нельзя пойти? — сказал Пит.— Это ведь факты, голые факты, и все тут.

— Как жирафы,— добавил Джереми.— «Такого зверя не может быть»,— говорит рационалист, глядя на его изображение. И тут он появляется во всей красе — шея и прочее!

— Вы правы,— сказал Проптер.— Жираф — это голый факт. И его надо признать, нравится он вам или не нравится. Но то, что вы признаете жирафа, отнюдь не мешает вам изучать и описывать его. Так же обстоит дело и с красным цветом, и с удовольствием, и с notus calor. Эти факты поддаются анализу, а результаты анализа вполне можно выразить соответствующими словами. Однако история не дает нам подобных примеров.

Пит задумчиво кивнул.

— Как вы считаете, почему это? — спросил он.

— Ну,— сказал Проптер,— я считаю, это потому, что людям всегда было интереснее делать и чувствовать, нежели думать. Они всегда были слишком заняты: радовались и горевали, занимались благотворительностью, обделывали свои дела, поклонялись своим идолам,— и у них никогда не возникало охоты создать словесный инструментарий, чтобы внести во все свои жизненные перипетии какую-то ясность. Поглядите на языки, которые мы унаследовали. Идеально подходящие для разжигания буйных и необузданных страстей; незаменимая подмога тем, кто хочет сделать в этом мире карьеру; но хуже чем бесполезные для всякого, кто стремится к бескорыстному постижению действительности. Отсюда, даже на чисто человеческом уровне, нужда в особых объективных языках вроде языка математики или наборов технических терминов, использующихся в разных науках. Как только у людей появлялось желание *понять,* они оставляли в стороне традиционный язык и заменяли его другим, специальным — более точным и, что важнее всего, более свободным от своекорыстия. Далее, отметим очень существенный факт. Художественная литература в основном имеет дело с повседневной жизнью мужчин и женщин, а повседневная жизнь мужчин и женщин складывается по большей части из непосредственных животных впечатлений. Но чтобы выявить суть этих животных впечатлений, создатели художественной литературы никогда не изобретали объективного, незасоренного языка. Они довольствовались тем, что, не мудрствуя лукаво, называли эти впечатления не отвечающими их сути именами, которые всего лишь служили ориентиром для их и читательской памяти. Всякое непосредственное переживание есть notus calor, а читатель или читательница, опираясь на свой личный опыт, должны сами вложить в эти слова конкретное значение. Просто, но не очень-то научно. Однако

люди читают художественную литературу не для того, чтобы что-нибудь понять; они лишь хотят вновь пережить те ощущения, которые в прошлом доставили им удовольствие. Чем только не бывает искусство; но на практике оно обычно служит неким духовным заменителем алкоголя и шпанских мушек.

Проптер снова обратил взор к убористым строкам послания Молиноса.

— «Oirá y leerá el hombre racional estas espirituales materias,— еще раз прочел он.— Pero no llegará a comprenderlas». Он будет читать и слушать об этих вещах, но ему так и не удастся понять их. А не удастся ему это,— Проптер закрыл папку и вернул ее Джереми,— не удастся ему это по одной из двух весьма основательных причин. Либо он никогда не видел жирафов, о которых идет речь, а потому, будучи hombre racional, вполне убежден, что таких зверей не существует. Либо он мельком видел этих животных (или у него есть другая причина верить в их существование), однако не может понять, что говорят о них знатоки; ему мешает неадекватность языка, на котором обыкновенно описывается фауна духовного мира. Иными словами, либо он не имел опыта непосредственного ощущения вечности — а значит, у него нет резона верить, что вечность существует,— либо он верит в существование вечности, но ему непонятен язык тех, кто ощущал ее непосредственно. Далее, если он захочет говорить о вечности — а он может этого захотеть, чтобы поделиться своим опытом с другими или чтобы самому лучше понять собственные переживания с человеческой точки зрения,— то он окажется перед дилеммой. Либо он признает, что существующий язык для этой цели не годится, и тогда у него остаются лишь два разумных выхода: не говорить ничего вовсе или изобрести свой собственный, специальный, более подходящий язык, так сказать, исчисление вечности, особую алгебру духовного опыта,— но если он ее изобретет, желающим понять его придется овладевать новой премудростью. Таков первый путь. А второй путь припасен для тех, кто не признаёт неадекватности существующего языка, да для неисправимых оптимистов, которые хоть и признают ее, но упорно хотят попытать счастья с помощью заведомо бесполезного средства. Такие люди будут писать на имеющемся языке, и благодаря этому писания их будут истолкованы более или менее неправильно практически всеми читателями. Это неизбежно, ведь слова, которыми они пользуются, не соответствуют тому, о чем они говорят. В основном это слова, взятые из языка повседневной жизни... Но язык повседневной жизни, за малыми исключениями, описывает события чисто человеческого уровня. Что же происходит, когда слова, позаимствованные из этого языка, вы используете для описания опыта духовного, опыта переживания вечности? Очевидно, вы порождаете непонимание; говорите то, чего говорить не собирались.

Пит перебил его:

— Можно что-нибудь конкретное, мистер Проптер?

— Можно,— отозвался тот.— Возьмем слово, которое так часто встречается во всей религиозной литературе: «любовь». Что такое любовь на человеческом уровне? Да все что угодно, от родной матери до маркиза де Сада.

Имя маркиза вновь напомнило Джереми о том, что произошло с «Cent-Vingt Jours de Sodome». Нет, это просто из ряда вон! Какая наглость!..

— Мы не делаем даже элементарного различия, которое делали греки: между erao и philo, eros и agape. У нас всё любовь, будь она бескорыстная или эгоистичная, будь это дружеская симпатия, похоть или безумие убийцы. У нас всё любовь,— повторил он.— Идиотское слово! Даже на человеческом уровне оно безнадежно расплывчато. А попробуйте применить его к переживаниям на уровне вечности — последствия будут просто катастрофическими. «Любовь к Богу». «Любовь Бога к нам». «Любовь святого к его братии». Что означает здесь слово «любовь»? И как это связано с тем, что скрывается за ним, когда речь идет о молодой кормящей матери и ее ребенке? Или о Ромео, который пробирается в спальню к Джульетте? Или

об Отелло, который душит Дездемону? Или об ученом-исследователе, влюбленном в свою науку? Или о патриоте, готовом умереть за свою родину — умереть, а до того убивать, красть, лгать, обманывать и пытать ради нее? Да неужто и впрямь есть что-то общее между тем, что обозначает слово «любовь» в этих случаях, и тем, что подразумевается под ним, например, в рассказах о любви Будды ко всем существам, способным чувствовать? Ответ очевиден: конечно, нет. На человеческом уровне этим словом описывается огромное множество различных состояний сознания и манер поведения. Несходные во многом, они похожи по крайней мере в одном: все они сопровождаются эмоциональным возбуждением и все содержат в себе элемент страсти. Тогда как для состояния просветленности характерны в первую очередь спокойствие и безмятежность. Иными словами, отсутствие возбуждения и отсутствие страстных желаний.

— Отсутствие возбуждения и отсутствие желаний,— повторил про себя Пит, в то время как перед его мысленным взором проплыли несколько картин: Вирджиния в спортивной кепочке, Вирджиния за рулем розового мотороллера, Вирджиния в шортах преклоняет колени перед изображением Богоматери.

— Различия фактические должны быть отражены различиями языковыми,— говорил Проптер.— А без этого в словах мало проку. Тем не менее мы упорно используем одно-единственное слово для обозначения совершенно разных понятий. Мы говорим: «Бог есть любовь». То же самое слово звучит и в наших разговорах о чувственной любви, или о любви кого-либо к своим детям, или о пламенной любви к отчизне. Следовательно, мы склонны думать, что во всех этих случаях говорим примерно об одном и том же. Мы со смутным благоговением воображаем, будто Бог — это что-то вроде квинтэссенции страсти.— Проптер покачал головой.— Создаем Бога по своему образу и подобию. Это льстит нашему тщеславию, а мы, конечно, предпочитаем лелеять свое тщеславие, но не учиться понимать. Отсюда и путаница с языком. Если бы мы хотели понять, что стоит за словом «любовь», если бы мы хотели трезво поразмыслить над этим, то мы сказали бы, что люди питают друг к другу любовь, но что Бог есть некая *х*-любовь. Тогда у тех, кто не имеет непосредственного опыта переживаний на уровне вечности, по крайней мере появилась бы возможность понять рассудком, что на этом уровне и на уровне чисто человеческом происходят разные вещи. Увидев разные слова, они поняли бы, что между любовью и *х*-любовью есть какое-то различие. Следовательно, людям уже труднее было бы оправдаться в том, что они, как нынче, воображают себе Бога похожим на них самих, только чуть более респектабельным и, разумеется, чуть менее порочным. Не стоит и пояснять, что все, относящееся к слову «любовь», относится и к прочим словам, взятым из языка обыденной жизни и используемым для описания духовного опыта. Например, «знание», «мудрость», «сила», «ум», «покой», «радость», «свобода», «добро». На человеческом уровне они обозначают определенные вещи. Но те, кто пишет о происходящем на уровне вечности, пытаются выразить этими словами нечто совсем другое. Поэтому их использование лишь затемняет смысл, и читателю становится почти невозможно понять, о чем идет речь. И между прочим, не надо забывать, что путаницу вносят не только слова, взятые из языка обыденной жизни. Те, кто пишет об уровне вечности, используют еще и специальные выражения, позаимствованные из разных философских систем.

— А разве это не та самая алгебра духовного опыта? — спросил Пит.— Разве это не тот специальный, научный язык, о котором вы говорили?

— Это попытка создать такую алгебру,— ответил Проптер.— Но к сожалению, весьма неудачная. Неудачная, потому что эта особая алгебра опирается на язык метафизики — и метафизики, заметим, довольно плохой. Те, кто ею пользуется, хотят они этого или не хотят, берут на себя обязательство не только описывать факты, но и объяснять их. Они должны

объяснять реальные переживания с помощью метафизических понятий, обозначающих нечто такое, чего нельзя продемонстрировать, что существует лишь предположительно. Другими словами, они описывают факты, используя плоды человеческого воображения; объясняют известное посредством неизвестного. Возьмем несколько примеров. Вот один из них: «экстаз». Это технический термин, который относится к способности души пребывать вне тела, и он, конечно, подразумевает, что мы знаем, что такое душа и как она связана с телом и со всем остальным миром. Или взять другой пример, технический термин, который играет важную роль в католической теории мистицизма: «внушенное созерцание». Здесь предполагается, что существует некто и этот некто привносит в наши умы определенное психологическое состояние. Еще одно предположение заключается в том, что мы знаем, кто этот некто. Можно привести и третий пример: пусть это будет даже «единение с Богом». Здесь смысл слов зависит от воспитания говорящего. Они могут означать «единение с Иеговой Ветхого Завета». Или, допустим, «единение с Божественной Личностью ортодоксального христианства». Или то, что они, возможно, означали для Экхарта: «единение с безличным Божеством, один из ограниченных аспектов коего есть Бог ортодоксии». Аналогичным образом, если вы индус, они могут означать «единение с Ишварой*» или «единение с Брахманом». Во всех вариантах этот термин подразумевает предварительное знание о природе вещей, которые либо вовсе непознаваемы, либо, в лучшем случае, могут быть осмыслены, лишь исходя из природы переживаний, как раз и описываемых данным термином. Вот каков второй путь разрешения дилеммы,— заключил Проптер,— и пошедшие по этому пути, то есть описывающие свой опыт на уровне вечности с помощью современной религиозной лексики, тоже неизбежно оказываются в тупике.

— А средний путь? — спросил Джереми.— Не по нему ли идут профессиональные психологи, которые пишут о мистицизме? Они создали вполне разумный язык. Вы не упомянули о них.

— Я не упомянул о них,— сказал Проптер,— по той же самой причине, по какой в беседе о красоте не упомянул бы о специалистах по эстетике, которые никогда не бывали в картинной галерее.

— Вы хотите сказать, они сами не знают, о чем говорят?

Проптер улыбнулся.

— Я бы сказал иначе,— произнес он.— Знать-то они знают. Да только то, что они знают, не стоит обсуждения. Потому что знают они лишь мистическую литературу, а мистического опыта у них нет.

— Стало быть, и спасительного пути нет,— вывел Джереми. Глаза его за стеклами очков замигали; он улыбнулся, словно мальчишка-озорник, довольный тем, что ему удалась очередная мелкая пакость.— Как славно, когда у проблемы нет решения. Когда все выходы перекрыты и тебе со всеми твоими духовыми оркестрами и сверкающими доспехами просто некуда податься, мир кажется таким восхитительно уютным. Вперед, христианские воины! В атаку, пехота! Excelsior! [1] И ходишь все время кругом да кругом — по собственным следам, за нашим доблестным фюрером,— как гусеницы Фабра*. Ей-Богу, мне это ужасно нравится!

На сей раз Проптер рассмеялся открыто.

— Простите, но я должен вас разочаровать,— сказал он.— К сожалению, спасительный путь существует. Это путь практический. Вы можете составить обо всем собственное мнение, для этого нужен только личный опыт. Так же как можете составить себе мнение о картине Эль Греко «Распятие святого Петра» — для этого нужно только вызвать лифт и подняться на нем в вестибюль. Боюсь, правда, что в первом случае никакого лифта нет. Надо подыматься пешком. И имей в виду,— добавил он, поворачиваясь к Питу,— у этой лестницы очень, очень много ступеней.

---

[1] Все выше *(лат.)*.

* * *

Доктор Обиспо распрямился, вынул из ушей трубочки стетоскопа и убрал инструмент в карман, где лежали «Cent-Vingt Jours de Sodome».

— Что-нибудь не так? — с беспокойством спросил Стойт.

Обиспо покачал головой и ободряюще улыбнулся ему.

— Гриппа, во всяком случае, нет,— сказал он.— Небольшое обострение вашего обычного бронхита, только и всего. Я дам вам лекарство, примете на ночь.

Услышав это, Стойт сразу повеселел.

— Рад, что тревога была ложная,— сказал он и повернулся к своей одежде, которая кучей лежала на софе под Ватто.

Вирджиния у бара испустила ликующий возглас.

— Это же просто класс! — воскликнула она. Потом, сменив тон на более серьезный, добавила: — Знаешь, Дядюшка Джо, я до смерти перепугалась, когда услыхала от него про твой кашель. До смерти,— повторила она.

Дядюшка Джо самодовольно усмехнулся и так хлопнул себя по волосатой, дряблой, похожей на женскую груди, что все его жировые накопления заходили ходуном, точно желе.

— У меня все о'кей,— похвастался он.

Вирджиния наблюдала поверх стакана, как он надевает рубашку и повязывает галстук. Ее невинное лицо дышало безмятежностью. Взгляд голубых глаз был чист и прозрачен; но мысли у нее в голове так и кипели. «Кажется, пронесло,— повторяла она про себя.— Ей-Богу, еще бы чуть-чуть, и...» При воспоминании о переполохе, вызванном шумом открывающегося лифта, об этой лихорадочной спешке под звук приближающихся к двери шагов по коже ее пробежал восхитительный озноб — она испытывала смесь страха и удовольствия, тревоги и восторга. То же самое она чувствовала ребенком, играя в темноте в прятки. Пронесло! Зиг, конечно, молодчина. Какое присутствие духа! А эта штука, стетоскоп, которую он выудил из кармана,— до чего ловко придумано! Это спасло ситуацию. Если б не стетоскоп, Дядюшка Джо устроил бы, по своему обыкновению, сцену ревности. Хотя какое он имеет право ревновать, с чувством оскорбленного достоинства размышляла Вирджиния, ей-Богу, не понимаю. Ничего же не было, просто почитали немножко вслух. И вообще, почему это девушке нельзя читать такие вещи, если ей хочется? Тем более что она по-французски. А Дядюшка Джо, между прочим, тоже хорош! Вечно психует, стоит кому-нибудь рассказать ей анекдот, а поглядел бы кто, что он сам всю дорогу *делает,*— и после этого еще ждет, чтобы ты вела себя как Луиза М. Олкотт*, и сторожит, чтоб тебе, не дай Бог, не услышать дурного слова! Никогда не давал ей рассказать о себе правду, даже если она хотела. Вообразил ее невесть какой недотрогой, а на самом-то деле ничего подобного. Ведет себя так, будто она какая-нибудь Дейзи Мэй в комиксе, а он вроде Малыша Абнера, одним махом ее спасает. Хотя ей, конечно, пришлось признаться, что это случилось по крайней мере один раз до него, ведь иначе не было бы оправдания ему самому. Ну да, случилось, но против ее воли — изнасиловали, можно сказать, — или другой вариант: какой-то мерзавец воспользовался ее наивностью и неопытностью в Конго-клубе, а на ней всего и было-то, что набедренная повязка да немножко тальковой пудры. Предполагалось, естественно, что она страшно переживала; так и ревела без передышки, покуда не объявился Дядюшка Джо; ну а потом все изменилось. Но что же получается, вдруг пришло Вирджинии на ум, если он и правда верит в эту чепуху, зачем тогда возвращается домой в четверть восьмого, а сам говорил, что до восьми его не будет? Старый обманщик! Решил за ней шпионить! Ну нет, она этого не потерпит; раз так, поделом ему, что Зиг читал ей эту книжку. Он просто получил по заслугам за то, что вздумал проверять ее и хотел поймать на чем-нибудь недозволенном. Ладно же, если он и дальше собирается так себя вести, она скажет Зигу, чтобы приходил каждый день и читал новую главу. Хотя как все-таки этот,

который написал книжку, сможет продолжать в том же духе целых сто двадцать дней, она себе, честное слово, не представляет. Если учесть, сколько там произошло за одну только неделю, а она-то воображала, будто знает уже все на свете! Да, век живи — век учись. Хотя кое-чему из этого у нее точно не было охоты учиться. Вспомнишь, и аж к горлу подкатывает. Ужас! Все равно что детей рожать! (Она содрогнулась.) Правда, в этой книжке полно и смешных мест. Один кусок она даже заставила Зига перечитать — это было грандиозно, ей страшно понравилось. И то, другое место, где девушка...

— Ну, Детка,— сказал Стойт, застегнув на жилете последнюю пуговицу,— что-то ты задумалась, а? Хотел бы я знать о чем!

По-детски короткая верхняя губка Вирджинии приподнялась в улыбке, и сердце Стойта затопила волна нежности и желания.

— Я думала о тебе, Дядюшка Джо,— сказала она.

Глава тринадцатая

Пусть на челе твоем и нет следа
Высоких дум — близка ты к небесам,
Ты в лоне Авраамовом живешь,
Тебе доступен сокровенный Храм,
Не видим мы, но Бог с тобой всегда*.

— Тонко, и даже весьма,— вслух сказал Джереми. Прозрачно, решил он, вот подходящее слово. Смысл тут внутри, как муха в янтаре. Или, вернее, мухи вовсе нет; один янтарь; янтарь-то и есть смысл. Он взглянул на часы. Без трех минут полночь. Он закрыл Вордсворта,— и подумать только, в очередной раз с горечью вспомнил он, подумать только, что сейчас можно было бы освежить в памяти «Фелицию»! — положил книгу на столик рядом с кроватью и снял очки. Лишившись поправочных шести с половиной диоптрий, глаза его немедленно очутились во власти физиологического отчаяния. Выпуклое стекло давно уже стало для них средой обитания; разлученные с нею, они напоминали пару студенистых морских жителей, внезапно вынутых из воды. Затем погас свет — словно к бедным тварям прониклись наконец состраданием и опустили их в аквариум, где им ничто не грозило.

Джереми потянулся под одеялом и зевнул. Ну и денек! Но теперь, слава Богу, можно поблаженствовать в постели. Благая Дева возлежит на райском ложе золотом*. Однако простыни-то у них хлопковые, не льняные; что отнюдь не делает чести такому дому, как этот! Дом, битком набитый Рубенсами и Греко,— а простыни, нате вам, из хлопка! Но это «Распятие святого Петра» — какая все-таки поразительная штука! Уж точно не хуже, чем «Успение» в Толедо. Которое, кстати, в последнее время запросто могли взорвать. Дабы продемонстрировать, что́ бывает, когда люди принимают мир чересчур всерьез. Не скажешь, конечно, продолжал размышлять он, что в этом чудаке, Проптере-Поптере, нет вовсе ничего впечатляющего (ибо так он решил называть этого человека в своих мыслях и в письмах к матери: Проптер-Поптер). Смахивает, пожалуй, на Старого Морехода*. И Гость себя ударил в грудь и повторял сие неоднократно; а следовало, может быть, и почаще, уж слишком решительно громил этот проповедник все общепринятые приличия и, a fortiori [1], столь же общепринятые неприличия (такие, как «Фелиция», как каждая вторая пятница в Мэйда-Вейл). И ведь довольно убедительно, черт бы побрал его горящий взор! Ибо сей необычный Мореход не только завораживал этим своим взором; одновременно и вместе с тем он был и фаготом, который вам хотелось услышать. Кое-кто слушал его не без удовольствия; хотя, разумеется, кое-кто отнюдь не собирался позволять ему громить уютное убежище, возведенное кое-кем

[1] Тем паче *(лат.)*.

из облюбованных им приличий и неприличий. Кое-кто был решительно против того, чтобы религия (нет, вы только подумайте!) нарушала неприкосновенность личной жизни. Дом англичанина — его крепость; и, как ни странно, американская крепость — он обнаружил это, когда у него прошел первый шок,— на глазах превращалась в дом оторванного от родины англичанина. В духовный, так сказать, дом. Поскольку она представляет собой модель идиотического сознания, у которого нет дорожки. Ибо нет никакого выхода, и ни один путь никуда не ведет, и оба варианта разрешения дилеммы кончаются тупиком, и ты ходишь все кругом да кругом, как гусеницы Фабра, в замкнутой, бесконечно уютной вселенной — кругом да кругом среди бумаг Хоберков, от святого Петра к Малютке Морфиль к Джамболонье к позолоченным бодхисаттвам в подвале к бабуинам к маркизу де Саду к святому Франсуа де Салю к «Фелиции» и, в свой черед, опять к святому Петру. Кругом да кругом, как гусеницы в сознании идиота; кругом да кругом в милом сердцу уютном мирке бесплодных мыслей и чувств и поступков, герметически закупоренного искусства и образования, культуры ради культуры, маленьких самодовлеющих приличий и неприличий, неразрешимых дилемм и моральных вопросов, которые находят вполне удовлетворительный ответ в этом всепоглощающем идиотизме.

Кругом да кругом, кругом да кругом, от ног Петра к маленьким ягодицам Морфиль и задам бабуинов, от складок на одеянии Будды, образующих чудесную китайскую спираль, к повисшему у водяной струи колибри и снова к ногам Петра с торчащими в них гвоздями... Дремота его сгустилась в сон.

Пит Бун, чья комната была расположена на том же этаже центральной башни, заснуть и не пытался; наоборот, он пытался во всем как следует разобраться. Разобраться в науке и мистере Проптере, в социальной справедливости и вечности, и в Вирджинии, и в антифашизме. Это было нелегко. Потому что если мистер Проптер прав, то почти обо всем теперь приходилось думать совершенно по-другому. «Бескорыстные поиски истины» — вот как ты говорил (когда тебя в кои-то веки заставляли преодолеть смущение и ответить на вопрос, почему ты стал биологом). А если речь шла о социализме, то это было «человеколюбие», это было «наибольшее счастье большинства», это был «прогресс» — и тут, конечно, снова связь с биологией: счастье и прогресс благодаря науке вместе с социализмом. А чтобы трудиться во имя счастья и прогресса, нужна преданность делу. Он вспомнил, как писал о преданности Джосайя Ройс* — они проходили его на втором курсе колледжа. Что-то насчет того, как преданные люди особым образом познают религиозную истину — они, мол, достигают подлинного религиозного прозрения. Тогда эта идея очень увлекла его. Он только что перестал верить во всякую чепуху насчет крови Агнца и прочего, на которой был воспитан, и нашел в Ройсе как бы новую опору, подтверждение, что он все равно остался верующим, хоть и не ходит больше в церковь,— и его вера стоит на его преданности. Преданности друзьям, преданности делу. Ему всегда казалось, что он был верующим человеком и там, на войне. И в своем отношении к Вирджинии. Однако же, если мистер Проптер прав, то все рассуждения Ройса о преданности — сплошная ложь. Мало быть преданным — само по себе это не станет причиной религиозного прозрения. Наоборот, это может даже помешать твоему прозрению — да-да, просто обязательно помешает, если только ты не выберешь объектом свой преданности самое высшее; а самое высшее (если прав мистер Проптер) прямо-таки пугает своей странностью и недосягаемостью. Прямо-таки пугает; и тем не менее, чем больше он о нем думал, тем больше начинал сомневаться во всем остальном. Может, это и правда самое высшее. Но если так, то социализма уже недостаточно. А социализма недостаточно, потому что человеколюбия недостаточно. Потому что наибольшее счастье, оказывается, вовсе не там, где люди думали; потому что его нельзя достичь путем социальных реформ и всего такого прочего. Самое лучшее, что можно сделать в этом направлении,— это облегчить людям переход туда, где

наибольшего счастья действительно можно достичь. А то, что относится к социализму, относится, конечно, и к биологии, и к любой другой науке, если считать ее орудием прогресса. Потому что, если мистер Проптер прав, то прогресс на самом деле никакой не прогресс. Он не прогресс, если не облегчает людям пути туда, где по-настоящему есть наибольшее счастье. Другими словами, если не помогает им быть преданными самому высшему. А коли так, то, понятно, надо семь раз подумать, прежде чем оправдывать науку ее служением прогрессу. И еще эти бескорыстные поиски истины. Если, опять же, мистер Проптер прав, то и биология, и все прочее есть бескорыстный поиск только одной из сторон истины. Но полуправда — это уже ложь, и она остается ложью, даже когда ты изрекаешь ее, свято веря, что это вся правда. Выходит, что и второе оправдание не годится — по крайней мере, если ты не пытаешься в то же время бескорыстно отыскать и другую сторону истины, ту, которую ищут, когда преданы самому высшему. И потом, как же Вирджиния, спросил он себя, мучась все больше и больше, как же Вирджиния? Да ведь если мистер Проптер прав, то и Вирджиния — это тоже мало, и Вирджиния может стать препятствием, которое помешает ему посвятить себя самому высшему. Даже эти глаза, и ее невинность, и ее удивительная, прекрасная улыбка; даже его чувства к ней; даже сама любовь, даже ее лучшая разновидность (потому что он мог честно сказать, что ненавидит другую любовь — например, этот ужасный публичный дом в Барселоне, а здесь, дома, эти обжимания после третьего или четвертого коктейля, эту возню в автомобиле на обочине дороги) — о да, как это ни горько, но даже лучшая ее разновидность могла оказаться ошибкой, а то и хуже, чем просто ошибкой. «О милая, я б не любил тебя так сильно, когда бы не любил чего-то там сильней». До сих пор этим «чем-то» были для него биология, социализм. Но теперь они оказались негодными, даже хуже того, если рассматривать их как конечную цель. Никакая преданность не может быть хороша сама по себе и не дает религиозного прозрения, если это не преданность самому высшему. «О милая, я б не любил тебя так сильно, когда бы не любил самое высшее сильней». Но главный, самый мучительный вопрос состоял вот в чем: можно ли любить самое высшее и питать прежние чувства к Вирджинии? Любовь в худшей ее разновидности явно несовместима с преданностью самому высшему. Это совершенно ясно; ведь худшая разновидность любви есть лишь преданность собственной физиологии, а если мистер Проптер прав, нельзя быть преданным самому высшему, не отказавшись от подобной же преданности самому себе. Но в конце-то концов, так ли уж лучшая любовь отличается от худшей? Худшая представляет собой преданность своей физиологии. Страшно было признаться в этом; однако и лучшая представляет собой то же самое — преданность физиологии и вдобавок (в чем и заключается ее отличие) преданность более высоким чувствам: этой тоскливой сосущей пустоте, этой бесконечной нежности, этому обожанию, этому счастью, этим мукам, этому ощущению одиночества, этой жажде найти родственную душу. Ты был предан всему этому, и преданность всему этому была определением лучшей разновидности любви, которую люди называют романтической и прославляют как самое прекрасное, что только есть в жизни. Но быть преданным этому значило быть преданным себе; а преданность себе нельзя совместить с преданностью самому высшему. Из этого напрашивался практический вывод. Но сделать его у Пита не хватало духу. Ему мешали эти голубые, ясные глаза, эта улыбка, прекрасная в своей невинности. И потом, как она добра, как трогательно заботлива! Он вспомнил несколько фраз, которыми они обменялись по дороге на обед. Он спросил, как ее голова, не болит ли. «Не говори об этом,— шепнула она.— Дядюшка Джо расстроится. Док только что прослушивал его стетоскопом; считает, у него сегодня не все в порядке. Я не хочу, чтобы он еще и за меня волновался. Да и вообще, подумаешь, голова заболела!» Нет, Вирджиния не только прекрасна, не только невинна и добра — она еще и мужественная, и чуткая. А как мила она была с ним весь вечер, расспрашивала о его работе, рассказывала про свой дом в Орегоне, заставляла его рассказывать про Эль-Пасо, где

родился он! В конце концов пришел мистер Стойт и уселся между ними — молчит, а сам чернее тучи. Пит вопросительно посмотрел на Вирджинию, и ее ответный взгляд сказал ему: «Пожалуйста, уходи», а когда он встал пожелать спокойной ночи, она, точно прося извинения, подарила ему еще один взгляд, такой признательный, такой всепонимающий, такой нежный и ласковый, что при одном воспоминании об этом на глазах у него выступили слезы. Лежа в темноте, он плакал от счастья.

Ниша между окнами в спальне Вирджинии предназначалась, несомненно, для книг. Но Вирджиния не очень-то жаловала книги, а посему в углублении было устроено нечто вроде маленького алтаря. Вы раздвигали коротенькие белые бархатные занавесочки (в этой комнате все было белое), и там, как бы в беседке из искусственных цветов, в настоящем шелковом платье, с премиленькой золотой короной на голове и шестью жемчужными нитями на шее, стояла Дева Мария, залитая ярким светом хитроумно спрятанных лампочек. Опустившись на колени перед этим обиталищем священной куколки, Вирджиния, босая и в белой атласной пижаме, творила вечернюю молитву. Сегодня Дева Мария казалась ей особенно доброй и благожелательной. Завтра, решила она, в то время как губы ее шептали привычные восхваления и просьбы, завтра с утра она первым делом отправится к швеям и попросит одну из девушек помочь ей сделать для Девы Марии новую мантию из куска чудной синей парчи, который она купила у старьевщика в Глендейле. Мантию из синей парчи, а спереди золотую застежку — или, еще лучше, маленький золотой шнурочек, который можно завязать бантиком, чтобы концы свешивались вниз, почти к самым ногам Святой Девы. О, это будет просто прелесть! Она пожалела, что до утра еще далеко и нельзя пойти к швеям прямо сейчас.

Последние слова молитвы были сказаны; Вирджиния перекрестилась и поднялась с колен. Случайно глянув при этом вниз, она, к своему ужасу, заметила, что темно-пурпурный лак на втором и третьем пальцах ее левой ноги слегка облупился. Через минуту она уже сидела на полу у кровати — правая нога вытянута, левая, согнутая в колене, поперек — и готовилась устранить повреждение. Рядом с ней стоял открытый флакончик; она взяла в руки маленькую кисточку, и резкий промышленный запах ацетона сразу перебил аромат «Shocking» Скьяпарелли, духов, которыми благоухало все ее тело. Потом наклонилась вперед, и две пряди кудрявых каштановых волос, отделившись от общей массы, упали ей на лоб. Большие голубые глаза под нахмуренными бровями смотрели сосредоточенно. Кончик розового языка для вящей собранности был зажат между зубами. «Ч-черт!» — вдруг громко сказала она: очередной мазок лег не туда, куда следует. Затем зубы и язык были тут же приведены в исходное положение.

Остановившись, чтобы дать высохнуть первому слою лака, она перенесла осмотр с пальцев на икру и голень левой ноги. Волосы опять начинают расти, с досадой отметила она; скоро надо будет снова натираться этим воском. Все еще задумчиво баюкая ногу, она вернулась мыслями к событиям минувшего дня. При воспоминании о том, как их чуть не застукал Дядюшка Джо, по телу ее вновь пробежал волнующий и приятный трепет. Потом она подумала о Зиге со стетоскопом, и эта забавная картина заставила ее верхнюю губку приподняться в очаровательной улыбке. Да еще была эта книжка — так Дядюшке Джо и надо, что она ее слушала. А между главами Зиг приставал к ней и распускал руки; опять же, так Дядюшке Джо и надо, нечего за ней шпионить. Она вспомнила, как разозлилась на Зига. Не за то, что он слишком много себе позволяет; ведь, во-первых, так Дядюшке Джо и надо (правда, насчет этого-то, про Дядюшку Джо, она сообразила только *потом),* а во-вторых, то, что он себе позволял, было, пожалуй, даже приятно; потому что Зиг все-таки ужасно симпатичный, а в этих вещах Дядюшку Джо как-то трудно брать в расчет — вернее, в расчет-то его берешь, но как бы наоборот; с минусом, так сказать; он получается меньше, чем никто, то есть если кто правда симпатичный, то от присутствия Дядюшки Джо он только выигрывает. Нет, разозлилась она на него не за то, что он делал. А за то, *как*. Смеялся над

ней, вот как. Обычно-то она не прочь пошутить с ребятами. Но когда к тебе пристают и одновременно шутят — нет уж, она ему не потаскушка с Главной улицы. Не было никакой романтики, ничего такого; все издевочки да каламбурчики, притом довольно гнусные. Может, это и называется житейская мудрость; только ей это не по нутру. И неужели он не понимает, что вести себя так просто глупо? Ведь в конце концов, когда читаешь книгу с кем-нибудь симпатичным, ну вот как Зиг, то, чего уж греха таить, хочется немного романтики. Настоящей романтики, как в кино: лунный вечер, и где-то играют свинг или, еще лучше, поют какую-нибудь песенку о несчастной любви (потому что так славно погрустить, когда тебе хорошо), и парень говорит тебе всякие приятные вещи, и нацелуешься вволю, а потом, как бы почти незаметно, словно с тобой ничего не случилось, так что никогда не подумаешь, будто сделала что-то плохое, на что Дева Мария может всерьез рассердиться... Вирджиния глубоко вздохнула и закрыла глаза; лицо ее стало ангельски безмятежным. Потом вздохнула еще раз, покачала головой и нахмурилась. И вместо этого, с досадой подумала она, вместо этого Зигу понадобилось изображать из себя многоопытного грубияна. Конечно, он все испортил; никакой романтики не получилось, разозлил только. И какой в этом прок? — негодующе заключила Вирджиния. Какой, скажите на милость? ни ему, ни ей!

Первый слой лака, кажется, высох. Наклонившись к ноге, она немного подула на пальцы, потом принялась наносить второй. Неожиданно дверь в спальню у нее за спиной отворилась и так же мягко закрылась снова.

— Дядюшка Джо? — произнесла она вопросительно и с ноткой удивления в голосе, однако не отрываясь от своего занятия.

Единственным ответом ей был звук приближающихся шагов.

— Дядюшка Джо? — повторила она и, на сей раз перестав красить ногти, обернулась назад.

Над ней стоял Обиспо.

— Зиг! — голос ее упал до шепота.— Что вы здесь делаете?

Обиспо улыбнулся своей обычной улыбкой, выражающей ироническое восхищение и откровенное желание, смешанное, однако, с долей какого-то насмешливого интереса.

— Я думал продолжить наши уроки французского,— сказал он.

— Вы... ты с ума сошел! — Она с опаской посмотрела на дверь.— Он же прямо напротив. Вот войдет сюда...

Улыбка Обиспо растянулась в ухмылку.

— Насчет Дядюшки Джо не беспокойся,— сказал он.

— Он убьет тебя, если найдет здесь.

— Не найдет,— ответил Обиспо.— Я ему дал на ночь таблетку нембутала. Теперь он и Страшный Суд проспит.

— Наглость какая! — негодующе воскликнула Вирджиния; однако не удержалась, чтобы не рассмеяться, частью от облегчения, частью же потому, что это и вправду было очень смешно — читать здесь с Зигом ту самую книжку, пока Дядюшка Джо храпит в двух шагах от них.

Обиспо извлек из кармана молитвенник.

— Не стану вам мешать,— сказал он, пародируя рыцарскую галантность.— «Трудам хозяйки нет конца». Продолжай и не обращай на меня внимания. Я найду себе местечко и буду читать дальше.— Нахально улыбаясь, он без малейшего смущения уселся на край кровати в стиле рококо и начал листать книгу.

Вирджиния открыла было рот, но, случайно бросив взгляд на свою левую ногу, закрыла его опять под влиянием потребности еще более неотложной, чем намерение объяснить Зигу, куда ему следует пойти. Лак засыхал комками; если она сейчас же не займется делом, ее ноги будут выглядеть просто ужасно. Поспешно окунув кисточку во флакон с лаком, она вновь принялась за раскраску ногтей с напряженной сосредоточенностью Ван Эйка *, занятого выписыванием микроскопических деталей «Поклонения Агнцу».

Обиспо поднял глаза от книги.

— Я восхищен тем, как ты вела себя с Питом сегодня вечером,— заметил он.— Весь обед с ним заигрывала, пока старикан совсем не взбеленился. Почерк мастера. Или, вернее сказать, мастерицы?

— Пит — милый мальчик,— не отвлекаясь, обронила Вирджиния.

— Но глупый,— вынес определение Обиспо, разваливаясь на постели с нарочитым изяществом и раздражающе наглой уверенностью человека, который чувствует себя как дома.— Иначе он не питал бы к тебе такой нежной любви.— Он хмыкнул.— Этот лопушок думает, что ты ангел, этакий небесный ангелочек, укомплектованный арфой, крылышками и супердрагоценной, восемнадцатикаратной девственностью швейцарского производства с гарантией изготовителя. Если уж *это* не глупость...

— Погоди, дай только до тебя добраться,— угрожающе сказала Вирджиния, но не подняла глаз, ибо создание ее шедевра вступило в критическую фазу.

Обиспо пропустил эту реплику мимо ушей.

— Прежде я не понимал всей ценности гуманитарного образования,— сказал он, немного помолчав.— Но теперь-то другое дело.— И продолжал с глубочайшей торжественностью, тоном, каким мог бы читать собственные труды Уитьер *: — Уроки великих писателей! Чудесные откровения! Перлы мудрости!

— Ох, да заткнись ты! — вырвалось у Вирджинии.

— Только подумать, скольким я обязан Данте или Гёте,— сказал Обиспо тем же выспренним тоном.— Возьмем хотя бы Паоло, читающего вслух Франческе. Результаты, как ты, может быть, помнишь, не замедлили воспоследовать. «Noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancilotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senz' alcun sospetto» [1]. Senz' alcun sospetto,— с ударением повторил Обиспо, глядя на одну из гравюр в «Cent-Vingt Jours».— Заметь себе, какое легкомыслие — ни малейшего подозрения о том, что их ждет.

— Черт! — сказала Вирджиния, которая опять сделала неудачный мазок.

— И даже о черте,— не согласился Обиспо.— Хотя, конечно, им следовало о нем подумать. И быть предусмотрительнее, чтобы не попасть к нему в лапы благодаря случайности, которая принесла им внезапную смерть. Несколько элементарных мер предосторожности, и они могли бы вкусить все лучшее от обоих миров. Могли бы развлекаться так, чтобы братец не пронюхал, а когда надоест, покаялись бы и умерли в ореоле святости. Однако они не читали гётевского «Фауста» — это служит им некоторым оправданием. Они не знали, что неудобным родственникам можно подмешать снотворное. А хоть бы и знали, все равно не могли пойти в аптеку и купить упаковку нембутала. Что показывает недостаточность гуманитарного образования; очевидно, необходимо еще и естественное. Данте и Гёте учат тебя, что делать. А профессор фармакологии объясняет, как привести старого хрыча в состояние комы с помощью небольшой дозы барбитурата.

Работа была завершена. Все еще придерживая левую ногу, чтобы случайно не коснуться ею чего-нибудь, пока лак окончательно не высох, Вирджиния повернулась к своему непрошеному гостю.

— Не смей называть его старым хрычом, понял? — горячо сказала она.

— Ты предпочитаешь, чтобы я говорил «старый хрен»? — осведомился Обиспо.

— Он в сто раз лучше тебя! — воскликнула Вирджиния; в голосе ее звенела неподдельная искренность.— Я считаю, он просто чудо!

— Ты считаешь, что он чудо,— повторил Обиспо.— Но все равно минут через пятнадцать ты будешь спать со мной.— Он сказал это со

---

[1] В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
(Ад, V, 127—129. Перев. М. Лозинского)

смехом и, подавшись с кровати вперед, схватил ее сзади за руки, чуть ниже плеч.— Осторожнее, ногти,— предупредил он, когда Вирджиния вскрикнула и попыталась вырваться.

Боязнь повредить только что законченное произведение искусства заставила ее сдержаться и замереть на месте. Обиспо воспользовался паузой и, минуя пары ацетона, склонился к этой очаровательной шейке, к аромату «Shocking», ощутив губами упругое тело, шекой — касанье легких, как шелк, волос. Выругавшись, Вирджиния яростно отдернула голову. Но одновременно по коже ее пробежали легкие мурашки, и вызванное этим приятное чувство слилось с возмущением, как бы внедрилось в него.

Теперь Обиспо поцеловал ее за ухом.

— Сказать тебе,— прошептал он,— что я сейчас с тобой сделаю?

Она обозвала его грязной обезьяной. Но он все-таки сказал, и со всеми подробностями.

Прошло меньше пятнадцати минут, когда Вирджиния открыла глаза — в комнате было уже почти совсем темно — и наткнулась взглядом на Деву Марию, благосклонно улыбающуюся из своего увитого цветами, ярко освещенного кукольного домика. Она испуганно вскрикнула, соскочила на пол, не теряя времени на одевание, подбежала к алтарю и задернула занавески. Свет внутри погас автоматически. Вытянув руки в кромешной тьме, она медленно, осторожно пошла обратно к кровати.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

«Новостей, как всегда, хватает — на любой вкус и из всех веков,— писал Джереми матери три недели спустя.— Для начала кое-что новенькое о Втором графе. Он регулярно проигрывал сражения за Карла I *, а в промежутках кропал стишки. Поэт он, конечно, был никудышный (ведь хорошие поэты редкость, дай Бог один на несколько тысяч), но иногда у него случайно получалось очень мило. Вчера, например, я нашел в его записях вот что:

Задуем лишнего свидетеля свиданья,
Последний канделябр, мерцающий в ночи;
Да воцарится вместо зренья осязанье
И пыл любовный вместо пламени свечи!

Недурно, правда? Но пока это, к сожалению, чуть ли не единственный драгоценный камешек, обнаруженный мною среди пустой породы. Ах, если бы все остальное было молчанием! Однако это общий порок всех поэтов, не только плохих, но и хороших. Они не желают заткнуть пасть, как говорят у нас в Западном полушарии. Если бы молчанием было все остальное у Вордсворта, все остальное у Колриджа, все остальное у Шелли — как они выиграли бы в наших глазах!

Пятый граф тоже преподнес мне вчера сюрприз — это записная книжка, полная самых разнообразных заметок. Я только начал читать ее (потому что не могу тратить много времени на отдельные вещи, пока не разберу всю коллекцию и не составлю хотя бы приблизительный каталог); но отрывки, которые я вчера проглядел, определенно весьма любопытны. Вот что я обнаружил на первой странице: «Лорд Честерфилд * пишет Сыну, что истинный Джентльмен никогда не говорит d'un ton brusque [1] ни со своим слугой, ни даже с нищим на улице, но «холодно делает замечание первому и с неизменным человеколюбием отказывает второму». Его светлости следовало бы добавить, что существует Искусство делать подобную холодность не менее грозной, чем Гнев, а подобное человеколюбие — более обидным, чем прямое Оскорбление.

---

[1] Резко *(франц.)*.

Кроме того, слуги и нищие не единственные, на ком можно оттачивать сие Искусство. Приводя свои примеры, его светлость был столь нелюбезен, что забыл о Прекрасном Поле, ибо существует и Искусство доводить влюбленную женщину до исступления своей холодностью и унижать ее Достоинство со всей bienséance [1], подобающей самому наивоспитанней-шему Джентльмену».

Недурное начало! Я буду сообщать тебе обо всех новых находках на этом направлении.

Современность между тем полна событий странных, загадочных и в об-щем-то малоприятных. Начать с того, что Дядюшка Джо в последние дни непрерывно дуется и брюзжит. Думаю, в этом повинно зеленоглазое чуди-ще *; так как голубоглазое чудище (иными словами, мисс Монсипл, Детка) явно заглядывается на юного Пита. Как далеко зашло дело, я не знаю; однако подозревать можно многое, поскольку она теперь постоянно погру-жена в себя и все время о чем-то мечтает; у нее тот отсутствующий, сомнамбулический вид, каким отличаются юные девицы, усердно занима-ющиеся любовью. Тебе знакомо это выражение глубокой одухотворен-ности, как на картинах прерафаэлитов. Достаточно одного взгляда на такое лицо, дабы увериться в том, что Бог существует. Единственное несоответст-вие в данном случае возникает из-за костюма. Прерафаэлиты подбирали для своих персонажей подходящее облачение: длинные рукава, квадратные кокетки, ярды и ярды темно-синего вельвета. Когда же, как я сегодня, видишь подобный персонаж в белых шортах, ситцевой блузке в горошек и ковбойской шляпе, чувствуешь себя совершенно выбитым из колеи. Однако должен отметить в защиту Деткиной чести, что все это не более чем догадки и гипотезы. Вполне может оказаться, что эта ее неожиданная одухотворенность вовсе не является результатом ночных упражнений. Воз-можно, ее до глубины души тронули вдохновенные речи Проптера-Поптера, и теперь она целыми днями бродит по дому в состоянии «самадхи» *. С другой стороны, я вижу многозначительные взгляды, коими она одарива-ет Пита. К тому же и Дядюшка Джо проявляет по отношению к ним все симптомы подозрительности и чрезвычайно груб с остальными. И со мной в том числе, разумеется. Со мной, может быть, даже больше, чем с други-ми, ибо мне случилось прочесть больше книг, чем всем прочим, и я, следовательно, в большей степени олицетворяю Культуру. А Культуру он, конечно же, ненавидит, как татарин. Только в отличие от татар стремится не жечь памятники культуры, а скупать их. Он выражает свое превосходство над талантом и образованностью при помощи овладения, а не разрушения, путем найма и последующего оскорбления талантливых и образованных, а не путем их убиения. (Хотя он, пожалуй, и убил бы, будь у него возможности и власть татар.) Все это означает, что если я не в постели или не под землей, в надежном уединении с Хоберками, то мне приходится проводить большую часть времени, криво улыбаясь и терпеливо напоминая себе о Квашне и своем соблазнительном жалованье, чтобы не думать слишком много о дурных манерах Дядюшки Джо. Это весьма неприятно; но, к счастью, вполне терпимо, а Хоберки служат мне огромным утешением и в значительной мере компенсируют неприятности.

Сим заканчиваю отчет о происшедшем на эротическом и культурном фронтах. Что касается научного фронта, то здесь новости таковы: все мы заметно приблизились к перспективе прожить не меньше крокодилов. Сам я пока еще не решил, действительно ли мне хочется сравняться в этом смысле с крокодилами». (Написав про крокодилов во второй раз, Джереми почувствовал внезапный укол совести. В августе его матери должно было исполниться семьдесят семь. Под всем ее светским лоском, под всей этой сверкающей мишурой остроумных разговоров скрывалась неутолимая жа-жда жизни. Она могла вполне здраво рассуждать о том, что и ей вскоре придется разделить участь вымерших ящеров; она умела изящно пошутить насчет своей смерти и похорон. Но Джереми знал, что за этими здравыми

---

[1] Благопристойностью *(франц.)*.

рассуждениями и шуточками таится огромная решимость цепляться за жизнь до конца, упорно следовать своим привычкам даже под угрозой смерти, вопреки преклонному возрасту. Эта болтовня о крокодилах могла причинить ей боль; эти сомнения насчет того, стоит ли продлевать свой век, могли быть поняты ею как неблагожелательная критика. Джереми взял чистый лист бумаги и начал абзац заново.)

«Сим заканчиваю отчет о происшедшем на эротическом и культурном фронтах,— писал он.— Что же до научного фронта, то здесь rien de nouveau [1], если не считать того, что Обиспо ведет себя еще наглее обычного, а это не новость, ибо он всегда наглее обычного. Едва ли мне импонируют подобные типы; но временами, когда находит такой стих, приятно бывает с ним поскабрезничать. Труды по продлению жизни, похоже, идут своим чередом. Старикану Парру и графине Десмондской есть на что рассчитывать.

А как на религиозном фронте? Что ж, наш славный Проптер-Поптер оставил свои назидания — во всяком случае, он больше не читает их мне. Благодарение небу! ведь стоит ему слезть со своего конька, как он превращается в чудесного собеседника. Это кладезь самых неожиданных суждений, и все эти суждения разложены у него по полочкам в безупречном порядке. Такая незаурядная способность увязывать одно с другим даже вызывает у твоего сына некоторую зависть; однако можно утешаться тем, что, обладай твой сын подобными достоинствами, он был бы лишен своих собственных скромных талантов. Если некто наделен умением изящно стоять на голове, ему не годится завидовать бегуну-марафонцу, иначе он будет глуп и неблагодарен. Одна маленькая остроумная статейка на литературную тему в руке стоит по меньшей мере трех «Критик чистого разума» в небе.

И наконец, перехожу к домашнему фронту: я получил твое последнее письмо из Граса. Что за прелесть! Твое описание мадам де Виймомбл достойно пера Пруста. А что касается рассказа о поездке в Кап-д'Ай и о дне, проведенном в компании княгини и се pauvre Hunyadi [2] (вернее, того, что от них осталось),— тут я просто теряюсь, и единственным уместным сравнением кажется мне сравнение с Мурасаки *: здесь вся суть трагедии, сведенная к паре ложек янтарного чая в фарфоровой чашечке размером не больше цветка магнолии. Какой блестящий образец литературной сдержанности! Сам я всегда был склонен к некоторому эксгибиционизму (слава Богу, что это проявляется только на бумаге!). Твоя целомудренная проза повергает меня в стыд.

Ну вот, рассказывать больше не о чем, как я обыкновенно писал тебе в школьные годы,— помнишь, выводил эти слова огромными буквами, чтобы занять сразу полстраницы? Рассказывать больше не о чем — разумеется, кроме того, о чем не скажешь, а об этом я умолчу, ибо оно тебе и так известно».

Джереми запечатал письмо, надписал адрес — «Араукарии», поскольку к тому времени, когда оно пересечет Атлантику, мать его уже вернется из Граса,— и опустил конверт в карман. Окружавшие его со всех сторон бумаги Хоберков настойчиво требовали внимания; но он обратился к ним не сразу. Опершись локтями на стол, в позе молящегося, он задумчиво почесал голову; почесал обеими руками, там, где у корней его немногочисленных волос образовывались маленькие сухие струпики: ему доставляло острое наслаждение подцеплять их ногтями и аккуратно снимать. Он думал о матери и о том, как же это все-таки странно: прочесть горы фрейдистской литературы об эдиповом комплексе, все романы, начиная с «Сыновей и любовников» *, где говорится об опасностях чересчур крепкой сыновней привязанности, о вреде слишком пылкой материнской любви,— прочесть все это и тем не менее совершенно сознательно продолжать оставаться в прежней роли: в роли жертвы алчной, властолюбивой матери. А еще более странно, что эта самая властолюбивая мать тоже читала всю соответ-

[1] Ничего нового *(франц.)*.
[2] Бедняги Уньяди *(франц.)*.

ствующую литературу и тоже прекрасно отдавала себе отчет в том, кто она такая и что она сделала со своим сыном. Однако и она продолжала оставаться прежней и вести себя по-прежнему, понимая все не хуже его. (Ага! Струпик, который он теребил правой рукой, отвалился. Он извлек его из густой поросли волос над ухом и, глядя на маленький высушенный кусочек кожи, внезапно вспомнил бабуинов. Ну и что тут, собственно, такого? Самые надежные и неизменные удовольствия всегда связаны с чем-то самым простым и незначительным, всегда по-звериному рудиментарны — приятно, например, полежать в горячей ванне или под одеялом поутру, когда еще не совсем проснулся; приятно справить нужду, побывать в руках опытного массажиста, наконец, почесать там, где чешется. Чего тут стесняться? Он уронил струпик в корзину для бумаг и продолжал скрестись левой рукой.)

Великая вещь самопознание, размышлял он. Чтобы избежать угрызений совести, вовсе не нужно начинать новую жизнь — достаточно знать, почему ты ведешь себя неправильно или глупо. Оправдание психоанализом — современная замена оправдания верой. Ты знаешь отдаленные причины, которые сделали тебя садистом или стяжателем, маменькиным сынком или старухой, тиранящей собственного сына; а посему ты полностью оправдан (или оправдана) и можешь по-прежнему тиранить сына, оставаться маменькиным сынком, стяжателем или садистом. Понятно, почему несколько поколений подряд поют Фрейду хвалу! Вот так же и они с матерью. «Мы, матриархи-кровопийцы»,— говаривала о себе миссис Пордидж, да еще в присутствии священника. Или заявляла о своей невиновности в слуховую трубку леди Фредегонд. «Старые Иокасты * вроде меня, которые живут в одном доме со взрослым сыном»,— кричала она туда. А Джереми подыгрывал ей — подходил поближе и надсаживался, отправляя в эту могилу изящных изречений очередную жалкую шутку вроде той, что он старая дева и его штудии заменяют ему вышивание; любая дрянь сойдет. И старая карга гоготала, словно какая-нибудь атаманша разбойников, и мотала головой, покуда чучело чайки, или искусственные петунии, или что там на сей раз украшало ее неизменно сногсшибательную шляпу, не начинало болтаться из стороны в сторону, точно плюмаж у лошади во французской pompe funèbre [1] по высшему разряду. Да, до чего же все это странно, снова подумал Джереми; но и весьма разумно, если учесть, что оба они, и мать, и он, желают только одного — чтобы все оставалось по-старому. Причины, которые побуждали ее оставаться матриархом, были достаточно очевидны: приятно чувствовать себя королевой, заманчиво всю жизнь принимать почести и иметь верного подданного. Возможно, менее очевидными — по крайней мере, для стороннего наблюдателя — были причины, по которым он сам стремился сохранять status quo. Однако при ближайшем рассмотрении и они оказывались вполне убедительными. Во-первых, что там ни говори, сыновняя любовь; ибо за его напускной иронией и несерьезностью крылась глубокая привязанность к матери. Затем привычка — привычка такая давняя, что мать стала как бы частью его собственного тела, едва ли менее необходимой, чем печень или поджелудочная железа. Он питал к ней благодарность даже за те ее поступки, которые прежде, по горячим следам, казались ему уж вовсе неоправданными и жестокими. В тридцать лет он влюбился; хотел жениться. Не устроив ни единой сцены, проявляя по отношению к нему неизменное сочувственное внимание и безупречно держа себя с милой крошкой Эйлин, миссис Пордидж начала исподволь разрушать узы, соединяющие молодых людей; и так в этом преуспела, что их дружба наконец развалилась сама собой, словно дом, незаметно подточенный снизу. Тогда он был страшно несчастен и какой-то долей своего существа ненавидел мать за то, что́ она сделала. Но годы шли, и горечь постепенно растворялась; а теперь он был положительно благодарен ей за избавление от ужасов ответственности, семейной жизни, постоянной и хорошо оплачиваемой работы, от жены, которая могла стать еще

[1] Похоронной процессии *(франц.)*.

худшим тираном, нежели мать,— да она и впрямь стала худшим тираном, ибо эта отталкивающего вида суетливая толстуха, в которую Эйлин мало-помалу себя превратила, была едва ли не самой невыносимой из всех знакомых ему особ женского пола: существо невероятно узколобое, гордое своей тупостью, подобное муравью по своей кипучей энергии, тиранически снисходительное. Одним словом, чудовище. Если бы не ловкость его матери, он был бы сейчас на месте несчастного мистера Уэлкина, мужа Эйлин и отца по меньшей мере четверых малолетних Уэлкинов, уже в детстве своем и юности таких противных, какою Эйлин стала лишь в зрелые годы. Безусловно, мать его была права, когда в шутку называла себя старой Иокастой, матриархом-кровопийцей; и, безусловно, прав был брат Том, называя его, Джереми, Питером Пэном и презрительно говоря, что он до сих пор цепляется за мамашину юбку. Но факт оставался фактом: он имел возможность читать, что ему нравится, и писать свои маленькие статейки; а мать его заботилась обо всех практических сторонах жизни, требуя взамен сыновней преданности, которую ему было не так уж трудно выказывать, и не мешала ему каждую вторую пятницу наслаждаться изысканными удовольствиями в гнездилище порока и разврата, в Мэйда-Вейл. А что тем временем творилось с беднягой Томом? Второй секретарь посольства в Токио; первый в Осло; советник в Ла-Пасе; а теперь вернулся на родину и, по-видимому уже навсегда, осел в Министерстве иностранных дел: потихоньку ползет по служебной лестнице вверх, ко все более ответственным постам и все более нечистоплотной работе. И по мере того как жалованье его росло в соответствии со степенью аморальности выполняемых заданий, бедняга чувствовал себя все более неловко; наконец, после скандала с Абиссинией, он исчерпал весь запас своих душевных сил. Находясь на грани отставки или нервного срыва, он вдруг совершенно неожиданно принял католическую веру. После этого ему сразу удалось избавиться от моральной ответственности за чинимые беззакония: он отправил ее на Фарм-стрит и сдал отцам иезуитам, так сказать, в законсервированном виде. Блестящее решение! С тех пор он стал другим человеком. После четырнадцати лет бездетной жизни его жена вдруг родила ребенка — зачатого, как подсчитал Джереми, той самой ночью, когда вспыхнула гражданская война в Испании. Затем был разграблен Нанкин; через два дня Том выпустил сборник юмористических стихов. (Удивительно, какое множество англичан-католиков увлекается юмористическим стихосложением.) Постепенно он набирал вес; за время, прошедшее от аншлюса до Мюнхена, он прибавил одиннадцать фунтов. Еще год или два политики силы в сочетании с Фарм-стрит, и Том доберется до четырнадцати стоунов и напишет либретто для музыкальной комедии. Нет! — решительно сказал сам себе Джереми. Нет! Это абсолютно неприемлемо. Уж лучше Питер Пэн, и мамашина юбка, и визиты в гнездилище порока и разврата. В тысячу раз лучше. Лучше хотя бы с эстетической точки зрения; потому что жиреть на Realpolitik [1] и испещрять юмористическими стишками поля гравюры с изображением Распятия, честное слово, просто вульгарно. Но это еще не все: его выбор лучше даже с этической точки зрения; ведь миляга Проптер-Поптер, конечно же, прав: раз ты не можешь быть уверен, что в конечном счете творишь добро, так старайся по крайней мере никому не вредить. И вот вам пожалуйста: его бедный братец, хлопотливый, как пчела, и, после обращения в католицизм, счастливый, как жаворонок, вкалывает именно на том самом месте, где может причинить максимальный вред наибольшему числу людей.

(Отскочил еще один струпик. Джереми вздохнул и откинулся на спинку стула.)

Ваш покорный слуга чешется, как бабуин, заключил он; живет в свои пятьдесят четыре года все еще под крылышком у матери; его половая жизнь одновременно и инфантильна, и порочна; никакими усилиями не вообразить, будто он делает нечто важное и полезное. Но если сравнить вашего покорного слугу с другими людьми — с Томом, например, или даже

---

[1] реальной политике *(нем.)* (выражение, введенное в связи с политикой Бисмарка).

с самыми известными и почитаемыми, с членами кабинета министров и стальными магнатами, с епископами и знаменитыми романистами,— что ж, он будет выглядеть весьма неплохо. А если судить по отрицательному критерию, безвредности, то просто замечательно. Так что, с учетом всех факторов, его нежелание что-либо менять в своей жизни вполне оправданно. Приятный вывод; а засим пора опять возвращаться к Хоберкам.

Глава вторая

В это утро Вирджиния проспала почти до десяти часов; и, даже приняв душ и позавтракав, она оставалась в постели еще около часа, неподвижно, с закрытыми глазами лежа на груде подушек,— прекрасное юное создание, которое словно только что победило тяжелый недуг и вернулось из долины тени.

Долина смертной тени *; тени больших смертей и множества малых. Со смертью наступает преображение. Кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее *. Все люди, и мужчины и женщины, постоянно стремятся потерять свою жизнь — тусклую, безрадостную, бессмысленную жизнь своих индивидуальностей. Вечно стремление избавиться от нее, и для этого есть тысяча разных способов. Горячка заядлых игроков и борцов за национальное возрождение; мономании скупцов и извращенцев, исследователей, сектантов и честолюбцев; компенсационные психозы алкоголиков, книгочеев, мечтателей и морфинистов; галлюцинации курильщиков опиума, любителей кино и церковных обрядов; эпилепсия политических идеалистов и эротоманов; ступор живущих на веронале и изматывающих себя работой. Сбежать; забыть свою старую, давно надоевшую личность; стать кем-то другим или, еще лучше, *чем-то* другим — только телом, непривычно бесчувственным или чувствительным сверх обыкновенного; или, наоборот, какой-нибудь разновидностью внеличностного разума, формой неиндивидуализированного сознания. Какое счастье, какое чудесное облегчение! Даже для тех, кто прежде не знал, что в жизни у них не все ладно, что они тоже нуждаются в облегчении. Именно такой и была Вирджиния — счастливая в своей ограниченности, она не настолько осознавала собственное «я», чтобы увидеть, как оно безобразно и нелепо, или понять, как жалко по самой своей сути человеческое существование. И все же, когда доктор Обиспо научным путем организовал ее побег от себя самой, вызвав у нее припадок эротической эпилепсии такой ошеломительной силы, что раньше она ничего подобного не могла и вообразить, Вирджиния почувствовала: в ее жизни тоже есть нечто, требующее облегчения, и этот головокружительный прыжок сквозь более напряженное, чужое сознание во тьму полного забвения — именно то, что ей нужно.

Но, подобно другим пагубным пристрастиям — к наркотикам или книгам, к власти или аплодисментам,— пристрастие к наслаждению усугубляет тяжесть человеческой доли, облегчая ее лишь временно. С помощью излюбленного средства человек спускается в долину теней своей собственной маленькой смерти — вниз, вниз, неутомимо, отчаянно, только бы найти что-то еще, что-то отличное от себя, что-то иное и лучшее, чем это прозябание его человеческого «я» в ужасном мире других человеческих «я». Он падает вниз, а затем, либо в агонии, либо в блаженной неподвижности, умирает и преображается; но умирает лишь ненадолго, преображается лишь на короткий срок. За маленькой смертью следует маленькое воскресение, воскресение из беспамятства, из уничтожающего личность экстаза, назад, к горькому осознанию того, что ты одинок, слаб и ничтожен, к еще более глубокой отчужденности, еще более острому ощущению своей индивидуальности. И чем острее ощущение своей отчужденной индивидуальности, тем настоятельнее потребность снова сбежать, снова пережить смерть и преображение. Привычное средство облегчает муки, но тем самым ведет к их усугублению.

Лежа на подушках в постели, Вирджиния переживала свое ежедневное мучительное воскресение, возвращение из долины теней своей ночной смерти. Побыв чем-то иным под влиянием преображающей эпилепсии, она вновь становилась собой — правда, немного вялой и утомленной, все еще преследуемой странными картинами прошедшей ночи и отзвуками невероятных по остроте ощущений, но тем не менее легко узнаваемой прежней Вирджинией: той самой Вирджинией, которая обожала Дядюшку Джо за его удачные сделки и была благодарна ему за то, что он так замечательно ее здесь устроил, той Вирджинией, которая не упускала случая посмеяться и думала, что жизнь — классная штука, и никогда ни о чем не заботилась, той Вирджинией, которая упросила Дядюшку Джо выстроить Грот и с самого детства любила Пресвятую Деву. А теперь Вирджиния обманывала своего доброго, обожаемого Дядюшку Джо — и не просто привирала по пустякам, что случается с каждым, а обманывала его намеренно и систематически. Да и не только его; она обманывала еще и бедного Пита. Все время с ним разговаривала, строила ему глазки (разумеется, насколько ей это удавалось при нынешних обстоятельствах); короче, делала на людях вид, будто влюблена в него, чтобы Дядюшка Джо не заподозрил Зига. Хотя в каком-то отношении она была бы даже рада, если б Дядюшка Джо заподозрил его. Она бы с удовольствием поглядела, как ему дадут в морду и вышвырнут отсюда. Это было бы просто здорово! Но она, наоборот, делала все, чтобы покрыть Зига; а заодно уже убедила этого бедного идиотика, что она без ума от него. Обманщица — вот кто она такая. Обманщица. Эти мысли мучили ее, она чувствовала себя несчастной и пристыженной; она уже не могла смеяться по любому поводу, как раньше; она все думала об этом, и ей было так плохо, что она не один раз решала этого не делать; решать-то решала, только у нее не хватало сил покончить с этим, и все повторялось опять, хотя она ненавидела себя за свое бессилие, а Зига за то, что он заставляет ее делать это, и больше всего — за то, что он так гнусно, грубо, цинично говорит ей, как именно он ее заставляет и почему она не может ему сопротивляться. А снова она шла на это еще и потому, что тогда ее переставала мучить совесть за предыдущее. Но после этого ей опять становилось плохо. До того плохо, что даже стыдно было смотреть в лицо Пресвятой Деве. Уже больше недели белые бархатные занавески перед домиком священной куколки оставались задернутыми. Она просто не отваживалась отдернуть их, потому что знала: если она решится и на коленях даст обещание Пресвятой Деве, это все равно ни к чему хорошему не приведет. Стоит только появиться этому ужасному Зигу, как с ней снова произойдет что-то странное: руки-ноги станут словно резиновые, наступит непонятная слабость и, прежде чем она успеет опомниться, это случится опять. И тогда будет гораздо хуже, чем раньше, потому что она ведь нарушит обещание, данное Пресвятой Деве. Так что уж лучше совсем ничего не обещать — во всяком случае, пока; до тех пор пока не появится шанс сдержать слово. Потому что не может же так продолжаться вечно; она просто отказывалась верить, что руки и ноги по-прежнему не будут ей служить. Когда-нибудь она наберется сил и пошлет Зига к черту. Вот тогда можно и Деве пообещать. А пока лучше не надо.

Вирджиния открыла глаза и тоскливо поглядела на нишу между окнами и на задернутые белые занавески, за которыми пряталось ее сокровище — очаровательная маленькая корона, жемчужное ожерелье, мантия из синей парчи, благожелательное лицо, чудесные маленькие ручки. Вирджиния глубоко вздохнула и, снова закрыв глаза, попыталась с помощью притворного сна вернуться к тому счастливому забвению, из которого так безжалостно вывели ее утренние лучи солнца.

Глава третья

Стойт провел утро в Беверли-пантеоне. С большой неохотой; ибо кладбища, даже его собственные, всегда внушали ему ужас. Но требования

бизнеса были священны; перед необходимостью умножать капитал безусловно отступали соображения чисто личного порядка. А уж это был бизнес так бизнес! По части недвижимости во всей округе не нашлось бы предприятия более выгодного, чем Беверли-пантеон. Эта земля была куплена во время войны по пятьсот долларов за акр, обустроена (дорогами, миниатюрными Тадж-Махалами, колумбариями и скульптурами), после чего цена акра поднялась тысяч на десять, а теперь, участками под могилы, продавалась примерно по сто шестьдесят тысяч за акр — и шла нарасхват, так что все первоначальные затраты уже окупились и дело стало приносить один чистый доход. И доход этот становился все больше и больше, поскольку население Лос-Анджелеса неуклонно росло. Его прирост составлял добрых десять процентов в год — и, что еще замечательнее, в основном сюда ехали пожилые люди из других штатов, ушедшие на покой, а ведь именно они-то и приносили Пантеону главную выгоду. Так что когда Чарли Хабаккук обратился к боссу с настоятельной просьбой приехать и обсудить последние планы по улучшению и расширению Пантеона, Стойт почувствовал, что просто не имеет морального права отказаться. Подавив неохоту, он исполнил свой долг. Вдвоем, с сигарами в зубах, они все утро просидели в кабинете Чарли на самом верху Башни Воскресения; и Чарли, как всегда, размахивал руками, и выпускал из ноздрей струи дыма, и говорил — Боже, как он говорил! Словно один из тех малых в красных фесках, которые пытаются всучить тебе восточный ковер; между прочим, угрюмо подумал Стойт, Чарли и с виду почти такой же, разве что больше лоснится: кормежка-то у него получше, чем у торговцев коврами.

— Хватит мне тут товар расписывать,— резко оборвал его он.— Забыл, что здесь и так все мое?

Чарли поглядел на него удивленно и обиженно. Расписывать? Но он ничего не расписывал. Все это правда, все это совершенно серьезно. Пантеон был его детищем; он сам приспособил его для всех практических целей. Это он придумал мини-Тадж и Церковь Барда; он сам, на свой страх и риск, заключил с Генуей сделку на поставки скульптуры; он первый четко сформулировал идею придать смерти сексуальную окраску; и он же всегда решительно изгонял с кладбища всякие напоминания о печальной старости, всякие символы человеческой смертности, всякие изображения страдающего Христа. Ему приходилось отстаивать свои взгляды, приходилось выслушивать массу критических замечаний, но жизнь доказала его правоту. Теперь любому, кто станет возражать против отсутствия в Пантеоне распятий, можно заткнуть рот публикуемой отчетностью. А мистер Стойт говорит, что он расписывает товар. Он, видите ли, расписывает — да ведь спрос на места в Пантеоне сейчас такой огромный, что скоро они не смогут его удовлетворить. Им нужно расширяться. Больше территории, больше зданий, больше удобств. Больше и лучше; прогресс; сервис.

На верху Башни Воскресения Чарли Хабаккук раскрывал боссу свои замыслы. Среди предлагаемых им новшеств был Уголок Поэтов *, куда смогут попасть все настоящие писатели — он только опасался, что туда нельзя будет пустить рекламщиков, а это жаль, ведь многие рекламные деятели неплохо зарабатывают и наверняка согласились бы заплатить лишку за честь быть похороненными вместе с киношниками. Но тут палка о двух концах, потому что сценаристам не понравится, если там будут рекламщики; тогда они решат, что Уголок Поэтов недостаточно аристократичен. А с учетом их колоссальных заработков... нет, игра стоит свеч, заключил Чарли, игра стоит свеч. И конечно, в этом Уголке Поэтов надо будет сделать копию Вестминстерского аббатства. Мини-Вестминстер — звучит? И раз уж им все равно нужно еще несколько кремационных печей, надо поместить их там, во Дворике Декана. А под землей устроить тайничок для нового автоматического проигрывателя, чтобы можно было заводить и другую музыку. Само собой, «Вурлицер» отменять не надо, людям он нравится. Но один «Вурлицер» — это все-таки скучновато. По его мнению, не помешало бы приобрести записи какого-нибудь церковного хора — псалмы и прочее,— а еще можно время от времени, просто ради

разнообразия, давать какую-нибудь зажигательную проповедь, так что вы сможете, например, посидеть в Саду Созерцания и немножко послушать «Вурлицер», а потом хор, поющий «Пребудь со мной» *, а потом проникновенный голос Бэрримора *, читающего, скажем, Геттисбергскую речь или «Смейся, и мир рассмеется с тобой» *, а может, какой-нибудь колоритный отрывок из миссис Эдди или Ральфа Уолдо Трайна * — тут все пойдет, лишь бы повдохновенней. И потом, есть идея построить Катакомбы. Ей-Богу, лучшей идеи у него сроду не было. Подведя Стойта к окну, которое выходило на юго-восток, он указал поверх долины, усеянной надгробиями и псевдоантичными памятниками в окружении кипарисовых кущ, туда, где опять начинался подъем к зубчатому горному хребту. Там, возбужденно воскликнул он, именно там, посреди вон той кручи; они пробьют в ней тоннели. Сотни ярдов подземных переходов с захоронениями. Если укрепить их армированным бетоном, землетрясений можно не бояться. Катакомбы высшего класса, единственные в мире. И часовенки вроде римских. А по стенам побольше фальшивых росписей, чтобы были похожи на старинные. Это обойдется дешево — их может сделать УОР * по одному из своих художественных проектов. Ребята, конечно, рисуют не ахти как; ну да ничего, все равно ведь будет ясно, что росписи поддельные. А людям давать с собой одни свечки и маленькие фонарики — никакого электрического освещения, только в самом конце всех этих извилистых переходов и лестниц, где будет как бы такая огромная подземная церковь, а посреди нее здоровенная статуя из тех, что украшали ярмарку в Сан-Франциско,— теперь, когда ярмарка кончилась, они с радостью отдадут ее за тысячу монет, а то и меньше,— знаете, такая модернистская голая девица, сплошные мускулы,— вот ее-то они и поставят прямо посередине, а вокруг, скажем, фонтан, и из воды скрытая подсветка розовым, чтоб девица была как живая. Да туристы туда валом повалят! Потому что больше всего на свете люди обожают пещеры. Взять хотя бы Карлсбадские * или те, что в Виргинии. А это ведь самые обыкновенные, естественные пещеры, ни росписей, ничего такого. А у них будут Катакомбы. Да, сэр; настоящие катакомбы вроде тех, где жили христианские мученики,— черт возьми, это же еще одна идея! Мученики! Почему бы им не сделать Часовню Мучеников с гипсовой группкой симпатичных голеньких девочек, которых вот-вот растерзает лев? Люди терпеть не могут распятий; а от такого зрелища они будут просто в восторге.

Стойт слушал этот монолог устало, с отвращением. Он ненавидел свой Пантеон и все, что было с ним связано. Ненавидел, ибо, несмотря на статуи и «Вурлицер», Пантеон не говорил ему ни о чем, кроме болезней и смерти, разложения и Страшного Суда; ибо именно здесь, в этом Пантеоне — у подножия роденовского «Поцелуя»,— должны были похоронить и его. (Однажды помощник управляющего неосмотрительно указал ему это место и был мгновенно уволен; но память о перенесенном унижении осталась.) Энтузиазм, с которым Чарли излагал свои проекты катакомб и мини-Вестминстеров, не вызвал у него ответного тепла; реакцией на пылкие речи Хабаккука были лишь несколько нечленораздельных звуков и под конец угрюмое «о'кей», относящееся ко всему, за исключением Часовни Мучеников. Не то чтобы эта идея показалась Стойту неудачной; наоборот, он был уверен, что публика с восторгом примет подобное нововведение. Он отверг ее только из принципа — если Чарли Хабаккук будет думать, что он всегда прав, ничего хорошего из этого не выйдет.

— Подготовь планы и прикидки для всего остального,— приказал он таким грубым тоном, будто отчитывал подчиненного.— Но чтобы никаких мучеников. Мучеников я не потерплю.

Чуть не плача, Чарли попытался уговорить босса разрешить ему хотя бы одного льва, одну-единственную раннехристианскую девственницу со связанными за спиной руками — потому что людям ведь так нравятся веревки и кандалы. Две-три девственницы было бы, конечно, гораздо лучше; но он удовольствовался бы и одной.

— Хотя бы одну, мистер Стойт,— взмолился он, выразительно сложив перед собой руки.— Только одну.

Глухой ко всем его мольбам, Стойт упрямо покачал головой.

— Мучеников не будет,— сказал он.— Я так решил.— И чтобы подчеркнуть бесповоротность этого решения, отшвырнул окурок и поднялся уходить.

Пять минут спустя Чарли Хабаккук уже отводил душу перед своей секретаршей. Вот она, человеческая неблагодарность! И надо ж быть таким тупым! Он бы с радостью уволился, только чтобы старый болван понял, каково ему будет без него. Да тут через полчаса все прахом пойдет. Кто превратил это место в то, что вы видите сейчас,— в уникальнейшее кладбище мира? Да-да, уникальнейшее. Кто? (Чарли хлопнул себя по груди.) А кто получил все денежки? Джо Стойт. А что он, спрашивается, ради этого сделал? Да абсолютно ничего, палец о палец не ударил. Честное слово, хоть в коммунисты иди! От этого старого дурака не то что спасиба, простой вежливости не дождешься. Шпыняет тебя как какого-нибудь уличного мальчишку! Одно утешение: старый Джо не слишком здорово выглядел сегодня утром. Может, уже недалек тот день, когда они будут иметь удовольствие похоронить его. Там, в вестибюле Колумбария, в восьми футах под землей. Туда ему и дорога!

Самое грустное, однако, заключалось не в том, что он не слишком хорошо выглядел; откинувшись на спинку сиденья в автомобиле, который вез его к Клэнси в Беверли-Хиллс, Стойт, уже далеко не первый раз за последние две или три недели, думал о том, что он и чувствует себя не слишком хорошо. По утрам он просыпался каким-то вялым, утомленным; и голова у него была не такая ясная, как прежде. Обиспо называл это скрытым гриппом и заставлял его каждый вечер глотать таблетки; но они, похоже, не помогали. Лучше ему не становилось. А хуже всего было то, что он ужасно волновался за Вирджинию. С Деткой творилось что-то странное, она словно была где-то далеко отсюда: такая задумчивая, ничего не замечает, а скажешь ей что-нибудь — встрепенется и переспросит. И выглядит она теперь точь-в-точь как девицы на рекламах «Противогепатитной соли» или «Калифорнийского фигового сиропа»; можно было бы подумать, что у нее со здоровьем неладно, если б не то, как она ведет себя с этим парнем, Питером Буном. За столом все время с ним разговаривает; предлагает сходить искупаться вместе; попросила взглянуть разок в микроскоп, а на кой черт ей сдался этот микроскоп, хотел бы он знать? Вешается ему на шею — вот что сказал бы любой человек со стороны. И этот ее сиропный вид (как у квакеров на ихних собраниях; Пруденс таскала его туда, пока не увлеклась христианской наукой) — все одно к одному. Похоже, будто она и вправду втюрилась в парня. Но тогда почему это произошло так внезапно? Ведь раньше-то она особой симпатии к нему не проявляла. Всегда обращалась с ним точно с большим домашним псом — дружелюбно и все такое, но как бы не принимала его всерьез: потреплет по голове, а когда он завиляет хвостом, уже и забудет про него. Нет, не мог он этого понять; просто в голове не укладывалось. Похоже, что она в него втюрилась; но при этом будто не замечает, парень он или псина. Взять хоть последние дни. Конечно, она уделяла ему много внимания; но так, как уделяют внимание любимой охотничьей собаке. Вот это-то и сбивает с толку. Если б она втюрилась в Пита обыкновенным манером, он дал бы волю своей ярости — закатил бы скандал и вышвырнул мальчишку вон. Но разве можно злиться на девушку за то, что она просит домашнего пса разрешить ей поглядеть в микроскоп? Нельзя, даже если захочешь; потому что тут, злись не злись, толку не будет. Ему оставалось только горевать и пытаться сообразить, что к чему, а это никак не получалось. Ясно было лишь одно, а именно: Детка значила для него больше, чем он думал; он и представить себе не мог, что кто-то может столько для него значить. Все началось с того, что он просто хотел Детку — ему хотелось ее потрогать, подержать в руках, потормошить, съесть; он хотел ее, потому что она была теплая и хорошо пахла; хотел, потому что она была молода, а он стар, потому что она была так невинна, а он устал от жизни и, кроме невинности, его теперь ничто не возбуждало. Вот с чего все началось; но почти сразу произошло

неожиданное. Ее молодость, ее невинность и обаяние — они уже не только возбуждали его. Она была такая милая, по-детски очаровательная, что, глядя на нее, он чуть не плакал — и одновременно хотел потрогать, потормошить, проглотить. Она действовала на него удивительно — с ней ему становилось хорошо, как после доброго глотка виски, и в то же время хорошо, как когда ты в церкви или даришь какому-нибудь несчастному малышу игрушку, а он радуется. Но Вирджиния была не просто чей-нибудь чужой ребенок, как те, в больнице,— она была *его,* его собственная. Пруденс не могла иметь детей, и тогда он жалел об этом. Но теперь он был рад. Ведь если бы у него были свои дети, они мешали бы Вирджинии. А Вирджиния значила для него больше, чем могла бы значить родная дочь. Потому что, даже если бы он относился к ней *только* как к дочери — а это было не так,— то его собственная дочь, появись она в свое время, наверняка не имела бы и сотой доли Деткиного обаяния: ведь у Стойтов в роду никто не мог похвастаться красотой, а Пруденс, честно говоря, была малость туповата, хоть и хорошая женщина, этого у нее не отнимешь; может, даже чересчур хорошая. А у Детки все было как надо, все замечательно. Встреча с ней принесла ему счастье, какого он не знал долгие годы. Когда она была рядом, во всех его делах точно опять появлялся смысл. Можно было жить, не задавая себе вопроса «зачем?». Ответ был здесь, перед тобой, в этой трогательной спортивной кепочке — или в роскошном наряде, изумруды и все такое, если предстояла вечеринка с киношниками.

И вот что-то случилось. Драгоценный ответ ускользнул от него. Детка изменилась; теперь между ними не было прежней близости; она словно ушла куда-то. Куда? И зачем? Почему она решила бросить его? Ведь он остался совсем один. Совсем, совсем один; а он уже старик, и белая плита лежит в вестибюле Колумбария, ждет его.

«Что с тобой, Детка?» — спрашивал он. Спрашивал снова и снова, с тоской в душе, слишком несчастный, чтобы сердиться, слишком напуганный грозящим ему одиночеством, чтобы думать о своей гордости или о своих правах, о чем бы то ни было, кроме одного — как удержать ее, любой ценой: «Что с тобой, Детка?»

А она каждый раз смотрела на него так, словно была где-то за миллион миль отсюда,— смотрела и говорила: ничего; она прекрасно себя чувствует; у нее нет никаких проблем; нет-нет, он ничего не может для нее сделать, потому что он уже дал ей все, что можно, и она совершенно счастлива.

А если он упоминал Пита (мимоходом, чтобы она не подумала, будто он что-нибудь подозревает), она и бровью не вела; просто говорила: да, Пит ей нравится; он славный мальчик, но простодушный и потому смешной; а она ведь любит посмеяться.

— Но, Детка, ты стала другой,— говорил он, и голос его едва не дрожал; ведь он правда был очень несчастен.— Ты совсем не такая, как раньше, Детка.

А она отвечала только, что это странно, потому что она чувствует себя как обычно.

— Ты стала относиться ко мне по-другому,— говорил он.

А она говорила, что нет. А он говорил, да. А она говорила, это неправда. Потому что какие у него причины считать, что она стала относиться к нему по-другому? И она, конечно, была права; он не мог назвать никаких причин. Не мог посетовать, что она стала не такой ласковой, или не хотела, чтобы он целовал ее, или сказать еще что-нибудь в этом роде. Она стала другой, но, чтобы это объяснить, он не мог найти подходящих слов. Она выглядела не так, и ходила, и делала все не так. И единственное, что он мог сказать,— это то, что она словно не здесь, а где-то в другом месте, так что до нее нельзя дотянуться, нельзя поговорить с ней и даже увидеть ее по-настоящему. Вот на что это было похоже. Но когда он пробовал объяснить ей это, она только смеялась над ним и говорила, что в нем, наверно, проснулось что-то вроде женского чутья, про которое в романах пишут,— только его-то чутью и вовсе доверять нельзя.

На этом разговоры кончались, и он снова оказывался там же, откуда

начал; пробовал разобраться во всем и не мог и от этих переживаний чувствовал себя совсем больным. Да-да, больным. Потому что, даже когда проходила эта вялость и тяжесть, которая теперь всегда одолевала его поутру, он так волновался за Детку, что устраивал разносы слугам, и грубил этому чертову англичанину, и набрасывался с руганью на Обиспо. А еще у него начались нелады с пищеварением. Стала донимать изжога, и желудок давал себя знать; а однажды так прихватило, что он подумал, уж не аппендицит ли это. Но Обиспо объяснил, что это просто газы; скрытый грипп, мол, виноват. А он тогда вышел из себя и сказал ему, что он, наверно, дерьмовый доктор, раз не может справиться с такой ерундой. И должно быть, нагнал на малого страху, потому что тот ответил: «Дайте мне еще два-три дня, не больше, и я закончу курс лечения». И еще сказал, что этот скрытый грипп коварная штука: снаружи вроде бы ничего не заметно, а весь организм отравлен, даже думать нормально не можешь; начинаешь воображать то, чего на самом деле нету, и переживать зазря.

Может, оно и так по большому-то счету; только он знал, что в данном случае это у него не пустые выдумки. Детка и вправду изменилась; ему было отчего беспокоиться.

Автомобиль нес погрузившегося в мрачные и тревожные раздумья Стойта вниз по извилистой горной дороге, сквозь тенистый оазис Беверли-Хиллс и на восток (ибо Клэнси жил в Голливуде), по бульвару Санта-Моника. Сегодня утром Клэнси позвонил ему и, как обычно, изображая из себя конспиратора, разыграл очередную мелодраматическую сцену. Из его сообщения, полного таинственных недомолвок, туманных намеков и перевранных имен, Стойту удалось понять, что все идет хорошо. Клэнси и его люди благополучно скупили львиную долю лучших земель в долине Сан-Фелипе. Случись это прежде, Стойт был бы в восторге; но сейчас его не радовала даже перспектива заработать еще миллион-другой шальных денег. В том мире, где он вынужден был теперь существовать, миллионы ничего не стоили. Разве миллионы могли облегчить его страдания? Страдания старого, усталого, опустошенного человека, человека, у которого не было в жизни цели, кроме самого себя, не было профессии и философии, кроме защиты собственных интересов, не было ни привязанностей, ни даже друзей — только дочь и возлюбленная, наложница и дитя в одном лице, предмет неистовой страсти и едва ли не слепого обожания. И это существо, на которое он положился, чтобы придать своей жизни значимость, вдруг подвело его. Он начал подозревать ее в неверности — но подозревать без видимых причин, и это чувство было столь странным, что органически не могло вылиться ни в одну из обычных приносящих удовлетворение реакций — вспышку гнева, попреки, рукоприкладство. Жизнь его теряла смысл, а он не способен был помешать этому, ибо не знал, как вести себя в такой ситуации, и безнадежно запутался. И вдобавок где-то на краю его сознания постоянно маячила зловещая картина: круговой мраморный вестибюль с роденовским воплощением желания в центре, и эта белая плита внизу, у подножия статуи,— плита, на которой однажды будет выбито его имя: Джозеф Пентон Стойт, и даты рождения и смерти. А за этой надписью проступала другая, оранжевыми буквами на угольно-черном фоне: «Страшно впасть в руки Бога живаго». А тут — тут был Клэнси со своими туманными намеками на грядущий триумф. Какая радость! Какая радость! Через год-два он станет еще на миллион богаче. Но миллионы были в одном мире, а старый, несчастный, испуганный человек — в другом, и связи между двумя этими мирами не было.

Глава четвертая

Джереми трудился несколько часов, разбирая, изучая, подшивая, составляя предварительный каталог. Нынче утром ничего интересного не попадалось — одни отчеты, да правовые документы, да деловые письма. Всякая чепуха для Коултона, Тони * или Хаммондов; не по его носу табак.

К половине первого эта нудная работа совсем утомила его. Он прервал свои занятия и, дабы немного освежиться, взял в руки записную книжку Пятого графа.

«Июль 1780,— прочел он.— Чувственность тесно связана с Печалью, и бывают случаи, когда безутешная Вдова именно благодаря искренности своей Скорби оказывается обманутой собственными Переживаниями и уступает домогательствам Гостя, явившегося выразить Соболезнование и владеющего Искусством переходить от Утешений к Вольностям. Я сам посмертно наградил рогами некоего Герцога и двоих Виконтов (одного из них не далее как вчера вечером) на тех самых Постелях, откуда их с Помпой увезли в фамильные усыпальницы всего несколько часов назад».

А это должно понравиться матери, подумал Джереми. Она просто обожает подобные штучки! Он твердо решил, если выйдет не слишком дорого, вставить этот отрывок в телеграмму, которую пошлет сегодня вечером.

Он вернулся к записной книжке.

«В одном из Приходов, состоящих под моим началом, неожиданно освободилось место, и сегодня Сестра прислала ко мне юного Священника, коего рекомендует, и я ей верю, за его исключительную Добродетель. Но я не потерплю поблизости от себя иных Попов, кроме тех, что пьют всласть, ездят с собаками на охоту и соблазняют Супруг и дочерей своих Прихожан. Добродетельный Поп не делает ничего, дабы испытывать и укреплять Веру своей Паствы; но, как я и отписал Сестре, только через Веру мы обретаем Спасение».

Следующая запись была помечена мартом 1784 года.

«В старых Склепах, которые долго стояли запертыми, свешивается с потолка и покрывает стены некая тягучая Слизь. Сие есть Квинтэссенция разложения».

«Январь 1786. Всего полдюжины заметок за столько лет. Если мне суждено так же неспешно исписать весь Дневник, я, наверное, переживу библейских Патриархов. Меня удручает моя лень, но я утешаюсь мыслью, что мои современники слишком жалки и не заслуживают Усилий, кои я мог бы предпринять, поучая и развлекая их».

Джереми бегло просмотрел три страницы рассуждений о политике и экономике. Затем ему попалась на глаза более любопытная запись, датированная 1 марта 1787 года.

«Умирание есть едва ли не самое неодухотворенное из всех наших действий, еще более плотское, нежели акт любви. Иногда Предсмертная Агония напоминает потуги человека, страдающего Запором. Сегодня я видел, как умирал М. Б.»

«11 января 1788. В этот день, пятьдесят лет назад, я появился на свет. После одиночества в материнской Утробе нас ожидает одиночество среди наших Собратьев, а затем следует возврат к одиночеству в Могиле. Мы проводим жизнь в попытках смягчить одиночество. Но Близость никогда не превращается в слияние. Самый многолюдный Город есть лишь преизбыток запустений. Мы обмениваемся Словами, но передаем их из темницы в темницу, не надеясь, что другие поймут их так же, как понимаем мы. Мы женимся, и вот в доме появляются два одиночества вместо одного; мы снова и снова повторяем акт любви, но и тут близость не превращается в слияние. Самый интимный контакт есть лишь контакт Поверхностей, и мы совокупляемся, как Приговоренные к смерти со своими Шлюхами в Ньюгейтской тюрьме — через прутья клеток. Наслажденьем нельзя поделиться; его, как и Боль, можно лишь испытывать или вызывать, и когда мы дарим Наслаждение своим Любовницам или оказываем Милость Нуждающимся, мы услаждаем отнюдь не объекты нашей Благосклонности, а лишь самих себя. Ибо Правда состоит в том, что причина и у нашей Доброты, и у Жестокости одна: мы хотим сильнее ощутить собственную Власть; вот к чему мы стремимся вечно, несмотря на то что упоение Властью заставляет нас чувствовать себя еще более одинокими, чем прежде. Фактически одиночество есть удел всех людей, и смягчить его можно лишь

с помощью Забытья, Отупения или Грез; но острота его переживания пропорциональна силе ощущения человеком собственной Власти и ее реальному масштабу. При любых обстоятельствах, чем больше у нас Власти, тем острее мы чувствуем свое одиночество. Я наслаждался Властью на протяжении многих лет».

«Июль 1788. Сегодня мне нанес визит капитан Пейви, круглолицый, жизнерадостный, грубый человек, который, несмотря на все свое благоговение передо мною, иногда не может удержаться от приступов свойственного ему вульгарного Веселья. Я расспросил капитана о его последнем Путешествии, и он очень подробно описал мне, как Рабов содержат в трюмах; как их заковывают в цепи; как их кормят и в тихую погоду выпускают размяться на палубу, предварительно натянув по бортам Сети, дабы воспрепятствовать самым отчаянным броситься в море; как их карают за Непокорство; как судно сопровождают когорты голодных акул; как свирепствуют цинга и иные болезни; как от долгого лежания на твердых досках у Негров стирается кожа и как корабль непрестанно качают Волны; какой ужасный смрад царит в трюме — он способен свалить с ног самого закаленного морского волка, отважившегося спуститься туда; как часты смертные случаи и как поразительно быстро разлагаются трупы — особенно во влажном Климате поблизости от Экватора. Когда он уходил, я подарил ему золотую табакерку. Не ждав от меня такой чести, он принялся столь шумно рассыпаться в благодарностях и обещаниях блюсти мои будущие Интересы, что я вынужден был перебить его. Табакерка обошлась мне в шестьдесят гиней; три последних путешествия капитана Пейви принесли мне более сорока тысяч. Власть и достаток человека возрастают с удалением его от тех материальных объектов, кои являются непосредственными источниками этой власти и достатка. Риск, выпадающий на долю Генерала, во сто раз меньше риска, которому подвергается простой солдат; а на каждую гинею, заработанную последним, приходится сотня генеральских. Так же и со мной, Пейви и рабами. Рабы трудятся на Плантации, получая за это лишь побои и скудную пищу; капитан Пейви преодолевает все трудности и опасности морских Путешествий и живет хуже Галантерейщика или Виноторговца; а среди того, к чему прилагаю руку я, нет ничего более материального, нежели банковские Чеки, и в награду за мои усилия золото сыплется на меня дождем. В нашем мире у человека есть три пути. Во-первых, он может избрать удел большинства и, будучи слишком безмозглым, чтобы превратиться в отпетого негодяя, ограничивать свою врожденную низость столь же врожденной глупостью. Во-вторых, можно пополнить ряды совсем уж круглых дураков, с болезненным упорством отрицающих свою врожденную Низость, дабы практиковать Добродетель. В-третьих, можно выбрать путь здравомыслящего человека — того, кто, зная о своей врожденной Низости, учится извлекать из нее выгоду и с помощью сего умения возвышается над нею и над своими более глупыми Собратьями. Что касается меня, то я пожелал быть здравомыслящим».

«Март 1789. Разум сулит счастье; Чувство возражает против того, что это Счастье; дает же Счастье лишь Здравомыслие. А само Счастье подобно пыли во рту».

«Июль 1789. Если бы Мужчины и Женщины предавались Наслаждениям столь же шумно, как это делают Кошки, разве мог бы хоть один Лондонец спокойно спать по ночам?»

«Июль 1789. Бастилия пала. Да здравствует Бастилия!»

Следующие несколько страниц были посвящены революции. Их Джереми пропустил. В 1794 году интерес Пятого графа к Революции уступил место интересу к собственному здоровью.

«Моим посетителям,— писал он,— я говорю, что был болен, а теперь снова поправился. Это совершенная ложь; ибо тот, кто находился на пороге Смерти, равно как и тот, кто теперь якобы здоров, не имеют со мною ничего общего. Первый был частным порождением Лихорадки, воплощением Боли и Апатии; второй — тоже не я, а усталый, высохший и ко всему равнодушный старик. От Существа, коим я некогда был, мне осталось лишь

имя да несколько воспоминаний. Словно Человек умер и завещал пережившему его Другу горстку ненужных безделушек на память».

«1794. Больной Богач подобен одинокому раненому в Египетской пустыне; над его головой парят Стервятники, спускаясь все ниже и ниже, а рядом, все более сужая круги, рыщут Шакалы и Гиены. Таковы Наследники Богача — они окружают его столь же неусыпным вниманием. Когда я смотрю в лицо своему Племяннику и читаю на нем под маской Заботливости алчное Нетерпение и Досаду на то, что я еще не умер, это вызывает у меня прилив жизненных сил. Я буду продолжать жить хотя бы затем, чтобы лишить его Счастья, до которого, как он полагает (ибо знает о моем Рецидиве), ему уже рукой подать».

«1794. Мир есть Зеркало, в коем всякий видит свое Отражение».

«Январь 1795. Я попробовал воспользоваться средством царя Давида от старости * и нашел его негодным. Тепло нельзя передать, его можно лишь выманить изнутри; и там, где не теплится уже ни одна искорка, разжечь пламя не поможет и трут.

Пусть Священники правы, говоря, что мы спасены чужим страданием; но я могу поклясться, что от чужого наслаждения нет никакого проку — оно лишь усиливает в том, кто его доставляет, сознание собственной Власти и Превосходства».

«1795. Когда нас покидают Чувственные Радости, мы возмещаем эту потерю, лелея в себе Гордыню и Тщеславие. Любовь к Господству над другими не зависит от наших физических возможностей и посему легко заменяет Наслаждение, уже не доступное нам вследствие телесной слабости. Меня, например, никогда не покидала любовь к Господству — даже в Пылу Наслаждения. После моей недавней смерти оставшийся от меня Призрак вынужден довольствоваться первым, не столь сильнодействующим, зато и более безобидным из двух средств, которые дают нам Удовлетворение».

«Июль 1796. Гонистерские рыбоводные пруды были вырыты в Эпоху Суеверий монахами монастыря, на деньги которого и построен мой нынешний Дом. При короле Карле I мой прапрадед велел сделать несколько свинцовых Дисков, выгравировать на них его монограмму и дату и прикрепить к серебряным кольцам, кои затем были надеты на хвосты пятидесяти больших карпов. Не менее двадцати из этих Рыб живы по сей день, в чем я убедился, глядя, как они подплывают на звон колокольца к месту Кормления. Их сопровождают другие, еще более крупные,— возможно, свидетели жизни монахов до Роспуска Монастырей при короле Генрихе *. Наблюдая, как они плавают в прозрачной Воде, я дивился силе и неизменной живости этих гигантских Созданий, старейшие из которых родились, наверное, еще тогда, когда была написана «Утопия» *, а младшие являются ровесниками автора «Потерянного Рая» *. Этот поэт пытался оправдать Бога в том, что Он содеял с Человеком. Было бы гораздо полезнее, если б он попробовал объяснить, что Бог содеял с Рыбой. Философы отнимают время у себя и у своих читателей, рассуждая о Бессмертии Души; Алхимики веками потели над своими тиглями в тщетной надежде найти Эликсир Бессмертия или Философский Камень. Однако в любом пруду и любой реке можно обнаружить Карпов, которые пережили бы трех Платонов и полдюжины Парацельсов. Секрет вечной Жизни следует искать не в старых Книгах, не в жидком Золоте и даже не на Небесах; он должен быть найден в речной Тине и ожидает лишь искусного Удильщика».

Где-то в глубине коридора зазвонил колокольчик — пора было идти на ленч. Джереми встал, отложил записную книжку Пятого графа и направился к лифту, внутренне улыбаясь при мысли, как приятно будет сообщить этому нахальному ослу Обиспо, что все его замечательные идеи о долголетии были предвосхищены в восемнадцатом веке.

Глава пятая

В отсутствие хозяина за ленчем было очень весело. Слуги занимались своим делом, не получая ежеминутных нагоняев. Джереми мог говорить, не рискуя нарваться на грубость или оскорбление. Обиспо беспрепятственно рассказал анекдот о трубочисте, который побежал страховать свою жизнь, едва у него начался медовый месяц, и Вирджиния, погруженная в привычное теперь состояние похожей на транс глубокой усталости — она умышленно не выходила из этого состояния, чтобы поменьше думать и не чувствовать себя такой виноватой,— могла рассмеяться не таясь. И хотя какая-то часть ее существа противилась этому смеху — ведь лучше было бы смолчать, чтобы Зиг не решил, будто она его поощряет,— Вирджиния все же хотела смеяться; она просто не могла не смеяться, потому что анекдот был действительно очень смешной. Кроме того, на время отпала необходимость разыгрывать перед Дядюшкой Джо этот спектакль с Питом, и она чувствовала огромное облегчение. Не надо никого обманывать. На несколько часов она может снова стать собой — обыкновенной, нормальной Вирджинией. Единственной ложкой дегтя было то, что эта «нормальная Вирджиния» такое жалкое существо: существо, у которого руки-ноги становятся как резиновые, едва только этот проклятый Зиг вздумает заявиться в очередной раз, существо, которое не способно сдержать обещание, данное даже Пресвятой Деве. Ее смех внезапно оборвался.

Один Пит был безоговорочно несчастен — конечно, и из-за трубочиста и бурного веселья Вирджинии; но также из-за того, что пала Барселона, а вместе с нею рухнули и все его надежды на скорую победу над фашизмом, на будущие встречи со старыми товарищами, которые едва ли останутся в живых. И это было не все. Смех после анекдота о трубочисте являлся лишь одним удручающим обстоятельством среди многих. Прошло уже две смены блюд, а Вирджиния еще ни разу не обратила на него внимания. Но почему, почему? В свете случившегося за последние три недели это было необъяснимо. С того самого вечера, когда Вирджиния повернула назад у Грота, она была так мила с ним — часто подходила поболтать, расспрашивала об Испании и даже о биологии. Мало того, она попросила посмотреть что-нибудь через микроскоп! Дрожа от счастья, так что едва смог пристроить как следует предметное стекло, он подкрутил резкость, и препарат из кишечной флоры карпа стал отчетливо виден. Потом она села на его место и склонилась над окуляром, и пряди ее каштановых волос свесились по обе стороны от микроскопа, а над краем розового свитера показалась неприкрытая шея — такая белая, такая заманчивая, что он чуть не упал в обморок, гигантским усилием преодолев соблазн поцеловать ее.

За прошедшие с тех пор дни он часто жалел, что не поддался тогда этому соблазну. Но затем снова брали верх его лучшие чувства, и он радовался, что все сложилось именно так. Ведь иначе, без сомнения, было бы нехорошо. Потому что, хотя он давно уже перестал верить в эту чепуху насчет крови Агнца и прочего, в которую верили его родные, он все еще помнил слова своей набожной и свято чтущей приличия матушки о том, как дурно целовать девушку до помолвки; в душе он по-прежнему оставался пылким юношей, который в трудный период созревания с восторгом внимал красноречивому пастору Шлицу и с тех пор твердо решил хранить целомудрие, глубоко уверовал в Святость Любви, проникся благоговением к некоему чуду, именуемому христианским браком. Но пока, к сожалению, он еще слишком мало зарабатывал и не чувствовал за собой права говорить Вирджинии о своей высокой любви и предлагать ей сочетаться с ним христианским браком. Имелась здесь и дополнительная сложность, которая состояла в том, что с его стороны этот брак был бы христианским только в обобщенном смысле; Вирджиния же принадлежала к церкви, которую пастор Шлиц называл вавилонской блудницей, а марксисты считали особенно отвратительной. Кроме того, эта церковь вряд ли отнеслась бы к нему лучше, чем он к ней; правда, теперь, после преследований, которым Гитлер подверг ее в Германии, и испанского госпиталя, где за Питом ходили

сестры-католички, она заметно выиграла в его глазах. И даже если бы эти финансовые и религиозные трудности каким-нибудь чудом удалось уладить, все равно остался бы еще один ужасный факт — мистер Стойт. Он, конечно же, знал, что мистер Стойт для Вирджинии не более чем отец или максимум добрый дядюшка,— но знал это с той чрезмерной определенностью, которую порождает желание; его уверенность была сродни уверенности Дон Кихота, твердо знавшего, что картонное забрало его шлема прочнее стали. Когда знаешь что-то подобным образом, разумнее не задавать лишних вопросов; а если он предложит Вирджинии выйти за него замуж, подробности ее отношений с мистером Стойтом почти наверняка должны будут проясниться даже помимо его воли.

Очередным осложняющим фактором в этой ситуации был мистер Проптер. Ибо если мистер Проптер прав, а Пит все более и более склонялся к мысли, что это так, то, очевидно, нет никакого резона совершать поступки, которые могут затруднить переход с человеческого уровня на уровень вечности. И хотя он любил Вирджинию, ему едва ли удалось бы убедить себя, что брак с ней может способствовать просветлению какой бы то ни было из сторон.

Прежде он, пожалуй, питал на этот счет некоторые иллюзии; однако за последние неделю-две изменил свое мнение. Точнее, теперь у него вовсе не осталось никакого мнения; он был просто-напросто сбит с толку. Ибо характер Вирджинии неожиданно стал другим. Ее невинность, по-детски шумная и открытая, вдруг превратилась в тихую и непроницаемую. Раньше она всегда беззаботно подшучивала над ним, держала себя раскованно, по-приятельски; но недавно в ее поведении произошла странная перемена. Шутки прекратились, и их место заняла какая-то трогательная заботливость. Она была очень ласкова с ним — но не так, как девушки бывают ласковы с человеком, которого хотят влюбить в себя. Нет, Вирджиния была с ним ласкова, словно сестра, и даже не просто сестра: почти как сестра милосердия. И даже не просто как сестра милосердия, а как та самая сестра, которая ухаживала за ним в геронском госпитале,— молоденькая, с большими глазами и бледным овальным лицом, точно у Девы Марии, какой ее обычно изображают; казалось, ее всегда переполняет затаенное счастье, источник которого не в том, что происходит вокруг, а где-то внутри; она словно вглядывалась во что-то удивительное и прекрасное, видное только ей; и когда она вглядывалась туда, у нее уже не было причин пугаться, к примеру, воздушного налета или расстраиваться из-за ампутации. Она, очевидно, смотрела на вещи с другого уровня — с того самого, который мистер Проптер называет уровнем вечности; и реагировала на все иначе, чем люди, живущие на человеческом уровне. На человеческом уровне ты то злишься, то пугаешься; а если и спокоен, так только благодаря усилию воли. Но та сестра сохраняла спокойствие без всяких усилий. Тогда он восхищался ею, не понимая. Теперь, спасибо мистеру Проптеру, он уже не просто восхищался, а кое-что и понимал.

Да, в последние недели Вирджиния напоминала ему именно эту сестру. Как будто в ней произошел внезапный переход от обращенности вовне к внутренней жизни; от открытого реагирования на окружающее к глубокой, загадочной отрешенности. Причина этого превращения оставалась для него непонятной, но сам факт был налицо, и он уважал его. Уважал — вот почему он не поцеловал ее в шею, когда она склонилась над микроскопом; вот почему ни разу не дотронулся до ее локтя и не взял ее за руку; вот почему ни единым словом не обмолвился ей о своих чувствах. Он понимал, что теперь, после ее странного, необъяснимого преображения, все эти поступки были бы неуместны, почти кощунственны. Она решила быть с ним ласковой, как сестра; значит, он должен вести себя как брат. А сейчас, непонятно почему, она словно вовсе забыла о его существовании.

Сестра забыла своего брата; а сестра милосердия забылась настолько, что позволила себе слушать гадкий анекдот Обиспо о трубочисте да еще смеяться над ним. И тем не менее, заметил сбитый с толку Пит, как только она перестала смеяться, ее лицо вновь обрело выражение этой таинственной

отрешенности, погруженности в себя. Сестра милосердия вернулась к прежнему облику так же быстро, как оставила его. Это было недоступно его пониманию; просто в голове не укладывалось.

Когда подали кофе, Обиспо объявил, что намерен устроить себе выходной до завтра, а поскольку в лаборатории сейчас нет никакой срочной работы, он советует Питу сделать то же самое. Пит поблагодарил его и, притворившись, будто спешит (ибо за обсуждением послеобеденных планов Вирджиния наверняка проигнорировала бы его опять, а он не хотел подвергаться очередному унижению), наскоро проглотил кофе, невнятно извинился и покинул столовую. Чуть позже он уже шагал по залитой солнцем дороге вниз, в долину.

По пути он размышлял о том, что услышал от мистера Проптера во время последних встреч.

О том, что он сказал насчет самого глупого места в Библии и самого умного: «Возненавидели Меня напрасно» и «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» *.

О том, что никому и ничего не достается даром — например, за избыток денег, за избыток власти или секса человеку приходится платить более прочной привязанностью к своему «я»; страна, которая развивается слишком быстро, порождает тиранов, подобных Наполеону, Сталину или Гитлеру; а представители процветающей, не раздираемой внутренними склоками нации платят за это тем, что становятся чопорными, самодовольными и консервативными, как англичане.

Бабуины загомонили, когда он проходил мимо. Пит вспомнил кое-какие высказывания мистера Проптера о литературе. О скуке, которую нагоняют на человека зрелого ума все эти чисто описательные пьесы и повести, столь превозносимые критикой. Все эти бесчисленные, нескончаемые зарисовки из жизни, романы и литературные портреты, но ни одной общей теории зарисовок, ни одной гипотезы в объяснение романов и портретов. Только гигантское скопище фактов, свидетельствующих о похоти и жадности, о страхе и честолюбии, о долге и симпатиях; только факты, да к тому же еще и воображаемые, и никакой связующей философии, которая возвышалась бы над здравым смыслом и местной системой условностей, никакого упорядочивающего принципа, который мог бы заменить простые эстетические соображения. А сколько чепухи нагородили те, кто брался пролить свет на эту мешанину фактов, причудливо переплетенных с фантазиями! К примеру, вся эта напыщенная болтовня о Региональной Литературе — словно в том, чтобы записывать случаи проявления похоти, жадности и гражданской сознательности жителями своей страны, говорящими на местном наречии, есть какая-то особенная, выдающаяся заслуга! Или еще: набирают факты из жизни городской бедноты и делают попытку подогнать их под определения какой-нибудь постмарксистской теории, которая, возможно, отчасти и верна, однако всегда неуместна. И тогда это называется Шедевром Пролетарской Прозы. Или еще: кто-нибудь намарает очередную книжонку, возвещающую, что Жизнь Свята; под этим обычно подразумевается, что всякие проявления человеческой натуры, как-то: обман, пьянство, разнузданность, сентиментальность — целиком согласованы с Господом Богом, а посему вполне допустимы и даже добродетельны. И тогда критики сразу начинают толковать о высокой гуманности автора, о его мудром милосердии, о его сродстве с великим Гёте и влиянии на него Уильяма Блейка *.

Пит улыбнулся, думая об этом, хотя в улыбке его была доля грусти; ведь он и сам прежде воспринимал подобные писания с той серьезностью, на которую претендовал их высокопарный слог.

Неоправданная серьезность — источник многих наших роковых ошибок. Серьезно, говорил мистер Проптер, следует относиться лишь к тому, что этого заслуживает. А на чисто человеческом уровне серьезного отношения не заслуживает ничто, кроме страдающих людей, которые обязаны своими бедами собственным преступлениям и недомыслию. Но если разобраться как следует, эти преступления и недомыслие чаще всего являются

результатом слишком серьезного отношения к вещам, которые этого не заслуживают. Кстати, продолжал мистер Проптер, это и есть еще один огромный недостаток так называемой хорошей литературы: она принимает условную шкалу ценностей; уважает власть и положение; восхищается успехом; полагает разумными самые сумасшедшие предрассудки государственных деятелей, бизнесменов, влюбленных, карьеристов, родителей. Словом, всерьез относится как к самому страданию, так и к причинам страдания. Она способствует увековечению человеческих несчастий, явно или неявно одобряя те мысли, чувства и поступки, которые ни к чему, кроме несчастий, привести не могут. И преподносится это одобрение в самой великолепной и убедительной форме. Так что, даже прочитав трагедию, то есть пьесу с плохим концом, читатель бывает заворожен авторским красноречием и воображает, будто во всем этом есть нечто мудрое и благородное. Хотя на самом деле это, конечно, не так. Ведь если посмотреть непредвзято, нет ничего более глупого и жалкого, чем темы, положенные в основу «Федры», или «Отелло», или «Грозового перевала», или «Агамемнона» *. Но благодаря гениальной обработке темы эти засверкали, стали волнующими, и потому читатель или зритель остается при своем убеждении, будто бы, несмотря на случившуюся катастрофу, повинный в ней мир — этот слишком человеческий мир — устроен не так уж плохо. Нет, хорошая сатира, по существу, гораздо правдивей и, конечно же, гораздо полезнее, чем хорошая трагедия. Беда в том, что хорошая сатира — очень редкая штука; ведь очень немногие сатирики отваживаются заходить в своей критике общепринятых ценностей достаточно далеко. «Кандид» *, например, замечателен в своем роде; но он не идет дальше развенчания основных человеческих деяний, совершаемого во имя идеала безвредности. Что ж, это верно: большинству людей стоило бы стремиться к безвредности как к наивысшему идеалу, ибо, хотя немногие способны творить добро в позитивном смысле, нет такого человека, который не мог бы при желании воздержаться от зла. Тем не менее одна безвредность, как бы ни была она хороша, отнюдь не представляет собой высочайшего из всех возможных идеалов. Il faut cultiver notre jardin [1] не есть последнее слово человеческой мудрости; разве что предпоследнее.

Солнце светило так, что, спускаясь с холма, Пит увидел две маленькие радуги у грудей нимфы Джамболоньи. В голове его сразу же возникла мысль о Ное * и одновременно — о Вирджинии в белом атласном купальнике. Он попытался прогнать вторую мысль как несовместимую с новым, драгоценным для него образом сестры милосердия; а поскольку Ной не мог дать особенной пищи для размышлений, он вновь окунулся в воспоминания — на сей раз о беседе с мистером Проптером насчет секса. Начало ей положили его собственные недоуменные расспросы о том, что считать нормальной половой жизнью — не в статистическом смысле, конечно, а в том абсолютном, в каком может быть названо нормальным безупречное, ничем не нарушаемое пищеварение. Какой тип половой жизни нормален в этом смысле слова? И мистер Проптер ответил: никакой. Но должен же быть эталон, запротестовал он. Если добро может проявляться на животном уровне, то должен быть тип половой жизни, который абсолютно нормален и естествен, как есть абсолютно нормальный и естественный процесс усвоения пищи. Но половая жизнь человека, ответил мистер Проптер, лежит на ином уровне, нежели пищеварение. У крыс — у тех да, у них отношения полов лежат на том же уровне, что и усвоение пищи: ведь у них все происходит инстинктивно; другими словами, контролируется физиологическим разумом тела, который регулирует совместную работу сердца, легких и почек, поддерживает нужную температуру, питает мышцы и заставляет их производить необходимые сокращения по сигналам центральной нервной системы. Работа человеческого организма контролируется тем же физиологическим разумом тела; благодаря этому-то разуму на животном уровне и проявляется добро. Но половая жизнь находится у лю-

---

[1] Надо возделывать свой сад *(франц.)*.

дей почти совершенно вне юрисдикции этого физиологического разума. Он контролирует лишь клеточную активность, которая делает половую жизнь возможной. Все остальное осуществляется помимо инстинкта, на чисто человеческом уровне самосознания. Даже люди, думающие, будто они проявляют свою сексуальность как самые настоящие животные, все-таки остаются на человеческом уровне. Это значит, что они сознают свое «я», мыслят словесными категориями — а где слова, там обязательно память и желания, суждения и фантазии; там сразу появляются прошлое и будущее, реальное и воображаемое, сожаления и предчувствия, добро и зло, похвальное и постыдное, прекрасное и безобразное. Самая звериная эротика в отношениях мужчин и женщин всегда связана с какими-то из этих неживотных факторов — факторов, которые привносит в любую человеческую ситуацию наличие языка. Это означает, что нет единственного типа человеческой сексуальности, который может быть назван «нормальным» в том смысле, в каком говорят о нормальном зрении или пищеварении. В этом смысле все виды человеческой сексуальности абсолютно ненормальны. О различных типах половой жизни нельзя судить, соотнося их с каким-либо естественным эталоном. О них можно судить лишь в связи с конечными целями каждого индивидуума и результатами, которых он добивается. Если, скажем, человек хочет, чтобы о нем сложилось хорошее мнение в конкретном обществе, он или она может без всякого риска принять за «нормальный» тот тип половой жизни, который в настоящее время допускается местной религией и одобряется «лучшими людьми». Однако бывают индивидуумы, придающие мало значения тому, что подумает о них гневливый Бог или даже лучшие люди. Их главная цель — как можно чаще испытывать острые ощущения и сильные чувства. Они, очевидно, представляют себе «нормальную» половую жизнь совсем не так, как более примерные члены общества. Далее, существует множество разновидностей сексуальной жизни, «нормальных» для людей, желающих взять все лучшее от обоих миров — мира своих личных ощущений и эмоций и мира общественных, то есть моральных и религиозных, соглашений. К ним относятся «эталоны» Тартюфа и Пекснифа, «эталоны» священников, охочих до школьниц, и членов кабинета, имеющих тайное пристрастие к симпатичным мальчикам. И наконец, есть те, кто не заботится ни о преуспеянии в обществе, ни об умилостивлении местного божества, ни о том, как бы побольше пережить и перечувствовать, но желают в первую очередь просветления и освобождения, хотят решить проблему выхода за пределы личности, подняться с человеческого уровня на уровень вечности. Их понятия о «нормальной» половой жизни далеки от эталонов всех остальных категорий.

На теннисном корте дети повара-китайца запускали воздушных змеев в виде птиц, снабженных маленькими свистками и печально щебечущих под порывами ветра. Ушей Пита достигали радостные возгласы на кантонском диалекте, напоминающие кряканье уток. По ту сторону Тихого океана, мелькнуло у Пита в мыслях, миллионы и миллионы таких вот ребятишек умирают или уже умерли. Внизу, в Священном гроте, стояла гипсовая статуя Пресвятой Девы. Пит подумал о коленопреклоненной Вирджинии в белых шортах и спортивной кепочке, о страстных обвинительных речах его преподобия Шлица, о шутках доктора Обиспо, о высказываниях Алексиса Карреля * насчет Лурда, об «Истории инквизиции» Ли, о словах Тони про связь между капитализмом и протестантизмом, о Нимёллере *, и Джоне Ноксе *, и Торквемаде *, и о той сестре милосердия, и вновь о Вирджинии, и, наконец, опять о мистере Проптере — единственном среди его знакомых, способном помочь хоть немного разобраться во всей этой невероятной, немыслимой, дьявольской путанице.

Глава шестая

К легкому разочарованию Джереми, Обиспо нимало не огорчило то обстоятельство, что его идеи были предвосхищены в восемнадцатом веке.

— Расскажите-ка мне еще что-нибудь про вашего Пятого графа,—

произнес он, когда они вместе с Вермеером плавно заскользили в подвал.— Он, стало быть, прожил девяносто лет?

— Даже больше,— ответил Джереми,— девяносто шесть то ли девяносто семь, не помню точно. И умер, между прочим, в разгаре скандала.

— Какого такого скандала?

Джереми кашлянул и похлопал себя по макушке.

— Самого обыкновенного,— мелодичным голосом промолвил он.

— Вы хотите сказать, что этот старый пень был еще в состоянии?..— недоверчиво спросил Обиспо.

— В состоянии,— повторил Джереми.— Я читал кое-что об этом деле в неопубликованных бумагах Гревиля *. Он умер как раз вовремя. Его собирались арестовать.

— За что?

Джереми снова мигнул и покашлял.

— Ну,— сказал он медленно и с интонацией, живо напоминающей «Крэнфорд» *,— похоже, что он имел привычку развлекаться несколько кровожадным способом.

— Убил, что ли, кого-нибудь?

— Не то чтобы убил,— ответил Джереми.— Скорее, побил.

Обиспо был сильно разочарован, но тут же утешил себя соображением, что девяностошестилетнему старцу и такой поступок делает честь.

— Я бы с удовольствием еще в этом покопался,— добавил он.

— Что ж, дневник в вашем распоряжении,— вежливо сказал Джереми.

Обиспо поблагодарил его. Вдвоем они направились к хранилищу, где Джереми корпел над архивом.

— Почерк у него довольно неразборчивый,— предупредил Джереми, когда они вошли.— По-моему, будет лучше, если я почитаю вам вслух.

Обиспо возразил, что не хочет отвлекать Джереми от работы; однако, поскольку его спутник искал предлог для того, чтобы отложить сортировку скучных документов до другого раза, это возражение было встречено контрвозражением. Джереми упорствовал в своих альтруистических намерениях. Обиспо сказал «спасибо» и уселся слушать. Джереми лишил свои глаза их привычной среды обитания на время, потребное для протирки очков, затем начал перечитывать вслух запись, на которой остановился утром, когда позвонили к ленчу.

— «Он должен быть найден в речной Тине,— заключил он,— и ожидает лишь искусного Удильщика».

Обиспо издал смешок.

— Да это прямо определение науки,— сказал он.— Что такое наука? Ужение в речной тине — стараешься выудить или бессмертие, или вообще что-нибудь, что подвернется.— Он снова отпустил смешок и добавил, что старикан ему нравится.

Джереми продолжал читать:

— «Август 1796. Сегодня эта трещотка, моя племянница Каролина, упрекнула меня в том, что, по ее словам, называется Непоследовательностью Поведения. Человек, гуманно относящийся к Лошадям в своей конюшне, Оленям в своем парке и Карпам в своем пруду, должен проявить Последовательность, став более общительным, чем я, более терпимым к компании Дураков, более доброжелательным к простым и бедным людям. На это я заметил, что само слово «Человек» есть общее Название для цепочек непоследовательных Действий, совершаемых двуногим и лишенным перьев Телом, и что такие слова, как Каролина, Джон и прочие, обозначают конкретные цепочки непоследовательных Действий, совершаемых конкретными Телами. До сих пор Человечество было последовательным только в одном — в своей Непоследовательности. Иными словами, природа каждой конкретной цепочки непоследовательных Действий зависит от истории личности и ее предков. Всякая цепочка Непоследовательностей определена заранее — она строится по Законам, налагаемым на нее предшествующими Обстоятельствами. Называя Поведение Индивида последовательным, мы имеем в виду лишь то, что его Действия в своей непо-

следовательности не могут выйти за предписанные этими Законами рамки. Однако Последовательность, или Сообразность, которой требует Каролина и подобные ей Дураки, совсем другого сорта. Они упрекают нас за то, что наши Поступки не сообразуются с неким произвольным набором Предрассудков или с каким-нибудь смехотворным кодексом поведения — Еврейским, Джентльменским, Ирокезским или Христианским. Такой Сообразности достигнуть нельзя: попытка ее достигнуть приводит к Лицемерию или Слабоумию. Посмотри, предложил я Каролине, на свое собственное Поведение. Ну скажи, пожалуйста, какая Сообразность существует между твоими разговорами с Деканом об Искуплении и теми Драконовскими побоями, коим ты подвергаешь девушек-служанок? между твоими показными благодеяниями и капканами на людей в твоих усадьбах? между твоими появлениями при Дворе и твоим chaise percée [1]? или между воскресной службой в церкви и теми развлечениями, коим ты предаешься по субботам с мужем, а по пятницам или четвергам, как всем известно, с неким Баронетом — умолчим о его имени? Но прежде, чем я закончил последний вопрос, Каролина вышла из комнаты».

— Бедняжка Каролина,— усмехнувшись, сказал Обиспо.— Что ж, сама виновата.

Джереми начал читать следующую запись:

— «Декабрь 1796. После второго приступа легочной гиперемии Выздоровление шло медленнее, чем раньше, и восстановило мои силы в еще меньшей степени. Я висел над бездной на одной-единственной ниточке, и имя этой ниточке — Страдание».

Элегантно оттопырив мизинец, Обиспо стряхнул пепел с сигареты на пол.

— Обычная для тех времен фармацевтическая трагедия,— прокомментировал он.— Курс лечения тиаминхлоридом плюс немного тестостерона, и он бы у меня стал как новенький. Вам никогда не приходило в голову,— добавил он,— что львиная доля всех романтических произведений появилась на свет благодаря дурным врачам?

> Я б, лежа, как усталое дитя,
> Всю жизнь проплакал горькими слезами.

Прелестно! Но если бы тогда знали, как избавить беднягу Шелли от хронического туберкулезного плеврита, эти строки никогда не были бы написаны. Потому что лежать, как усталое дитя, и плакать горькими слезами — один из самых характерных симптомов туберкулезного плеврита. Да и прочие выразители Weltschmerz [2] были, как правило, или больными людьми, или алкоголиками, или наркоманами. Любого из них я мог бы запросто лишить поэтического дарования.— Обиспо поглядел на Джереми с волчьей усмешкой; в ее откровенной торжествующей циничности было что-то почти детское.— Ну-ну, послушаем, как старикан будет выпутываться из этой передряги.

— «Декабрь 1796,— читал Джереми.— Кружащие около меня гиены стали такими навязчивыми, что вчера я решил от них избавиться. Я попросил оставить меня в покое, однако Каролина и Джон принялись возражать, сопровождая свои протесты бурными излияниями родственных чувств. В конце концов я вынужден был сказать, что, если они не уедут завтра к полудню, я велю своему Управляющему прислать дюжину молодцов, которые выставят их из моего Дома. Сегодня утром, из окна, я наблюдал их отъезд».

Следующая запись была помечена 11 января 1797 года.

— «В этом году я встречаю свой день рождения с гораздо более мрачными Мыслями, чем прежде. У меня нет сил их записывать. Погода сегодня была прекрасная, необычайно теплая для зимы, и меня вместе с креслом перенесли на пруды. Зазвенел колоколец, и Карпы в спешке устремились к месту кормления. Наблюдать за этими жестокими

[1] Стульчаком *(франц.)*.
[2] Мировой скорби *(нем.)*.

Тварями — одно из немногих пока еще доступных мне удовольствий. Их тупость лишена всяких претензий, а агрессивность зависит только от Аппетита и потому проявляется только временами. Люди же демонстрируют жестокость систематически и постоянно; свои глупые поступки оправдывают Религией и Политикой, а свое невежество рядят в пышные одежды Философии.

Пока я наблюдал, как эти Рыбины, тесня и толкая друг друга, стараются отвоевать себе обед, словно дерущиеся за высокий пост Священники, мои мысли вернулись к тому непростому Вопросу, который так часто занимал меня прежде. Почему человек умирает в семьдесят лет, а Рыба, прожившая два-три столетия, еще полна Сил и Здоровья? Я обсудил сам с собой несколько возможных ответов. Когда-то я, например, считал, что более долгий век Карпа и Щуки объясняется превосходством их Водной Среды над нашим Воздухом. Но жизнь некоторых подводных Тварей коротка, а отдельные виды Птиц живут дольше человека.

Затем я спросил себя, не обязаны ли Рыбы своим долголетием особой манере зачинать и выводить Потомство. Однако и тут у меня возникли серьезные Возражения. Самцы Попугаев и Воронов не онанируют, но совокупляются с самками; Слонихи не откладывают яиц, но вынашивают плод, если верить мсье де Бюффону *, в течение двадцати четырех месяцев. Но Попугаи, Вороны и Слоны живут долго; из чего мы должны заключить, что причины краткости нашей жизни иные, нежели способ, коим Мужчины оплодотворяют Женщин, а те воспроизводят человеческий Род.

Единственная Гипотеза, против которой я не нахожу явных возражений, такова: Пища Рыб, подобных Карпам и Щукам, содержит некое вещество, предохраняющее их Тела от Порчи, коей подвергается большинство Животных еще до своей Смерти; с другой стороны, вещество, защищающее от Порчи, должно наличествовать и внутри рыбьего Тела, особенно, что естественно предположить, в Желудке, Печени, Кишках и прочих Органах, где перемешивается и усваивается Пища. У Животных же, чей век короток— например, у Человека,— препятствующие Порче Вещества, видимо, отсутствуют. Возникает вопрос, можно ли ввести эти Вещества, взятые из рыбьего Тела, в человеческое. История не сохранила заслуживающих интереса упоминаний о случаях долгожительства среди прибрежного Населения; да и сам я никогда не замечал, чтобы обитатели портов и других мест, где часто едят Рыбу, отличались особым долголетием. Однако из этого нельзя делать вывод, что препятствующее Порче Вещество не может быть получено Человеком от Рыбы. Ибо прежде, чем есть Рыбу, Человек ее варит; но Нагревание весьма заметно влияет на свойства многих Веществ, о чем говорит нам тысяча примеров; более того, Человек выбрасывает как непригодные в Пищу именно те Органы Рыб, в коих разумнее всего искать препятствующее Порче Вещество».

— Господи Иисусе! — вскричал Обиспо, не в силах долее сдерживаться.— Только не говорите мне, что старый дурень собирается есть рыбьи потроха в сыром виде!

Глаза Джереми, блестя за стеклами очков, скользнули по странице и мигом очутились на следующей.

— Вы угадали! — торжествующе воскликнул он.— Вот послушайте: «Три первые попытки вызвали у меня непроизвольную тошноту, и я не смог ничего проглотить; четвертая была успешнее; однако радость оказалась преждевременной — через две-три минуты меня вырвало. Только с девятой или десятой попытки мне удалось проглотить и удержать в себе несколько ложечек тошнотворного фарша».

— Вот это называется мужество! — сказал Обиспо.— По мне, лучше воздушный налет, чем такие опыты.

Тем временем Джереми не отрывал глаз от записной книжки.

— «Прошел уже месяц с тех пор, как я начал проверять свою Гипотезу,— прочитал он.— Теперь я каждый день принимаю не менее шести унций сырых протертых кишок свежепотрошеного Карпа».

— А в этой рыбе,— медленно покачав головой, сказал Обиспо,—

больше разновидностей червей-паразитов, чем у любого другого животного. У меня просто волосы дыбом встают, когда я вас слушаю.

— Вам не о чем беспокоиться,— сказал Джереми, продолжая читать.— Его светлость чувствует себя все лучше и лучше. Здесь отмечается «необыкновенный прилив Бодрости и Сил в течение месяца Марта». Не считая «возвращения аппетита, хорошей памяти и глубокоумия». Какая прелесть это глубокоумие,— тоном знатока заметил Джереми.— Великолепный обломок эпохи, вы не находите? Настоящее чиппендейловское * слово! — Некоторое время он читал про себя, затем радостно объявил: — В апреле он уже совершает «часовые послеобеденные прогулки верхом на гнедом мерине». А ежедневная доза того, что он называет «пюре из потрохов и фекалий», достигла десяти унций.

Обиспо вскочил со стула и принялся возбужденно мерить шагами комнату.

— Черт побери! — выпалил он.— Это уже не шутка. Это серьезно. Сырые рыбьи потроха; кишечная флора; блокировка отравления стеринами; и омоложение. Омоложение! — повторил он.

— Граф более осторожен, чем вы,— сказал Джереми.— Послушайте-ка. «Я еще не могу определить, чему обязан своим новообретенным здоровьем — Карпам, приходу Весны или Vis medicatrix Naturae [1]».

Обиспо одобрительно кивнул.

— Правильный подход,— сказал он.

— «Что касается точного ответа,— продолжал Джереми,— то время покажет; разумеется, если я ему поспособствую, что я и намерен сделать путем соблюдения нынешнего Режима. Ибо Гипотеза моя, пожалуй, будет подтверждена, если по прошествии некоторого срока я обрету не только прежнее здоровье, но и заряд Бодрости, коим обладал лишь в юношеские годы».

— Браво! — воскликнул Обиспо.— Хотел бы я, чтобы Дядюшка Джо научился смотреть на вещи, как этот граф, с научной точки зрения. Впрочем,— добавил он, вдруг вспомнив о нембутале и детской вере Стойта в его медицинское всемогущество,— впрочем, я бы этого не хотел. Это повлекло бы за собой определенные неудобства.— Он усмехнулся своей шутке, понятной ему одному.— Ну-с, давайте почитаем дальше историю болезни,— прибавил он.

— В сентябре он уже может, не уставая, ездить верхом по три часа подряд,— сказал Джереми.— Затем он возобновил свое знакомство с греческой литературой и, как я вижу, очень нелицеприятно отзывается о Платоне. После чего мы не имеем записей до 1799 года.

— Не имеем записей до 1799 года! — негодующе повторил Обиспо.— Старый хрыч! Это ж надо — бросить на самом интересном месте и оставить нас с носом!

Улыбаясь, Джереми глянул на него поверх дневника.

— Ну не совсем с носом,— сказал он.— Я прочту вам первую запись после двухлетнего перерыва, и вы сами сможете сделать вывод относительно состояния его кишечной флоры.— Он слегка откашлялся и начал читать в своей обычной манере «под миссис Гаскелл».— «Май 1799. Самыми отъявленными Распутницами, особенно среди знатных Дам, очень часто оказываются те, кого злая Природа лишила естественного повода и оправдания для любовных Интриг. Не способные испытывать Наслаждение благодаря врожденной Холодности, они никак не желают примириться со своей Судьбой. Причина, которая побуждает этих Дам умножать число любовных Связей, заключается не в их Чувственности, но в Надежде; не в желании вновь испытать знакомое Блаженство, но, скорее, в стремлении познать наконец то обыкновенное, всеми вокруг превозносимое Счастье, в коем им было так жестоко отказано. Легкодоступные женщины часто вызывают у Сластолюбцев столь же глубокое Отвращение, что и у строгих моралистов, хотя и по иным мотивам. Да сохранит меня в будущем Бог от

---

[1] Целительной силе Природы *(лат.)*.

таких Побед, какую я одержал в Бате этой Весной!» — Джереми отложил дневник.— Ну как, вы все еще считаете, что вас оставили с носом? — спросил он.

Глава седьмая

Вращающийся ролик, покрытый наждачной бумагой, с оглушительным визгом коснулся шершавой поверхности дерева. Согнувшись над верстаком с электрической шлифовальной машинкой в руках, Проптер не слыхал шагов Пита. Долгих полминуты юноша молча наблюдал, как он водит машинкой по доске взад и вперед. В его косматые брови, заметил Пит, набились опилки; на загорелом лбу, там, где он дотронулся до него масляной рукой, чернело пятно.

Пит почувствовал внезапный укол совести. Нехорошо наблюдать за человеком, если он не знает о твоем присутствии. Получается, будто подглядываешь тайком: можешь увидеть что-нибудь такое, что он не хотел бы открывать другим людям. Он окликнул Проптера по имени.

Старик поднял глаза, улыбнулся и остановил свою маленькую машинку.

— А, Пит,— сказал он.— Ты-то мне и нужен. Если, конечно, согласишься поработать немного. Как ты на этот счет? Ах да, я забыл,— добавил он, не дав Питу ответить согласием,— забыл, что у тебя нелады с сердцем. Ох уж эти ревматизмы! Думаешь, ничего страшного?

Пит чуть покраснел, ибо он еще не успел изжить легкое чувство стыда за свою неполноценность.

— Вы же не заставите меня бегать стометровку, правда?

Хозяин пропустил его шутливый вопрос мимо ушей.

— Ты уверен, что вреда не будет? — настойчиво повторил он, с ласковой серьезностью вглядываясь в лицо юноши.

— Да, если речь только об этом,— Пит кивнул на верстак.

— Честно?

Пит был искренне тронут такой заботой о его здоровье.

— Честно! — заверил он.

— Ну тогда порядок,— сказал Проптер, окончательно успокоенный.— Считай, что я тебя нанял. То есть не «нанял», поскольку тебе повезет, если ты получишь за свой труд хотя бы стакан кока-колы. Считай, что ты просто мобилизован.

Все остальные его помощники, объяснил он, сейчас заняты. Приходится одному управляться с целой мебельной фабрикой. А время поджимает: у трех семей сезонников, там, в хижинах, до сих пор нет ни столов, ни стульев.

— Вот размеры,— промолвил он, указывая на приколотый к стене листок бумаги.— А там материал. А теперь слушай, что нужно сделать в первую очередь,— добавил он, поднимая доску и укладывая ее на верстак.

Некоторое время они работали вдвоем, не пытаясь перекричать шум электроинструментов. Потом в работе наступило недолгое затишье. Слишком робкий для того, чтобы сразу завести речь о предмете своих затруднений, Пит заговорил о новой книге профессора Перла *, посвященной демографическим проблемам. Сорок душ на квадратную милю в среднем по планете. Шестнадцать акров на человека. Отбросьте около половины земель как бесплодные, и получите восемь акров. А современные агрикультурные методы, тоже в среднем, позволяют прокормить одного человека с двух-трех акров. Стало быть, на каждую душу выходит по пять с половиной акров лишку — так почему же треть мира голодает?

— А я думал, ты уже нашел ответ в Испании,— сказал Проптер.— Голодают, потому что человек не может жить одним хлебом.

— При чем тут это?

— Как при чем? — ответил Проптер.— Люди не могут жить одним хлебом, поскольку им необходимо чувствовать, что их жизнь имеет смысл.

Поэтому они и обращаются к идеализму. Но опыт и наблюдение говорят нам, что в большинстве случаев идеализм ведет к войне, террору и массовому помешательству. Человек не может жить одним хлебом; но если выбранная им духовная пища не того сорта, он рискует остаться и без хлеба. Он и останется без хлеба, потому что будет занят по горло, убивая или замышляя убийство своих соседей во имя Бога, Родины или Социальной Справедливости, а до работы на полях у него не дойдут руки. Нет ничего более простого и очевидного. Но, к сожалению,— заключил Проптер,— есть еще одна очевидная вещь: большинство людей будет и дальше неправильно выбирать духовную пищу, а значит, косвенным образом навлекать на себя беду.

Он включил ток, и шлифовальная машинка снова пронзительно завизжала. Разговор опять прервался.

— При нашем-то климате,— сказал Проптер, когда шум стих в очередной раз,— да с таким количеством воды, какое со следующего года начнет давать новый акведук на Колорадо, здесь можно делать практически все что угодно.— Он отключил от сети шлифовальную машинку и пошел за дрелью.— Возьми небольшой поселок в тысячу жителей, дай им три-четыре тысячи акров земли и достаточно производственных и потребительских кооперативов — и они полностью себя прокормят; они смогут на месте удовлетворить около двух третей остальных своих потребностей; а излишков у них вполне хватит на то, чтобы путем обмена восполнить все недостающее. Такими поселками ты можешь покрыть весь штат. Конечно, лишь в том случае,— с довольно мрачной улыбкой прибавил он,— если получишь разрешение от банков и найдешь людей достаточно умных и честных, чтобы соблюсти настоящую демократию.

— Банки наверняка не согласятся,— сказал Пит.

— Да и нужных людей найдется, скорее всего, очень немного,— добавил Проптер.— А ведь начинать социальный эксперимент с неподходящими людьми — значит заранее обречь его на провал. Вспомни попытки организовать коммуны у нас в стране. Например, Роберта Оуэна, фурьеристов и прочую братию. Десятки социальных экспериментов, и все потерпели неудачу. Почему? Да потому, что никто не выбирал людей. Не было ни вступительного экзамена, ни испытательного срока. Принимали всех, кто подвернется. Вот они, результаты излишнего оптимизма по отношению к человеческой природе.

Он включил дрель, а Пит в свой черед взялся за шлифовальную машинку.

— Вы считаете, оптимистом быть плохо? — спросил юноша.

Проптер улыбнулся.

— Какой странный вопрос! — ответил он.— Что ты сказал бы о человеке, который ставит вакуумный насос на пятидесятифутовую скважину? Ты бы назвал его оптимистом?

— Я бы назвал его дураком.

— И я тоже,— сказал Проптер.— Вот тебе и ответ на твой вопрос: дурак тот, кто, невзирая на прошлый опыт, проявляет оптимизм в ситуации, не дающей для этого никаких оснований. Когда Роберт Оуэн набрал целую толпу дефективных, недоучек и закоренелых ворюг и решил создать с ними новый, лучший тип общества, он показал себя круглым дураком.

Наступила пауза; Пит сменил шлифовалку на пилу.

— Кажется, у меня дурацкого оптимизма тоже хватало,— задумчиво сказал юноша, когда доски были распилены.

Проптер кивнул.

— В некоторых отношениях ты и правда был чересчур оптимистичен,— согласился он.— Зато в других, наоборот, грешил излишним пессимизмом.

— Например? — спросил Пит.

— Ну для начала,— сказал Проптер,— ты слишком оптимистично относился к социальным преобразованиям. Воображал, будто добро можно фабриковать методами массового производства. Но, как это ни досадно,

добро — не тот товар. Добро есть продукт тонкой духовной работы, и производится оно только отдельными людьми. А если люди не знают, в чем оно состоит, или не желают трудиться ради него — тогда, понятно, ему неоткуда будет взяться даже при самом безупречном общественном строе. Ну вот! — произнес он другим тоном и выдул опилки из только что просверленного отверстия.— А теперь на очереди ножки и перекладины для стульев.— Он пересек комнату и принялся регулировать токарный станок.

— А к чему я, по-вашему, относился с излишним пессимизмом? — спросил Пит.

Не подымая глаз от станка, Проптер ответил:

— К человеческой природе.

Пит был удивлен:

— Я-то думал, вы скажете, что я смотрел на человеческую природу чересчур оптимистично,— сказал он.

— Что ж, в некотором смысле верно и это,— согласился Проптер.— Подобно большинству людей в наше время, ты проявляешь безрассудный оптимизм по отношению к людям, как они есть, к людям, существующим только на человеческом уровне. Воображаешь, что люди могут остаться такими, как есть, и при этом жить в мире, заметно улучшенном по сравнению с нашим. Но мир, в котором мы живем, является результатом прошлых человеческих деяний и отражением человечества в его нынешнем виде. Очевидно, что если люди останутся такими же, как прежде и сейчас, то и мир, в котором они живут, не улучшится. Думая иначе, ты проявляешь оптимизм, граничащий с безумием. Но в то же время ты — заядлый пессимист, если считаешь, будто люди по самой своей природе обречены всю жизнь прозябать на чисто человеческом уровне. Слава Богу,— с ударением сказал он,— это не так. В их власти подняться вверх, выйти на уровень вечности. Ни одно человеческое общество не сможет стать заметно лучше, чем теперь, если в нем не имеется значительной доли сограждан, знающих, что их человечность — не последнее слово, и сознательно пытающихся вырваться за ее пределы. Вот почему нужно быть глубоким пессимистом по отношению к вещам, на которые большинство людей смотрит с оптимизмом,— это и прикладная наука, и социальные реформы, и человеческая природа, какова она в среднем мужчине или женщине. И вот почему нужно видеть источник настоящего оптимизма в том, о существовании чего многие даже не знают, до того они пессимистичны,— в возможности преобразовать и преодолеть человеческую природу. И не путем эволюции, не в каком-нибудь отдаленном будущем, но в любое время — если угодно, здесь и сейчас — с помощью верно сориентированного ума и доброй воли.

Он включил станок на пробу, затем остановил, чтобы еще немного подрегулировать.

— Между прочим, оптимизм и пессимизм такого рода характерны для всех великих религий,— добавил он.— Пессимизм касательно мира в целом и человеческой природы, как она проявляется у большинства мужчин и женщин. Оптимизм относительно вещей, доступных каждому, было бы только желанье да умение.— Он опять включил станок, на сей раз окончательно.

— Тебе знаком пессимизм Нового Завета,— продолжал он, повысив голос, чтобы перекрыть шум.— Пессимизм, относящийся к человечеству в массе: много званых, да мало избранных. Пессимизм, касающийся слабости и неведения: у неимеющих отнимется и то, что имеют. Пессимизм по отношению к жизни на обыкновенном человеческом уровне; ибо если хочешь достичь иной, вечной жизни, этой жизнью следует пожертвовать. Пессимизм по отношению даже к самым высоким формам светской морали: в царство небесное нет доступа тому, чья праведность не лучше праведности книжников и фарисеев. Но кто такие книжники и фарисеи? Просто-напросто самые уважаемые граждане; столпы общества; люди с правильным образом мыслей. И несмотря на это — вернее, именно поэтому,— Иисус называет их ехидниным отродьем *. Ах, доктор Малдж, доктор Малдж! — в скобках добавил он.— Солоно тебе пришлось бы, повстречай

ты своего Спасителя! — Склоненный над станком, Проптер улыбнулся.— Ну вот; такова, стало быть, пессимистическая сторона евангельского учения,— продолжал он.— И те же самые вещи ты найдешь в священных книгах буддистов и индуистов, только там они систематизированы и изложены более философским языком. Мир как он есть и люди на чисто человеческом уровне не внушают ни малейшей надежды — таков общий приговор. Надежда появляется лишь тогда, когда человеческие существа начинают понимать, что царство небесное, или как бы тебе ни заблагорассудилось его назвать, находится внутри них и может быть достигнуто всяким, кто готов предпринять необходимые усилия. Вот в чем оптимистическая сторона христианства и прочих мировых религий.

Проптер остановил станок, вынул обточенную ножку стула и приладил на ее место другую.

— Это вовсе не тот оптимизм, которому учат в либеральных церквах *,— сказал Пит, вспоминая свой переходный период между пастором Шлицем и воинствующим антифашизмом.

— Конечно,— согласился Проптер.— То, чему учат в либеральных церквах, не имеет ничего общего ни с христианством, ни с любой другой реалистической религией. По большей части это обыкновенная чушь.

— Чушь?

— Чушь,— повторил Проптер.— Гуманизм начала двадцатого века, сдобренный евангелическими воззрениями девятнадцатого. Ну и сочетаньице! Гуманизм уверяет, будто добро может быть найдено на том уровне, где его нет, и отрицает факт существования вечности. Евангелическая доктрина отрицает связь между причинами и следствиями, утверждая, будто существует божественная личность, способная прощать грехи. Они как Джек Спрэт и его жена *: поставив между собой тарелку со смыслом, вылизывают ее дочиста. Нет, я не прав,— прибавил Проптер сквозь жужжание станка,— не совсем дочиста. Гуманисты говорят не более чем об одном народе, евангелический Бог — только один. Эту последнюю каплю смысла слизывают патриоты. Патриоты и политические сектанты. Они поклоняются сотне враждебных друг другу идолов. «Богов на свете много, и местные политические заправилы — пророки их» *. Благожелательная глупость либеральных церквей не так уж плоха для мирных времен; но заметь, что во времена кризиса она всегда дополняется ярыми безумствами национализма. И на этой-то философии воспитывается молодое поколение. С помощью этой философии, как полагают оптимистически настроенные взрослые, вы измените мир.— Проптер ненадолго замолчал, потом добавил: — «Что посеешь, то и пожнешь. Бог поругаем не бывает». Не бывает,— повторил он.— Но люди просто не хотят в это верить. Им все кажется, что они могут бросить вызов природе вещей, и это сойдет им с рук. Раньше я подумывал написать небольшой трактатик, вроде поваренной книги; я бы назвал его «Сто способов поругания Бога». И взял бы из истории и современной жизни сотню примеров, демонстрирующих, что́ бывает, когда люди гнут свою линию, не желая считаться с природой вещей. Можно было бы разделить эту книгу на главы: «Поругание Бога в сельском хозяйстве», «Поругание Бога в политике», «Поругание Бога в системе образования», «Поругание Бога в философии», «Поругание Бога в экономике». Полезная вышла бы книжица. Только невеселая,— добавил Проптер.

Глава восьмая

Сообщение дневника о том, что на восемьдесят втором году жизни Пятый граф стал отцом троих незаконнорожденных детей, отличалось поистине аристократической сдержанностью. Никакой похвальбы, никакого самолюбования. Всего лишь краткая, спокойная констатация факта между пересказом беседы с герцогом Веллингтоном и замечанием о музыке Моцарта. Сто двадцать лет спустя доктор Обиспо, отнюдь не являющийся английским джентльменом, возликовал так шумно, словно это достижение было его собственным.

— Трое, черт побери! — вскричал он с чисто пролетарским восторгом.— Трое! Что вы на это скажете?

Воспитанный с Пятым графом в одной традиции, Джереми сказал, что это неплохо, и продолжал читать.

В 1820-м граф опять заболел, но не очень серьезно; трехмесячный курс лечения сырыми потрохами карпа вернул ему прежнее здоровье — по его словам, «здоровье человека во цвете лет».

Годом позже, впервые за четверть века, он навестил племянника с племянницей и был весьма удовлетворен, обнаружив, что Каролина превратилась в сварливую старуху, что Джон уже успел облысеть и страдает астмой, а их старшая дочь так заплыла жиром, что никто не хочет брать ее замуж.

По поводу смерти Бонапарта он философски заметил, что человек, не способный утолить жажду славы, власти и наслаждений, не обременяя себя тяготами войны и рутиной государственного правления, достоин называться глупцом. «Язык, принятый в хорошем обществе,— заключил он,— с достаточной ясностью показывает, что подвиги, подобные подвигам Александра и Бонапарта, имеют эквивалент в мирной, домашней жизни. Мы говорим о любовном Приключении, о Победе над своей избранницей и об Обладании ею. Для умного человека эти иносказания достаточно красноречивы. Раздумывая над их смыслом, он постигает, что война и погоня за Империей плохи, ибо глупы, глупы, ибо излишни, а излишни, ибо удовольствия, доставляемые Победами и Завоеваниями, с помощью неизмеримо меньших хлопот, усилий и тревог могут быть получены за шелковой занавесью Алькова Герцогини или на соломенном Тюфяке Молочницы. А если сии простые Утехи вдруг покажутся человеку скучными, если он, подобно античному Герою, захочет покорить новые Миры — тогда, выложив дополнительную гинею, а чаще всего, как показывает мой опыт, по добровольному соглашению, используя скрытую жажду Унижений и даже Боли, человек может развлечь себя, пустив в ход Розги, Кандалы, Клетку и любые иные атрибуты абсолютной Власти, какие только может подсказать ему Фантазия Победителя, вынести нанятое Терпение Побежденной и одобрить ее согласный Вкус. Я вспоминаю слова доктора Джонсона *: трудно представить себе более невинное занятие, чем зарабатывать деньги. Однако человек, занимающийся любовью, еще более невинен. Если бы у Наполеона хватило Ума удовлетворять свою Страсть к Владычеству в Салонах и Опочивальнях родной Корсики, он умер бы на Свободе, среди своих соплеменников, а многие сотни и тысячи ныне мертвых, изувеченных или слепых людей были бы живы и здоровы. Не спорю — они наверняка распорядились бы своими Глазами, Членами и Жизнями столь же глупо и злонамеренно, как сегодня распоряжаются ими уцелевшие. Но хотя Всевышний и мог бы поаплодировать бывшему Императору за то, что он разом очистил Землю от стольких Паразитов, сами Паразиты всегда будут придерживаться иного Мнения. Я же — не Всевышний, а просто разумный Человек, и потому мои симпатии на стороне Паразитов».

— Замечали вы когда-нибудь,— задумчиво проговорил Обиспо,— что даже самые прожженные скептики всегда норовят объяснить вам, какие они хорошие? И этот старый хрен туда же — хотя зачем, спрашивается, ему-то набивать себе цену? Развлекался бы да помалкивал. Ан нет; ему понадобилось сочинить целую речь в доказательство того, что он конфетка по сравнению с Наполеоном. Тут, положим, он прав; здравый смысл на его стороне. Но я все же не ожидал, что он будет из кожи вон лезть, чтобы заявить об этом.

— А больше, кажется, никто об этом заявлять не собирался,— вставил Джереми.

— Ну да, пришлось самому,— заключил Обиспо.— Что только подтверждает мою правоту. Таких, как Яго, на свете нет. Люди запросто могут сделать все, что сделал Яго; но они никогда не назовут себя негодяями. Они заменят реальный мир замечательной словесной конструкцией, на фоне которой все их негодяйские поступки будут выглядеть правильными и обоснованными. Я-то думал, что наш потрошитель карпов окажется исключением. Но ошибся. А жаль.

Джереми хихикнул с оттенком снисходительного презрения.

— А вы бы хотели, чтобы он изобразил сцену «Дон Жуан в аду». «Le calme héros courbé sur sa rapiére» [1]. Да вы романтик, как я погляжу.— Он вернулся к дневнику и минуту спустя объявил, что в 1823 году Пятый граф провел несколько часов с Колриджем и нашел его мысли глубокими, а манеру выражаться — чересчур туманной. «Муть, коей полны его рассуждения,— добавлял он,— уместна в Пруду, но отнюдь не в разумной Беседе, каковая должна быть прозрачной и достаточно мелкой, чтобы человек мог брести по ней, не рискуя утонуть в омуте Бессмыслицы».— Джереми засиял от удовольствия. Колридж не входил в число его любимцев.— Как подумаешь, сколько дурацких разговоров до сих пор ведется вокруг всего, что накропал в бреду старый наркоман...

Обиспо перебил его.

— Давайте лучше послушаем про графа,— сказал он.

Джереми снова обратился к записной книжке.

В 1824-м старик жаловался на новую статью закона, где перевозка рабов приравнивалась к пиратству; таким образом, этот промысел карался теперь смертной казнью. В результате его будущие доходы должны были сократиться тысяч на восемь-девять в год. Но он утешил себя мыслями о Горации, философски наслаждавшемся покоем на своей сабинской ферме *.

В 1826-м наиживейшую радость доставляло ему перечитывание Феокрита * и компания молодой женщины по имени Кейт, которую он сделал своей домоправительницей. В том же году, несмотря на урезанный доход, он не смог воспротивиться соблазну и приобрел чудесное «Успение Богоматери» кисти Мурильо *.

1827-й был годом денежных потерь, связанных, очевидно, с последовавшей за абортом смертью очень молоденькой горничной; она состояла в личном услужении у домоправительницы. Дневниковая запись была очень коротка и туманна; но кажется, пришлось выплатить весьма порядочную сумму родителям девицы.

Чуть позже он снова захворал, что подвигло его на длиннейшее и подробнейшее описание стадий разложения человеческого трупа в порядке их очередности; особый интерес уделялся глазам и губам. Регулярный прием кашки из потрохов вскоре настроил его на более жизнелюбивый лад, и 1828-й год ознаменовался поездкой в Афины, Константинополь и Египет.

В 1831-м он был занят хлопотами по покупке жилища близ Фарнема.

— Это, наверное, Селфорд,— вставил Джереми.— Тот самый дом, откуда все приехало.— Он показал на двадцать семь коробок.— Где живут две старые леди.— Он принялся читать дальше: — «Дом старый, темный и неудобный, но Усадьба довольно велика и находится на Возвышенности над Рекою Уэй: в этом месте ее южный берег поднимается вверх почти отвесно, образуя Утес из желтого песчаника высотой около ста двадцати футов. Этот Камень мягок и легко поддается обработке, каковому Обстоятельству обязано своим существованием очень обширное Подземелье, вырытое под домом, должно быть, лет сто назад — тогда в его Погребах хранили контрабандные Напитки и прочий товар, переправляемый в Столицу из Хампшира и Сассекса. Чтобы успокоить свою Жену, которая смертельно боится потерять в этом Лабиринте ребенка, нынешний Владелец Дома замуровал часть переходов; однако даже то, что осталось, достойно именоваться настоящими Катакомбами. Можно с уверенностью сказать, что в таких Подвалах никто не помешает человеку развлекаться согласно своим Вкусам, какими бы эксцентричными они ни были».— Джереми взглянул на Обиспо поверх записной книжки.— Звучит довольно-таки зловеще, вы не находите?

Доктор пожал плечами.

— Кто же любит, когда ему мешают,— с ударением сказал он.— Кабы у меня был подвальчик вроде графского, скольких хлопот можно было бы

---

[1] Бестрепетный герой, опершийся на шпагу *(франц.)*.

избежать...— Он не стал развивать эту тему, и по лицу его промелькнула тень: он подумал о Джо Стойте и о том, что нельзя же давать ему снотворное бесконечно, черт бы его побрал!

— Итак, дом он купил,— сказал Джереми, который тем временем читал про себя.— Произвел ремонт и сделал кое-какие добавления в готическом стиле. А под землей, в конце длинного коридора на глубине сорока пяти футов, устроил себе комнату. И обнаружил, к своей радости, что там есть скважина с водой и еще одна шахта, которая уходит на огромную глубину и может быть использована как отхожее место. И там совершенно сухо, и достаточно воздуха, и...

— Да что ему там делать-то, внизу? — нетерпеливо спросил Обиспо.

— Почем я знаю? — ответил Джереми. Он пробежал страницу глазами.— В настоящий момент,— сказал он,— наш Божий одуванчик произносит перед Палатой лордов речь в защиту «Билля о реформе» *.

— В защиту? — недоуменно спросил Обиспо.

— «Когда до нас стали доходить первые вести о Французской Революции,— прочел Джереми,— я дразнил приверженцев разных политических Партий словами: «Бастилия пала; да здравствует Бастилия». С тех пор как начались те удивительно бессмысленные События, минуло сорок три года, и справедливость моих слов была подтверждена появлением новых Тираний и реставрацией старых. Поэтому я могу теперь сказать с абсолютной Уверенностью: «Привилегии пали; да здравствуют Привилегии». В основной своей массе люди не способны к Эмансипации и слишком глупы для того, чтобы управлять собственной Судьбой. Власть всегда будет в руках Тиранов и Олигархов. У меня весьма и весьма низкое Мнение о Пэрстве и Дворянах-землевладельцах; но сами они, по-видимому, ставят себя еще ниже. Они считают, что Баллотировка лишит их Власти и Привилегий, тогда как я уверен, что даже с помощью той малой толики Благоразумия и Сноровки, какую отпустила им скупая природа, они легко смогут сохранить нынешние Преимущества. А коли так, пусть Чернь тешит себя Голосованием. Выборы — это бесплатный спектакль с Панчем и Джуди *; Правители устраивают его, дабы сбить с толку своих Подданных».

— Вот посмеялся бы он, глядя на теперешние выборы у фашистов и коммунистов! — сказал Обиспо.— Кстати, а сколько ему было лет, когда он сочинил эту речь?

— Сейчас сообразим.— Джереми немного помедлил, высчитывая в уме, потом ответил: — Девяносто четыре.

— Девяносто четыре! — повторил Обиспо.— Ну, если это не рыбьи потроха, тогда уж я не знаю что.

Джереми снова обратился к дневнику.

— В начале тридцать третьего он снова видится с племянником и племянницей по случаю дня рождения Каролины — ей шестьдесят пять. Каролина теперь носит рыжий парик, старшая ее дочь умерла от рака, младшая несчастлива с мужем и ищет поддержки в религии, сын, уже полковник, играет и делает долги, надеясь, что родители расплатятся за него. В общем и целом, как замечает граф; «вечер удался на славу».

— А про подвал ничего? — с сожалением спросил Обиспо.

— Нет; но его домоправительница, Кейт, заболела, и он стал давать ей потроха карпов.

Обиспо немедленно заинтересовался этим новым поворотом.

— И что? — спросил он.

Джереми покачал головой.

— Следующая запись о Мильтоне,— сказал он.

— О Мильтоне? — с негодованием и отвращением воскликнул Обиспо.

— Он говорит, что религия существует лишь благодаря красочности и неумеренности языка, пример которого дают мильтоновские поэмы.

— Может, он и прав,— раздраженно сказал Обиспо.— Но я хочу знать, что случилось с его домохозяйкой.

— Она, очевидно, жива,— сказал Джереми.— Потому что тут есть маленькое замечание о том, как утомительна чересчур пылкая женская привязанность.

— Утомительна! — повторил Обиспо.— Это еще мягко сказано. Бывает, что прилипнут как банный лист.

— Он, кажется, не против эпизодических измен. Тут есть запись насчет некой молодой мулатки.— Он помедлил, затем, улыбаясь, продолжал: — Очаровательное создание. «Она сочетает животную тупость Готтентота со злобой и жадностью Европейца». После чего старый джентльмен отправляется в Фарнемский замок, обедает там с епископом Уинчестерским и находит его бордо скверным, портвейн — отвратительным, а умственные способности — заслуживающими глубокого презрения.

— И ничего о здоровье Кейт? — настойчиво повторил Обиспо.

— А зачем ему о нем говорить? Он считает, что это само собой разумеется.

— А я-то надеялся, что он человек науки,— почти жалобно произнес Обиспо.

Джереми рассмеялся.

— Странные у вас представления о пятых графах и десятых баронах. Чего это ради они должны быть людьми науки?

Обиспо не нашелся с ответом. Наступила пауза; Джереми начал новую страницу.

— Черт меня побери! — вырвалось у него.— Он прочел «Анализ человеческого разума» Джеймса Милля *. В девяносто пять лет. Это, по-моему, почище, чем омоложенная домоправительница и мулатка. «Обыкновенный Дурак просто глуп и невежествен. Чтобы стать Великим Дураком, человеку надо много учиться и иметь выдающиеся способности. К чести мистера Бентама и его Присных следует сказать, что их Дурость всегда была самой высшей марки. «Анализ» Милля — это настоящий Колизей глупости». А следующая запись о маркизе де Саде. Кстати,— вставил Джереми, подняв глаза на Обиспо,— когда вы думаете вернуть мне мои книжки?

Обиспо пожал плечами.

— Когда вам угодно,— ответил он.— Они мне уже не нужны.

Джереми попытался скрыть свою радость и, кашлянув, вновь перевел взгляд на дневник.

— «Маркиз де Сад,— вслух прочел он,— был человек необычайно одаренный, хотя, к сожалению, с расстроенной психикой. По-моему, Совершенства мог бы достичь Автор, сочетающий в себе черты Маркиза, Епископа Батлера * и Стерна».— Джереми остановился.— Маркиза, Епископа Батлера и Стерна,— медленно повторил он.— Спору нет, сочиненьице вышло бы отменное! — Он стал читать дальше:— «Октябрь тысяча восемьсот тридцать третьего. Временно деградировать тем приятнее, чем выше тот светский и интеллектуальный Уровень, с которого вы нисходите и к которому возвращаетесь по завершении акта Деградации». Недурно сказано,— заметил он, подумав о своих троянках и о пятницах в Мэйда-Вейл.— Весьма недурно. Так — где мы остановились? Ах да. «Христиане любят толковать о Боли, но все их рассуждения — не по существу. Ибо самые важные Свойства Боли таковы: Несоответствие между силой физических страданий и их незначительными причинами; и то, каким образом, парализуя все способности тела и делая его совершенно беспомощным, она идет против Цели, поставленной перед нею самой Природой: ведь ей следует предупреждать человека об Опасности, грозящей ему извне или изнутри. В связи с Болью это пустое слово, Бесконечность, почти обретает смысл. Иначе обстоит дело с Удовольствием; ибо Удовольствие строго ограничено, и любая попытка раздвинуть эти границы приводит к его трансформации в Боль. Посему доставлять другим Удовольствие — занятие для возвышенного Ума не столь заманчивое, нежели причинять им Боль. Дарить Удовольствие в ограниченном количестве есть поступок чисто человеческий; погружать же в бесконечную Стихию, называемую Болью, есть Деяние божественное, истинное Священнодействие».

— В мистику ударился на старости лет,— недовольно сказал Обиспо.— Рассуждает прямо как наш Проптер.— Он закурил сигарету. Наступило молчание.

— Послушайте-ка,— вдруг взволнованным голосом воскликнул Джереми.— «Одиннадцатое марта тысяча восемьсот тридцать третьего. Вследствие преступного небрежения Кейт Присцилле удалось бежать из нашей подземной Камеры. Имея на теле доказательства того, что в течение нескольких недель она служила объектом моих Опытов, девчонка держит в руках мою Репутацию, а возможно, даже Свободу и Жизнь».

— Это, наверное, и есть то, о чем вы говорили по дороге сюда,— заметил Обиспо.— Последний скандал. Что там случилось?

— По-видимому, девица рассказала свою историю,— ответил Джереми, не отрывая взгляда от записной книжки.— Иначе как объяснить присутствие этой «враждебной Черни», о которой он вдруг принялся рассуждать? «Гуманность людей обратно пропорциональна их Численности. Толпа не более гуманна, чем Лавина или Ураган. По своему моральному и интеллектуальному уровню этот сброд стоит ниже стада свиней или стаи шакалов».

Обиспо откинул назад голову и разразился своим обычным, на удивление громким металлическим смехом.

— Замечательно! — сказал он.— Просто замечательно! Трудно придумать более типичный образчик человеческого поведения. Человек ведет себя как недочеловек, а потом становится разумным с целью доказать, что на самом-то деле он сверхчеловек.— Доктор потер руки.— Прелесть! — сказал он, затем добавил: — Ладно, послушаем дальше.

— Ну, насколько я понимаю,— промолвил Джереми,— они вынуждены были прислать из Гилфорда роту солдат, чтобы оградить дом от толпы. А судья подписал ордер на арест; но с этим покамест не торопятся, принимая во внимание его возраст и общественный вес и боясь шума, который вызовет открытый суд. Ага, а теперь они решили послать за Джоном и Каролиной. Отчего старый джентльмен впал в настоящую ярость. Но он беспомощен. Так что они приезжают в Селфорд; «Каролина в своем оранжевом парике и Джон — ему семьдесят два года, но выглядит он лет на двадцать старше меня,— а ведь мне уже исполнилось двадцать четыре, когда мой Брат, едва достигший совершеннолетия, столь опрометчиво женился на дочери какого-то адвокатишки и получил по заслугам, родив этому Адвокату Внука, коего я всегда презирал за низкое происхождение и куцый умишко; однако недосмотр публичной Девки привел к тому, что теперь он имеет возможность навязать мне свою Волю».

— Трогательное воссоединение семьи,— сказал Обиспо.— В детали он, наверное, не вдается?

Джереми покачал головой.

— Не вдается,— ответил он.— Здесь описан только общий ход переговоров. Семнадцатого марта они сказали ему, что он сможет избежать суда, если безвозмездно передаст им ненаследуемое имущество, закрепит за ними доходы с наследуемых имений и позволит заключить себя в частную психиатрическую лечебницу.

— Весьма жесткие условия!

— Он и отказался,— продолжал Джереми,— утром восемнадцатого.

— Крепкий старикашка!

— «Частные сумасшедшие дома,— прочел Джереми,— это частные застенки, где наемные Палачи и Тюремщики, неподвластные Правительству и Судебным Органам, защищенные от полицейских Проверок и даже от визитов мягкосердечных Филантропов, вершат свои темные дела, продиктованные соображениями фамильной Мести и их собственной Злобой».

Восхищенный Обиспо захлопал в ладоши.

— Еще одна милая человеческая черта! — вскричал он.— Это ж надо — визиты мягкосердечных филантропов! — Он громко расхохотался.— Наемные палачи! Похоже на речь кого-нибудь из отцов-основателей *. Великолепно! А потом вспоминаешь о кораблях, набитых рабами, и о малютке Присцилле. Это почти как фельдмаршал Геринг, осуждающий грубое обращение с животными. Наемные палачи и тюремщики,— повторил он со вкусом, точно смакуя нежную конфетку, медленно тающую во рту.— Каков же был следующий шаг? — спросил он.

— Ему сказали, что его будут судить, приговорят и сошлют на каторгу. А он ответил, что лучше уж каторга, чем частная лечебница. «После этого стало ясно, что мои драгоценные племянничек с племянницей зашли в тупик. Они поклялись, что в сумасшедшем доме со мной будут обращаться гуманно. Я ответил, что не верю их слову. Джон заговорил о чести. Я сказал, ну конечно же, честь Адвокатишки, и напомнил, как законники продают свои убеждения за известную Мзду. Тогда они стали умолять, чтобы я принял их предложения ради доброго имени Семьи. Я ответил, что доброе имя Семьи мне безразлично, однако у меня нет желания подвергаться унизительному публичному Суду и претерпевать лишения и муки, связанные со Ссылкой. Я готов, сказал я, принять любую разумную альтернативу Суду и Каторге; но под ее разумностью я понимаю какого-либо рода Гарантию того, что не буду страдать, попав в их руки. Их слово чести Гарантией для меня не является; не соглашусь я и на то, чтобы меня поместили в Заведение, где я буду вверен заботам Врачей и Санитаров, состоящих на жалованье у людей, в чьих интересах уморить меня возможно скорее. Посему я отказался подписывать всякое Соглашение, по которому их Власть надо мною будет превышать мою Власть над ними».

— Вот вам вся суть дипломатии, коротко и ясно,— сказал Обиспо.— Если бы только Чемберлен разобрался в ней чуть получше, прежде чем отправляться в Мюнхен! Конечно, по большому счету это мало что изменило бы,— добавил он.— Потому что политики в конце концов ничего не решают: национализм всегда обеспечит каждому поколению хотя бы одну войну. Так было в прошлом, и можете быть уверены — в будущем он тоже свое возьмет. Но как же наш старый джентльмен думает применить этот дипломатический принцип на практике? Ведь все козыри на руках у родственничков. Чем же он думает их донять?

— Пока не знаю,— отвечал Джереми из глубин запечатленного на бумаге прошлого.— Он тут опять пустился в философствования.

— Да ну? — удивленно сказал Обиспо.— Его же вот-вот арестуют!

— «Было время,— прочел Джереми,— когда я считал, что все Усилия Рода Человеческого направлены к одной Точке, расположенной примерно посередине женского Тела. Сегодня я склонен думать, что по влиянию на человеческие Поступки и образ Мыслей Тщеславие и Алчность далеко превосходят Похоть». И так далее. Когда он, черт возьми, опять заговорит о деле? Может, и никогда — с него станется. А нет, кое-что нашел: «Двадцатое марта. Сегодня Роберт Парсонс, мое доверенное Лицо, вернулся из Лондона и привез в своей Карете три прочных сундука с золотыми Монетами и Банкнотами на сумму в двести восемнадцать тысяч фунтов — такова выручка от продажи моих Ценных Бумаг и тех ювелирных Изделий, столового Серебра и произведений Искусства, кои оказалось возможным продать в столь короткий срок и за Наличные. Будь у меня побольше времени, я выручил бы не менее трехсот пятидесяти тысяч фунтов. Я отношусь к этой потере философски, ибо суммы, которой я располагаю, вполне достаточно для моих целей».

— Для каких целей? — спросил Обиспо.

Джереми не спешил с ответом. После недолгой паузы он озадаченно покачал головой.

— Что происходит, скажите на милость? — произнес он.— Вот послушайте: «Мои похороны будут проведены со всей Торжественностью, приличествующей моему высокому Положению и исключительным Достоинствам. Джон и Каролина проявили мелочность и неблагодарность, возражая против крупных расходов, однако мое Решение было твердо: погребальный Обряд должен стоить Четыре Тысячи Фунтов, и ни пенни меньше. Единственно, о чем я сожалею,— это то, что мне не удастся покинуть мое подземное Убежище, дабы воочию увидеть сие скорбное Шествие и посмотреть, как новоиспеченные Граф и Графиня будут изображать на своих увядших лицах безутешное Горе. Сегодня к вечеру мы с Кейт спустимся в Подземелье, а завтра утром Мир услышит известие о моей смерти. Тело дряхлого Нищего уже тайно доставлено сюда из Хазлмира и займет мое

место в Гробу. Сразу после Погребения новый Граф со своей Графиней уедут в Гонистер на постоянное жительство, а здесь останутся только Парсонсы — они будут присматривать за домом и удовлетворять наши материальные нужды. Привезенные Парсонсами из Лондона Золото и Банкноты уже спрятаны в подземном Тайнике, известном лишь мне одному; условлено, что каждого Первого Июня, вплоть до моей смерти, я буду передавать по пять тысяч фунтов Джону, или Каролине, или, если они умрут прежде меня, их Наследнику, или какому-нибудь облеченному должными Полномочиями Представителю Рода. Я льщу себя мыслью, что эта мера поможет заполнить Место, предназначенное для нежных Чувств, коих они определенно не испытывают». И все,— сказал Джереми, поднимая глаза.— Дальше ничего нет, только пара чистых страниц. И ни единого слова.

Наступило долгое молчание. Обиспо снова вскочил и принялся шагать по комнате.

— И никто не знает, сколько этот старый хрыч прожил на самом деле? — наконец спросил он.

Джереми покачал головой.

— Разве что родственники. Может быть, те две старые леди...

Обиспо остановился перед ним и стукнул кулаком по столу.

— Я отплываю в Лондон следующим кораблем,— эффектно объявил он.

Глава девятая

На этот раз даже детская больница не принесла Стойту искомого утешения. Улыбки сестер отличались сегодня особенной теплотой. Молодой врач, попавшийся боссу в коридоре, был с ним чрезвычайно почтителен. Выздоравливающие, как всегда, кричали «Дядюшка Джо!» с самым бурным воодушевлением, а на лицах больных, стоило ему остановиться у их кровати, мгновенно вспыхивала радость. Игрушки, которые он раздавал, принимались как обычно, иногда с шумным восторгом, иногда же (что было более трогательно) в счастливом молчании, ибо изумление и недоверчивость временно лишали маленьких пациентов дара речи. Обходя разные палаты, он, как и в прошлые дни, видел множество жалких телец, деформированных скрофулезом и параличом, и изможденные, выражающие покорность личики крохотных страдальцев, видел умирающих ангелочков, невинных мучеников и курносых сорванцов, которых приковала к постели неотвязная боль.

Прежде все это вызывало у него приятное чувство — ему хотелось плакать, но одновременно хотелось и громко ликовать, и гордиться: гордиться тем, что он человек, как и эти детишки, такие стойкие и мужественные; а еще тем, что он так много сделал для них, дал им лучшую лечебницу в штате и все самое лучшее, что только можно купить за деньги. Но сегодня его визит не сопровождался этими привычными переживаниями. Ему не хотелось ни плакать, ни ликовать. Он не испытывал ни гордости, ни пробирающего до глубины души сочувствия, ни того особого счастья, которое порождалось их сочетанием. Он не чувствовал ничего — ничего, кроме сосущей тоски, которая не отпускала его весь день ни в Пантеоне, ни у Клэнси, ни в городской конторе. Выезжая из города, он жаждал этого посещения больницы, точно астматик укола адреналина или курильщик опиума — вожделенной трубки. Но желаемого облегчения не наступило. Дети не оправдали его надежд.

Памятуя окончания прошлых визитов, швейцар улыбнулся выходящему из дверей Стойту и обронил какую-то фразу насчет этого дома, где собрались самые что ни на есть славные ребятишки в мире. Стойт скользнул по нему безучастным взглядом, молча кивнул и прошел мимо.

Швейцар посмотрел ему вслед. «Елки-моталки!» — прошептал он, вспоминая выражение, которое только что видел на лице своего работодателя.

* * *

Стойт вернулся в замок таким же несчастным, каким покидал его утром. Он поднялся вместе с Вермеером на пятнадцатый этаж; будуар Вирджинии был пуст. Поехал на одиннадцатый; но в бильярдной ее не было тоже. Спустился на третий; но ей не делали ни маникюра, ни массажа. Охваченный внезапным подозрением, он ринулся в подвал и чуть ли не влетел в лабораторию, думая застать ее с Питом; в лаборатории не было ни души. Попискивала мышка; гигантский карп за стеклом аквариума медленно скользнул из тени на свет, а потом снова в зеленоватую тень. Стойт поспешил обратно к лифту, закрылся там, вновь оставшись наедине с мечтой голландца о повседневной жизни, таинственным образом воплотившей в себе предел математического совершенства, и нажал самую верхнюю из двадцати трех кнопок.

Прибыв на место, он отодвинул внутреннюю решетчатую дверь лифта и поглядел наружу сквозь стекло другой двери.

Вода в бассейне была абсолютно неподвижна. Между зубцами виднелись горы, уже в роскошном вечернем убранстве, сотканном из золотого света и индиговой тени. Голубое небо было безоблачным и прозрачным. У бассейна, с дальней его стороны, стоял железный столик, на нем — поднос с бутылками и стаканами; позади столика находилась одна из тех низких кушеток, на которых Стойт обычно принимал солнечные ванны. На этой кушетке он увидел Вирджинию — она была словно под наркозом, губы разомкнуты, глаза закрыты, одна рука бессильно свесилась до полу и лежала на нем ладонью вверх, как цветок, беспечно брошенный и позабытый. Столик наполовину скрывал фигуру доктора Обиспо, Клода Бернара своего дела; он вглядывался в лицо девушки с любопытством ученого, которого немного забавляет предмет его исследований.

В первый момент ярость Стойта была так велика, что это чуть не помогло его потенциальной жертве избежать самой суровой расплаты. Он с огромным трудом подавил в себе желание закричать и броситься вон из лифта, размахивая руками, с пеной у рта. Дрожа под напором сдерживаемого гнева и ненависти, он полез в карман куртки. Кроме погремушки и двух пачек жевательной резинки, которые остались от раздачи подарков в больнице, там ничего не было. Впервые за много месяцев он забыл пистолет.

Несколько секунд Стойт медлил в нерешительности. Что делать — выскочить наружу, следуя первому побуждению, и убить негодяя голыми руками? Или спуститься вниз и взять пистолет? Нет, лучше все-таки спуститься. Он нажал кнопку, и лифт тихо скользнул в глубь шахты. Невидящими глазами Стойт уставился на Вермеера, а облаченная в атласное платье юная обитательница прекрасного мира, полного геометрической гармонии, отвернулась от клавесина с поднятой крышкой и выглянула из-за ниспадающих складками занавесей, поверх пола в черно-белую шахматную клетку,— выглянула сквозь окошко рамы в тот, другой мир, где влачили свое гадкое, неряшливое существование Стойт и ему подобные.

Стойт побежал к себе в спальню, открыл ящик с носовыми платками, яростно переворошил все его содержимое и ничего не обнаружил. И тут он вспомнил. Вчера утром куртки на нем не было. Пистолет находился в заднем кармане брюк. Потом пришел Педерсен, делать с ним эти его шведские упражнения. Надо было ложиться на пол, на спину, а пистолет сзади мешал. Поэтому он вынул его и сунул в письменный стол у себя в кабинете.

Стойт побежал обратно к лифту, спустился четырьмя этажами ниже и помчался в свой кабинет. Пистолет был в верхнем ящике слева — это он точно помнил.

Левый верхний ящик письменного стола был заперт. Остальные тоже.

— Чтоб она сдохла, старая сука! — выругался Стойт, дергая за ручки.

Чрезвычайно пунктуальная и добросовестная, мисс Грогрэм, его секретарша, перед уходом домой непременно запирала все на замок.

По-прежнему проклиная мисс Грогрэм, которую он ненавидел сейчас

почти так же люто, как ту скотину на крыше, Стойт снова поспешил к лифту. Но дверца не открывалась. Наверное, пока он был в кабинете, кто-то на другом этаже нажал кнопку вызова. По ту сторону двери слышался слабый шум движущейся кабины. Лифт был занят. Одному Богу известно, сколько ему придется ждать.

Стойт испустил нечленораздельный вопль, ринулся по коридору, свернул направо, толкнул вращающуюся дверь, опять повернул направо и очутился у служебного лифта. Схватил за ручку и потянул. Закрыто. Он нажал вызов. Это не помогло. Служебный лифт тоже был занят.

Стойт побежал по коридору обратно, миновал одну дверь, другую. Здесь, вокруг центральной шахты, уходившей на две сотни футов вниз, в глубину подвалов, вилась лестница. Стойт стал подниматься по ней. Запыхавшись уже через два этажа, он снова вернулся к лифтам. Служебный лифт был все еще занят; однако второй удалось вызвать. Спустившись откуда-то сверху, кабина остановилась перед ним. Щелкнул замок в двери. Он открыл ее и ступил внутрь. Дама в голубом занимала свое прежнее место в центре мира, где царило математически выверенное равновесие. Отношение расстояния от ее левого глаза до левой кромки картины к расстоянию до правой равнялось отношению единицы к корню квадратному из двух минус единица; расстояние от того же глаза до нижней кромки совпадало с расстоянием до левой. Что касается банта на ее правом плече, то он находился точно в углу воображаемого квадрата со сторонами, равными большему из двух отрезков, которые получились бы, если разделить основание картины золотым сечением *. Глубокая складка на атласной юбке шла вдоль правой стороны этого квадрата; крышка клавесина отмечала положение верхней стороны. Гобелен в верхнем правом углу занимал ровно треть всей картины по высоте, а его нижний край отстоял от ее нижней кромки на длину ее основания. Голубой атла́с, выступающий вперед на фоне коричневых и темно-охряных тонов заднего плана, был отодвинут назад черно-белыми плитами пола и, таким образом, зависал посреди пространства картины, словно железный предмет между двумя полюсами магнита. В пределах рамы ничего нельзя было изменить; от картины веяло спокойствием не только благодаря неподвижности старого холста и красок, но и благодаря самому духу безмятежности, который царил в этом мире абсолютного совершенства.

— Старая сука! — все еще бормотал Стойт; затем мысли его перекинулись с секретарши на Обиспо: — Скотина!

Лифт остановился. Стойт вылетел наружу и поспешил по коридору в кабинет мисс Грогрэм, уже покинутый ею. Он вроде бы помнил, где она держит ключи; однако выяснилось, что он ошибается. Ключи были в другом месте. Но где же? Где? Где? Новое неожиданное препятствие превратило его в буйнопомешанного. Он открывал ящики и выворачивал их содержимое на пол, он разбросал по комнате аккуратно сложенные стопкой документы, он перевернул диктофон, он даже взял на себя труд очистить полки от книг и сбросить с подоконника горшок с цикламеном, а заодно и аквариум с японскими золотыми рыбками. Они блестели алой чешуей среди осколков стекла и раскиданных по полу справочников. На прозрачном хвосте у одной из них темнело пятно от пролитых чернил. Стойт схватил пузырек с клеем и изо всех сил ахнул им по умирающим рыбкам.

— Сука! — крикнул он.— Сука!

Тут он внезапно заметил ключи — их аккуратная маленькая связка висела на крючке у камина, где, вспомнилось ему, он уже видел ее тысячу раз прежде.

— Сука! — с удвоенной яростью крикнул он, хватая ключи. Затем ринулся к двери, задержавшись только ради того, чтобы сбросить со стола пишущую машинку. Она с грохотом упала в месиво из рваных бумаг, клея и золотых рыбок. Так ей и надо, старой суке, подумал Стойт с каким-то маниакальным восторгом и поспешил к лифту.

Глава десятая

Барселона пала.

Но даже если бы она не пала, даже если бы ее вовсе не осаждали — что с того?

Подобно любому другому человеческому сообществу, Барселона была отчасти машиной, отчасти организмом, еще более примитивным, чем человеческий, отчасти кошмарно-гигантской проекцией людских безумств и страстей — их жадности, их гордыни, их жажды власти, их одержимости бессмысленными словами, их преклонения перед пустыми идеалами.

Покоренные или непокоренные, каждый город, каждая нация ведут свое существование на уровне отсутствия Бога. Ведут существование на уровне отсутствия Бога, а потому обречены на вечное самооглупление, на бесконечно повторяющиеся попытки разрушить самих себя.

Барселона пала. Но даже процветание человеческих обществ — это всегда процесс постепенного или катастрофического упадка. Те, кто возводит здание цивилизации, одновременно ведут под него подкоп. Люди сами исполняют роль собственных термитов, и будут термитами до тех пор, пока не перестанут цепляться за свою человеческую природу.

Растут башни, растут дворцы, храмы, жилища, цеха; но сердцевина каждой закладываемой балки уже источена в пыль, стропила изъедены, полы рассыпаются под ногами.

Какие стихи, какие статуи,— но на пороге Пелопоннесской войны *! А вот расписывают Ватикан — как раз чтобы поспеть к разграблению Рима *. Сочиняют «Героическую» * — но в честь героя, который оказывается всего лишь очередным бандитом. Проливают свет на природу атома — но делают это те самые физики, которые в военное время добровольно совершенствуют орудия убийства.

На уровне отсутствия Бога люди не могут не разрушать того, что они построили,— не могут строить, не разрушая,— они закладывают в свои постройки зародыши разрушения.

Безумие состоит в непризнании фактов; в главенстве хотения над мыслью; в искаженном восприятии реального мира; в попытках достигнуть желанной цели при помощи средств, негодность которых доказана бесчисленными прошлыми экспериментами.

Безумие состоит, например, в том, чтобы мыслить себя как единую душу, как цельное и неизменное человеческое «я». Но между животным уровнем внизу и духовным вверху, на уровне человеческом, нет ничего, кроме целого роя самых разных влечений, чувств и идей; роя, образовавшегося благодаря случайным факторам наследственности и языка; роя не связанных между собой и зачастую противоречивых мыслей и желаний. Память и медленно изменяющееся тело создают нечто вроде пространственно-временной клетки, в которую заключен этой рой. Говорить о нем как о цельной и неизменной «душе» — безумие. Такой вещи, как душа, на чисто человеческом уровне не существует.

Созвездия мыслей, гаммы чувств, бури страстей. Все они определяются и обусловливаются природой своего случайного происхождения. В наших душах так мало от нас самих, что мы не имеем и отдаленного представления о том, как мы реагировали бы на вселенную, если бы не знали языка вообще или даже нашего конкретного языка. Природа наших «душ» и мира, в котором они живут, была бы совершенно иной, нежели теперь, если бы нас не научили говорить вовсе или вместо английского языка обучили бы эскимосскому. Безумие, помимо всего прочего,— это считать, будто наши «души» существуют отдельно от языка, который нам случилось перенять у наших воспитателей.

Каждое «движение души» предопределено; и весь рой этих движений, заключенный в клетку из плоти и памяти, не свободнее любой его составляющей. Говорить о свободе в связи с поступками, которые на самом деле предопределены,— безумие. Свободы действий на чисто человеческом уровне не существует. Бессмысленным нежеланием принимать факты такими,

как есть, люди обрекают свою деятельность на вечную тщету, калечат собственные судьбы, а то и ведут себя к гибели. Подобно городам и нациям, частичками которых они являются, люди всегда находятся в процессе упадка, всегда разрушают то, что они построили и строят теперь. Однако города и нации подчиняются законам больших чисел, а отдельные личности им не подчиняются; ибо, хотя в действительности многие люди покорно ведут себя согласно этим законам, делать это их никто не заставляет. Потому что никто не заставляет их жить только на человеческом уровне. В их власти перейти с уровня отсутствия Бога на тот уровень, где Бог есть. Каждое «движение души» предопределено; то же самое относится и ко всему их рою. Но за этим роем, и одновременно объемля его и содержась в нем, лежит вечность, всегда готовая к самопереживанию. Но чтобы вечность могла переживать самое себя внутри временной и пространственной клетки, то есть внутри человеческого существа, рой мыслей и желаний, который мы называем «душой», должен добровольно умерить свою сумасшедшую активность, должен, так сказать, освободить место для иного, вневременного сознания, должен утихнуть, чтобы сделать возможным выявление более глубокой тишины. Бог вполне присутствует только там, где вполне отсутствует наша так называемая человечность. Нет железной необходимости, обрекающей кого бы то ни было на бесплодную муку быть только человеком. Даже рой желаний и мыслей, который мы называем «душой», способен временно пригасить свою сумасшедшую активность, самоустраниться, пусть лишь на миг, чтобы, пусть тоже лишь на миг, сделать возможным присутствие Бога. Но дайте вечности переживать самое себя, дайте Богу возможность достаточно часто являть себя в отсутствие человеческих желаний, чувств и предрассудков; тогда ваша жизнь, которую в промежутках придется вести на человеческом уровне, станет совсем другой. Даже рой наших страстей и мнений поддается красоте вечности; а поддавшись ей, замечает свое собственное безобразие; а заметив свое безобразие, стремится себя изменить. Хаос уступает место порядку — не произвольному, чисто человеческому порядку, который порождается подчинением «души» какому-нибудь безумному «идеалу», но порядку, отражающему истинный порядок вещей. Рабство уступает место свободе — ибо выбор теперь не диктуется случайной предысторией, а делается телеологически и под влиянием непосредственного прозрения природы мира. Агрессивность и просто апатия уступают место покою — ибо агрессивное состояние есть маниакальная, а апатия — депрессивная фаза того циклического психоза, который состоит в смешении своего «я» или его социальных проекций с истинной реальностью. Покой же — это спокойная активность, которая проистекает из знания того, что наши «души» иллюзорны, а их порождения безумны, что все существа потенциально едины в вечности. Сострадание есть один из аспектов этого покоя и результат обретения такого знания.

Поднимаясь на закате дня к замку, Пит с каким-то тихим восторгом продолжал думать обо всем, что сказал ему мистер Проптер. Барселона пала. Испания, Англия, Франция, Германия, Америка — все они переживают упадок, переживают упадок даже в пору их кажущегося процветания, разрушают то, что строят, в самом процессе строительства. Но каждый человек имеет возможность избежать падения, прекратить саморазрушение. Никто не принуждает людей вступать в союз со злом, они заключают этот союз по своей воле.

По пути из мастерской Пит собрался с духом и спросил у Проптера совета: что ему делать?

Проптер пытливо посмотрел на него.

— Что ж, если хочешь,— сказал он,— я имею в виду, если ты *действительно* хочешь...

Пит кивнул, не говоря ни слова.

Солнце уже село; наступившие сумерки были словно воплощение покоя — божественного покоя, сказал себе Пит, поглядев на далекие горы по ту сторону равнины, покоя, превышающего всякое понимание. Расстаться

с такой красотой было немыслимо. Войдя в замок, он направился прямо к лифту, вызвал кабину — она приехала откуда-то сверху,— закрылся в ней вместе с Вермеером и нажал последнюю кнопку. Там, на площадке главной башни, он будет в самом центре этого неземного покоя.

Лифт остановился. Он открыл дверь и шагнул наружу. В воде отражалось безмятежное, еще не угасшее небо. Он перевел глаза на него, затем посмотрел на горы; потом стал огибать бассейн, чтобы взглянуть вниз с той стороны, поверх парапета.

— Уйди! — раздался вдруг сдавленный голос.

Пит сильно вздрогнул, обернулся и увидел Вирджинию, лежащую в тени почти у его ног.

— Уйди,— повторила она прежним голосом.— Я тебя ненавижу.

— Извините,— пробормотал он.— Я не знал...

— Ох, это ты.— Она открыла глаза, и даже сумерки не помешали ему заметить, что она недавно плакала.— А я думала, Зиг. Он пошел за моим гребешком.— На мгновение она затихла; потом у нее внезапно вырвалось: — Я так несчастна, Пит.

— Несчастна? — Это слово и тон, каким оно было сказано, мигом развеяли ощущение божественного покоя. Охваченный любовью и тревогой, он присел рядом с ней на лежанку. *(Под купальным халатом, невольно заметил он, на ней, кажется, совсем ничего не было.)* — Несчастна?

Вирджиния закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Даже Пресвятой Деве,— горестно и бессвязно пожаловалась она,— я даже ей не могу сказать. Мне так стыдно...

— Милая! — сказал он умоляющим тоном, словно уговаривал ее быть счастливой. И погладил девушку по голове.— Милая моя!

Неожиданно с другой стороны бассейна донесся какой-то шум; грохот захлопнувшейся двери лифта; громкий топот; нечленораздельный яростный вопль. Пит повернул голову и успел увидеть бегущего к ним мистера Стойта, в руке у которого было что-то — что-то, очень похожее на автоматический пистолет.

Он наполовину поднялся на ноги, когда Стойт выстрелил.

Появившись спустя две-три минуты с гребешком для Вирджинии, доктор Обиспо обнаружил старика на коленях — он пытался унять носовым платком кровь, которая вся еще лилась из двух ран, одной маленькой и аккуратной, другой зияющей, оставленных в голове Пита пулей, прошедшей навылет.

Скорчившись в тени парапета, Детка молилась.

— Святая-Мария-Матерь-Божья-молись-за-нас-грешных-ныне-и-в-час-нашей-смерти-аминь,— повторяла она снова и снова, так быстро, как только позволяли рыдания. Время от времени ее сотрясали приступы рвоты, и молитва ненадолго прерывалась. Затем она продолжалась вновь с того же места: — ...нас-грешных-ныне-и-в-час-нашей-смерти-аминь-Святая-Мария-Матерь-Божья...

Обиспо открыл рот, собираясь издать какое-то восклицание, потом закрыл его опять, прошептал: «Господи Иисусе!» — и быстро, тихо пошел вокруг бассейна. Прежде чем дать знать о своем присутствии, он предусмотрительно поднял пистолет и спрятал его в карман. Мало ли что. Потом окликнул Стойта по имени. Старик вздрогнул, и лицо его исказилось гримасой ужаса. Когда он обернулся и увидел, кто это, страх уступил место облегчению.

— Слава Богу, что это вы,— сказал он, потом вдруг вспомнил, что именно доктора он собирался убить. Но все это отодвинулось на миллион лет назад, за миллион миль отсюда. Ближайшим, непосредственным, самым насущным фактом была уже не Детка, не любовь или гнев, а страх и то, что лежало здесь перед ним.— Вы должны спасти его,— хрипло прошептал он.— Мы скажем, что это был несчастный случай. Я заплачу ему, сколько попросит. В разумных пределах,— поправился он по старой привычке.— Но вы должны спасти его.— Он с трудом поднялся на ноги и жестом предложил Обиспо занять его место.

Обиспо лишь отрицательно качнул головой. Старикан был весь в крови, а у него отнюдь не было желания портить костюм, обошедшийся ему в девяносто пять долларов.

— Спасти *его*? — повторил он.— Да вы с ума сошли. Гляньте-ка вон, сколько мозгов на полу.

Вирджиния в тени за его спиной перестала бормотать молитвы и начала подвывать. «На полу,— причитала она.— На полу».

Обиспо свирепо перебил ее:

— А ну заткнись, ты!

Причитания резко оборвались; но через несколько секунд тишину нарушил очередной приступ жестокой рвоты; затем снова послышалось:

— Святая-Мария-Матерь-Божья-молись-за-нас-грешных-ныне-и-в-час-нашей-смерти-аминь-Святая-Мария-Матерь-Божья-молись-за-нас-грешных...

— Если уж думать о чьем-то спасении,— продолжал Обиспо,— так это о вашем. И, поверьте мне,— с ударением добавил он, перенеся вес своего тела на левую ногу и указывая на труп носком правой,— вам стоит поторопиться. Это или газовая камера, или Сан-Квентин * на всю жизнь.

— Но это был несчастный случай,— захлебываясь от поспешности, запротестовал Стойт.— То есть все вышло по ошибке. Я же не хотел в него стрелять. Я хотел...— Он оборвал фразу на середине и умолк, беззвучно двигая ртом, словно стараясь проглотить невыговоренные слова.

— Вы хотели убить меня,— закончил за него Обиспо и широко, по-волчьи улыбнулся, как всегда в тех случаях, когда его шутки могли кого-нибудь задеть или поставить в неловкое положение. Подбодренный мыслью, что старый хрыч напуган до полусмерти и не рассердится, и сознанием того, что пистолет все равно у него в кармане, он решил пошутить еще и прибавил: — В другой раз не будете шпионить.

— ...ныне-и-в-час-нашей-смерти-аминь,— бормотала Вирджиния в наступившей паузе.— Святая-Мария-Матерь...

— Я правда не хотел,— снова повторил Стойт.— Я просто вышел из себя. Наверно, даже не отдавал себе отчета...

— Это вы объясните в суде,— саркастически заметил Обиспо.

— Но клянусь, я же не знал,— воскликнул Стойт. Его хриплый голос нелепо сорвался на писк. Лицо было белым от страха.

Доктор пожал плечами.

— Возможно,— сказал он.— Но ваше незнание — слабый аргумент против *этого*.— Он снова поднял ногу, указывая на тело носком своего изящного ботинка.

— Так что же мне делать? — почти завизжал Стойт в припадке панического ужаса.

— А я почем знаю?

Стойт хотел было просительно положить ладонь Обиспо на рукав; но тот быстро подался назад.

— Не троньте меня,— сказал он.— Поглядите на свои руки.

Стойт поглядел. Толстые, похожие на морковки пальцы были красны от крови; под грубыми ногтями кровь уже запеклась и высохла, как грязь.

— Господи! — прошептал он.— О Господи!

— ...и-в-час-нашей-смерти-аминь-Святая-Мария...

Услышав слово «смерть», старик вздрогнул, точно его стегнули хлыстом.

— Обиспо,— опять начал он, холодея при мысли о том, что его ждет.— Обиспо! Ради Бога — вы должны помочь мне спастись. Вы должны помочь мне,— взмолился он.

— После того, как вы приложили все усилия, чтобы сделать из меня *это?* — Бело-коричневый ботинок снова поднялся в воздух.

— Но вы же не дадите меня арестовать? — униженно выдохнул Стойт, жалкий в своем отчаянии.

— Это почему же?

— Вы не пойдете на это,— почти закричал он.— Не пойдете.

Поскольку было уже почти темно, Обиспо нагнулся, желая удостовериться, что на кушетке нет крови; затем поддернул свои светлые брюки и сел.

— В ногах правды нет,— любезным светским тоном заметил он.

Стойт снова взмолился о помощи.

— Я отблагодарю вас,— сказал он.— Вы получите все, что хотите. Все, что хотите,— повторил он, на сей раз отбросив всякие апелляции к разуму.

— Ага,— произнес доктор Обиспо,— вот это деловой разговор.

— ...Матерь-Божья,— бормотала Детка,— молись-за-нас-грешных-ныне-и-в-час-нашей-смерти-аминь-Святая-Мария-Матерь-Божья-молись-за-нас-грешных...

— Это деловой разговор,— повторил Обиспо.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

В дверь кабинета Джереми постучали; вошел мистер Проптер. Джереми заметил, что на нем тот самый темно-серый костюм с черным галстуком, который он надевал на похороны Пита. Цивильное платье как-то умаляло его; он казался ниже, чем в рабочей одежде, и одновременно меньше самим собой. Его обветренное, резко очерченное лицо — лицо скульптурной фигуры на западном фасаде собора — и жесткий крахмальный воротничок явно не гармонировали друг с другом.

— Вы не забыли? — спросил он после обмена рукопожатиями.

Вместо ответа Джереми показал на свою собственную черную куртку и клетчатые брюки. Их ждали в Тарзана, где должно было состояться торжественное открытие новой Аудитории Стойта.

Проптер глянул на часы.

— Еще несколько минут погодим, потом начнем собираться.— Он сел на стул.— Как у вас дела?

— Замечательно,— ответил Джереми.

Проптер кивнул.

— После отъезда бедняги Джо и его приближенных тут, наверное, действительно не жизнь, а малина.

— Живу один на один с горой антиквариата стоимостью в двенадцать миллионов долларов,— сказал Джереми.— Уверяю вас, это чрезвычайно приятно.

— Вряд ли вам было бы так уж приятно,— задумчиво произнес Проптер,— попади вы в компанию людей, которые, собственно, и создали весь этот антиквариат. В компанию Греко, Рубенса, Тёрнера *, Фра Анджелико.

— Боже упаси! — сказал Джереми, воздевая руки.

— Вот в чем прелесть искусства,— продолжал Проптер.— Оно выявляет лишь наиболее приятные свойства наиболее одаренных представителей человеческого рода. Поэтому-то я никогда и не мог поверить, что искусство какой-нибудь эпохи действительно проливает свет на жизнь этой эпохи. Возьмите марсианина и покажите ему коллекцию произведений Боттичелли *, Перуджино * и Рафаэля. Разве сможет он догадаться по ним об условиях жизни, описанных у Макиавелли *?

— Не сможет,— согласился Джереми.— Однако вот вам другой вопрос. Условия, описанные у Макиавелли,— были ли они действительно таковы? Не то чтобы Макиавелли говорил неправду. Те вещи, о которых он пишет, конечно, имели место. Но казались ли они современникам такими уж кошмарными, какими кажутся нам, когда мы о них читаем? Мы-то уверены, что они должны были ужасно страдать. Но так ли это?

— Так ли это? — повторил Проптер.— Мы спрашиваем историков; а они, конечно, ответить не могут — потому что, очевидно, нет способа подсчитать общую сумму счастья, так же как нет способа сравнить чувства

людей, живших в одних условиях, с чувствами людей, живущих в других условиях, совсем не похожих на первые. Действительные условия в любой момент таковы, какими они видятся людям, непосредственно их воспринимающим. А у историка нет способа определить, каким было это субъективное восприятие.

— Он может догадываться об этом, лишь глядя на произведения искусства,— промолвил Джереми.— Я бы сказал, что некоторый свет на тогдашнее субъективное восприятие они все же проливают. Возьмем один из ваших примеров. Перуджино — современник Макиавелли. Это означает, что хотя бы один человек умудрился сохранить жизнерадостность на протяжении всего того малоприятного периода. А раз есть один, почему бы не быть и многим другим? — Он слегка покашлял, прочищая путь цитате.— «Положение дел в государстве никогда не мешало людям вовремя пообедать».

— Весьма мудро! — сказал Проптер.— Однако заметьте, что положение дел в Англии при жизни доктора Джонсона было превосходным, даже в самые черные дни. А как насчет положения дел в стране вроде Китая или, допустим, Испании — в стране, где людям нельзя помешать обедать по той простой причине, что они не обедают вовсе? И наоборот, как насчет многочисленных случаев потери аппетита во времена вполне благополучные? — Он сделал паузу, вопросительно улыбнулся Джереми, затем покачал головой.— Иногда люди много радуются и много страдают; а иногда, по-видимому, страдают чуть ли не постоянно. Это все, что может сказать историк, пока он остается историком. Ну а превратясь в теолога или метафизика, он, разумеется, может болтать бесконечно, как Маркс, или Святой Августин *, или Шпенглер *.— Проптер неприязненно поморщился.— Бог мой, сколько же чепухи наговорили мы за последние два-три тысячелетия!

— Но в этой чепухе есть своя прелесть,— возразил Джереми.— Порой она бывáет очень занятна!

— Я, наверное, недостаточно цивилизован и предпочитаю смысл,— сказал Проптер.— Поэтому, если мне нужна философия истории, я обращаюсь к психологам.

— «Тотем и табу» *? — спросил Джереми, несколько удивленный.

— Нет-нет,— чуть нетерпеливо ответил Проптер.— Я говорю о психологах другого сорта. А именно о религиозных психологах; о тех, кто по собственному опыту знает, что люди способны достичь свободы и просветления. Они — единственные философы истории, чья гипотеза была проверена экспериментально; а значит, единственные, кто может успешно обобщить факты.

— Ну и каковы же эти обобщения? — спросил Джереми.— Все та же старая песня?

Проптер рассмеялся.

— Все та же старая песня,— ответил он.— Все те же скучные, избитые, вечные истины. На человеческом уровне, где доминируют желания, люди живут в неведении и страхе. Неведение, желания и страх являются источником немногих кратковременных наслаждений, множества продолжительный страданий, а в конце неизбежно приводят к краху. Способ лечения известен; однако, пытаясь применить его, люди сталкиваются с почти непреодолимыми трудностями. Приходится выбирать между почти непреодолимыми трудностями, с одной стороны, и абсолютно неизбежными страданиями и крахом — с другой. Вот эти обобщения религиозных психологов и позволяют разумно судить об истории. Только религиозный психолог может докопаться до смысла, когда речь идет о Перуджино и Макиавелли или, скажем, обо всем этом.— Он кивнул на бумаги Хоберков.

Джереми помигал и похлопал себя по лысине.

— Ваш скромный ученый,— мелодично промолвил он,— даже и не хочет докапываться ни до какого смысла.

— Да-да. А я-то все время об этом забываю,— с грустью в голосе сказал Проптер.

Джереми откашлялся.

— «Он дал нам доктрину энклитики «De»,— процитировал он из «Похорон Грамматика» *.

— Дал ради себя самого,— сказал Проптер, поднимаясь со стула.— Дал, несмотря на то что грамматика, которую он изучал, была безнадежно ненаучна, разъедена скрытой метафизикой, провинциальна, да к тому же давным-давно устарела. Что ж,— добавил он,— дело обычное.— Он взял Джереми за локоть, и они вместе направились к лифту.— До чего любопытная фигура этот Браунинг! — продолжал он, возвращаясь мыслями к «Грамматику».— Такой первоклассный ум, и дураку достался. Нагородить столько нелепицы о романтической любви! Приплести сюда Бога и райские кущи, говорить о браке и рафинированных формах прелюбодеяния как об откровении свыше. Да уж, глупее некуда! Впрочем, и это дело обычное.— Он вздохнул.— Не знаю почему,— прибавил он после паузы,— но у меня в голове часто вертятся его строчки — не помню даже, из какого стихотворения,— что-то вроде: «и поцелуи, как во сне, моя душа в тумане и огне». Моя душа в тумане и огне, вот уж действительно! — повторил он.— Нет, Чосер справляется с этой темой куда лучше. Помните? «Так плотника жена легла с другим» *. Прелесть как просто, без всяких экивоков и никому не нужного словоблудия! Браунинг только и знал что болтать о Боге; но я подозреваю, что он был гораздо более далек от реальности, чем Чосер, хотя Чосер никогда без крайней нужды Бога не поминал. Между Чосером и вечностью стояли только его аппетиты. У Браунинга тоже были свои аппетиты, однако, кроме них, ему застило глаза невероятное количество вздора — причем не просто вздора, но вздора тенденциозного. Потому что этот фальшивый мистицизм культивировался им, конечно же, не только ради красного словца. Он был средством, которое помогало Браунингу убедить себя в том, что его аппетиты и Бог идентичны. «Так плотника жена легла с другим»,— повторил он, входя за Джереми в кабину лифта; лифт тронулся, и они вместе с Вермеером поехали в главный вестибюль.— «Моя душа в тумане и огне!» Удивительно, как меняется вся ткань нашего существования в зависимости от того, какими словами мы ее описываем. Мы плаваем в языке, точно айсберги: четыре пятых скрыты под поверхностью, и только одну пятую нашу часть овевает свежий ветер прямого, неязыкового опыта.

Они пересекли вестибюль. Машина Проптера стояла у входа. Он сел за руль; Джереми занял соседнее место. Они поехали по петляющей дороге вниз, мимо бабуинов, мимо нимфы Джамболоньи, мимо Грота, миновали поднятую решетку и мост через ров.

— Я очень часто думаю об этом бедном мальчике,— сказал Проптер, нарушив долгое молчание.— Такая внезапная смерть.

— Я и не подозревал, что у него было так плохо с сердцем,— сказал Джереми.

— В каком-то смысле,— продолжал Проптер,— я и себя чувствую виноватым. По моей просьбе он помогал мне мастерить мебель. Наверное, я задавал ему чересчур много работы — хотя он и уверял меня, что ему это не вредно. Мне бы сообразить, что у него есть своя гордость,— что он еще слишком молод и постесняется остановить меня, если я переборщу. Вот что значит быть невнимательным и нечутким. И тебе достается, и другие страдают — те, к кому ты не проявил должного внимания.

Вновь наступило молчание; позади остались больница и апельсиновые рощи.

— В ранней и внезапной смерти есть что-то бессмысленное,— наконец произнес Джереми.— Какая-то вопиющая несуразность...

— Вопиющая? — переспросил Проптер.— Да нет, я бы не сказал. Все остальное, что происходит с людьми, не менее несуразно. Если это и кажется особенно несуразным, так только оттого, что из всех возможных происшествий ранняя смерть наиболее явно противоречит нашему представлению о нас самих.

— О чем это вы? — поинтересовался Джереми.

Проптер улыбнулся.

— О том же, о чем и вы,— ответил он.— Если что-то кажется несуразным, то бишь несообразным, стало быть, есть нечто, с чем оно не сообразуется. В данном случае это нечто — наше представление о нас. Мы мним себя свободными существами, призванными добиться в жизни некоей цели. Однако с нами сплошь и рядом происходят вещи, противоречащие такой точке зрения. Мы называем их несчастными случаями; считаем бессмысленными и несуразными. Но каков же критерий, по которому мы судим? Критерием служит картина, нарисованная нашей фантазией: чрезвычайно лестный образ свободной души, которая совершает творческий выбор и может управлять своей судьбой. К несчастью, картина эта не имеет ни малейшего отношения к обычной человеческой реальности. Она изображает нас такими, какими мы хотели бы быть, такими, какими мы и впрямь могли бы стать, если бы приложили к этому необходимые усилия. Для человека же, который на деле является рабом обстоятельств, в ранней смерти нет ничего несуразного. Это событие, вполне рядовое для той вселенной, где он живет в действительности,— хотя, конечно, не для той, какую он себе по глупости нарисовал. Несчастный случай есть столкновение ряда событий на уровне детерминизма с другим рядом событий на уровне свободы. Мы воображаем, будто наша жизнь полна случайностей, потому что воображаем, будто наше человеческое существование лежит на уровне свободы. Но это ошибка. Большинство из нас живет на механическом уровне, где события происходят согласно законам больших чисел. То, что мы называем случайным и несуразным, обусловлено самой сутью мира, который мы избрали для проживания.

Раздосадованный тем, что неосторожно вылетевшее у него слово дало Проптеру возможность уличить его в непозволительном идеализме, Джереми затих. Некоторое время ехали молча.

— А похороны-то? — произнес наконец Джереми, ибо его ум, привыкший всегда и во всем отыскивать анекдотические черты, обратился к конкретным забавным особенностям той ситуации.— Прямо как у Рональда Фербэнка *! — Он хихикнул.— Я сказал Хабаккуку, что к статуям надо подвести паровое отопление. Уж больно они ненатуральны на *ощупь*.— Он погладил рукой воображаемую мраморную ягодицу.

Проптер, который думал об освобождении, кивнул и вежливо улыбнулся.

— А как Малдж читал службу! — продолжал Джереми.— Вот уж действительно, соловьем разливался! Слащавей и в английском соборе не услышишь. Точно вазелин с ароматом портвейна. И как он объявил: «Я есмь воскресение и жизнь»,— будто говорил совершенно всерьез, будто он, Малдж, готов персонально гарантировать это в письменном виде, по принципу «деньги назад»: вся уплаченная за похороны сумма будет возвращена, если мир иной не обеспечит полного удовлетворения клиента.

— Он ведь, пожалуй что, и впрямь в это верит,— задумчиво сказал Проптер.— Не совсем, конечно, а этак полушутя, полусерьезно. Знаете как: считаю это правдой, но постоянно веду себя так, словно это ложь; согласен с тем, что это самая важная вещь на свете, но никогда по доброй воле о ней не думаю.

— А вы-то сами верите в это? — спросил Джереми.— Полусерьезно или неполусерьезно? — И, когда Проптер ответил, что не верит в такую разновидность воскресения и жизни, воскликнул: — Ага! — тоном снисходительного папаши, который застал сына целующим служанку.— Ага! Значит, в каком-то полусерьезном смысле воскресение все-таки имеет место?

Проптер рассмеялся.

— Вполне вероятно,— сказал он.

— Что же в таком случае сталось с беднягой Питом?

— Ну, для начала,— неторопливо произнес Проптер,— должен сказать, что Пит qua [1] Пит свое существование прекратил.

---

[1] Как *(лат.)*.

— Тут уж всякая серьезность отпадает,— ввернул Джереми.

— Но Питово неведение,— продолжал Проптер,— Питовы страхи и желания — что ж, я думаю, очень возможно, что они до сих пор остаются в мире источником неприятностей. Неприятностей для всех и вся, а особенно для себя самих. В первую очередь для себя самих, какую бы форму им ни случилось принять.

— А если бы, допустим, Пит не был невежественным и женолюбивым, тогда как?

— Ну, очевидно,— сказал Проптер,— тогда и неприятностям больше неоткуда было бы браться.— После минутного молчания он процитировал таулеровское определение Бога: — «Бог есть бытие, удаленное от всякой твари, свободная мощь, чистое делание».

Они свернули с главной дороги на обсаженную перечными деревьями аллею, которая вилась между зеленых лужаек студенческого городка Тарзана. Впереди замаячила новая Аудитория, здание в строгом романском стиле. Проптер поставил свой старенький «форд» среди блестящих «кадиллаков», «крайслеров» и «паккардов», выстроившихся у входа; они вошли внутрь. Фотокорреспонденты в холле глянули на них, мигом определили, что вошедшие не являются ни банкирами, ни кинозвездами, ни юрисконсультами, ни представителями церкви, ни сенаторами, и презрительно отвернулись.

Студенты уже расселись по местам. Под их взглядами Джереми и Проптер прошли к рядам, отведенным для почетных гостей. Какой разительный контраст! Здесь, в переднем ряду, находился Сол Р. Катценблюм, президент «Авраам Линкольн пикчерс инкорпорейтед» и активный борец за Моральное Перевооружение; бок о бок с ним сидел епископ Санта-Моники; здесь же был и мистер Песчеканьоло из Банка Дальнего Запада. Великая герцогиня Евлалия сидела около сенатора Бардольфа, а во втором ряду они заметили двоих братьев Энгельс и Глорию Боссом, беседующих о чем-то с контр-адмиралом Шотоверком. Оранжевое одеяние и длинная волнистая борода принадлежали Свами Йогалинге, основателю Школы Личности. Следующим был вице-президент «Консоль ойл», потом миссис Вагнер...

Неожиданно во всю мощь грянул орган. Под звуки гимна Тарзана-колледжа показалась процессия преподавателей. Парами, в мантиях, капюшонах и шапочках с кистями, доктора богословия, философии, естественных наук, юриспруденции, изящной словесности, музыки прошествовали по проходу и поднялись на сцену — там, у задника, широким полукругом стояли приготовленные для них стулья. Посреди сцены возвышался пюпитр; над ним возвышался доктор Малдж. Пюпитр ему, конечно же, был не нужен; ибо Малдж гордился своим умением говорить практически бесконечно без всяких бумажек. Пюпитр поставили, дабы оратор мог доверительно склониться над ним или, держась за него, пылко откинуться назад, дабы он мог энергично пристукнуть по нему кулаком или совершить эффектную прогулку на несколько шагов в сторону с последующим возвращением.

Орган смолк. Доктор Малдж начал свою речь — начал, разумеется, с комплиментов мистеру Стойту. Мистер Стойт, чье великодушие... Мечта, ставшая реальностью... Воплощение идеала в камне... Человек, наделенный даром Предвидения. Без Предвидения люди погибли бы... Но этот Человек обладает даром Предвидения... Он предвидит будущую судьбу Тарзана..... Средоточие, фокус, светоч... Калифорния... Новая культура, более развитая наука, более высокая духовность... (Тембр голоса Малджа менялся от фагота к трубе. От вазелина с легким душком портвейна до холестерина в химически чистом виде.) Но, увы (тут голос трогательно упал, приобретя саксофонно-ланолиновую окраску), увы... Лишен возможности быть сегодня с нами... Внезапное трагическое событие... Юноша, унесенный смертью на пороге жизни... Вел исследования в тех областях науки, которые, осмелится он сказать, столь же близки мистеру Стойту, как и сферы служения обществу и культуре... Тяжелый удар... Необычайно чуткое сердце в условиях грубой действительности... Домашний врач настоял на полной

и немедленной смене обстановки... Но несмотря на физическое отсутствие, душой он здесь... Мы чувствуем его среди нас... И это вдохновляет всех, и пожилых, и юных... Светоч Культуры... Будущее... Идеалы... Победа духа... За плечами великие свершения... Господь осенил наш городок своим благословением... Да укрепимся в помыслах наших... Выше... Дальше... Больше... Вера и Надежда... Демократия... Свобода... Нетленное наследие Вашингтона и Линкольна... Слава, которая ожидает Грецию, возрожденную на бреге Тихого Океана... Знамя... Миссия... Явное предначертание... Воля Божья... Тарзана...

Наконец все было сказано. Зазвучал орган. Процессия преподавателей двинулась к выходу. За ней потянулись почетные гости.

Снаружи, на солнечном свету, Проптера задержала миссис Песчеканьоло.

— По-моему, это была удивительно вдохновенная речь,— с жаром сказала она.

Проптер кивнул.

— Чуть ли не самая вдохновенная из всех речей, какие я только слышал. А я, Бог свидетель,— добавил он,— наслушался их на своем веку предостаточно.

Глава вторая

Даже по Лондону был разлит жидковатый солнечный свет — свет, который по мере приближения автомобиля к менее задымленным пригородам становился все сильнее и ярче, пока наконец где-то около Ишера дорога не заблестела под лучами великолепнейшего весеннего утра.

На заднем сиденье машины распростерся по диагонали мистер Стойт, укрытый шерстяным пледом. Он по-прежнему регулярно принимал успокаивающее — правда, теперь это было нужно скорее ему самому, чем его врачу,— и просыпался как следует только ко второму завтраку.

Бледная и с грустными глазами, погруженная в свои печали, которые пять дней дождя над Атлантикой и еще три лондонского тумана так и не смогли хоть немного развеять, Вирджиния молчаливо сидела впереди.

За рулем (ибо он решил, что шофера в эту поездку брать не стоит) беспечно насвистывал доктор Обиспо; время от времени он даже пел вслух — пел «Stretti, stretti, nell' estasi d'amor» [1]; пел «Нам маленькая чарочка вреда не принесет»; пел «Мне снилось, что дом мой — роскошный чертог»*. Он был в столь радужном настроении отчасти благодаря прекрасной погоде — весна, весна, звенят ручьи, подумал он про себя, не говоря уж о прочих мелочах вроде чистотела, анемонов, что бы под этим ни подразумевалось, примул с гулянки. Разве забудет он свое удивление, вызванное неожиданными упоминаниями англичан о ежедневных гулянках? Оказывается, они не имели в виду ничего более предосудительного, нежели обыкновенные прогулки. «Сходим на гулянку, наберем примул». Замечательная кишечная флора! Лучше даже, чем у карпов. Что являлось второй причиной его довольства жизнью. Они держали путь к двум старым леди Хоберк — быть может, их ожидали там новые сведения о Пятом графе, благодаря которым выяснится что-нибудь важное о связи между старением, жирными спиртами и кишечной флорой карпов.

Шутливо подражая манере оперного солиста, он запел снова.

— Мне сни-илось, что до-ом мой — роско-ошный чертог,— объявил он,— и сло-ово мое — зако-о-он. Что всякий, кто ступит на мо-ой порог, жаждет быть моим верным рабо-о-ом.

Вирджиния, которая сидела рядом, окаменев от горя, внезапно в ярости обернулась к нему.

— Ради всего святого! — почти взвизгнула она, нарушив молчание, длящееся от самого Кингстона-апон-Темс.— Нельзя посидеть спокойно?

---

[1] Теснее, теснее в любовном экстазе *(итал.). (Неаполитанская песенка.)*

Обиспо игнорировал ее выпад; начиная следующую строку, он удовлетворенно усмехнулся про себя, отметив, что она теперь имеет к нему самое прямое отношение:

— Сокровищ в подва-алах не сче-есть...

Нет, это, конечно, преувеличено. Не то чтобы не счесть. Так себе, скромненькое состояньице. Хватит на спокойную жизнь и на долгие исследования; и не надо убивать время на эти орды больных, которым лучше было бы помереть. Двести тысяч долларов наличными и четыре тысячи пятьсот акров земли в долине Сан-Фелипе — Дядюшка Джо божится, что туда вот-вот проведут воду для орошения. (Пусть только попробуют не провести — ох и достанется тогда старому хрычу на орехи!) «Остановка сердца вследствие миокардита на почве ревматизма». За такое свидетельство о смерти он мог бы потребовать куда больше двухсот тысяч. Особенно если учесть, что его помощь этим не ограничивалась. Нет, сэр! Надо было еще убрать всю эту грязь (светло-коричневым костюмом стоимостью в девяносто пять долларов пришлось-таки пожертвовать). Надо было обезопасить себя от внезапного появления слуг; уложить в постель Детку, предварительно впрыснув ей большую дозу морфия; добиться от ближайших родственников разрешения на кремацию — слава Богу, что единственным родственником оказалась сестра, которая жила в Пенсаколе, Флорида, и из-за стесненных обстоятельств не могла позволить себе приехать в Калифорнию на похороны. А еще (самое щекотливое) были поиски нечистого на руку владельца похоронного бюро; встреча с мошенником, показавшимся подходящим; разговор с туманными намеками на несчастный случай, который не следует предавать огласке, на деньги, которые, конечно же, представляют собой вопрос второстепенный; затем, после короткой лицемерной речи хозяина о том, что помочь почитаемому горожанину избежать неприятных пересудов — его долг, резкая смена тона, деловая констатация неумолимых фактов и перечисление необходимых мер, торговля о цене. В конце концов мистер Пенго согласился не замечать дырок в голове Пита всего лишь за двадцать пять тысяч долларов.

— Сокровищ в подва-алах не сче-есть, мой род просла-авлен во веки веков.— Да, определенно, подумал Обиспо, определенно, он мог бы потребовать гораздо больше. Но зачем? Он человек разумный; почти, можно сказать, философ; без особых амбиций, не гоняется за мирской славой, а потребности его до того просты, что даже самая настоятельная из них, помимо тяги к научным исследованиям, в огромном числе случаев может быть удовлетворена практически даром — а то и в выигрыше останешься, как тогда, когда миссис Боянус преподнесла ему в знак уважения портсигар из чистого золота; да есть ведь еще Жозефинины жемчужные запонки и те, другие,— зеленые, эмалевые, с его монограммой из бриллиантов, подарок малютки, как бишь ее...

— Но я сча-астлив вдвойне-е, потому-у что я тот,— пропел он, для вящей убедительности повышая голос и пуская в ход пылкое тремоло,— с кем поныне твоя-а любо-овь, с кем поны-ыне твоя-а любо-овь, с кем поныне,— повторил он, на миг оторвал взор от портсмутской дороги и, подняв брови, с ироническим любопытством заглянул в лицо отвернувшейся от него Вирджинии,— поны-ыне твоя-а любо-овь,— и, в четвертый раз, с необычайной энергией и подъемом,— с кем поны-ы-ы-ыне твоя-а-а любо-о-овь.

Он еще раз поглядел на Вирджинию. Детка смотрела прямо перед собой, прикусив нижнюю губу, словно ей было больно и она сдерживалась, чтобы не закричать.

— Мой сон в руку? — Вопрос сопровождался волчьей улыбкой.

Девушка не отвечала. С заднего сиденья доносился бульдожий храп Стойта.

— Я тот, с кем поны-ы-ыне твоя-а любо-о-овь? — продолжал настаивать он, переводя машину в правый ряд и прибавляя скорость, чтобы обогнать колонну армейских грузовиков.

Детка освободила губу и сказала:

— Убила бы.

— Да уж конечно,— согласился Обиспо.— Но ты этого не сделаешь. Потому что твоя любо-о-о-овь со мной. Вернее,— продолжал он, и улыбка его с каждым словом становилась все шире и плотояднее,— ты любишь не меня; ты любишь...— Он сделал короткую паузу.— Ладно, давай назовем это более поэтическим словом,— потому что от поэзии ведь еще никто не уставал, правда? — ты любишь Любо-о-о-овь, ты так любишь Любо-о-о-овь, что у тебя просто рука не поднимется меня шлепнуть. Ведь как ни крути, а именно я регулярно обеспечиваю тебя Любо-о-о-овью.— Он снова запел: — Мне сни-илось, что я-а сглупи-и-и-ил и сби-ился с прямо-ой доро-оги...

Вирджиния зажала уши ладонями, чтобы не слышать этого голоса — неумолимого голоса правды. Потому что Обиспо, как это ни горько, был прав. Даже после смерти Пита, даже после ее обещания Пресвятой Деве, что это больше никогда, никогда не случится опять,— это все-таки случилось опять.

Обиспо продолжал импровизировать:

— Потому-у что всегда-а по ноча-ам выходил, не прикрыв свои голые но-оги...

Вирджиния еще плотнее зажала уши. Это все-таки случилось опять, несмотря на то, что она была против, несмотря на то, что она ругала его, отбивалась, царапалась; но он только смеялся и делал свое дело; а потом она вдруг почувствовала себя слишком усталой, чтобы отбиваться дальше. Слишком усталой и слишком несчастной. Он получил то, что хотел; а самое ужасное, что и она, кажется, хотела того же — верней, не она, а ее несчастья; потому что наступило временное облегчение; ей удалось забыть эту кровь; удалось заснуть. На следующее утро она презирала и ненавидела себя как никогда.

— У меня были замки и трон золотой,— пел Обиспо, затем перешел на прозу,— а также фетиши, святые мощи, мантры и прочая тарабарщина, ризы, карнизы. Но я счастлив вдвойне, потому что я тот — или лучше «со мной», чтобы вышло в рифму,— он поднатужился, дабы вложить в последний пассаж максимум красоты и проникновенности,— и поны-ыне твоя-а любо-овь, и поны-ыне твоя-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

— Замолчи! — изо всех сил выкрикнула Вирджиния.

От ее крика проснулся Дядюшка Джо.

— Что такое? — испуганнно спросил он.

— Ей не нравится, как я пою,— отозвался Обиспо.— Почему бы это, скажите на милость? У меня прелестный голос. Идеально подходит для небольших аудиторий, вроде этого автомобиля.— Он рассмеялся от души. Ужимки Детки, разрывающейся между Приапом * и Священным гротом, чрезвычайно забавляли его. Вместе с прекрасной погодой, примулами с гулянки и перспективой окончательно прояснить роль стеринов в процессе старения они поддерживали его отменное расположение духа.

Они достигли усадьбы Хоберков около половины двенадцатого. Привратницкая пустовала; Обиспо пришлось выйти и открыть ворота самому.

Центральная аллея усадьбы поросла травой, парк успел вернуться в состояние первобытного запустения. Вывороченные бурями деревья гнили там, где упали. На стволах живых огромными булками белели грибы-паразиты. Декоративные посадки превратились в маленькие джунгли, густо заросшие куманикой. Греческий бельведер на холмике у аллеи лежал в руинах. Дорога сделала поворот, и впереди открылся дом эпохи Якова I — одно его крыло сохранилось в первоначальном виде, другое украшали чужеродные готические пристройки девятнадцатого века. Живая изгородь из тиса разрослась, образовав сплошную высокую стену. О местоположении некогда разбитых в строгом порядке клумб можно было догадаться по пышным зеленым кругам щавеля, прямоугольникам и полумесяцам крапивы и осота. Из неряшливо торчащей пучками травы на дальней заброшенной лужайке едва выглядывали крокетные воротца.

Обиспо остановил машину у подножия главной лестницы и вышел.

В тот же миг из тисового туннеля вынырнула маленькая девочка, лет восьми-девяти. Заметив автомобиль и людей, она замерла, явно подумывая об отступлении, потом, ободренная мирным видом новоприбывших, шагнула вперед.

— Глядите, чего у меня есть,— сказала она на нелитературном южноанглийском и протянула им противогаз, держа его, как корзинку. Он был до половины наполнен примулами и цветами пролески.

Обиспо возликовал.

— С гулянки! — закричал он.— Ты принесла их с гулянки! — Он потрепал ребенка по волосам цвета пакли.— Тебя как зовут?

— Милли,— ответила девочка; затем добавила с ноткой гордости в голосе: — Я не ходила в одно место уже целых пять дней.

— Пять дней?

Милли торжествующе кивнула.

— Бабуля говорит, меня надо сводить к доктору.— Она снова кивнула и улыбнулась ему с видом человека, только что объявившего о своей скорой поездке на Бали *.

— По-моему, твоя бабуля совершенно права,— сказал Обиспо.— Она здесь живет?

Девочка утвердительно кивнула.

— Она на кухне,— ответила она и невпопад добавила: — Она глухая.

— А как насчет леди Джейн Хоберк? — продолжал Обиспо.— Она тоже здесь живет? И другая — леди Энн, кажется?

Девчушка снова кивнула. Затем на лице ее появилось озорное выражение.

— У леди Энн знаете что? — спросила она.

— Что?

Милли поманила его поближе к себе; он нагнулся и подставил ухо.

— У нее в животе бурчит,— прошептала она.

— Да ну!

— Как будто птички поют,— поэтически добавила девочка.— Это у нее так после завтрака.

Обиспо снова потрепал ее по голове и сказал:

— Нам бы надо побеседовать с леди Энн и леди Джейн.

— Побеседовать? — почти испуганно повторила девчушка.

— Может быть, ты сбегаешь попросишь бабулю, чтобы она нас проводила?

Милли помотала головой.

— Она не согласится. Бабуля никому не разрешает к ним ходить. Тут как-то приходили насчет этих штук.— Она подняла противогаз.— И леди Джейн так разозлилась, ужас. А потом разбила своей палкой лампу, ну, нечаянно — бамс! — и стекло вдребезги, по всему полу осколки полетели. Так смешно было!

— Молодчина,— сказал Обиспо.— А еще посмеяться не хочешь?

Девочка посмотрела на него с подозрением.

— Вы это про что?

Обиспо напустил на себя заговорщический вид и понизил голос до шепота:

— Про то, что ты можешь пустить нас внутрь через какой-нибудь черный ход, и мы все пойдем на цыпочках, вот так,— он продемонстрировал, как, на усыпанной гравием дорожке.— А потом мы вдруг появимся в комнате, где они сидят, и сделаем им сюрприз. И тогда леди Джейн запросто может разбить еще одну лампу, и мы все вволю посмеемся. Как ты на это смотришь?

— Бабуля страшно рассердится,— с сомнением сказала Милли.

— А мы ей не скажем, что это ты нас провела.

— Она все равно узнает.

— Не узнает,— уверенно сказал Обиспо. Затем добавил другим тоном: — Хочешь заработать одну классную штуку?

Девочка непонимающе посмотрела на него.

— Классную штуку,— плотоядно повторил он; затем вспомнил, что в этой дурацкой стране так не говорят.— Конфеты любишь? — Он мигом слетал к машине и вернулся с роскошной коробкой шоколадных конфет, купленных на тот случай, если Вирджиния в дороге проголодается. Он открыл крышку, дал ребенку разок понюхать, потом закрыл опять.— Проведи нас в дом,— сказал он,— и получишь их все.

Пятью минутами позже они уже протискивались через стрельчатую стеклянную дверь в том конце дома, где были готические пристройки. Внутри было сумрачно, пахло пылью, рассохшейся древесиной и нафталином. Постепенно, по мере того как глаза привыкали к полумраку, перед ними вырисовывались обтянутый сукном бильярдный стол, камин с позолоченными часами, книжная полка, где стояли романы сэра Вальтера Скотта в переплете алой кожи и восьмое издание Британской энциклопедии, большая картина в коричневых тонах, изображающая крещение будущего Эдуарда VII *, пять или шесть оленьих голов. На столе у двери висела карта Крыма; Севастополь и Альма * были отмечены маленькими булавочными флажками.

Держа противогаз с цветами в одной руке и прижимая палец другой к губам, Милли на цыпочках вела их по коридору, через темную гостиную, через прихожую, снова по коридору. Потом она остановилась и, подождав, пока Обиспо нагонит ее, показала на дверь.

— Здесь,— прошептала она.— За этой дверью.

Без единого слова Обиспо отдал ей коробку с конфетами; Милли схватила ее и, точно зверек, стащивший лакомый кусочек, шмыгнула мимо Вирджинии и Стойта дальше, в темный коридор, чтобы в безопасности насладиться вожделенной добычей. Обиспо поглядел ей вслед, затем обернулся к спутникам. Они шепотом посовещались; в конце концов было решено, что Обиспо лучше отправиться одному.

Он прошел вперед, тихо открыл дверь, скользнул внутрь и затворил ее за собой.

Оставшиеся снаружи Детка и Дядюшка Джо ждали его, как им показалось, битых два часа. Затем за стеной вдруг раздался беспорядочный, все усиливающийся шум, кульминация которого совпала с внезапным появлением в коридоре доктора Обиспо. Он захлопнул дверь, сунул в скважину ключ и повернул его.

Мгновение спустя дверную ручку бешено задергали изнутри, послышался пронзительный старушечий голос: «Как вы смеете!» Потом по двери требовательно забарабанили палкой, и тот же голос сорвался почти на визг: «Верните ключ! Верните немедленно!»

Обиспо положил ключ в карман и пошел по коридору к своим, сияющий и удовлетворенный.

— Ну и видик у этих старых ведьм — с ума сойти,— сказал он.— Сидят по обе стороны камелька, как королева Виктория и королева Виктория *.

К первому голосу присоединился второй; дерганье и стук возобновились с удвоенной силой.

— А ну, поднажмите! — насмешливо крикнул Обиспо; затем, одной рукой подталкивая Стойта, а другой по-свойски награждая Детку легким шлепком пониже спины, сказал: — Идем, идем.

— Куда идем-то? — спросил Стойт сердито и недоуменно. Он и раньше не мог понять, за каким дьяволом их понесло через Атлантику — разве только чтобы уехать из замка. Уехать-то, конечно, надо было. Тут и сомнений нет; сомневался он, пожалуй, лишь в том, смогут ли они после всего, что случилось, вообще когда-нибудь туда вернуться — смогут ли, например, опять загорать там, на крыше. Господи! Как представишь себе...

Ладно, но почему именно Англия? В нынешнее-то время года? Почему не Флорида или Гавайи? Так нет ведь; Обиспо настоял на своем. Это-де необходимо для работы, в Англии можно будет разузнать кое-что важное. А он не мог спорить с Обиспо — по крайней мере сейчас: не время еще. И потом, без врача ему пришлось бы совсем худо. Нервы, желудок — все ни

к черту. И спать он без снотворного не ложился; мимо полисмена по улице и то пройти не мог, чтоб сердце не захолонуло. Тут можно было твердить: «Бог есть любовь. Смерти нет», пока не посинеешь; теперь это ни капли не помогало. Он уже стар, он болен; смерть все ближе и ближе, и если Обиспо срочно не сделает чего-нибудь, если он быстро не отыщет какого-нибудь средства...

Посередине полутемного коридора Стойт вдруг остановился. Позади них леди Хоберк все еще колотили палками в дверь своей тюрьмы.

— Обиспо,— тревожно сказал он,— Обиспо, вы абсолютно уверены, что этого, ну... что ада не существует? Можете это доказать?

Обиспо усмехнулся.

— А вы можете доказать, что на обратной стороне Луны не живут зеленые слоники? — спросил он.

— Нет, серьезно...— в муках настаивал Дядюшка Джо.

Серьезно,— весело ответил Обиспо,— я не берусь доказывать утверждение, которое не может быть проверено.— Они со Стойтом и прежде вели подобные разговоры. Обиспо казалось, что в таком поединке логики с мольбами, продиктованными безрассудным ужасом, есть нечто чрезвычайно комичное.

Детка слушала их молча. Она-то *знала* про ад; *знала,* что бывает с тем, кто совершит смертный грех — например, позволит, чтобы это случилось опять, да еще после обещания, данного Пресвятой Деве. Но Пресвятая Дева такая добрая, такая замечательная. И вообще, на самом деле во всем виноват эта скотина Зиг. Она ведь клялась от чистого сердца, а потом пришел Зиг и силком заставил ее нарушить слово. Пресвятая Дева поймет. Страшнее всего другое — то, что это случилось опять, когда он уже ее не принуждал. Но даже и тогда, на самом-то деле, это случилось не по ее вине — ведь надо же учесть, что ей пришлось пережить ужасные дни; что она была нездорова; что она...

— Но как по-вашему, ад может быть? — снова заладил свое Стойт.

— Все может быть,— жизнерадостно сказал Обиспо. Он навострил уши, прислушиваясь к воплям оставшихся за дверью старых ведьм.

— А как по-вашему, за это сколько — один шанс на тысячу? Или один на миллион?

Доктор, ухмыляясь, пожал плечами.

— Спросите Паскаля,— посоветовал он.

— Кто это Паскаль? — заинтересовался Стойт, в своем отчаянии готовый уцепиться за самую жалкую соломинку.

— Он умер! — Обиспо прямо-таки распирало от ликования.— Умер, как последний болван. А теперь шевелитесь-ка, шевелитесь! — Он схватил Дядюшку Джо за руку и буквально поволок по коридору.

Произнесенное Обиспо ужасное слово эхом отдавалось в мозгу Стойта.

— Но я хочу знать наверняка,— запротестовал он.

— Знать наверняка то, чего нельзя узнать!

— Должен же быть какой-то способ!

— Нет никакого способа. Только один: умереть и посмотреть, что будет. Куда, черт возьми, запропастился этот ребенок? — добавил он другим тоном и позвал: — Милли!

Перемазанное шоколадом личико возникло из-за подставки для зонтиков в прихожей.

— Видели их? — спросила девчушка с набитым ртом.

Обиспо кивнул.

— Они решили, что я из противовоздушной обороны.

— Ну да! — возбужденно воскликнула Милли.— Как раз оттуда был тот, из-за которого разбили лампу.

— Подойди-ка сюда, Милли,— скомандовал Обиспо. Девочка подошла.— Где дверь в подземелье?

На лице Милли появился ужас.

— Там заперто,— сказала она.

Обиспо кивнул.

— Знаю,— ответил он.— Но леди Джейн дала мне ключи.— Он вынул из кармана кольцо, на котором висели три больших ключа.

— Там внизу буки живут,— прошептала девчушка.

— Мы бук не боимся.

— Бабуля говорит, они такие уроды,— продолжала Милли.— Такие злые.— Голос ее стал хнычущим.— Она говорит, если я не буду ходить в одно место как полагается, буки придут за мной. Но я ничего не могу сделать.— Полились слезы.— Я не виновата.

— Конечно, не виновата,— нетерпеливо сказал Обиспо.— Никто, никогда и ни в чем не бывает виноват. Даже в том, что у него запор. А теперь я хочу, чтобы ты показала нам дверь в подземелье.

Еще в слезах, Милли помотала головой.

— Я боюсь.

— Но мы же не заставляем тебя спускаться туда. Покажешь, где дверь, и все.

— Не хочу.

— Будь паинькой,— вкрадчиво заговорил Обиспо,— проводи нас до двери, ладно?

Милли, заупрямившись от страха, продолжала мотать головой.

Вдруг Обиспо сделал быстрый выпад и выхватил у девочки коробку с конфетами.

— Не скажешь — не получишь больше конфет,— сказал он и раздраженно добавил: — Сама напросилась.

Милли издала горестный вопль и попыталась вернуть коробку, но она была вне пределов досягаемости.

— Только когда проведешь нас к двери в подземелье,— категорически заявил Обиспо и, дабы показать, что не шутит, открыл коробку, набрал горсть конфет и принялся одну за другой отправлять их в рот.— Ай, как вкусно! — приговаривал он, жуя конфеты.— Ай, как сладко! Знаешь, я даже рад, что ты не согласилась: теперь я могу съесть их все.— Он раскусил еще одну, изобразил на лице восторг.— О-о, да это просто объедение! — Он почмокал губами.— Бедняжка Милли! Она их больше не получит.— Он взял из коробки очередную порцию.

— Ой, не надо, не надо! — молила девочка, глядя, как драгоценные коричневые кругляшки по очереди исчезают во рту Обиспо. Затем наступил момент, когда алчность пересилила страх.— Я покажу вам, где дверь,— крикнула она, точно несчастная жертва, у которой пытками вырвали признание.

Это возымело волшебный эффект. Обиспо вернул на место три уцелевшие конфеты и закрыл коробку.

— Пошли,— сказал он и протянул девчушке руку.

— Отдайте их мне,— потребовала она.

Обиспо, хорошо знакомый с основами дипломатии, покачал головой.

— Только после того, как покажешь дверь,— сказал он.

Милли чуть помедлила; затем, подчинившись суровой необходимости, которая требовала соблюдения условий сделки также и с ее стороны, взяла его за руку.

Дядюшка Джо и Детка двинулись следом. Они вышли из прихожей, пересекли гостиную, миновали коридор, карту Крыма, бильярдную, еще один коридор и очутились в большой библиотеке. Красные плюшевые занавеси были задернуты; но между ними просачивался слабый свет. Вдоль всех стен, фута на три не доходя до высокого потолка, тянулись коричневые, синие и алые ярусы классической литературы; на карнизе из красного дерева через правильные интервалы стояли бюсты знаменитых мертвецов. Милли указала на Данте.

— Это леди Джейн,— доверительно прошептала она.

— Черт побери! — неожиданно взорвался Стойт.— К чему это все? Скажете вы наконец, зачем мы сюда приперлись?

Обиспо игнорировал его.

— Где дверь? — спросил он.

Девочка показала.

— Это еще что за штучки? — сердито закричал было он; потом увидел, что одна из секций с книгами — всего лишь бутафория из дерева и кожи. Это были полки, занятые тридцатью тремя томами проповедей архиепископа Стиллингфлита * и (он узнал почерк Пятого графа) полным, в семидесяти семи томах, собранием сочинений Донатьена Альфонса Франсуа, маркиза де Сада. При более тщательном осмотре обнаружилась и замочная скважина.

— Отдайте мои конфеты,— потребовала Милли.

Но Обиспо не желал рисковать.

— Сначала проверим, подойдет ли ключ.

Он попытался отомкнуть замок, и со второй попытки ему это удалось.

— Держи.— Он отдал Милли коробку и одновременно открыл дверь. Девочка издала вопль ужаса и кинулась прочь.

— К чему все это? — с тревогой в голосе повторил Стойт.

— Все это к тому,— сказал Обиспо, смотря на ведущие вниз ступени, которые через несколько футов исчезали в непроглядной тьме,— все это к тому, чтобы вам не пришлось узнать, существует ли ад. По крайней мере, пока; а может быть, и в течение очень долгого времени. Ну, слава Богу! — добавил он.— У нас будет свет.

Прямо за дверью, на полочке, стояли два потайных фонаря старого образца. Обиспо взял один из них, поболтал, поднес к носу. Масло внутри было. Он зажег оба, один отдал Стойту, другой оставил себе и начал осторожно спускаться по лестнице.

Спуск был длинный; внизу оказалась круглая комната, вырубленная в желтом песчанике. Отсюда вели четыре выхода. Они выбрали один и прошли по узкому коридорчику в другую комнату, на сей раз с двумя выходами. Первый путь заканчивался тупиком; отправившись по другому, они миновали еще одну лестницу и попали в пещерку, полную древнего мусора. Дальше идти было некуда; с трудом, дважды сбившись с дороги, они вернулись обратно в круглую комнату, с которой начали, и снова попытали счастья. Ступени, ведущие вниз; несколько маленьких комнаток подряд. Одна из них была оштукатурена, на ее стенах были нацарапаны непристойные рисунки в стиле раннего восемнадцатого века. Они поспешили дальше и спустились по очередной короткой лесенке в большое квадратное помещение с вентиляционной шахтой, идущей под углом сквозь скалу; далеко вверху брезжило крохотное пятнышко белого света. Это было все. Они вернулись снова. Стойт уже успел вспотеть; но Обиспо настаивал на продолжении. Попробовали третий выход. Коридор; анфилада из трех комнат. Затем путь раздваивался; один проход вел вверх, но уже в начале был заложен кирпичной кладкой; другой спускался в коридор, пробитый на более низком уровне. Футов через тридцать—сорок слева обозначилось какое-то отверстие. Обиспо посветил туда; там оказалась сводчатая ниша, в глубине которой на гипсовом пьедестале стояла мраморная копия «Венеры» Медичи *.

— Дьявольщина! — сказал Стойт; затем, по некотором размышлении, впал в легкую панику.— Как, черт возьми, они затащили сюда эту штуку? — спросил он, бегом догоняя Обиспо.

Доктор не отвечал, нетерпеливо шагая вперед.

— Это сумасшествие,— опасливо продолжал Стойт, труся за доктором.— Натуральное сумасшествие. Говорю вам, мне это не нравится.

Обиспо нарушил свое молчание.

— Можете подумать, как заполучить ее для Беверли-пантеона,— сказал он с волчьей веселостью.— Эй, а это еще что? — добавил он.

Они вышли из туннеля в комнату довольно больших размеров. Посреди комнаты была круглая каменная кладка с двумя железными стойками по обе стороны и перекладиной между ними, на которой висел блок.

— Колодец! — сказал Обиспо, вспомнив запись из дневника Пятого графа.

Он чуть ли не бегом бросился к туннелю в дальнем конце комнаты.

Через десять футов от входа путь ему преградила массивная, обитая гвоздями дубовая дверь. Обиспо вынул все ту же связку ключей, выбрал один наугад, и дверь сразу открылась. Они стояли на пороге маленькой продолговатой каморки. Его фонарь высветил в противоположной стене следующую дверь. Он тут же кинулся к ней.

— Тушенка! — удивленно сказал Стойт, пробегая лучом фонаря по рядам консервов и стеклянных банок на полках высокого шкафа, почти целиком занимавшего одну из стен комнаты.— Креветки Билокси. Ананасы ломтиками. Бостонские печеные бобы,— прочел он, потом повернулся к Обиспо: — Говорю вам, Обиспо, не нравится мне все это.

Детка достала и теперь прижимала к носу платок, пропитанный ароматом «Shocking».

— Ну и вонища! — неразборчиво произнесла она сквозь несколько слоев материи и содрогнулась от отвращения.— Ну и вонища!

Между тем Обиспо подбирал ключ к другой двери. Наконец она распахнулась. На них хлынул поток теплого воздуха, и каморка в одно мгновение наполнилась невыносимым смрадом. «Господи!» — сказал Стойт, а Детка, борясь с тошнотой, испустила приглушенный вопль ужаса.

Обиспо поморщился и шагнул туда, откуда шел запах. В конце короткого коридорчика была третья дверь, на сей раз из железных прутьев, похожая (подумал Обиспо) на дверь тюремной камеры смертников. Он посветил фонарем сквозь прутья, в смрадную тьму за ними.

Оставшиеся у шкафа с консервами Стойт и Детка внезапно услышали удивленное восклицание, а затем, после короткого затишья, взрыв буйного, неудержимого хохота. Раскат за раскатом, звенящий металлический смех доктора Обиспо вырывался из коридорчика, многократно отражаясь в ограниченном пространстве каморки. Жаркий, насыщенный тошнотворный испарениями воздух дрожал от этого оглушительного, почти сумасшедшего смеха.

Стойт, а за ним Детка пересекли каморку и поспешили пройти через открытую дверь в узкий туннель за ней. Хохот Обиспо действовал Стойту на нервы.

— Какого черта?..— крикнул он, приближаясь, затем оборвал фразу на полуслове.— Что это? — прошептал он.

— Зародыш обезьяны,— начал Обиспо, но договорить не смог; очередной приступ безудержного веселья согнул его вдвое, точно удар в солнечное сплетение.

— Дева Мария,— пробормотала Детка, все еще прижимая к лицу платок.

Лучи их фонарей вычерпнули из тьмы за решеткой узкий мирок очертаний и красок. В центре этого мирка, на краю низкой кровати, сидел человек и, не мигая, как зачарованный, смотрел на свет. Его ноги, густо покрытые грубыми рыжеватыми волосами, были голы. Рубашка, его единственное одеяние, была изорвана и грязна. Мощную грудь пересекала наискосок широкая шелковая лента, которая, очевидно, была когда-то голубой. На шее болталась веревка с образком — св. Георгий и дракон в золоте и эмали. Они сидел сгорбясь; его ушедшая в плечи голова в то же время выдавалась вперед. Одной из своих огромных и странно неуклюжих рук он почесывал болячку, которая просвечивала красным сквозь поросль на его левой голени.

— Зародыш обезьяны, которому хватило времени вырасти,— наконец выговорил Обиспо.— Просто замечательно! — Его опять разобрал смех.— Вы только поглядите на его лицо! — едва вымолвил он, указывая за решетку. Из глубоких глазниц над спутанными волосами, покрывавшими челюсти и щеки, смотрели голубые глаза. Бровей не было; но под грязным, морщинистым лбом проходил широкий, словно полка, костяной выступ.

Вдруг из кромешной тьмы выдвинулось на свет еще одно обезьяноподобное лицо — лицо, покрытое волосами лишь слегка, так что можно было увидеть не только надглазный выступ, но и необычную, измененную линию подбородка, костяные наросты перед ушами. Вслед за головой в луче света показалось и тело в старом клетчатом пальто и стеклянных бусах.

— Женщина...— сказала Вирджиния, которую чуть не стошнило от омерзения при виде этих отвислых, увядших грудей.

Доктор развеселился еще пуще.

Стойт схватил его за плечо и свирепо потряс.

— Кто это? — требовательно осведомился он.

Обиспо вытер глаза и сделал глубокий вдох; буря его веселья улеглась, оставив по себе лишь легкую рябь. Едва он открыл рот, чтобы ответить на вопрос Стойта, как существо в рубашке неожиданно повернулось к существу в пальто и ударило его по голове. Удар огромной ручищи пришелся по лицу сбоку. Существо в пальто испустило крик боли и гнева и опять пропало во мраке. Оттуда донеслось пронзительное яростное бормотание, которое словно все время балансировало на грани членораздельных проклятий.

— Вот тот, с орденом Подвязки,— произнес Обиспо, повысив голос, чтобы перекричать шум,— это Пятый граф Гонистерский. Другая — его домоправительница.

— Но что с ними случилось?

— Всего только время,— беззаботно сказал Обиспо.

— Время?

— Не знаю, сколько лет его подруге,— продолжал Обиспо.— Но самому графу, постойте-ка... Ну да, в январе ему стукнуло двести один.

Пронзительный голос во мраке верещал по-прежнему — почти можно было разобрать ругательства. Пятый граф бесстрастно почесал болячку и вновь уставился на свет.

Обиспо продолжал говорить. Замедление темпов развития... один из механизмов эволюции... чем старше антропоид, тем он глупее... старение как результат отравления стеринами... кишечная флора карпа... Пятый граф предвосхитил его собственное открытие... нет отравления стеринами, нет и старения... возможно, нет и смерти, разве что от несчастного случая... но тем временем зародыш антропоида успевает достигнуть зрелости... Это самая замечательная шутка из всех ему известных.

Не двигаясь с места, Пятый граф помочился на пол. Его подруга в темноте затараторила еще пронзительнее. Он обернулся в ее сторону и гортанным голосом изрыгнул несколько едва узнаваемых, почти позабытых непристойностей.

— Дальше можно не экспериментировать,— говорил Обиспо.— Мы знаем, что это средство действует. Вы можете начать принимать его хоть сейчас. Хоть сейчас,— повторил он с саркастическим ударением.

Стойт не отвечал.

Пятый граф по ту сторону решетки встал на ноги, потянулся, зевнул, затем развернулся и сделал пару шагов к границе, отделяющей свет от тьмы. Его домоправительница затараторила еще быстрее и возбужденнее. С притворным равнодушием граф остановился, погладил ладонью свою широкую орденскую ленту, потом тронул украшение у себя на шее, издав при этом какие-то странные звуки, в которых улавливалась мелодия — нечто похожее на обезьянью интерпретацию серенады из «Дон Жуана». Существо в пальто захныкало, словно предчувствуя недоброе; его голос, казалось, стал удаляться глубже во мрак. Внезапно с диким воплем Пятый граф прыгнул вперед, из узкой вселенной фонарного света в окружающую ее тьму. Послышался стремительный топот, несколько коротких вскриков; потом визг, звуки ударов и опять визг; затем визжать перестали, и из темноты доносилось лишь сдавленное ворчанье да слабые всхлипы.

Стойт наконец нарушил молчание.

— Как по-вашему, сколько лет пройдет, прежде чем человек станет таким? — медленно, запинаясь, сказал он.— Я имею в виду, не сразу же это случится... наверное, человек сначала долго... ну, понятно,— долго не меняется. И потом, когда справишься с первым шоком... по-моему, они очень даже неплохо коротают время. То есть на свой лад, конечно. Вам не кажется, Обиспо?

Обиспо молча, не отрываясь смотрел на него; потом откинул назад голову и засмеялся снова.

КОММЕНТАРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

«Бремя Белого Человека» — выражение Р. Киплинга, подразумевающее культурную миссию европейцев-колонизаторов.

«Прелюдия» — поэма У. Вордсворта.

Примитивные методисты — неепископальная протестантская церковь, возникшая в 1812 году в Англии, а затем распространившаяся в США.

Картуха — картезианский монастырь в Гранаде, построенный в 1516 г.

Айя-София — храм св. Софии в Константинополе, построенный в 532–537 гг. в царствование византийского императора Юстиниана.

Сциентизм, или христианская наука — религиозное направление, основанное в 1866 году Мэри Бекер-Эдди. Его последователи верят, что грех, болезни и смерть могут быть побеждены благодаря постижению божественного принципа, лежащего в основе учения Христа и практики его целительства.

Нумерология — ворожба, гадание по числам.

Галитоз — дурной запах изо рта.

Джозеф Хилери Пьер Беллок (1870—1953) — историк, поэт, эссеист; урожденный француз, в 1903 г. принял английское гражданство.

Анаколуф — стилистическая фигура, соединение слов или частей предложения по смыслу, без грамматического согласования.

Розенкрейцеры — религиозно-мистическое общество розенкрейцеров существовало в XVII—XVIII вв. в Германии, Голландии и некоторых других странах; здесь имеются в виду их последователи.

Беверли-Хиллс — фешенебельный район Лос-Анджелеса, где живут многие кинозвезды.

Сэр Эдвин Лэндсир Лаченс (1869—1944) — английский архитектор.

Малый Трианон — небольшой летний дворец в Версальском парке, подаренный Людовиком XVI Марии Антуанетте.

Монтичелло — резиденция Томаса Джефферсона в Виргинии, под Шарлотсвиллем.

Мезембриантемы — род растущих в южных широтах трав и полукустарников.

Боболи — сад дворца Питти во Флоренции.

Гарольд Ллойд, Пикфэйр (имеется в виду Мэри Пикфорд), *Джинджер Роджерс* и упоминаемые далее в тексте *Дуглас Фербенкс, Адольф Менжу, Хеди Ламарр, Дина Дурбин, Кэри Грант, Кларк Гейбл* — известные американские киноактеры.

Глава вторая

Сэр Эдвин Лэндсир (1802—1873) — английский художник-анималист.

Автомат Вурлицера — музыкальный автомат на базе электрооргана, изобретенного в 1880 г. Р. Вурлицером.

Арнольд Бёклин (1827—1901) — швейцарский художник, представитель символизма и стиля «модерн».

Эдвард Бёрн. Бёрн-Джонс (1833—1898) — английский художник, близкий к прерафаэлитам, изобретатель цветного оконного стекла, которое должно было напоминать церковные витражи.

«Смерть, где твое жало?» — Первое послание к Коринфянам Св. ап. Павла, 15, 55.

Лоренцо Бернини (1598—1680) — итальянский архитектор и скульптор, представитель барокко.

Паросская плоть — остров Парос в Эгейском море известен месторождениями мрамора.

«Я есмь воскресение и жизнь» — Евангелие от Иоанна, 11, 25.

«Господь — Пастырь мой...» — Псалом 22, 1.

«Поглощена смерть победою» — Первое послание к Коринфянам Св. ап. Павла, 15, 54.

Граучо Маркс (наст. имя Джулиус; 1890—1977) — один из братьев Маркс, известных американских комиков.

Куси, Алник — в городке Куси на севере Франции находятся руины феодальной крепости XIII в.; город Алник, расположенный в английском графстве Нортамберленд, также знаменит памятниками средневековой архитектуры.

Пыльный край — район пыльных бурь и засух на Западе США.

Винсент де Поль (1576—1660) — святой, французский католический священник.

Лурдский грот — грот во французском городе Лурде, где находится источник целебной святой воды.

Джамболонья (наст. имя Жан де Булонь; 1529—1608) — итальянский скульптор, представитель маньеризма.

«Меж ветвей блестят они...» — цитата из стихотворения «Песнь переселенцев на Бермуды» английского поэта Эндрю Марвелла (1621—1678).

Чайлд Роланд, Король Фулы, Мармион, сэр Леолайн — герои романтических баллад и поэм Р. Браунинга, И. Гёте, В. Скотта и С. Колриджа; *леди Шалотт* — несчастная возлюбленная Ланселота в романах о рыцарях Круглого Стола. Далее Джереми вспоминает строки из поэмы С. Колриджа «Кристабель».

Глава третья

... от опубликования «Оссиана» до смерти Китса.— Оссиан — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. Сборник «Сочинения Оссиана, сына Фингала», литературная мистификация шотландского писателя Джеймса Макферсона, был опубликован в 1765 г. Английский поэт-романтик Джон Китс умер в 1821 г.

Франц Ксавье Винтергальтер (1805—1873) — немецкий портретист.

Антуан Ватто (1684—1721), Никола Ланкре (1690—1743) — французские художники.

Хосе Мария Серт (1876—1945) — испанский художник.

Гринлинг Гиббонс (1648—1720) — английский резчик по дереву и скульптор.

Фра Анджелико (Джованни де Фьезоле; ок. 1400—1455) — доминиканский монах, художник.

Брайтонский павильон — летняя резиденция, построенная в курортном городе Брай-

тоне Георгом IV до его вступления на престол; позднее переделана Джоном Нэшем в «восточном стиле».

Франсуа Буше (1703—1770) — французский художник, представитель рококо. Автор пейзажей, мифологических и пасторальных сцен.

Св. Франсуа де Саль (Франциск Сальский, 1567—1622) — католический священник, епископ Женевы.

Функциональный стиль — направление в архитектуре XX в., требующее строгого соответствия зданий и сооружений их производственному и бытовому назначению.

Вторая империя — во Франции период правления императора Наполеона III (2 дек. 1852 — 4 сент. 1870).

Леопольд Стоковский (1882—1977) — американский дирижер, более 20 лет руководивший Филадельфийским симфоническим оркестром, пропагандист современной музыки.

«Бог есть любовь» — Первое послание Иоанна, 4,8; *«Смерти нет»* — ср. Откровение Иоанна Богослова, 21,4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже...».

Гай Фокс, Роберт Кейтсби — организаторы неудавшегося «Порохового заговора» — попытки взрыва английского парламента во время его посещения королем Яковом I (1601).

...времен Якова I — начала XVII в. Яков I умер в 1625 г.

Гласситы — христианская секта, основанная в XVIII веке в Шотландии Джоном Гласcом и распространившаяся в Англии и Америке. Ее принципами были строгая дисциплина и единодушие в понимании христианской доктрины.

Плимутские братья (сестры) — религиозное направление, возникшее около 1830 г. в Плимуте (Англия); одно из основных его положений — доктрина о втором пришествии Иисуса и последующем наступлении тысячелетнего царства Христова.

«Страшно впасть в руки Бога живаго!» — Послание к Евреям Св. ап. Павла, 10,31.

Элен Фурман — вторая жена Рубенса.

Эктоплазма — здесь: эманация медиума, спирита, благодаря которой осуществляется его воздействие на реальный мир.

...распинаемого вниз головой святого... — согласно преданию, апостол Петр, дабы не оскорбить Бога, уподобившись ему в роде смерти, попросил, чтобы его распяли вниз головой.

Глава четвертая

«Эпипсихидион» — поэма английского поэта-романтика П. Б. Шелли (1792—1822).

Нижинский, Карсавина, Павлова, Мясин — знаменитые танцоры и балерины, все — уроженцы России.

Глава пятая

Непоруганная невеста безмолвья — образ из стихотворения Дж. Китса «Ода греческой вазе».

...повесть, рассказанная идиотом — слова Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт V, сц. 5.).

Сэр Кенельм Дигби (1603—1665) — английский писатель, мореплаватель и дипломат; *Скандерун* (совр. назв. Искендерун) — город-порт на юге Турции.

Мигель де Молинос (1628—1696) — испанский священник, кардинал, арестованный в зените своей славы и умерший в тюрьме.

Шарль Дреленкур (1595—1669) — французский проповедник, протестант.

Андреа Робер де Нерсья (1739—1801) — французский писатель и поэт, автор скабрезных и порнографических сочинений.

Пекснифф — персонаж диккенсовского «Мартина Чезлвита», елейный лицемер; в англоязычных странах его имя стало нарицательным.

Беркли — пригород Сан-Франциско, где находится одно из крупнейших отделений Калифорнийского университета.

Бертель Торвальдсен (1768 или 1770—1844) — датский скульптор, представитель классицизма.

Кармелиты — католический орден, основанный в Палестине в XII в.; босоногими называются члены братства, носящие только сандалии на босу ногу.

Шарль Броун-Секар (1817—1894) — французский физиолог и невролог. Исследовал действие на организм человека вытяжки из семенников животных.

Сергей Воронов (1866—1951) — русский физиолог, эмигрировавший во Францию; вел исследования по проблеме омоложения.

Кельтские сумерки — имеется в виду эпоха Возрождения национальной культуры Ирландии XIX — начала XX веков (кельтское Возрождение).

Фагоцитоз — активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц одноклеточными организмами или особыми клетками — фагоцитами. Открыт в 1882 г. И. И. Мечниковым.

Нейронофаги — фагоциты, поглощающие нервные клетки, нейроны.

Упсала — в этом городе находится старейший шведский университет.

Глава шестая

Регентство — годы с 1811 по 1820; в этот период король Англии Георг III был психически болен и страной правил регент, принц Уэльский (с 1820 г.— король Георг IV).

Уильям Этти (1787—1849) — английский художник.

«Эндимион», «Ода греческой вазе», «Оды Психее»,— произведения Дж. Китса; *«Освобожденный Прометей»* — поэма П. Б. Шелли.

Эпоха Георгов — короли Георги из Ганноверской династии правили в Англии с 1660 по 1830 год.

Памятник меди нетленней — Квинт Гораций Флакк, Оды, III, XXX.

Хуан Негрин (1894—1956) — премьер-министр республики Испании с 1937 г., в 1939—1945 гг. глава республиканского правительства Испании в эмиграции.

Стоя — в Древней Греции галерея-портик для отдыха, прогулок, бесед.

Глава седьмая

«Привратник Кармского монастыря».— Кармы — средневековый религиозный орден.

Вильгельм IV — король Великобритании и Ирландии в 1830—1837 гг., брат Георга IV.

«Роза и Кольцо» — сказка У. Теккерея.

Уильям Лоу (1686—1761) — английский священник и писатель.

Эдвард Гиббон (1737—1794) — английский историк, автор знаменитого труда «История упадка и разрушения Римской империи».

...того самого, что смотрит так невинно и послушно...— эпизод из Евангелия от Марка, 10, 13—16.

О милая, я б не любил тебя так сильно...— строки из стихотворения «Лукасте, идучи на брань» английского поэта, переводчика, музыканта и знатока живописи Ричарда Лавлейса (1618—1658).

Глава восьмая

Пьер де Беруль (1575—1629) — французский кардинал и государственный деятель, основавший первый монастырь кармелиток во Франции.

Иоганн Таулер (ок. 1300—1361) — немецкий мистик, доминиканец, проповедник, ученик Экхарта (см. комм. к главе девятой).

«...возненавидели Меня напрасно» — Евангелие от Иоанна, 15,25.

Святой Петр Клавер (1581—1654) — испанский иезуит, миссионер, проведший в Южной Америке и Африке 44 года.

«...много званых, а мало избранных» — Евангелие от Матфея, 20,16; 22,14; Евангелие от Луки, 14,24.

«...у неимеющего отнимется и то, что имеет» — Евангелие от Матфея, 13,12; 25,29; Евангелие от Марка, 4,25; Евангелие от Луки, 8,18; 19,26.

«Дух бодр, а плоть немощна» — ср. Евангелие от Матфея, 26,41.

«...пороков своих не оставишь...» — цитата из стихотворения английского поэта Б. Джонсона «Благородная природа».

Хорас Уолпол (1717—1797) — английский писатель, предромантик, стоявший у истоков готического романа.

Адам де Салимбен (1221—1288?) — итальянский хронист, член ордена миноритов. Его обширная «Хроника» (автобиография) представляет собой большую историческую ценность.

«Рассказ Мельника» — один из «Кентерберийских рассказов» английского классика Дж. Чосера (1340? — 1400).

«Реформа» — элитарный лондонский клуб.

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (ок. 1525—1594) — итальянский композитор. Его музыка — вершина хоровой полифонии строгого стиля.

...смущен и сбит с толку положением Благородной Птицы — речь идет о нисхождении на Христа Святого духа в обличье голубя (Евангелие от Матфея, 3,13—17; Евангелие от Марка, 1, 9—11; Евангелие от Луки, 3, 21—22; Евангелие от Иоанна, 1, 32—34).

Глава девятая

Лоялисты — здесь: сторонники конституционного республиканского правительства в период гражданской войны в Испании.

...умения понимать и сострадать...— прямая перекличка с буддизмом: в буддийской традиции бодхисаттва, обладающий высшим пониманием и высшим состраданием ко всем живым существам, считается достигшим идеального состояния.

Санкара (Шанкара, предп. 788—820) — ведущий представитель индийской философской системы «адвайта-веданта», автор комментариев к «Упанишадам», «Бхагавадгите» и «Брахма-сутре».

Иоганн Экхарт (ок. 1260—1327) — немецкий мистик, доминиканец. Считал основой Бога и всего бытия безосновное божественное ничто («бездну»).

Св. Иоанн Креста (Хуан Йепес Альварес, Хуан де ла Крус; 1542—1591) — испанский монах, поэт-мистик.

Палийские манускрипты — на языке пали написаны основные канонические тексты хинаяны, одного из главных направлений в буддизме.

Шарль де Кондран (1588—1641) — французский теолог.

«Бардо» — имеется в виду тибетский священный текст, трактующий о промежуточном состоянии души после смерти до следующего рождения (это состояние и называется «бардо»).

Патанджали (жил предположительно в период между II в. до н. э. и II в. н. э.) — древнегреческий философ, основатель системы йога, автор «Йога-сутры».

Псевдо-Дионисий — философ, живший не ранее второй половины V в., автор религиозно-философских сочинений («Ареопагитик»), первоначально приписанных Дионисию Ареопагиту (I в.).

Сэр Эдвард Джон Пойнтер (1836—1915) — английский художник, директор Национальной галереи британского искусства, президент Королевской академии искусств.

Сэр Лоренс Альма Тадема (1836—1912) — голландско-английский художник.

«Двойные самоубийства» — пьесы японского драматурга Тикамацу Мондзаэмона (1653—1724) «Двойное самоубийство в Сонэдзаки» и «Двойное самоубийство в Амидзиме» (эти названия можно также перевести как «Самоубийства влюбленных»). Джереми читал их по-немецки, так как в то время, о котором идет речь, английские переводы этих пьес еще не были изданы.

Глава десятая

Смитсоновский институт — институт в Вашингтоне, основанный по завещанию английского ученого Джеймса Смитсона.

...отважился на роль Даниила — библейский пророк Даниил предсказал вавилонскому царю Навуходоносору, что он будет отлучен от людей, станет жить со зверями, питаться травой (Книга пророка Даниила, 4, 1—25), а царю Валтасару — что тот погибнет, а царство его будет завоевано (Книга пророка Даниила, 5.).

Кифера — греческий остров, центр культа Афродиты.

Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская сестра милосердия, прославившаяся самоотверженным уходом за ранеными во время Крымской войны.

Клод Бернар (1813—1878) — французский физиолог и патолог, один из основоположников экспериментальной медицины и эндокринологии.

Глава одиннадцатая

Иеремия Бентам (1748—1832) — английский философ, социолог, юрист; родоначальник философии утилитаризма.

Нагарджуна (ок. II в.) — древнеиндийский философ, основатель мадхьямики — философской школы буддизма, проводящей концепцию «срединного» пути к достижению нирваны.

Томас Вудро Вильсон (1856—1924) — 28-й президент США (1913—1921).

Глава двенадцатая

Алессандро Маньяско (1667—1749) — итальянский художник, автор импульсивных по манере письма картин из жизни солдат, цыган, монахов.

Константин Брынкуш (1876—1957) — румынский скульптор, один из родоначальников абстракционизма в европейской скульптуре.

Будда Амида — одно из главных божеств японской буддийской мифологии, владыка обетованной «чистой земли», куда попадают праведники.

Оксфордская группа — религиозное объединение.

Ишвара́ — в индуистской мифологии одно из имен Шивы. В философии ведантизма Ишвара выступает как активная манифестация пассивного абсолюта — брахмана (последнее слово является также именем верховного бога-творца).

Жан Анри Фабр (1823—1915) — французский энтомолог, известный своими наблюдениями за жизнью насекомых; противник эволюционной теории.

Луиза Мей Олкотт (1832—1888) — американская писательница.

Глава тринадцатая

«Пусть на челе твоем и нет следа...» — отрывок из стихотворения Вордсворта «У моря».

«Благая Дева возлежит на райском ложе золотом» — чуть измененная строка из стихотворения английского поэта Д. Г. Россети (1828—1882) «Благая Дева».

Старый Мореход — герой поэмы С. Колриджа «Сказание о Старом Мореходе»; далее обыгрываются первые строфы этой поэмы.

Джосайя Ройс (1855—1916) — американский философ; развил концепцию абсолютного волюнтаризма (о мире как сообществе личностей, выполняющем волю абсолютной личности — Бога).

Ван Эйк — имеется в виду Хуберт Ван Эйк (ок. 1370—1426), фламандский художник. Над «Поклонением Агнцу» он трудился до самой смерти; заканчивал эту огромную композицию его младший брат Ян.

Джон Уитьер (1807—1892) — американский поэт-квакер, воспевавший любовь к родине, религиозное чувство и т. д.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Карл I — английский король (1625—1649) из династии Стюартов, низложенный и казненный в ходе английской буржуазной революции.

Филип Дормер Стенхоп Честерфилд (1694—1773) — граф, английский писатель и государственный деятель. Его «Письма к сыну» — свод норм поведения и педагогических наставлений в духе идей Просвещения.

«Зеленоглазое чудище» — ревность (шекспировское выражение — см. «Отелло», акт III, сц. 3.)

«Самадхи» — в индуизме и буддизме состояние глубокой концентрации, ведущей к слиянию с Богом, религиозный транс.

Сикибу Мурасаки (ок. 978 — ок. 1016) — японская писательница, автор романа «Гэндзи-моногатари» — вершины классической японской прозы.

«Сыновья и любовники» — роман английского писателя Д. Г. Лоуренса (1885—1930).

Иокаста — мать фиванского царя Эдипа, по неведению вышедшая за него замуж.

Глава вторая

Долина смертной тени — библейское выражение (Псалом 22,4).

«...кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее» — ср. Евангелие от Матфея, 10,39; 16,25; Евангелие от Марка, 8,35; Евангелие от Луки, 9, 24.

Глава третья

Уголок Поэтов — так называется часть Вестминстерского аббатства в Лондоне, где похоронены выдающиеся английские поэты.

«Пребудь со мной» — псалом английского священника и поэта Г. Ф. Лайта (1793—1847).

Бэрримор — имеется в виду один из популярных американских братьев-актеров, Лайонел или Джон.

«Смейся, и мир рассмеется с тобой» — первая строка стихотворения Э. У. Уилкокс (1855—1919) «Уединение».

Ральф Уолдо Трайн (1866—1958) — американский религиозный писатель, ученик Р. У. Эмерсона.

УОР (Управление общественных работ) — организация, созданная в целях сокращения числа безработных.

Взять хотя бы Карлсбадские — эти пещеры находятся в Национальном парке в Нью-Мехико (США) и представляют собой самый большой из известных в мире подземных лабиринтов.

Глава четвертая

Ричард Генри Тони (1880—1962) — английский историк.

...средством царя Давида от старости... — см. Третью книгу Царств, 1, 1—2: «Когда царь Давид состарелся... то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним,— и будет тепло господину нашему царю».

...до Роспуска Монастырей при короле Генрихе.— В 1536 и 1539 гг., при короле Генрихе VIII, была проведена секуляризация монастырей.

«Утопия» — сочинение английского гуманиста Томаса Мора (1478—1535), вышедшее в 1516 году; *«Потерянный рай»* — поэма Джона Мильтона (1608—1674).

Глава пятая

«...Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» — Послание к Галатам Св. ап. Павла, 6,7.

Уильям Блейк (1757—1827) — английский поэт и художник, романтик, философ.

«Федра» — трагедия Расина; *«Грозовой перевал»* — роман Э. Бронте; *«Агамемнон»* — трагедия Эсхила.

«Кандид» — философская повесть Вольтера.

Радуга — знамение Божьего завета с Ноем (Бытие, 9, 8—17).

Алексис Каррель (1873—1944) — французский хирург и патофизиолог, в 1904—1939 гг. жил в США; лауреат Нобелевской премии (1912).

Мартин Нимёллер (1892—1984) — немецкий общественный деятель, пастор евангелической церкви, в 1937—1945 гг. находился в заключении в фашистских концлагерях.

Джон Нокс (1505 или ок. 1514—1572) —

пропагандист кальвинизма в Шотландии, основатель шотландской пресвитерианской церкви.

Томас Торквемада (1420—1498) — с 1480-х гг. глава испанской инквизиции (великий инквизитор); инициатор изгнания евреев из Испании (1492).

Глава шестая

Чарльз Гревиль (1794—1865) — английский политический деятель; на протяжении многих лет вел дневник, являющийся ценнейшим источником сведений по истории британской политики.

«Крэнфорд» — роман английской писательницы Элизабет Гаскелл (1810—1865), изображающий идиллическую жизнь в маленьком городке.

Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

...чиппендейловское слово.— Томас Чиппендейл (1718—1779) — знаменитый английский мастер мебельного искусства.

Глава седьмая

Раймонд Перл (1879—1940) — американский биолог и демограф, автор труда «Естественная история населения» (1939).

...Иисус называет их ехидниным отродьем — ср. Евангелие от Матфея, 12,34.

Либеральные церкви — протестантские церкви, проповедующие интеллектуальную свободу в сочетании с духовным и этическим учением христианства.

Джек Спрэт и его жена — обжоры, герои детской песенки.

Глава восьмая

Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский критик, лексикограф и писатель, автор знаменитого словаря английского языка (1755) и десяти биографий известных поэтов.

Но он утешил себя мыслями о Горации...— знаменитый римский поэт Гораций (65—8 гг. до н. э.) получил свою маленькую ферму в Сабинских холмах в подарок от покровителя искусств Мецената.

Феокрит (конец IV в.— первая пол. III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, основатель жанра идиллии.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1618—1682) — испанский живописец.

«Билль о реформе» — имеется в виду парламентская реформа 1832 г.— расширение прав и представительства третьего сословия.

Панч и Джуди — персонажи английского народного театра кукол.

Джеймс Милль (1773—1836) — английский философ (последователь Д. Юма), историк и экономист.

Джозеф Батлер (1692—1752) — английский богослов, епископ Дарема. Его сочинения были популярны в девятнадцатом веке.

Отцы-основатели — так называют в Америке государственных деятелей, принявших Конституцию 1787 года.

Глава девятая

Золотое сечение — деление отрезка на две части таким образом, что весь отрезок относится к большей его части так же, как большая к меньшей (приближенно это отношение равно 5:3).

Глава десятая

Пелопоннесская война (431—404 гг. до н. э.) — крупнейшая в истории Древней Греции война между союзами греческих полисов: Делосским (во главе с Афинами) и Пелопоннесским (во главе со Спартой).

А вот расписывают Ватикан...— в начале XVI века Ватикан расписывали Микеланджело и Рафаэль; в 1527 г. Рим был разграблен испанскими войсками, после чего в нем осталось всего 17 000 жителей.

«Героическая» — Третья симфония Бетховена, посвященная Наполеону.

Сан-Квентин — калифорнийская тюрьма.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Уильям Тёрнер (1775—1851) — английский художник романтического направления.

Сандро Боттичелли (Алессандро Филипепи, 1445—1510) — итальянский художник, представитель Раннего Возрождения.

Пьетро Перуджино (Ваннуччи; между 1445 и 1452—1523) — итальянский художник.

Никколо Макиавелли (1469—1527) — итальянский политический мыслитель, историк, писатель.

Св. Аврелий Августин (354—430) — христианский теолог и церковный деятель, один из «отцов церкви», автор знаменитой «Исповеди».

Освальд Шпенглер (1880—1936) — немецкий философ и историк культуры.

«Тотем и табу» — сочинение З. Фрейда, посвященное рассмотрению социальных проблем с точки зрения психоанализа.

«Похороны Грамматика» — стихотворение английского поэта Роберта Браунинга (1812—1889).

«Так плотника жена легла с другим» — строчка из «Рассказа Мельника» («Кентерберийские рассказы»).

Рональд Фербэнк (1886—1926) — английский писатель, автор юмористических рассказов.

Глава вторая

«Мне снилось, что дом мой — роскошный чертог...» — песенка из оперы ирландского композитора М. У. Балфа (1808—1870) «Девушка из Богемии» в переложении английского театрального деятеля А. Банна (1796—1860).

Приап — античное итифаллическое божество, первоначально собственно фаллос.

Бали — остров в Индонезии, центр индонезийской культуры.

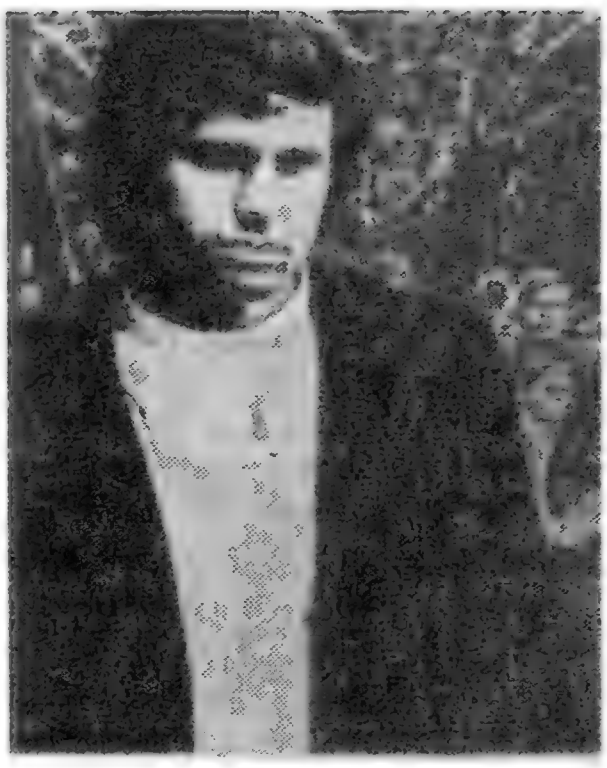
Эдуард VII (1841—1910) — английский король с 1901 г.

Альма — река в Крыму; во время Крымской войны 1853—1856 гг. на Альме русские войска были разбиты англо-франко-турецкими.

Виктория (1819—1901) — королева Англии с 1837 г.

Эдвард Стиллингфлит (1635—1699) — английский теолог.

«Венера» Медичи — знаменитая статуя, найденная в XVIII в. во время раскопок около Рима и восходящая, как полагают, к «золотому веку» римской культуры — времени императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.); хранилась на вилле Медичи в Риме; считается идеалом женской красоты.



ДЖЕЙМС ДУГЛАС МОРРИСОН

Стихотворения

С английского

Американский поэт Джеймс Дуглас Моррисон нашим читателям практически неизвестен. Зато хорошо знают Джима Моррисона — легенду рок-музыки, певца, бунтаря, лидера прославившейся в шестидесятые годы группы «Дорз» («Двери»). Со дня смерти Моррисона прошло уже более двух десятков лет, однако интерес к его творчеству нисколько не ослабевает. Появляются все новые книги о нем, выходят сборники стихов. В 1988—1990 годах на родине поэта издано полное собрание его не опубликованных при жизни сочинений (в двух томах).

Джим Моррисон родился 8 декабря 1943 года в Мелборне, штат Флорида, в семье военнослужащего. Вместе с родителями он все время переезжал с места на место. Когда Джиму исполнилось семнадцать, он поступил в Высшую школу им. Дж. Вашингтона, а через несколько лет перевелся в университет штата Флорида (в городе Таллахасси). Одаренный, но непокорный студент был совершенно равнодушен к карьере и потому заставил родителей отпустить его в Калифорнию, где он начал изучать искусство кино. В Лос-Анджелес он приехал весной 1964 года и вскоре защитил диплом по кинотехнике. Некоторое время спустя Моррисон познакомился с музыкантом из Чикаго Рэем Манзареком, и эта встреча определила его судьбу. Манзарека поразили его стихи: ничего подобного он раньше не слышал, и, кроме того, они удивительно хорошо ложились на музыку. Друзья пригласили ударника Джона Денсмора, гитариста Робби Кригера и образовали группу «Дорз».

Джим Моррисон был трудолюбив и многое успел. Вместе с группой он записал семь альбомов (выступив как автор почти всех текстов песен), дал концерты в США, Канаде, Мексике и европейских странах, снял два документальных фильма. Но главной страстью оставалась поэзия. По собственному признанию, первое стихотворение — нечто в балладном духе — он написал, когда учился в пятом или шестом классе. В колледже его литературные занятия приобрели систематический характер: Моррисон пишет стихи и короткие рассказы, начинает вести дневник. Он словно опьянен поэзией. Об этом свидетельствуют и записные книжки поэта. Он постоянно редактировал свои стихи, отделывал их и переписывал из одного блокнота в другой. Порой работа над стихотворением растягивалась на несколько лет: от первого концептуального наброска ко все более совершенному варианту. Однако проходила она втайне от окружающих, даже от близких. Наконец Моррисон начал готовить стихи к печати. В 1970 году они вышли в свет — издательство «Саймон энд Шустер» опубликовало под одной обложкой два сборника стихов Джима — «Повелители» и «Новые существа».

Поэзия Джима Моррисона полна намеков и недоговоренностей. Критиками высказывалось мнение, что он намеренно прячет смысл сказанного. Он и сам признавался в этом: «Знаете, настоящая поэзия не должна выражать ничего конкретного, а только наводить на мысль. Открывать все двери. А вы можете войти в любую из них».

Это своего рода программное заявление выражает философские воззрения поэта. Уместно вспомнить, что Моррисон назвал свою группу «Двери», отдавая дань Уильяму Блейку, который писал когда-то: «Если б двери нашего восприятия были прозрачными, все явилось бы человеку в истинном виде». Считается, что английский поэт-романтик оказал существенное влияние на Моррисона, который, подобно своему кумиру, творил собственный, неповторимый поэтический мир — сны наяву. Тут и философская аллегория, и собственная мифология, и характерная для поэзии Блейка символика (у Моррисона это, например, ящерицы и змеи, которых мы подсознательно отождествляем с дьявольскими силами). Поэтике его не чужда ирония: порою он мастерски пользуется парадоксом. Интуитивно ощущая связь между структурными элементами стиха, поэт добивается художественной цельности своих произведений, казалось бы, не скрепленных логической связью.

Моррисон был сыном своего времени, и в его поэзии не могли не отразиться взгляды виднейших идеологов битничества — Джека Керуака и Аллена Гинзберга: недовольство обществом, построенным на идеалах собственничества и конформизма, призывы к высвобождению изначальных, подавляемых цивилизацией инстинктов, причем важная роль отводилась наркотикам и сексу. В его песенном творчестве это проявлялось в форме эпатажа, непристойного лексикона, самовосхваления. Моррисон считал себя выразителем не аполлонического, а дионисийского начала. Вспомним, что Дионис — божество стихийных сил земли, слепого экстаза и вдохновенного буйства.

Талантливый поэт как бы вполне осознанно сжигал себя, стремясь ко все новым, более сильным ощущениям. Алкоголь, сильнодействующие наркотики и подчеркнутая чувственность, сделавшая его кумиром американской молодежи,— это своего рода бунт против реальности, быть может, не столько осознанный, сколько интуитивный. Отсюда постоянная мечта Джима о свободе. Уже в ранних его стихах рефреном звучит призыв: забудь свое прошлое и твори будущее — «учись забывать», «прорвись», «стремись к концу ночи». Он говорил: «С помощью стихов я хотел бы освободить людей, избавить их от шаблонных представлений о своих чувствах. Мы боимся себя, своей сущности, а больше всего — собственных чувств: они ведь лишают нас душевного равновесия. Но способен ли человек любить, если подавил в себе способность чувствовать? Страдания необходимы, чтобы пробудить нас от спячки, мы же стараемся их избежать. Как мы не правы! Страдая, ты ощущаешь, как крепнет твой дух...»

Иногда душевная боль становилась совершенно нестерпимой, и тогда в стихах Моррисона возникал мотив смерти. Собственно говоря, смерть для него — еще одно, последнее средство освобождения, символ вечной свободы. «Это конец, мой единственный друг»,— пел он в известнейшей своей песне, а потом как-то объяснил в интервью: «Люди боятся смерти больше, чем страданий. Это странно. Раны, которые наносит жизнь, намного страшнее. Со смертью же страдания прекращаются, поэтому я и в самом деле считаю ее другом».

Предчувствуя скорый конец, Моррисон все больше отдаляется от группы и как бы торопится привести в порядок свои земные дела: записывает последний альбом, начитывает в студии на магнитофон стихи, в том числе поэму «Американская молитва» — развернутую метафору собственной жизни, дает последние концерты в Далласе и Новом Орлеане. Потом он устремляется в Париж — город своей мечты, навевавший воспоминания о стихах Рембо и Бодлера, о книгах Хемингуэя и Скотта Фицджеральда. Судя по всему, Джим собирался начать там работу над новой книгой стихов; он успел даже написать поэму «Парижский дневник». Но судьба была неумолима. 3 июля 1971 года Джим скончался в ванной гостиничного номера от сердечного приступа. Через несколько дней его похоронили на кладбище Пер-Лашез. Ему не исполнилось и 28 лет.

МИХАИЛ МИРОНОВ

* * *

В тот год я был переполнен
какой-то неведомой
силой.
Бросил школу, бродяжничал
на побережье и однажды,
проснувшись на крыше,
Увидел: луна обернулась
женским лицом.
Так явилась мне Душа Музыки.

* * *

Человек в саду сгребает палые
листья, разжигает костер и,
опершись на грабли, смотрит
на растущую горку золы.
Терпкий дымок тянется в лес,
дети останавливаются и осторожно
вдыхают аромат, который когда-
нибудь
станет светлым воспоминанием.

Перевод М. МИРОНОВА

Начало нового пути

Минута внутреннего раскрепощения,
когда мозг открыт миру, вселенная
предстает в своей первозданности
и душе — смущенной, захмелевшей —
дозволено бродить везде и всюду
в поисках наставников и друзей.

© Wilderness Publications, 1988, 1990.

* * *

Озорные воробьи отчаянным чириканьем
будят Солнце. В их власти
Королевство рассвета. Автомобили —
нарастающее звучание хора — и еще —
песни тружеников, литавры молота.
Дети на школьном дворе,
сотни звонких голосов,
последние штрихи оркестровки.

* * *

Если писатель может творить,
а фермер — сеять,
Значит, любые чудеса возможны,
вероятны, уже начинаются.
Если дети сыты, если
плачут
только по ночам...

Земле нужны мы все,
смирные собаки на снегу,
ждущие Весны,
когда солнце станет виноделом
и кровь лозы неистово запляшет
в жилах и бокалах.

* * *

И пришел я к тебе
за покоем
И пришел я к тебе
за златом
И пришел я к тебе
за ложью
И достались мне от тебя
любовный жар
и мудрость
и слезы печали
И будем мы вместе
много дней
и еще много дней
и
завтра

* * *

Явление дьявола
на венецианской набережной.
На бегу увидел я: рядом
бес или сатир,
тень моих тайных
помыслов, обретших плоть. Стремительная.
Знающая.

* * *

Как и наши предшественники
индейцы
мы боимся секса,
исступленно оплакиваем покойников
и всерьез интересуемся видениями и снами

* * *

Выйдя из телефонной будки, я
вздрогнул, ощутив дыхание
судьбы:
Сумасшедшая старая нищенка,
брюзжа, брела мимо
из одной норы в другую.
Волосатые ноги все в язвах.

Из какого болота, из-под какого
камня выползла ты, чтобы
напомнить нам, чего мы
хотим избежать?

* * *

Бессонная вахта
крепостных башен и маяков,
восставших против моря и времени.
Победа близка? Кто знает...
Пока же они недвижны,
лишь по тихим их комнатам
бродят души умерших,
наблюдая за живыми.
Скоро и мы окажемся там,
скоро взойдем на стену
времени — и не о чем будет
тосковать.
Только друг о друге.

* * *

Зачем стремиться к смерти?

Чистый лист или белоснежная
стена. Одна неточная
линия, помарка, ошибка.
Неустранимая. Поверх один за другим
ложатся тысячи других
штрихов. Отвлекают.
Маскируют.

Но первоначальный рисунок
остается, пылает,
начертанный златою кровью.

Стремись к Совершенству.

* * *

Ты должен противостоять
своей жизни
что обвивается вокруг тебя
кольцами
словно змея с горящими
глазами

скользкая как улитка

Ты должен противостоять
неминуемым
случайностям
Страшное чудовище уже схватило тебя!

Действие времени

Действие времени — как действие кислоты
Протравленными глазами
видишь летящие минуты

Лицо меняется с каждым
биением сердца и вздохом

Мы непостоянны
Мы стрелы в полете
Сумма углов преломленья

Лицо ее стало другим в машине
Глаза кожа волосы —
те же. Но это одна из сотни
похожих девушек сменяющих друг друга

Страх

Страх — это крыльцо пронзенное
свистом северного ветра
лицо в окне
оказавшееся листом
орел почуявший смерть
но грациозно парящий в ночи
над серебристым кроликом

* * *

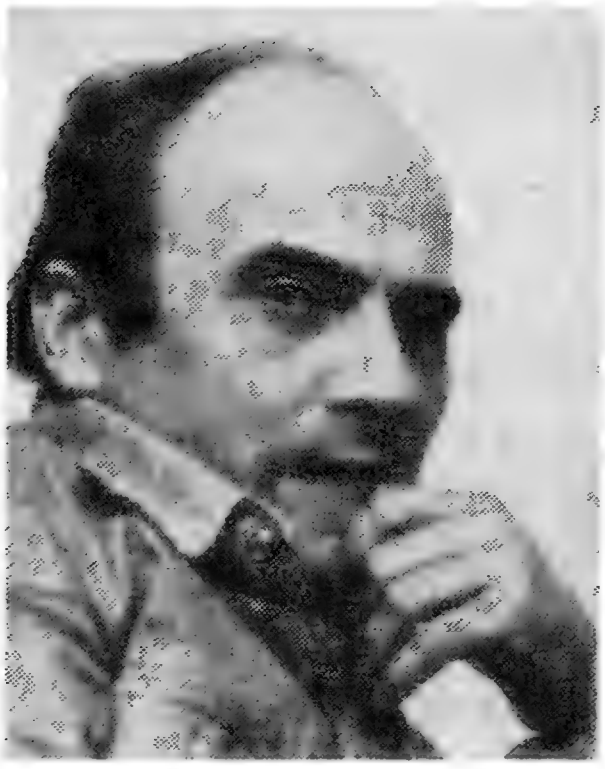
Благодарю тебя Господи
за это сокровенное белое сияние
Огромный город встает из моря
У меня ужасная головная боль
из которой соткано будущее

* * *

Если б только
мог я слышать
как летят
ласточки
чувствовать усилия детства
влекущего меня
назад

Если б только мог я
ощутить что возвращаюсь
назад
и снова попадаю
в объятия
реальности
я бы умер
Умер счастливым

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО



РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

Лапидарий

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

От переводчика

Жанр, в котором работает Рышард Капусцинский, укладывается в рамки определения «литература факта». Сам Капусцинский в начале 80-х сказал: «Когда я сажусь писать, я не задумываюсь над тем, что у меня должно получиться: репортаж, повесть, рассказ или отчет... Я езжу, описываю и ничего не выдумываю». За тридцать лет (первая книга репортажей «В польских джунглях» вышла в 1962 году) он объездил весь мир. У него поразительное чутье: в страну он приезжает в канун взрыва (существует даже «мнение», будто своим появлением он провоцирует бурные события). Он отчаянно смел и проникает в самые «горячие точки». У него острый взгляд и прекрасное перо: на страницах его книг увиденное превращается в высокохудожественное, глубоко осмысленное, напряженное повествование. Благодаря Капусцинскому читатель побывал на разных континентах в периоды, когда их народы испытывали серьезнейшие потрясения. Читателю «Иностранной литературы» знакомы его работы: «Немного об Анголе», «Император», «Шахиншах» [1] («ИЛ» 1977, № 8, 9; 1980, № 7; 1987, № 6, 7).

Всю жизнь Капусцинский в разъездах, но когда в августе 80-го в Польше произошел взрыв, писатель оказался на родине и, естественно, в центре событий — в Гданьске. Газета «Культура» тогда напечатала его страстный, волнующий репортаж? эссе? гимн? констатирующий и приветствующий рождение новой Польши. Капусцинский объявил: разрушен стереотип «роболя» — нерассуждающего работяги. Драматическая борьба трудового народа за свои права одновременно стала праздником. «Праздником Распрямившихся Спин, Поднятых Голов».

Прошло десять лет. В Польше идеи «Солидарности» победили. В Советском Союзе — разгар перестройки. И Капусцинский приезжает к нам. Почти два года он колесит по стране. Побывал всюду: в Воркуте и в Прибалтике, в Средней Азии и на Кавказе, в российской глубинке и больших городах. Сейчас он пишет об этом книгу. Ему трудно писать: события развиваются с ошеломительной быстротой. Но, наверное, как бы далеко ни зашли непредвиденные перемены, нам всегда будет интересно и поучительно посмотреть на себя глазами этого удивительного наблюдателя и аналитика.

Между тем в 90-м году вышла его новая, не похожая на предыдущие, книга «Лапидарий».

Лапидарий [1] — это место (городской сквер, двор замка, внутренний дворик в музее), куда складывают найденные камни, остатки скульптур, фрагменты строений: то кусок туловища или руки, то обломок лепного карниза или колонны — словом, предметы, являющиеся частью несуществующего (уже, еще, никогда) целого, с которым неизвестно, что делать.

Может, они сохранятся как свидетельство минувшего времени, как след исканий, как символы? А может быть, в нашем мире — страшно разросшемся, огромном и необозримом, все более хаотичном и не поддающемся упорядочению,— все тяготеет к гигантскому коллажу, произвольной композиции элементов, то есть именно к лапидарию?

1988

© Ryszard Kapuściński, 1990.

[1] В русском переводе «Катарсис».

ВАРШАВА

1982

В период кризиса острее, чем когда-либо ощущаешь несоответствие между субъективным и объективным временем, между временем моей жизни — личным, частным — и временем поколений, эпох, историй. Нам кажется, что чем с бóльшей жестокостью история осуществляет свои великие цели, тем меньше у нас шансов на исполнение наших намерений — собственных, индивидуальных. Чем бóльшее пространство узурпирует для себя история, тем меньше места остается для нас. Человек начинает чувствовать свою ненужность; ему кажется, что он насильно поставлен в положение, когда надо оправдываться в своем существовании (во всяком случае, сам факт существования, то есть «я есмь», может служить достаточным основанием, дабы меня же обвинить и наказать). Личные планы, стремления, мечты? Все это кажется ничтожным, напоминает обломки декораций в театре, куда минуту назад попала бомба. Все утратило значение, обоснованность, смысл. К кому обратиться? Что сказать? Бунт человека против молоха истории, против неукротимой алчности этого молоха, противоречие между человеком — творцом истории и человеком — ее жертвой. Одновременность этой антиномии, мучительное напряжение, которое в ней заключено.

В эпоху бесправия ловушки законов и декретов расставлены буквально на каждом шагу, и ты ежедневно (часто о том и не подозревая) в какую-нибудь западню попадаешься. Иными словами, ежедневно вынужден невольно нарушать закон. Нужно это для того, чтоб ты постоянно жил с изнурительным ощущением вины. В результате при соприкосновении с властью, даже при одной мысли о ней, ты будешь испытывать тревогу, страх, бессилие. Вдобавок в твоем деформированном, присмиревшем сознании зародится мысль: может, ты и вправду виновен, а власть по-своему, в какой-то мере права? К беззаконию, творимому властями, люди относятся терпимее, чем к нарушению общепринятых норм частным лицом. Вот арестован некто совершенно безвинный. Мы знаем, что этот человек невиновен, и все-таки хоть разок, хотя бы мимолетно подумаем: может, он и впрямь чего-то натворил, что-то нарушил. Официальное беззаконие и держится на таких минутных сомнениях, на нашем искаженном сознании.

А теперь — отношение власти к твоей персоне, навязываемые тебе правила игры. Власть знает, что ты постоянно нарушаешь закон и, следовательно, являешься преступником. Но она не спешит; она хитра и уверена в себе; она выжидает, наблюдает, прислушивается к твоим речам. И не надо заблуждаться. Не радуйся, что ты относительно свободно передвигаешься, что — пока! — не сидишь под замком. Ты просто пользуешься милостью власти. Поэтому берегись! Ты будешь распоряжаться собой лишь до тех пор, пока не сделаешь сомнительного шага, который власть посчитает враждебным. В этот момент и будет нанесен удар. И ты узна́ешь, что вся твоя жизнь была чередой проступков или даже тяжких преступлений, и ты заслужил наказание.

Изломанность польской судьбы: каждые несколько лет новый этап, новая сцена, новая система. Никакого постоянства. Будущее вовсе не вытекает из прошлого. Что было вчера, сегодня уничтожено или обесценено, скидывается со счетов. Ничто не суммируется, не накапливается, не приобретает устойчивых форм. Всякий раз приходится все начинать сначала, с первого кирпича, с первой борозды. Что построил — будет заброшено, что взошло — зачахнет. Поэтому строят с полным безразличием, спустя рукава. Прочно только иррациональное: мифы, легенды, иллюзии. Только это пускает корни.

Есть две категории убожества: убожество материальное и убожество

потребностей. И то, и другое выгодно власти. Первое — поскольку бедность выматывает и подавляет человека, делает его более покорным, усугубляет комплекс неполноценности; второе — поскольку человек с ограниченными потребностями даже не подозревает о существовании положенных ему по праву вещей, которые можно требовать, за которые нужно бороться.

Этапы варварства: вначале уничтожаются те, кто создает ценности. Затем убирают тех, которые знают цену этим ценностям, а также знают, что именно уничтоженные ранее люди их создавали. Настоящее варварство начинается в тот момент, когда теряется способность к оценкам, когда никто уже не понимает, что творимое им — и есть варварство.

Когда возникают вопросы, на которые нет ответов, это означает, что наступил кризис.

Во время разговора со швейцарцем невольно возникает желание сказать ему: дорогой, ну что ты знаешь о жизни! Живешь барином, все у тебя есть, никого не боишься...

С одной стороны, мы испытываем к швейцарцу зависть, но с другой — компенсирующий эту зависть прилив странного удовлетворения от того, что именно мы — не он! — добрались до правды жизни, проникли в ее трагическую тайну и отведали ее горькую сущность. Эта философия предполагает, что жизнь — ад, такие вещи, как покой, достаток, удовлетворенность, по природе своей редки, случайны и недолговечны, и по-настоящему живет только тот, кто страдает, проигрывает, сталкивается с несправедливостью, терпит неудачу за неудачей.

Все здесь базируется на некоем принципе асимметричности, то есть система обещает, что оправдает себя впоследствии (суля всеобщее счастье лишь в будущем), но от тебя требует, чтобы ты уже сегодня доказывал свою лояльность и усердие. Таким образом, ты связан обязательствами, а система от них свободна.

В обществе, находящемся на низкой ступени развития, тотальной нищете сопутствует тотальная бездеятельность. Способ выживания тут — вовсе не борьба с природой, активная производительная деятельность, неустанный труд в поте лица, а наоборот — минимальное расходование энергии, постоянное стремление ничего не делать. Философия, оправдывающая такое поведение, такую форму существования,— фатализм. Человек ощущает себя не властелином обстоятельств, а их рабом, смиренно принимающим указания и импульсы из окружающего мира. Такой человек — безгласный слуга неотвратимого рока. Рок для него — всемогущее божество, табу. Воспротивиться судьбе — значит совершить святотатство и обречь себя на вечные муки.

Будьте осторожны: у них есть оружие, но нет выхода.

Только бунт против власти считается истинным и непростительным преступлением. Все иные противозаконные действия могут быть отнесены к категории преступлений — но совсем не обязательно.

Дезориентация, растерянность человека возникают отчасти оттого, что нарушены его отношения со временем: смысл времени для него почти непостижим. Прошлое зыбко. Оно постоянно то отменяется, то возвращается, признается или осуждается, и в результате человек перестает видеть в нем прочную опору, указующий перст, источник вдохновения. День сегодняшний тоже ненадежен и бодрости не вселяет; в настоящем мы чаще чувствуем себя гостями или даже жертвами, нежели творцами и властелинами. А будущее? Будущее больше напоминает западню и подземелье, чем

хрустальный дворец, в котором вот-вот засияют огни и слуги примутся готовить для нас пир.

Так называемый человек из народа (говорят также — простой человек) воспринимает жизнь как она есть, без оговорок, с фаталистической покорностью. Его отношение к капризам истории такое же, как к капризам природы (засухе, наводнению и т. д.). Для него это — естественные перемены участи. Он старается к ним приспособиться, и поэтому попытки бунта довольно редки. Ведь источник мятежной силы — не горести, сопутствующие нищете (которая скорее подавляет, чем разжигает энергию протеста), а живое и независимое сознание, убежденное в своей правоте.

Человек компромисса, гибкий. У нас таких не любят, обвиняют в двуличии. По-нашему, человек должен быть однозначен. Либо белый, либо черный. Либо здесь, либо там. Либо с нами, либо с ними. Просто, ясно, не вызывает сомнений! Наше видение — манихейское, лобовое. Мы негодуем, если кто-то искажает четко очерченный образ. Причина тому — отсутствие либеральной, демократической, богатой оттенками традиции. У нас ее заменяет традиция борьбы, несовместимых крайностей, бескомпромиссности.

З., человек с очень трудной судьбой, дает мне совет. «Заканчивай,— говорит,— каждый день словами: так хорошо, как было сегодня, уже никогда не будет!»

Легкость, с которой можно манипулировать человеческим разумом, обусловлена самой природой человека. Он скорее потребитель, нежели искатель, и охотно (из-за своей лени, пассивности и недостатка воображения) удовлетворяется первой подвернувшейся под руку информацией или чужим мнением. И чем более упрощенными, эффектными и нелепыми они будут, тем лучше. В нелепости есть что-то от сказки (и часто от кича), а значит, она легко воздействует на неразвитое воображение.

Есть люди, которые, усматривая в истине высочайшую ценность, не задумываются над тем, достаточно ли она привлекательна, чтобы завоевать так называемого человека с улицы — ведь эмоциональное ему ближе, чем рациональное. Истина может быть столь очевидной, что не вызовет никакого интереса. Она может оказаться и просто скучной. Между тем в умело преподнесенной нелепости часто присутствует элемент фантастики; содержащаяся в ней деформированная, вымышленная, фантасмагорическая реальность притягивает внимание, интригует.

Во времена бедствий, во времена, чреватые катаклизмами, трагедиями, природа, ее краски, происходящие в ней перемены как бы отступают на задний план. Всю область, доступную нашему восприятию, заполняет человек и его драма. Занятые собой, мы не замечаем деревьев, не замечаем неба. Какой была осень 1348 года, когда на Европу обрушилась Черная Смерть? Что видел через окно Иоганн Вольфганг фон Гёте, когда умирал мартовским днем 1832 года? Бледное солнце начала весны? Зарядивший с утра дождь?

Чем глубже мы погружаемся в людскую драму, тем меньше ощущаем связь с природой. Поглощенные трагедией, отворачиваемся от природы, которая по сути своей не трагична. Оттого и возникает мечта о возврате к ней, мечта о переходе из состояния стресса в состояние умиротворенности, всегда труднодостижимое.

Условием порабощения любого общества, притом условием решающим, является сталкивание его на низкий уровень существования. Поэтому снижение имеющегося уровня (то есть общая деградация жизни, ухудшение ее качества, уменьшение удобств и умножение опасностей) — не случайность, не результат прошлых ошибок или так называемого волюнтаризма.

Нет, это следствие политики тех, кто стремится укрепить свое господство. Им известно, что человек ослабленный, человек, изнуренный борьбой с тысячью препятствий, живущий в мире никогда-не-удовлетворяемых-потребностей и никогда-не-исполняющихся-желаний, легко поддается манипулированию, подчиняется без сопротивления. Ведь борьба за существование — занятие, отнимающее уйму времени, всепоглощающее, истощающее. Создайте людям такие антиусловия, и вам гарантирована власть на сто лет.

Бывают ситуации, когда зло действует быстро, решительно, с ураганной силой. Добро же, как правило, не спешит. Оно требует времени, чтобы себя показать. Поэтому добро часто опаздывает и — проигрывает.

Беспрестанные потрясения и стрессы, которые переживает мир, в значительной степени спровоцированы тремя очень крупными и доселе неизвестными истории феноменами, одновременно наблюдаемыми во второй половине XX века. Это:

конфликт обладающих огромной разрушительной силой вооруженных идеологий, втягивающих в борьбу за мировое господство все человечество;

возникновение сотни с лишним новых государств — приверженцев философии или даже религии развития, у которой уже есть своя мистика, свои заповеди и свои жрецы, но которая не может удовлетворить всеобщие (и постоянно растущие) потребности, ибо на земле нет нужных материальных средств, необходимых политических и системных условий, а также достаточного количества умелых производителей;

миграция в города (в небывалых прежде масштабах) деревенского населения, увлекаемого миражами лучшей жизни, соблазном получить работу и перспективой продвижения по социальной лестнице. Разочарование, которое ожидает снявшихся со своего места людей, становится источником вечной неудовлетворенности и причиной мятежей.

Роль новейшей техники (электроники, компьютеров и т. д.) в жизни нашего мира, в формировании истории настолько велика (и все время возрастает), что всякие аналогии с прошлым — так называемые уроки прошлого — постепенно утрачивают ценность, даже становятся сомнительными. Электроника открывает качественно новый этап в истории человечества. И — соответственно — будет отрезать, отрывать, отгораживать нас от прошлого, превращать прошлое в неуклонно отдаляющуюся точку.

Ощущение неуверенности и потерянности, вызванное тем, что у слов отняли их естественное, первоначальное значение, что язык перестал быть опорой, компасом, инструментом познания и ориентации, что он лишь вводит в заблуждение, сбивает с толку.

Возьмем, например, термин «культурная революция». Такое понятие должно означать прогресс, расцвет, свет во тьме, а означает разрушение, травлю, торжество истерии и мракобесия. Короче, эти слова вместо одобрения вызывают отвращение и страх. Сражение за будущее мира, за новую форму человеческого сознания начинает разыгрываться — в самом буквальном смысле — в области языка. Языковые войны, словесные баталии — часть всеобщей истории человечества. С возникновением массовых обществ и средств массовой информации они стали особенно ожесточенными. Пропаганда превратилась в одно из главных орудий всякой современной власти. Кто-то применил для определения пропаганды термин «агрессия». Он весьма точен, ибо суть пропаганды — в непрерывном наступлении и завоевании (сознания человека).

Главная задача авторитарных систем — остановить время (поскольку движение времени чревато переменами).

Если из множества истин ты выберешь только одну и будешь слепо за нее держаться, она превратится в неправду, а ты станешь фанатиком.

Фанатизм высвобождает в человеке больше энергии, чем мягкость и доброта, поэтому фанатикам легче навязать другим свою волю, легче добиться власти.

Средства массовой информации, даже если им не верить, если считать, что они лгут, оказывают на человека огромное влияние. Устанавливая для него некий реестр тем, они таким образом сужают сферу его мышления, заполняя ее информацией и суждениями, которые подобраны или составлены по своему усмотрению кем-то «наверху». Спустя некоторое время, сами того не замечая, мы начинаем думать о том, о чем нас хотят заставить думать (чаще всего это мелкие, но сознательно раздутые или представленные в ложном свете проблемы). Поэтому человек, полагающий, что он мыслит независимо, ибо критически оценивает сообщения средств массовой информации, заблуждается. Независимое мышление — искусство думать оригинально, самостоятельно, выбирая темы, подсказываемые собственным опытом и наблюдениями, отбрасывая то, что навязывают масс-медиа.

ВАРШАВА

1983

Проблема расизма — это проблема культуры. Расист — примитивный, нерассуждающий человек. Агрессивный сектант. Хам. Людям, которые считают себя выше, чем они есть на самом деле и чем другие о них думают, расизм нужен как орудие подавления окружающих и самовозвеличивания. Как трамплин, подбрасывающий их вверх. Темный ищет еще более темного, чтобы убедиться в том, что он не самый темный. Ищет худшего, поскольку хочет казаться лучше. Должен кого-то презирать, так как это поднимает его в собственных глазах и скрывает от чужих глаз его ничтожество.

В ежемесячнике «Одра» (1982, № 12) рассказ Эмиля Гурского о смерти Бруно Шульца [1]. Шульц погиб 19 октября 1942 года. Его застрелил на улице гестаповец по фамилии Гюнтер, чтобы досадить своему недругу, гестаповцу Ландау, у которого Шульц работал. (Гюнтер знал, что Шульц рисовал портрет Ландау и расписывал стены его квартиры, а следовательно, был человеком искусства, художником.) Поэтому сказать, что Шульца убил гестаповец, фашист, значит, упростить характеристику Гюнтера настолько, что от нас ускользнет суть дела.

Главное в том, что Гюнтер, прежде чем стать фашистом, был тупым, жестоким хамом. Шульца убил разъяренный, гнусный хам. Не будь хамства, не было бы фашизма. Фашизм без хамства немыслим. Хамство — источник наглого высокомерия и насилия, подлости и страсти к уничтожению.

История — борьба классов? Борьба систем? Не только.

История — это борьба между культурой и хамством, между человеком и животным.

Готовый продукт образнее, чем процесс затраченного на его производство труда. Картины благополучного, сытого существования сегодня — с помощью кино, телевидения, прессы — достигают самых глухих уголков земного шара. Но то, что нам чаще всего показывают на экранах и фотографиях, относится к сфере потребления, а не производства. Мы видим результат труда, а не сам труд. Отсюда лишь один шаг до наивного убеждения, будто высокий уровень потребления достижим без производительного труда и четкой организации. Такой тип мышления (а вернее, немышления) — причина всевозможных разочарований и социальных неврозов. По этому поводу хочется вспомнить удачное определение револю-

[1] Б. Шульц — польский писатель и художник. Его «Коричные лавки» опубликованы в «ИЛ», 1990, № 12.

ции, данное Гербертом Маркузе: «Это бунт людей, которым привили потребности, каковых они не могут удовлетворить».

Его упрекают в том, что он изменился. Но разве это заслуживает осуждения? Надо начать с вопроса: кем он был и кем стал? Его укоряют, что раньше он брал. Осуждают за то, что больше брать не хочет. Хулители лишились сообщника — вот откуда их ярость. Типичная мораль преступной организации: злоумышленников объединяет соучастие в грязных делах. Перестав чинить зло, ты неизбежно вызываешь осуждение со стороны тех, кого разоблачил актом своего отступничества. Чем дольше ты состоишь в банде, тем ясней понимаешь, что обречен на такое существование. Предположим, тебе захотелось бросить все и уйти. Но тотчас возникает вопрос: а что другая сторона, примет она меня за своего? Силой, заставляющей нас оставаться в банде, оказывается не столько страх перед местью гангстеров, сколько боязнь быть отвергнутым теми, кто к банде отношения не имел. Эта внешняя сила более чем что-либо другое определяет решение ничего не менять.

Коррупция: дать взятку не только для того, чтобы чего-то добиться, но также — чтобы отдохнуть, отдохнуть от бесконечной суеты, напряжения, постоянных усилий, которые сопутствуют добыванию любых вещей, прав, документов, льгот и т. д. Взятка — это пристань, в которой можно немного передохнуть, прежде чем вновь кинуться в бурное море повседневной мороки. Это также форма сближения, зародыш извращенного конспиративного сообщества, которое мы создаем, заключая преступный пакт.

Прогресс не является исторической необходимостью, он всего лишь возможность (а часто и невозможность).

Мариано Агирре в мадридском «Паис» (июль 83):

«Можно сказать, что третья мировая война уже идет» (в «третьем мире» с 1945 по 1983 год было 140 войн, в которых погибло 25 миллионов человек. Одним из результатов этих войн стала массовая многомиллионная эмиграция).

Принимая во внимание, что 300 миллионов людей живет в нищете, 500 миллионов недоедает, а у 1300 миллионов доходы ниже прожиточного минимума, можно утверждать, что гонка вооружений в «третьем мире» является актом насилия, даже если не было выпущено ни одного снаряда».

Агирре невольно (поскольку сам об этом не упоминает) указывает на существование связи между гонкой вооружений и тоталитарной властью. Тоталитарная система «желанна» в странах с низкой производительностью труда, так как позволяет вкладывать максимум средств в военную промышленность — в ущерб потребностям общества. Обычно говорят: сократим расходы на вооружение, тогда у нас будет больше денег, чтобы прокормить своих сограждан. А нужно, чтобы еще говорили: сократим вооружения, и тогда будет больше демократии!

Всякой инфляции сопутствует моральная распущенность. Это отчасти обусловлено тем, что инфляция убивает веру в прочность чего бы то ни было. Отнимает веру в будущее. А у человека, лишенного этой веры, нет обязательств — ни перед другими, ни перед собой. Так что инфляция не только экономическое явление, но и этическая проблема, болезнь, которая атакует и уничтожает культуру.

Основное различие между колониализмом и неоколониализмом, то есть между традиционной и современной формами подчинения слабых государств более сильным, заключается в новой концепции доминирования, в новой структуре зависимости.

В прежние времена господствовала теория, что лучший защитник народа — государство, и, следовательно, его надо любой ценой сохранять

и укреплять: ведь оно — единственный гарант спасения народа. При неоколониализме (то есть когда на зависимых территориях возникли государства, формально независимые, но в действительности управляемые классами (элитами), продавшимися чужим интересам) общество не воспринимает государство как силу, которая защищает народ, служит его идеалам, развивает его материальный и духовный потенциал. Скорее оно склонно рассматривать государство как институт угнетения. Сейчас все шире распространяется убеждение, будто подлинная цель метрополии — не захват и уничтожение чужого государства, а ослабление, развращение и раскол населяющего это государство народа как грозного носителя и защитника суверенитета. Таким образом, опасность сегодня угрожает не «зависимым» государствам, а народам, которые стараются расколоть и истребить при помощи именно этих, подчиненных метрополии, государственных структур. Словом, задача метрополии по отношению к завоеванным и покоренным — упрочить их государственность!

Этническое сознание как растущая политическая сила в современном мире. Это сознание — фактор, ведущий к распаду более широких, надэтнических структур.

Политика, если ею долго заниматься, развращает, коррумпирует ум. Политике свойственны экспансионизм, прожорливость. Она хочет все себе подчинить, все объять, заграбастать. Хочет повсюду проникнуть. Она разрушительна, как наркотик. Образы мышления политика и наркомана схожи: сосредоточенность на одной цели, неуемная, маниакальная потребность удовлетворения своих желаний. Характерные для того и другого монотематичность, зашоренность с годами приводят к отрыву от действительности. Подобно наркоману, которому ежедневно требуется привычная доза наркотика, политик должен постоянно впрыскивать себе новые порции политиканства.

Цель системы — контроль. Непрестанный, неусыпный, вездесущий. Всем надлежит друг за другом следить, рыться друг у друга в бумагах, сумочках, холодильниках, в кладовых. Найдется ли человек, которого никогда не контролировали или который никого не контролировал? Философия, лежащая в основе такого рода структуры, крайне пессимистична, даже фаталистична. Она исходит из того, что человек от природы существо порочное, склонное растрачивать энергию на асоциальные, вредные, неэтичные поступки. Чтобы его спасти, нужно следить за ним, не спуская глаз. Бдительный и неутомимый надзор, таким образом,— проявление великодушия тех, кто его организует, их никогда не оскудевающая милость.

Все тут дискутируют о политике. Но разве это дискуссия, спор по существу? С моей точки зрения — нет. Это декларации, провозглашение категоричных суждений. Каждый твердит свое, возбужденно и яростно, после чего все расходятся, раздраженные, разгоряченные, злые.

Сценарий:

государственный переворот. Дело происходит на рассвете. Город еще спит. Танк (только один, так как страна маленькая, армия маленькая и плохо вооруженная) и два грузовика с солдатами останавливаются перед телецентром. Заспанный охранник в будке у ворот. Темно. В главном здании пусто. Постепенно начинают привозить ошеломленных, перепуганных техников, инженеров, звукооператоров, осветителей. Здание оживает; в коридорах, в студиях начинается движение. Диктор читает первые распоряжения новой власти.

Президентский дворец в те же часы. Президентом никто не интересуется. Курьеры снуют по городу, сообщают министрам, что президент ждет их у себя. Часть министров приезжает, кое-кто так и не появится. Во дворце смятение, паника, сущий апокалипсис. Члены правительства поспешно со-

ставляют обращение к народу, в котором напоминают, что они — единственная законная власть. Однако обращение остается клочком бумаги никому не известного содержания — телевидение, радио и редакция единственной в этой стране газеты в руках заговорщиков. Президент и его окружение оказались за бортом событий, перестали существовать. Заговорщики устроили свой штаб на телевидении и оттуда оглашают декреты и приказы.

Новое в этом перевороте: объект нападения — здание телевидения, а не президентский дворец. Это наглядно свидетельствует, куда переместилась власть над душами. Это показывает, что тот, в чьих руках телевидение, управляет страной. Свет и звук, изображение и движение, магия этих слившихся воедино элементов — вот царство, в котором человек живет под бо́льшим гнетом, чем крестьянин при феодализме.

НЬЮ-ЙОРК

1983

Прага, аэропорт. Хлынул дождь, проливной, как в тропиках, потом внезапно прекратился. Стало тихо. Не взлетел и не сел ни один самолет. Сквозь стеклянную стену я видел лес, на его фоне — большие красные звезды на фонарных столбах.

Здесь мир представлен шире, чем в варшавском аэропорту: туристы-пенсионеры из Англии, группа молодых людей из Нигерии, несколько словно размноженных на ксероксе японцев, спящие вповалку на полу индийцы.

Способность индийцев спать на всем твердом: на досках, на тротуарах, на гвоздях. Сколько я их видел спящими прямо на мостовых Дели, Бомбея, Калькутты! Когда к утру асфальт остывал, дети, проснувшись, плакали от холода. Ниций индус, за которым я наблюдал из окна своего номера в Бангалоре. Он обретался, жил, существовал (не знаю, как это назвать) на тротуаре, в определенном месте, которое (так мне казалось) никогда не покидал. Утром просыпался, садился, поджавши ноги, и неподвижно сидел целый день. Вечером, как внезапно увядший цветок, сникал, оседал и (все на том же месте) засыпал. Я ни разу не видел, чтобы он за весь день пошевелил рукой или ногой, не видел, чтоб он ел, с кем-нибудь разговаривал, мочился или просто обратил на что-то внимание. Способ существования этого нищего остается для меня загадкой. Чем он питался? Для чего жил? Вероятно, не будучи в состоянии добывать еду, он избрал единственно возможную в такой ситуации стратегию выживания: погрузиться в неподвижность, не двигать ни одним мускулом, беречь каждую крупицу энергии.

На экране телевизора играл чешский военный оркестр, программу объявлял диктор в черном смокинге. Я хотел что-то купить в киоске, но киоск был закрыт.

В Нью-Йорке ранним утром:

городской шум, который на мгновение затихает, и тогда слышно пение птицы. Какая-то одинокая птица, на несколько секунд — в этой оргии звуков — получившая право голоса.

В «Нью-Йорк таймс бук ревью» рецензия Альфреда Казина на книгу Милоша «Свидетельство поэзии». Казин подчеркивает глубокое различие между опытом человека Востока и человека Запада, глубокое различие между двумя цивилизациями: «западной — встревоженной и восточной — измученной».

Дождь и жуткий, оглушающий вихрь. Зонтик увлекает меня вверх. Лечу над Манхэттеном.

В паспортном бюро, которое находится в конце Бродвея, неподалеку от Уолл-стрит. На первом этаже очередь. Меня посылают на девятый;

хождение от окошка к окошку. В конце концов отправляют на четвертый этаж — Лапидарий то же самое: от окошка к окошку. Везде очереди. (Наше помешательство на очередях. Наше подсознательное деление мира на страны, в которых есть очереди и в которых их нет).

ТВ:
улыбка как занятие, как работа, как профессия.

С утра до ночи в кафе, барах, клубах, ресторанах — едят. Тема бесед: где будем есть, что выбрать из меню, что подавали, вкусно ли было. Говорят подробно и долго. В конце заключают: мы слишком много едим. Одни принимают решение: надо начинать бегать. Другие штудируют журналы, посвященные способам похудания. Очень они симпатичны с этой своей озабоченностью тем, как сохранить фигуру и хорошую форму.

Их отношение к Польше (впрочем, к другим странам тоже) — равнодушно-доброжелательное:
— Ах так?
— Неужели?
— Невероятно!
— Ну-ну.

В Вашингтоне, в доме у Тадеуша Шульца. Сидим на террасе в тени больших старых деревьев. Тед говорит о явлении, которое он называет устойчивой маргинализацией безработных. Автоматизация, компьютеризация и вообще high-technology revolution [1] приводят к тому, что человек, потерявший работу, через год-два вернется уже на совершенно другое, модернизированное предприятие и работать там не сможет. Словом, тому, кто однажды стал безработным, угрожает опасность остаться таковым до конца дней.

«Рушится система образования,— говорит Тед.— Люди не хотят платить налоги на нужды просвещения. Уровень обучения снизился до такой степени, что вскоре будут миллионы компьютеров, которыми никто не сумеет пользоваться».

Вашингтон, угол N-стрит и Коннектикут авеню. Под крышей углового дома — табло с надписью WORLD POPULATION [2]. Под надписью мчится электронный поток непрестанно сменяющихся цифр.

2 июня 1983. 8.41 утра.

4 556 157
EVERY MINUTE ANOTHER 172 PERSONS [3]

Кто поместил сюда это табло? Наверное, человек, который хотел сказать: «Дорогие, остановитесь хоть на минуту! Дайте перевести дух!»

Сейчас, летом, табло заслонено большим зеленым каштаном. Под каштаном ларек с фруктами — апельсины, ананасы, яблоки, клубника.

Пало-Алто, Калифорния.

С Зойкой и Мариушем в кино. Здание старое, позолоченные гипсовые карнизы — дешевый вариант испано-мексиканского сецессиона (этого много в Калифорнии). Кинотеатр одновременно кафе, бар, ресторан. Во внутреннем дворике кто-то дает концерт на гитаре. Фильм называется «Hard Rock Life Show» [4].

Зрелище (но не на экране, а в зале!) необычное. Зрители — сплошь подростки. Судя по их поведению, все знают фильм наизусть и приходят в кино, чтобы принять участие в том, что делается на экране,— приходят, чтобы соучаствовать. Итак:

---

[1] Научно-техническая революция *(англ.)*.
[2] Население мира *(англ.)*.
[3] Ежеминутно еще 172 человека *(англ.)*.
[4] «Шоу из жизни тяжелого рока» *(англ.)*.

— они швыряют горсти риса в экран, когда на нем появляется молодая пара;

— чиркают зажигалками, когда герой фильма бродит по темным подземельям замка;

— разбрасывают по полу недоеденные куски, когда на экране показывают пиршество;

— толпой устремляются на сцену перед экраном, чтобы сплясать рок вместе с персонажами фильма.

Выходят из кинотеатра веселые, возбужденные, точно из дискотеки.

ВАРШАВА

1984

Сколь огромны в нас пространства, которые мы — быть может, навсегда — оставим неизведанными.

Литературы Востока и Запада все больше отдаляются друг от друга, становятся все более разными.

Запад: тема литературы — человек «изнутри», то, что в нем происходит, его душевные колебания и бури, а также взаимоотношения с другим человеком.

Восток: здесь человека часто рассматривают с точки зрения его места в системе. Предмет литературного исследования — человек «снаружи», человек как общественное животное; в центре внимания — его позиция, его поведение.

Если на Западе говорят про кого-то: «порядочный человек», имеется в виду, что этот человек ведет себя порядочно, например, с собственной женой или с другом. На Востоке это означает нечто иное, а именно: что ему несвойственно политическое двуличие, что он не пишет доносов, не заискивает перед властями.

Ниже некоего уровня существования политика утрачивает значение, лишается смысла. Эфиопия осенью объявляется социалистическим государством. Это — когда восьми миллионам людей угрожает голодная смерть. Но там всегда умирали с голоду. Для традиционных обществ современная политика — понятие чисто внешнее, поверхностное.

Время сейчас подчинено политике, отравлено политикой. Любой разговор раньше или позже сведется к политике. На этом небосклоне фигура политика — самая яркая звезда. Могущество политики столь всеобъемлюще, что даже утверждение «я в политике не разбираюсь» или «политика меня не интересует» фактически — позиция насквозь политизированная, поскольку является выражением оппортунизма (а оппортунизм — категория политическая). Сущность политики в том, что она неустанно вышибает человека из состояния нейтралитета, равнодушия, упорно изгоняет с «ничьей земли» и заставляет делать выбор, высказываться, идти на баррикады и т.д.

Важная вещь для политика — карта. У всякого президента в кабинете висит карта. Я видел эти карты много раз. У них есть нечто общее: они огромны, занимают целую стену. Понятно, что каждый президент, глядя на такую карту, начинает в конце концов думать, что возглавляет великое государство. Он видит, сколь внушительны размеры его страны, как бесконечно много в ней городов, сел, гор и рек, дорог и лесов. И потому с другими, с миром говорит с позиции вождя могучей державы. Люди удивляются: отчего у него такой зычный голос, откуда в нем столько спеси? Но, посмотри они на карту в его кабинете, им бы все сразу стало ясно.

Привилегии — понятие относительное, их вовсе не обязательно оценивать в материальных категориях. Домик среднего американца — будучи

перенесен, например, в Гайану — вполне может стать дворцом президента республики.

Одной из важных и не укладывающихся в материальные категории привилегий в тоталитарных государствах является ощущение безопасности, создаваемое принадлежностью к правящей верхушке. Быть выше закона. Иметь так называемый «надежный сертификат». Он освобождает от повседневных мытарств, на которые обречен человек, подобным сертификатом не обладающий.

Этика в эпоху электроники. Новый масштаб лжи: частное письмо, в котором содержится ложь, может обмануть одного или нескольких человек; лживое сообщение по телевидению — миллиард людей.

Стремление создать общество без памяти. Ложь тогда становится ненаказуема: неважно, что говорилось, что было обещано еще вчера. Отсутствие памяти открывает перед ложью широкое поле деятельности.

Люди культуры, творческие личности, могут найти общий язык в любом уголке мира. Они друг на друга похожи, они инстинктивно сплачиваются в содружество, объединяются в универсальный орден служителей одному высшему существу — искусству.

31.10.

Скоро 19.30. В квартире Янека С. включаем телевизор: вдруг скажут что-нибудь об убийцах ксендза Попелушко. Но на экране появляется лицо Индиры Ганди, и диктор читает сообщение о ее гибели от пуль террористов.

— Весь мир обезумел!

Потом мы с Янеком пошли в костел св. Станислава Костки [1]. Был темный холодный вечер, на деревья оседал туман. Вокруг костела, на тротуарах, на газонах, на ограде двора горели сотни свечей, светильников, лампад.

— Посмотри,— сказал Янек, приостанавливаясь и указывая на костел (в эту минуту похожий на пылающий в темноте склеп, окруженный бесконечной вереницей теней),— так будет выглядеть наше будущее.

В. обращает мое внимание на то, что в мафиозных структурах решения облекаются в туманную форму, четко не формулируются. Поэтому никого из главарей невозможно поймать за руку. Подчиненный сам угадывает мысли своего шефа, никогда не высказываемые напрямую. Убийство рождается скорее из атмосферы, нежели на основании письменного приговора.

ВАРШАВА

1987

«Третий мир» Европы. Мы рассматриваем «третий мир» скорее как культурное, чем географическое или расовое понятие. Оно сложно и спорно, даже в применении к Азии, Африке и Латинской Америке. Сейчас это понятие употребляется чаще всего условно, для описания некой ситуации, которая существует в данной стране или регионе и которая характеризуется, в частности, следующими признаками:

— отставание от общего хода истории или отсутствие непрерывности развития (Амстердам в XVII веке — настоящий город, тогда как большинство городов «третьего мира» были в то время деревушками);

— крестьянское общество, отсталая сельскохозяйственная техника;

— сырьевой характер экономики (часто монокультурной);

---

[1] Убитый сотрудниками госбезопасности активный правозащитник ксендз Ежи Попелушко похоронен во дворе этого костела.

— отсутствие самостоятельной государственности в XIX веке (развитые страны в тот период свою государственность укрепляют);

— отсутствие навыков и организации труда в несельскохозяйственных структурах;

— отсутствие сильного, хозяйственного, бережливого среднего класса (или его малочисленность и бюрократический, а не производительный характер);

- слаборазвитые коммуникации.

Польшу я по целому ряду причин причисляю к большой, неоднородной, красочной семье стран «третьего мира». Семье растущей и становящейся все более экспансионистской (хотя бы из-за ее увеличивающейся численности).

Документальный фильм о Франции времен оккупации: как французы сотрудничают с гитлеровцами (французская элита, писатели, художники). Приемы в посольстве Германии в Париже, эсэсовцы в зале театра, мюнхенский хор дает концерт на площади Оперы.

Мое внимание привлекло не то, что Шевалье поет для вермахта, а нечто другое: как немцы заигрывают с французами, как они стараются снискать их расположение. С нами не заигрывали. Париж был для немцев Европой, культурной страной — мы же были варварами, быдлом, дикарями, которых предстояло закабалить, а потом сжечь. Фашизм был раковой опухолью западной культуры, подобно тому как сталинизм был раковой опухолью Востока. Фашизм (высокая организация, начищенные сапоги) был продуктом Запада, сталинизм (угрюмость, серость, грязь) — Востока.

Для Гитлера евреи были порождением Востока, они «захлестнули» Европу, прибыв из России, из Польши, из Галиции,— представители восточного варварства, наиболее выродившаяся его часть.

Я знаю, с чего начинают немцы, помню. Весной 1940 года мы переходим в Бресте границу (идем в Генеральное Губернаторство, там остался мой отец). Так вот, немцы первым делом ведут нашу колонну в импровизированную баню, где происходит мытье и уничтожение вшей.

Фильм помог мне уяснить одну из причин, по которой мы поддерживали послевоенную власть,— ведь лозунгом Гитлера была, среди прочего, борьба с большевизмом. Мы, тогда еще дети, рассуждали просто: раз Гитлер борется с совдепией, значит, это хорошая штука, заслуживающая поддержки. Вот так происходило отождествление с большевизмом, чего человек, родившийся позже, может и не понять (так же как ему трудно будет понять, что одна из основных черт тоталитарного режима — блокирование информации уже на уровне личности: человек молчит — видит и знает, но молчит. Отец боится сказать лишнее слово сыну, муж — жене. Молчать ему либо приказано, либо он сам избирает стратегию молчания — чтобы выжить. Люди, которые пережили сталинизм, и люди, которые узнают о нем из книг и рассказов, не могут понять друг друга, так как привыкли к совершенно разным уровням информации). И дело не только в том, что кто-то чего-то не знал — чаще всего человек предпочитал не знать или не хотел знать: задать не согласованный «наверху», щекотливый вопрос было равносильно самоубийству. Инструктор Союза польской молодежи в отчете руководству о собрании должен был не только изложить суть выступлений, но и указать, кто и какие задавал вопросы.

Прочитал «Политическую и социальную историю партии умеренного прогресса в рамках закона» Я. Гашека. Замечательная и очень гашековско-швейковская книга. До чего же в ней спокойна, забавна и открыта Восточная Европа 1911 года! Едят, пьют, курят трубки в Праге, Венгрии, Софии и Вене.

Гашек: род. 1883 — ум. 1923

Кафка: род. 1883 — ум. 1924

Мало кто обращает внимание, что они были ровесниками, жившими и писавшими в одно и то же время, в одном и том же городе,— но какие же они разные! Светлый, теплый, жизнерадостный Гашек

и замкнутый, мрачный, бередящий душу Кафка. Их миры совершенно непохожи, их воображение — две не имеющие ничего общего планеты.

Китайская писательница Нянь Чжан («Жизнь и смерть в Шанхае») во время «культурной революции» сидит в тюрьме. Единственное живое существо в ее камере — паук. Он плетет свою сеть, и это придает писательнице силы. Пауком руководил естественный инстинкт выживания. «Я должна делать то же самое»,— думала Нянь Чжан.

Репортаж с выставки Сальвадора Дали в Гданьске. Интервью с посетителями, которым репортер задает один и тот же вопрос: «Что вам говорит имя Сальвадора Дали?» Не знаю, какую задачу ставил перед собой автор репортажа, но вывод напрашивается любопытный: две культуры — элитарная и массовая — существуют безо всяких промежуточных уровней. Кто-то говорит о живописи Дали со знанием дела, свободно, взвешенно, а кто-то просто пожимает плечами, ибо даже имени этого никогда не слыхал. И никого посередине! (Да и слова у этих людей разные.)

Закон нормальности Израиля Шахака (в «Нью-Йорк ревью»). Любое общество в любой ситуации стремится к состоянию нормальности, к обретению — любой ценой — хотя бы видимости нормальной жизни.

Венгерская писательница Анна Йокаи в беседе с Гжегожем Лубчиком («Жиче Варшавы» 12.12): «Я пишу все меньше, но Янош Пилинский говорил: неважно, сколько раз птица ударила крыльями по воздуху, важно, как высоко она взлетела».

Роль шута в истории. История немыслима без шута, у всякой власти есть свои шуты. Шут серьезный (но шут). Достоинства шута: никому не угрожает, не борется за власть. Критикует, но его критика предварительно просеяна сквозь сито самоцензуры. Она как манная каша, заправленная капелькой соли,— не лишена вкуса.

Люсьен Леви-Брюль (1857—1939). Французский философ, социолог, этнограф. Создатель теории дологического мышления. Мышление первобытных народов по своему типу, как он утверждает, отличается от мышления народов цивилизованных, ибо (в первом случае) не действуют законы формальной логики.

Женщина производит на меня впечатление человека более зрелого, чем мужчина. Сколько бы раз я ни знакомился вначале с женщиной (даже молодой), а потом с ее другом или мужем, всегда мне кажется, что это ее младший брат, а иногда даже сын.

Часто для бóльшей достоверности написанного приходится вставлять в текст куски собственной биографии. Текст сегодня — как бы половина того, что ты можешь сообщить. Пишешь о необходимости быть смелым? Изволь — в дополнение к тексту — доказать, что сам проявлял смелость.

Истинный суд — это суд по прошествии лет, иногда — веков.

Доминик Городынский: «Породистый пес — вырожденец. Необходима примесь дворняги!» По-моему, это замечательное определение для литературы: в каждой книге должна быть примесь графоманства. Лучший тому пример — Достоевский.

Кауфман (корреспондент «Нью-Йорк таймс»), испуганный, рассказывал мне, как пытался выяснить хоть что-нибудь о катастрофе Ил-62 [1].

[1] Пассажирский самолет польских авиалиний разбился неподалеку от варшавского аэродрома.

Никто ничего не хотел говорить, все боялись, отсылали его к вышестоящим начальникам, а те — еще выше.

Стремление этих людей — любой ценой — быть никем и ничем, жить, но одновременно не существовать как субъекты — паническое бегство в анонимность, в небытие, в безликость.

У Людки Скульской вечером рассказываю коллегам о поставленном в Лондоне «Императоре». Я боялся провала. Крах книги бесшумен, плохая книга исчезает незамеченной с полок, бесследно теряется на складах. Провал пьесы происходит с треском, становится чуть ли не публичным скандалом.

Разговор с Е. о грозящих нам опасностях. История взваливает на нашу страну чересчур тяжелое бремя. Нам все труднее его нести. Несмотря на усилия, снижается экзистенциальный уровень, уровень мышления, сопротивляемость злу, дешевке, всеобщей нечистоплотности и отупению.

С философом Ежи Лозинским. Он принес мне изданный под его редакцией второй том «Франкфуртской школы». Рассказывает о своих студентах — пассивны, молчат. Правильно, система навязывания авторитетов вызывает у них протест, но чего они хотят?

Лозинский указывает на разницу между английской и континентальной философскими школами. В английской отправной пункт — человек; его политизированность — при всей своей необходимости — сама по себе добра не приносит. Континентальная философия исходит из общности: Бог, история, право. Человек как личность в ней исчезает. Признание за этой общностью со всеми выдвигаемыми ею требованиями ведущей роли таит в себе угрозу тоталитаризма.

Слабость людей: склонность отгораживаться от зла. Зло вне нас, как бы к нам не относится.

Тоталитарные системы предъявляют человеку высокие, порой непосильные этические требования. Только немногие могут с ними справиться, выдержать испытание адом.

О Блохе: его категория того, чего «еще нет», например: надежда. Феномен человека нельзя объяснить удовлетворительно, поскольку он (человек) не только доступное определению бытие, но также и воображение, и алогичность, и утопия. Невозможно вместить его суть в программу компьютера, ибо человек — это также нечто вне программы, нечто — именно — неопределяемое. Короче, суть индивидуума характеризуют качества, не поддающиеся словесным формулировкам.

23.05

В полдень похороны жертв катастрофы Ил-62. Огромная толпа сосредоточенно наблюдает за похоронным действом. Идут солдаты с венками, стюардессы, несущие награды погибших, почетный караул, наконец проплывают пятнадцать серо-стальных гробов на плечах летчиков.

Толпа стоит, ждет самого главного: когда пройдут матери, жены, братья и сестры тех, кто погиб в катастрофе. Толпа смотрит. Есть в нас какая-то странная, жуткая, с трудом сдерживаемая потребность заглядывать в лицо беде, которая нас не коснулась.

Я выбрался из тесных рядов, на которые сзади напирала толпа. Пошел к воротам. И тут увидел потрясшее меня зрелище. На краю кладбищенской аллеи стояла девушка. Она стояла спиной к толпе, к похоронной процессии, к движущимся высоко над землей гробам. Стояла — красивая, отсутствующая, сраженная горем, окаменевшая. Черный обелиск.

Из интервью Марку Миллеру:

— одна из черт таланта — способность к концентрации. Последняя необходима для выработки ритма. Ритм в прозе нужен и важен не меньше, чем в поэзии,— он будет увлекать нас за собой в процессе писания;

— у меня экзотичен только фон;
— показать одновременно и объективную действительность, и то, как она в тебе преломляется (иными словами: нет остраненно объективной действительности — субъективный взгляд меняет ее смысл и структуру).

Кампучия, семидесятые годы, правление красных кхмеров. Из дневника маленькой Пеув: «Ни о чем не спрашивайте. Ангкор [1] заботится о вас! Мы впервые услышали это слово. Долго думали, что так зовут нового короля или президента. Но это было слово из нового языка, которому мы должны были научиться. Оно означало верховную организацию, которая заботилась о судьбах народа».

По воле Ангкора дядя Пеув — Вонг — проходил в лагере курс перевоспитания. Из шестидесяти воспитуемых выжили трое. «Они возвращались домой,— пишет Пеув,— и один из них позволил себе вздохнуть: «Найду ли я свою бедную жену?» Тут же два солдата остановили его и увели в лес. Никто его потом больше не видел. Выказывать чувства запрещалось.

Все, что мы узнали от дяди, послужило нам уроком в дальнейшей борьбе за выживание. Не задавайте никаких вопросов — было его главное наставление».

Л.: «Плохи мои дела. Приводя в порядок комнату, нашел кипу записей по поводу прочитанного и собственные размышления, про которые напрочь забыл. Они никоим образом не были использованы! Может быть, все это отложилось где-то в памяти, может, отзовется когда-нибудь, но сейчас обнаружение целой груды заметок — начисто отсутствующих в моем сознании — меня испугало».

Крупный чиновник говорит мне о Л.:
— Л. Этот карьеры не сделает, у него слишком пестрая биография.
Имеется в виду, что наилучшая биография — серая, бесцветная, никакая. Не существовать — чтобы существовать.

Мирослава Мароди о сознании поляков. Черты: 1) девальвация труда в государственном секторе, 2) ориентация на социальную защищенность, 3) заученная беспомощность, 4) сужение временно́го горизонта, 5) завистливый эгалитаризм, 6) ориентация на посредственность, 7) коллективный эгоизм.

Исследование Д. Блекборна о нацизме. Нацизм — провинциальный кич. Нацизм и мещанство сотворены друг для друга. Недоучившиеся самоучки.

Страх, который человека однажды заставили испытать, навсегда превращает его в калеку, отнимает не только часть души, но и каким-то образом уродует тело (запуганный человек, его внешний облик).

Фашизм: революция нигилизма, культ государства, персонализация и концентрация власти, волюнтаризм вождя как организующая сила, терроризм как метод политики, крайняя жестокость в борьбе с оппонентами.

Твой враг не всегда выглядит грозно. Случается даже, завидев тебя, он потеет, краснеет, избегает твоего взгляда. Когда ты с ним разговариваешь, ведет себя беспокойно. Но больше всего поражает необоснованность его чувств. Ты не дал ему ни малейшего повода для ненависти. Не ударил его, не очернил, не испортил ему карьеру. Возможно даже, лично с ним незнаком и тем не менее вдруг обнаруживаешь, узнаешь, читаешь: он тебя ненавидит, оплевывает, проклинает.

---

[1] Ангкор — старинный архитектурный комплекс в Камбодже, в который входит и древняя столица страны.

Сегодня нас пять миллиардов. Телевизионная программа, подготовленная по этому случаю ООН. Выступают белые и цветные. Белые — пожилые люди: Кларк, Браун, Воннегут и другие. Их тревожит, что нас уже пять миллиардов: чем это обернется, какое нелегкое будущее нас ждет. Их лица сосредоточенны и серьезны. Черные же — это ансамбли рок-музыки, джазы, поющие, веселые.

И так уж оно пойдет: белые старики будут бить тревогу, но их сокрушенные голоса все труднее будет услышать, зато цветные постепенно займут бо́льшую часть сцены, именуемой миром.

Кароль Людвик Конинский о нацизме: «Движение низов. Грубый, отталкивающий, извечный тип, которому хочется бить, бить, кого ни попадя».

Многие чудовищные явления, ситуации и личности пользуются вполне приличной и даже доброй славой, поскольку люди, прежде чем с ними столкнулись, представляли их себе куда более страшными. Свое мнение — после непосредственного столкновения с действительностью — они формулируют следующим образом: «Ну, не так уж это плохо (не так ужасно выглядит), как я думал».

Интервью с Яном Карским о «холокосте». В 1942—1944 гг. Карский, приезжая курьером в Англию или в Америку, рассказывал о массовом уничтожении в Польше евреев — что́ и как там происходит. Никто ему не верил! Есть граница, через которую людское воображение не хочет, не может переступить.

Жесткие, авторитарные системы: люди могут в них существовать благодаря тому, что непроизвольно вырабатывают патологическую подсистему приспособляемости. Именно патология позволяет авторитарным структурам держаться.

Читаю «Дневники времен войны» Налковской. Взялся за них не для того, чтобы узнать что-то новое о войне, а ради языка — прекрасного языка той эпохи, тех писателей. Мне горько — хотя, может быть, я излишне чувствителен,— что мы, пишущие и говорящие сегодня, уже только портим, калечим, истребляем язык. Вместо ухоженного сада — сухие стебли, корявые уродцы; все запущено, заросло сорняками. Даже те, кто это осознает и от этого страдает, из-за неизбежности контакта с нашей неряшливой языковой стихией сами в нее погружаются, блуждают среди нелепостей, бессмыслицы, вздора. И я обращаюсь к Беренту, Ижиковскому, Домбровской — как за глотком воды. Это единственный польский язык, которому я доверяю, на который могу спокойно и крепко опереть собственную мысль.

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ

Эссе об Испании

С испанского

Хосе Ортега-и-Гассет сегодня один из самых читаемых в Испании авторов. С учеными это случается нечасто. Создатель новой философской школы (рациовитализма) и новой концепции сознания («жизненного разума»), профессор Мадридского университета, четверть века, вплоть до начала гражданской войны, возглавлявший кафедру метафизики, Ортега, разумеется, прежде всего философ — привычно видеть его имя в одном ряду с именами Кьеркегора, Бергсона, Хайдеггера, Ясперса. Но есть и другой ряд — литературный, где имя Ортеги столь же органично. Это те, кто вернул испанской литературе ее славу — Антонио Мачадо и Мигель де Унамуно, Валье-Инклан и Гомес де ла Серна, Пио Бароха и Асорин. Ортега среди них — равноправный собеседник. Он писатель, а не только философ, предающийся на досуге сочинительству. Ортега — художник вопреки профессии и в ущерб профессиональным интересам. Творческий импульс непрестанно уводил его от науки и заставлял, как полагали иные коллеги, «размениваться на необязательное» — путевые очерки, статьи на злобу дня, заметки о том о сем. Но как ни жаль ненаписанных трактатов, с этим можно примириться, хотя бы потому, что в любой мелочи (к примеру, в предисловии к фотоальбому «Испанский народный костюм») Ортега остается философом, если понимать под философией «объяснение жизни». «У человека,— пишет Ортега,— нет другого выхода. Он вынужден отыскивать это объяснение. Человек поневоле философ, хочет он того или нет». По своему темпераменту и складу дарования Ортега воплощал философскую традицию, отличную от немецкой и близкую русской.

«Я существую не потому, что мыслю. Я мыслю потому, что существую» — для Ортеги это не просто парафраз знаменитой формулы. Не раз и не два он возвращается к необычному для философа постулату: «Не стану вас уверять, что философия — наивысшая форма человеческой деятельности, что следует прежде философствовать, а уж после — жить, если позволяют обстоятельства. Нет. Я скорее придерживаюсь противоположного мнения. Но полагаю, что иногда надо смотреть на жизнь ясным философским взором».

Ясный — философский — взор так важен Ортеге потому, что помогает справляться с обстоятельствами. Человек, не способный ясно видеть, обречен на жизнь, навязанную обстоятельствами, и о другой не подозревает. Повторяя знаменитую ортегианскую формулу «Я есть я плюс мои обстоятельства», надо помнить, что на весах Ортеги обстоятельства никогда не перевешивают «я». Признавая их власть и силу, Ортега не унижает личность, снимая с нее груз ответственности: «В конечном счете решает человек. Обстоятельства же, постоянно меняясь, принуждают человека к выбору».

Считая выбор неизбежным и главным делом человека, Ортега равно внимателен к «я» и к обстоятельствам, важнейшие из которых — это время и место, свой век и свой край. И о чем бы ни размышлял Ортега, Испания для него — всегда первое из обстоятельств, за нею второй ряд — европейский, а там «и все остальное, вплоть до Месопотамии».

У нас Ортегу начали публиковать недавно (в последние два-три года), но зато обильно — явное свидетельство интереса к нему. Интерес этот, помимо общей тяги к запретным некогда плодам, не в последнюю очередь обязан литературному дару философа. «Научной системе важнее всего быть истинной,— говорил Ортега.— Но ее изложение налагает еще один долг: помимо истины ей необходима понятность». Ортеге претит эзотерический тон и чужда академичность. Его изложение, всегда живое, образное и остроумное, с завидной непринужденностью сложное делает внятным, отвлеченное — насущным, трудное — увлекательным. Он обращается к здравому смыслу, минуя прописные истины и помня, что мысль, которой невозможно возразить, не стоит того, чтобы ее высказывать.

Но, быть может, главная для нас притягательность Ортеги — это, говоря его словами,

«глубокая духовная тревога». Тревога за человека, за культуру и, конечно, за Испанию. Юность Ортеги совпала с крахом испанской империи, зрелость — с военной диктатурой и угрозой фашизма; борьбе с ними он отдал немало сил, но умер еще при одной диктатуре, на этот раз военно-фашистской. Собственно, вся жизнь Ортеги была горестной свидетельницей жестокого и затяжного, более чем полувекового, испанского кризиса. Не искать выхода он не мог. В России Ортега, вероятно, считался бы «западником»; применительно к Испании это звучит несколько парадоксально, а применительно к Ортеге — не вполне верно. Его позицию определяли два полюса: европеизм (знакомая нам тяга «к вхождению в мировую цивилизацию») и антибуржуазность, сомнение в подлинности этой цивилизации, ее судьбах и ценностях. Видя страну опасно больной, Ортега ставил диагноз, давал рецепты, но решающего ответа ждал от разбуженного народного сознания. Отсюда и все его просветительские начинания — Лига политического обучения, Дом книги, «Библиотека идей XX века». Об Испании и испанцах Ортегой сказано много беспощадного, но не черствое морализаторство, а живая, тревожная любовь заставляла его говорить открыто и нелицеприятно, с той «подлинной и горькой искренностью», которой он требовал не только от людей, но и от философии.

Н. МАЛИНОВСКАЯ

КОРДОВСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ

Летний зной гонит нас к тенистым долинам и прохладным берегам. Так почему же не ищем мы прибежищ тишины и здравниц одиночества, когда что-то внутри нас жаждет затворничества?

Заглянем хотя бы в кордовские скиты, где вырабатывается одиночество высшей пробы. Белые кельи на вершине тонут в угрюмой зелени и цветах, словно завороженных кистью Беато Анжелико; приземистые стены, огибая расселины, опоясывают Пустынь. Аромат Кордовы, пряный и стойкий, густеет на склонах, а дикие травы цедят терпкий и крепкий настой, который будоражит кровь, бередит мысли, будит затаенный в нас балаган и вместе с тем омывает чистотой и покоем.

Монах в землистой рясе открывает ворота. Задумчивый строй кипарисов с жесткой, почти черной зеленью ведет к церквушке и жилищу капеллана. В ризнице две картины изображают безысходную антитезу. На одной, очень страшной, бедная душа корчится в пламени чистилища; в углу надпись — «Воздаяние». На другой написано «Благодать» и изображена женщина настолько неотразимая, до того голубоглазая и златокудрая и с такими сочными губами, что не будь мы так высоко над уровнем моря и наших инстинктов, не совладать бы с известного рода волнением.

Уходим от искушения по нелюдимой пустоши, распахнутой навстречу. Скрытые зарослями кельи рассыпаны по горной вершине. У каждой — свой садик, в несколько шагов шириной, с белой оградой, затененной дубами и смоковницами. Над каждой — свой кипарис и своя звонница.

Едва ступив сюда, переселяешься в безмятежный край общих понятий. Страстям человеческим поистине нет конца; быть может, они преследуют нас и в могиле. Но здесь они кажутся разумней, становятся мыслями и легче переносятся. Ведь мыслить легче, чем любить.

Гаснет вечер. Тишина неимоверна — для нас, привыкших к городскому шуму, миг тишины оглушителен, как звон разбитого стекла. Вокруг — небо. Вдали Кордова беспробудно спит в объятиях Гвадалквивира. Голубизна селений растворяется в белой дали. А здесь, по эту сторону ограды, все напоминает судорогу самозабвения на лице мистика в миг перехода от молитвы к экстазу.

Благотворный ливень тишины затопляет окрестность, и деревья застилает туман покоя. Все дышит чистейшим идеализмом, и сорвать дикий цветок — все равно что высвободить из-под комментариев слово Святого Хуана или Новалиса [1]. Я ставлю эти имена рядом, ибо с такой высоты иноверец и правоверный едва отличимы, как те два черных мула, что бредут сейчас, далеко внизу, серебряной

[1] Святой Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский поэт-мистик. Фридрих фон Харденберг Новалис (1772—1801) — немецкий поэт-романтик мистического склада. *(Здесь и далее, где не указано иначе, прим. перев.)*

дорогой. Душа сосредоточена на конечных вопросах. Что есть жизнь? Что есть смерть? Что есть счастье?

Грудной голос говорливого колокола слетает со звонницы и расходится певучими кругами; теплый и ласковый, он освежает мысли и будит тихую тоску, словно женская рука легла на грудь и сжала сердце. Бывают в полевой тишине звуки, которые так загадочно и жгуче отзываются внутри, что хочется каждой жилкой и каждой кровинкой без конца вслушиваться в эту единственную ноту.

Откликается еще одна звонница. Потом, тоном ниже, часовня. Чуть позже и чуть дальше взволнованно отвечает новый колокол, еще один и еще; застенчивые, кроткие, мерные, они раскатывают под мягким вечерним небом неяркий ковер созерцания, который ткут, как и ткали, здешние звонари. Эти анахореты похоронили свои голоса, промытые одиночеством, и вместо них доверили беседу колоколам. Двести пятьдесят три раза должен ежедневно отзвонить каждый колокол. О мирный перезвон! Богословская музыка, которая пеленает сознание белым покоем.

Скрипнула дверь. Из нее вышел отшельник с посохом и побрел по тропинке, вдоль живой изгороди терновника, к часовне. Это высокий старик, понурый и хромой. Следом и другие затворники с такими же посохами в землистых руках покидают свои садики. И нездешним видением иных времен кажутся эти густоборо-

дые пилигримы, что бредут там и сям по всему бугристому пространству Пустыни; они возникают на закатном небе, словно только что приплыли из Фиваиды на золотом облаке, тонут в овраге и снова смутно маячат в зарослях, пока не сольются с землей такого же темного теплого цвета, как их рубища. Кто они, эти люди? В большинстве своем — темные крестьяне; однажды какой-то внутренний ожог заставил их подняться на эту вершину и забыть себя на годы, а то и на всю жизнь. Они не дают торжественных обетов монашества. Да и к чему? Зачем одиночеству придавать мрачный оттенок бесповоротности? Они надевают власяницу, нахлобучивают иудейского покроя ермолку, препоясывают чресла четками из масличных косточек или широким сыромятным ремнем и запирают в тесной келье всю свору своих страстей. И со временем отвыкают от них и отбрасывают одну за другой так же бесхитростно, неспешно и просто, как кидали когда-то камешки в стоячую воду.

В Константинополе, где всего в обрез и дорожат малым, есть Общество *ценителей воды:* его члены выделяют воду по ее происхождению — и одни предпочитают терпкую евфратскую, другие любят дунайскую за ее прозрачность, а третьи, видимо в душе археологи, превозносят нильскую. Сделав из питья искусство, сколько неведомого узнают они о воде! Так и отшельники, дегустаторы одиночества, стали великими знатоками покоя. И как опытного дегустатора не тянет к вину, их не тянет к размышлениям. Многие из них вечно жили на отшибе и, кочуя с места на место, из одной глухомани в еще худшую, свыкались с воздухом одиночества, пока не осели окончательно, сочтя его целебным.

Спешу из моих пустынь
вернуться в мои пустыни...

— сказал Лопе де Вега. Но эти люди-оазисы умудренней и стоят на месте, давая пустыне катить волны сквозь их душу и стирать в ней следы пережитого. И душа шлифуется, как обкатанные камни или, еще верней, как оголенные известью кости.

1904

ИЗ МАДРИДА В АСТУРИЮ, ИЛИ ДВА ОБЛИКА ЗЕМЛИ

В поезде

«Жизнь — это дорога»,— твердили аскеты и, соревнуясь в меткости, слали свои стрелы к последнему привалу. Почему они это твердили? Почему такую житейскую частность, как дорога, возвели в емкую метафору всей жизни?

Дорога с предельной силой вскрывает, как мимолетны наши связи с миром. Мы скользим по его поверхности, и мир обтекает нас: все в нем моментально, все — только мгновение нас самих, и любое соприкосновение, каким бы мягким и нежным оно ни казалось, отдается болью, оставляя саднящую ссадину. Не успевают губы сказать «Наконец-то!» новому краю, новой дружбе и чему угодно, как тут же

обреченно готовятся вздохнуть: «Кончено...» Торресу Кеведо [1] стоило бы изобрести гарпун для ловли мгновений. Ибо горестна эта одержимость бегством, которой охвачено все на свете. «Подобно тому, как нельзя любоваться знатным всадником в шелках и позументах, если он безостановочно мчит во весь опор,— говорит падре Ниремберг [2],— точно так же не дано нам насладиться мгновениями сей жизни, ибо мчит она, бросив поводья, и не может остановиться». И добавляет: «Столь мало в ней благ и столь опасливо она их дарит, что и сама-то даруется нам по крохам, к коим примешана такая же доля смерти, какова доля жизни». Все это и многое другое говорит падре Ниремберг в своей «Разности временного и вечного» — чудесная книжка словно написана лисой, позарившейся на виноград. Раз уж ничего в мире нельзя удержать, добрый пастырь заключает, что ничего этот мир и не стоит, все в нем никчемно или, как он выражается, «непотребно». (Представляю, какой бы шум подняли из-за подобного словоупотребления наши светила, замершие преторианской гвардией вокруг Академического словаря.) Никчемно ли? Нет, приятель,— совсем наоборот. Оттого-то, что мир так волшебен, его безудержная беглость оставляет на сердце шрамы. Будь он сплошной зубной болью, краткость жизни стала бы единственным ее достоинством.

Однако оставим эту трудную тему. Я всего лишь хотел сказать простую вещь, отнюдь не глубокомысленную, а именно: в пути становится предельной мимолетность нашего общения с миром, землей, человеком, речью, и тем сильней и мучительней жалеем мы, что это так. Хотелось бы хоть как-то, хоть что-то удержать, но все спешит сломя голову, словно торопится на свидание — неведомо куда, неведомо с кем, но только не с нами. И тогда берешь тетрадку, заносишь туда обрывки фраз и много позже, перечитав их, дивишься тому, что утраченный край, облик, беседа вдруг забрезжит какой-то призрачной жизнью, сберегшей дальний отзвук и трепет ушедшего.

Вот несколько таких заметок.

Дуэньяс

Неподалеку от Вента-де-Баньос, уже на подъезде, возникает Дуэньяс, адское селение. Цвета земли, оно настороженно карабкается по склону. Саманные дома, почти растворенные в полуденном солнце, зыблются, будто слепленные из марева, и высоко уходит огромная церковь, бдительная и враждебная. Селение, воздвигнутое на земле, опоясано еще одним, кротовьим, где люди живут, как муравьи, внутри холма. Там, погребенные в утробе горы, раскаленной бесцветным, беспламенным жаром, жутким беззвучным огнем, эти кастильцы, наши братья и сестры, спят, любят, рожают. По всей округе, известковой и пыльной, желтеет сушь, и солнце июля лихорадит дали, как бесконечный вой.

Почти такова и Вента, где я схожу с ирунского поезда и жду товарно-пассажирский на Леон. В этих краях полуденное солнце создает запустение пострашнее полночного. Надо укрыться в жалком станционном буфете. Войдя, слепнешь. Беспощадный свет, все затопивший снаружи, обескровил сетчатку. Мало-помалу чувствительность восстанавливается, и походкой выздоравливающего, пошатываясь, то и дело хватаясь за что-нибудь, на ощупь набредаешь на пыльную стойку, различаешь шеренгу рюмок, фунтики салфеток, траур засиженных мухами зеркал и на стене — миниатюрную, не больше ладони, литографию, прелестнейшую, тонкую, изысканную, отмеченную живостью линий и безупречностью цвета. Она — восемнадцатого века и называется Les bouquets. Кавалеры в казакинах подносят в танце букеты воздушным дамам. (Эй, хозяин, остерегайтесь моего друга Пио Бароxи — он коллекционер!)

Сестра ревизориша

Паленсия, Грихота, Вилья-Умбралес, Паредес... В Паредес, помнится, родился скульптор Берругете. Большое селение растянулось на пустоши, и видны обширные строения — наверняка богадельни. Церкви и богадельни! Плоды веры, плоды милосердия. Но ни следа надежды в этом буром накате кровель. Ни зеленой

[1] Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936) — испанский математик, инженер и изобретатель.
[2] Эусебио Ниремберг (1590–1641) — испанский иезуит.

былинки, ни тени надежды. И что-то стонет в нас, сломленное этой жгучей безотрадностью, и зовет: «Надежда!» И как отклик, чудится свежая дрожь ледяной родниковой струйки...

До сих пор я ехал один. В Паредес подсели три монахини, три сестры милосердия. Одна — золотушного вида, молодая и чахлая. Другая, постарше, обликом и цветом лица похожая на англичанку. Третья, которую обе почтительно опекали,— старушка, из тех старушек, совсем уже старых, чьи обрюзгшие черты хранят еще приятную мягкость, а руки с уже омертвелой мышечной тканью по-прежнему пухловаты. Она ласкова, мила, проста и по-крестьянски аристократична. Отличная старушка — явно была красавицей, и костяные дуги ее бровей еще не утратили красоту ветхих арок.

Очевидно, она крайне уважаема в своей среде. Судя по разговору, она ездит из богадельни в богадельню, инспектируя малые отряды своего воинства, такого благородного, такого чтимого и такого незапамятного. Но она настолько стара! Она забыла имена всех настоятельниц, за которыми надзирает. Путает одну сестру с другой. Ведь она столько их перевидала! Тут и случайно не угадаешь. Сестра-англичанка, напротив, знает все и вся и ласково поправляет старушку, а та улыбается, улыбается постоянно, улыбкой кроткой и безграничной.

Косые лучи закатного солнца нежат и обрамляют нимбом восковое лицо монахини. Из сумки она вынимает расписной веер с пестрыми фигурками, местный веер из тех, что продают на ярмарках.

— Это веер моего дурачка,— говорит она.— В приюте у нас есть дурачок — и такой славный. Недавно, в день моего ангела, подошел ко мне; — и старушка изобразила бормотание недоумка: — «Сестра, я подарю вам веер». Я говорю: «Да ведь у меня есть уже, Криспин!» А он отвечает: «Нет, тот весь черный, а на моем — люди». Мой дурачок про всякую картинку говорит «люди».

Потом она спрашивает:

— Какое сегодня число?

— Шестнадцатое июля.

Она тяжело вздыхает и смотрит куда-то далеко-далеко.

— Сегодня, в пять утра, ровно сорок и девять лет, как я вышла из дому, чтобы уйти в монастырь. Такое вот утро! Вовек его не забуду. Сердце оборвалось, и я шла, шла, все вспоминая слова святой Терезы: «Когда покидала я родной дом, мне казалось, что трещат мои кости».

Но, рассказывая, она растворяет ту стародавнюю боль в сегодняшней своей безграничной улыбке. И словно гладит колкий терн, повторяя: «Бедняга! Выпала же тебе судьба терзать и ранить!»

Две луны

Монахини сходят в Саагуне... И даль в несказанном закате волнующе преображается. Под тускло-синим, как полотна Филиппо Липпи [1], небом — венецианское золото густых хлебов, где резвятся еще последние всплески ветра.

На пороге ночи проглянул наполовину лунный серп, точно зрачок, который воззрился на пашню и оцепенел в изумлении. Из высоких хлебов возник крестьянин с косой на плече. Луна вглядывается в нее, и лезвие превращается в луну, точно такую же. Мгновенье смуты и поединка — обе луны слепят, расходясь в разные стороны. Но поезд не ждет и оставляет их позади, так и не дав разгадать, какая из них настоящая.

Геометрия нагорья

На другой день, когда поезд отходит от Леона, играет заря, и солнце — опять солнце? — золотым копьем будит окна и балконы. Город искрится, и пробуждение его драгоценно.

Позади остается Папалагинда, бедный провинциальный бульвар за предместьями, круто выгнутый над дымной речной расщелиной, откуда вечно тянет сыростью.

Поезд, минуя тополя, спешит долиной. Леон — город тополей, деревьев нагорья, верных земле Леона и Кастилии. Статные их силуэты повсюду — то провожа-

[1] Филиппо Липпи (1406--1469) — флорентийский живописец.

ют нелюдимый проселок, то сходятся к роднику, обжитому голубями. Высокие, стройные, невесомые, они словно свернутые знамена. Это древесные борзые. Тополя, борзые?

Говорят, что Паскаль еще до того, как научился читать, по своим детским игрушкам воссоздал основы геометрии. Не подозревая, что есть общепринятые термины, он окружность называл обручем, а прямую — прутиком. Так вот, интимная геометрия для кастильцев и леонцев — геометрия нагорья. В ней вертикаль — тополь, горизонталь — борзая.

— А наклонная?

На крутом гребне холма, углом к горизонту, наклонная — это извечный наш пахарь, склоненный к борозде.

— А кривая?

Жест оскорбленного достоинства:

— В Кастилии, сударь, такого не водится!

По возврате

Этим летом я полтора месяца провел в Астурии. Такого срока, да и любого другого, недостаточно, чтобы познать тело и душу края, даже если отдаться этому целиком. И более чем недостаточно для Астурии, где краски и сердца редкостны по своим оттенкам и переходам. Так вот, эти полтора месяца я посвятил не астурийскому миропорядку, а, напротив, тому, чтобы передохнуть от кастильского.

Воздух нагорья, сухой и первозданный, раз за разом бередит тонкими пальцами гипнотизера наши бедные нервы и делает их оголенными, тугими, чуткими, как струна, как тетива, как снасти в бурю. Любая мелочь, самая малая, сотрясает нас с головы до ног. Так кастилец обращается в очень опасное устройство: для него жить — это взрываться. Быть может, и несправедливо требовать от нас чего-то помимо непосильных дел и пламенных деяний во славу Господа, то есть лютого кастильского бога, который в августовском зное объезжает рысью свои владения. Под его жутким взором деспота рассыпаются дороги, испаряются реки, коробятся задохшиеся листья, и свирепый жар выжигает души. Иные полагают, что именно этому мы, кастильцы, обязаны известной предрасположенностью к героизму. Однако немало и таких, кто соотносит высоту плоскогорья с уровнем нашей пылкой преступности. Как бы там ни было, все согласятся, что героизм и преступность, в остальном разные, одинаково не способствуют здоровью.

Оттого-то тугое, как барабанная кожа, кастильское плато регулярно раз в два-три года стряхивает нас на побережье. Там, внизу, море увлажняет воздух и делает его мягким, отзывчивым и нежным. Наши нервы исцеляются. И, быть может, не одни только нервы. Быть может, исцеленными возвращаются наши надежды, изъязвленные и скорбные, как распятья.

И снова нагорье, и первому же всплеску орлиного ветра душа отзывается благодарностью.

Кое-что в этом духе мне хотелось бы добавить.

Облик земли

В душу Астурии, как и в саму Астурию, проникают кантабрийскими перевалами. Лейтарьегос, Пахарес, Эль-Понтон, Пан-де-Руэдас! Возвышенные, дивные, величаво-пустынные края. Это не Кастилия и не Астурия. Это место, где между ними выбирают. По обе стороны смутнеют две совершенно непохожие страны, где ждут наготове, как меч в ножнах, два образа жизни, два разных и полярных способа говорить «да» существованию.

К югу почти у самых ног тянутся вдаль темно-зеленые леонские пустоши, где нутник порой, словно в сказке, столкнется с лисой, вспыхнет рыжая холка, насторожится ухо над колдовской мордочкой. Дальше земля становится просто землей — землей без зелени, без растительного покрова, землей желтой, красной, серебряной, голой почвой, сплошной землей, которую оттеняют там и сям вереницы высоких тополей. Она стелется волнами, как трава под ветром, и порой встает на дыбы, образуя рытвины и буераки, плоские курганы и корявые валы. И всегда нежданно, но всегда стратегически оправданно — селение: одно просматривает две долины,

другое — закрепилось на срезе холма. Вечно недружелюбные, вечно в развалинах, с вечной церковью посередине, чья колокольня, с осанкой сторожевой башни, кажется сонной, но дремлет, как истый воин,— стоя, вонзив клинок в землю и облокотясь на крестовину меча.

Воздух настолько прозрачен, что свет льется свободно, как в пустоте. И все цвета достигают предельной силы.

Неверно предвзятое мнение, что красиво лишь там, где царит зелень. Полагаю, что в этой убежденности скрытно проступают соображения пользы, чуждые и даже враждебные эстетическому созерцанию. Зеленый край сулит уютную и сытую жизнь. Обыватель, который неистребимо гнездится в нас, корыстно подстегивает наш бескорыстный интерес к растительным красотам. Ему наплевать на изумрудную листву, но лицемер хвалит ее, втайне думая об урожае, и рукоплещет зрелищу из чисто желудочных побуждений.

Напротив, дону Франсиско Хинеру [1], для которого безусловно лишь бесполезное, красота кастильского пейзажа представлялась наивысшей.

Да, он не зелен, зато золотист, багрян, серебрист и хрустален. Физиологи хорошо знают, что красные и желтые тона учащают пульс, и тем сильней, чем большая площадь занята теплыми тонами.

Но исследователи сокрушаются, что не могут оперировать с огромными жаркими пространствами, ибо все они — уроженцы северной и срединной Европы, где зеленые поля замедляют биение сердца. Так вот, у нас в Кастилии они нашли бы немыслимый в Европе жар: наши багряные и золотые дали пускают пульс галопом.

Мало того, насыщенность каждого цвета превращает буквально все — землю, здания, людей — в зыбкие миражи, невесомые и невещественные. Это видимость мира, воздушная и нереальная, которая вот-вот, подобно облачным городам, растает, исчезнет, обернется ничем. Кастилия как зримое наваждение — это одно из чудес света.

Наяву же она — сплошные руины.

Став к ней спиной на кантабрийском перевале, мы словно избавляемся от гибельного наваждения. И что же видим?

Кастильский взгляд на ощупь

Избавленные от гибельного наваждения, спиной к Кастилии, что прежде всего видим мы, кастильцы, с перевала Лейтарьегос или Пахарес?

Прежде всего мы видим, что перестали видеть. Взгляд, рожденный нашим окоемом, безбоязнен и своеволен. В Кастилии бросить взгляд — это послать стрелу в бесконечность: ни на взлете, ни на излете не встретит она преград. Всласть насытившись пустотой, летучая стрела упадет от собственной тяжести и войдет в землю, почти нераздельную с небом. В Кастилии взгляд сам чертит горизонты, как в однообразной пампе нога, по словам Дарвина, сама выбирает и торит дороги.

Итак, первый же неосторожный взгляд, брошенный с перевала Пахарес, оборачивается крахом. Едва покинув роговицу, он вязнет в чем-то топком, пядь за пядью теряя почву. Это туман, вечный туман, который клубится, как дыхание недр. Утопая в нем, падая и продираясь, кастильский взгляд из последних сил, один-одинешенек, собирается с духом и отчаянно бросается напрямик. Бац! В броске он ударяется о что-то непроницаемое — это отвесный край долины, стена соседней гряды, венчающей окрестность. Бедный взгляд скатывается с нее, вконец обессиленный. Надо бережно поднять его и утешить: «Бедная стрела, вестовой духа! Невдомек тебе, что мир — не одна Кастилия, что мир велик, богат и разнолик? Кастилия плоска и широка, как мужская грудь; другие же земли, напротив, круглятся холмами и лощинами, словно грудь женщины. Мир неодинаков. В Кастилии хорошо смотрится — как нигде. Но так плохо живется! Это бы еще полбеды, если б там хорошо думалось. Но думается тоже плохо, а чувствуется и того хуже. Видишь ли, солнечный жар растит цветы, но он же и гнетет их; в знойных краях — одни солончаки. И трудно ждать задушевности от народа, чьей душе ведомы только страсти. В наших почти испепеленных полях и психика почти испепелена. Нет в ней места ни чистой любви, ни светлой дружбе, ни свежей надежде, ни зрелой благодарности. Достоинств у Кастилии немало, веками воспевали их поэты. Вглядись же теперь

[1] Франсиско Хинер де лос Риос (1839—1915) — испанский юрист, философ и писатель.

в достоинства и пороки, которыми дополняют нас остальные обитатели Испании. Больше того, если девять веков призванием Кастилии было сводить это многообразие воедино, то теперь, быть может, она обязана вернуть испанской жизни многообразие более прочное и плодотворное, чем прежде. Оглянись же вокруг и возлюби эту дивную разноголосицу. Не хуже былого твое новое призвание — будить в народах жажду самобытности. Кастильское око, распахни радужную оболочку, чтобы вся разноликая Испания вошла в твою сетчатку, и если потребуется — расколись на шесть тысяч фасет, как у твоей алькаррийской пчелы!»

Декламация такого рода побудит наши зрачки найти чуждый им астурийский угол зрения. Спору нет, это самое трудное, что может совершить человек, достигший полноты личности,— отречься от себя и на время стать другим. Кастильский взгляд сменить на астурийский. Такое перевоплощение, когда личность теряется в реальностях мира, становясь на миг каждой из них,— это редчайший человеческий дар. Лишь сильной личности не страшно, как говорится, «потерять себя». Уверенная, что не растворится в чужой, она кочует наудачу от сердца к сердцу и возвращается к себе, как сокол с добычей. У нас не умеют жить такой жизнью, распахнутой всем ветрам. Едва ли не каждый мучится страхом, что к нему подкрадутся и что-то отнимут — какую-нибудь жалкую идейку, скудные блага, теплое местечко на министерской или академической лестнице. И вся жизнь его — тактика обороны, построенная на злобе, желчности, злословии, кознях и жульничестве.

Как мало тех, кто позволяет себе роскошь пренебречь самообороной! Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься, что едва ли не все зло в нашем обществе происходит — и не может не произойти — от немощи. Люди бессильны перед жизнью. Чего же от них ждать? Они сами обделены. Чем же им делиться с другими? Откуда взяться справедливости и воодушевлению? Нужна сила, чтобы, поддерживая ближнего, устоять на ногах.

Однако Лейтарьегос или Пахарес — не лучшее место для проповеди. Граница пронизана северным ветром, и туман, выдыхаемый бездной, клубится морозным паром. Назидательность может обернуться жестоким насморком, тем паче что слушать некому. Одни немые, тусклые луга, зависшие на высоте полутора тысяч метров и обрубленные отвесными обрывами, да редко где одинокая и отрешенная корова. Паруса туч, раскромсанные, виснут на скалах.

Несхожесть астурийского и вообще северного взгляда с кастильским — отнюдь не метафора. Общеизвестно, что слух и зрение, судя по всему, развились в ходе эволюции из более простой основы — осязания. Обособление зрительных ощущений от осязательных определялось двумя чертами — растущей отдаленностью раздражителя и превращением раздражающего объекта в чисто цветовой. Для зрения как такового несущественно бескрайнее пустое пространство между объектом и роговицей. Зрительная связь между ними устанавливается мгновенно. Несущественно и то, что видимые цвета — всего лишь фантасмагория, что у самих объектов этой красочной, радужной оболочки нет. В итоге несущественно все, кроме цвета. Осязанию, напротив, надо вплотную припасть к объекту, овладеть каждой его пядью, ощутить его характерное самоподтверждение, то свидетельство о себе, которое мы называем неподатливостью, прочностью, сопротивлением. Осязание обнимает предметы, нежит и само в них нежится. Оно всегда сродни обладанию, и наоборот. Владеть — это всегда иметь под рукой.

Упомянутый процесс обособления, такой долгий и трудный, в своих человеческих проявлениях неоднороден и достигает разных степеней. Есть те, чье зрение хранит тактильные навыки и пристрастия. Ригль и Воррингер [1], например, показали, что лес колонн в самых ранних египетских храмах обязан излишней густотой тому инстинктивному страху перед большими пустыми пространствами, который еще не преодолела древнеегипетская сетчатка. Эта болезнь пустоты порой воскресает при неврастении и называется тогда агорафобией. Больных ужасает пустынная площадь или пустой неф собора.

По мнению Ригля, для египтян это было обычным состоянием; чтобы избежать его, они ставили свои колонны как можно теснее. Взгляд тогда скользил по стволам, как рука слепца, и так осиливал дорогу. Это зрение, не отвыкшее осязать. Взгляд на ощупь. А также искусство, им рожденное.

Ибо от таких вот мелочей весьма и весьма зависят и культура народа, и его

[1] Алоиз Ригль (1858—1905) — австрийский искусствовед. Вильгельм Воррингер (1881—1965) — немецкий искусствовед.

уклад, и его история, и даже его образы вселенной. Такие совершенно несхожие живописные школы, как флорентийская и фламандская, роднит тактильное начало в их ви́дении мира. Всегда что-то на их полотнах — блюдо или яблоко — поражает тем, как безупречно оно очерчено и отделено от воздушной среды. Хочется дотронуться, потому что поверхность его чиста, притягательна и непроницаема. Кажется, что художник увидел ее на ощупь. Напротив, на полотнах венецианской школы или ее мадридской наследницы все тает, преображается и растворяется в воздухе. Нет ни объема, ни веса, а лишь одна их цветовая видимость. Каким бы ни было венецианское полотно, всегда оно — муар и марево.

Точно так же в кастильском воздухе все становится разреженным. Глыба не каменеет глыбой, потому что пропитана небесной синью и полевой киноварью. Город, растворенный светом, утрачивает земное притяжение и парит, как те перистые облака, что плывут над его колокольнями.

Спуск с астурийских перевалов учит видеть на ощупь. Взгляд движется с опаской, цепляясь за летучую шерсть тумана, впиваясь во все встречное, словно спеша завладеть им, обжить каждый уголок, сорвать с каждого дерева плод посочнее, припасть к каждому ручью и коровьему вымени. Это уже не взгляд кастильца, то есть аскета и воина, и значит, отрешенный и враждебный.

Как ни крути, но нет в Европе другого угла, который бы так же властно, как Кастилия, требовал воинского духа. И вот совсем иной край, где требуется взгляд хозяина. У здешнего хозяина плотская натура, которая дружна с жизнью и печется о насущном.

«Нуждаться — всегда благотворно»,— сказал Гёте. И Ренан [1], в пору своего финикийского миссионерства, на развалинах некогда славных городов, заселенных кочевниками и впавших в нищету и разруху, не смог сдержать раздражения. «Варвары,— восклицает он,— это народ без потребностей, и такой изъян здесь зовется бедуином».

И я, кастилец, готовый умереть с каждым закатом, залившим небо жаркой кровью, я признаю в часы раздумья, что Гёте и Ренан были правы.

Новый край

Что означает Asturias [2]? Возможно, любой школьник это знает. Но я в данную минуту понятия не имею; в кастильской глуши, где пишутся эти заметки, книг, откуда все можно узнать, нет, а есть, напротив, разлитое в воздухе стремление наслаждаться неведомым. Но что бы это слово ни значило, заключенная в названии множественность кажется мне верным путеводным знаком. Есть уйма Астурий, и не только овьедских или сантильянских. В действительности Астуриям нет числа.

Укромная долина, зеленая, мягкая, влажная, укрытая от четырех ветров наглухо сомкнутыми холмами. Там и сям — хутора, крашенные суриком стены, индиговые перила, сбоку — свайный сруб для зерна, крохотный храм, грубое допотопное капище древней религии, где богом было все, что способствует урожаю. Рыжие коровы. Каштаны, густые роскошные каштаны по всему склону. Ивы, дубы, лавры, сосновые и буковые рощи, лесная глушь с потаенными тропами, где мелькнет порой девичья фигурка, оглянется и светло улыбнется издали. Высокие хлеба, где косы рассыпают и на лету срезают отблески. И вся долина, как чаша, до краев налита нежным сизым туманом. Ибо в этом мире нет пустоты, весь он — одно сплошное осязательное целое. Над голой землей — буйная зелень, над ней — туман, а в нем — уже вздрагивают, как пленницы, заплаканные звезды. Все под рукой, все друг при друге, в братской близости и в явном ладу; рядом с коровьим зрачком цветет вечерняя звезда. Дивный мирок долины, замкнутый и дружный, весь затаившийся, чтобы расслышать дальнюю повозку, чьи колеса уже запевают на повороте!.. И вся долина вздрагивает.

Эта укромная дружная обитель и есть Астурия. Покинув одну, попадаешь в соседнюю. Каждая долина содержит в себе всю Астурию и сама входит в нее слагаемым. Поэтому и говорил я, что Астуриям нет числа и что суть этого края — в понятии множества или повторения подобий. Если представить Ла-Манчу как одно бескрайнее пространство, то Астурия — это пространственная мозаика, составленная из отдельных и одинаковых частиц.

---

[1] Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892) — французский писатель, историк и филолог.

[2] Астурия. По-испански это название носит форму множественного числа.

Современная география придает все большее значение «природным зонам». Они стали едва ли не главным объектом географических исследований. Ангелу, парящему во вселенской пустоте, Земля предстала бы звездой, но для человека Земля как небесное тело — это физическая абстракция. Равным образом то, что называется Испанией,— абстракция историческая и политическая. У нее нет образного соответствия, и чтобы представить ее, приходится прибегать к аллегориям и символам, то есть к умозрительным построениям. И в результате, поскольку Испания — это наша мысленная конструкция, она зависит от нас больше, чем мы от нее. В противоположность абстрактным сущностям природная область удостоверяет свою реальность весьма просто — встает перед глазами. У нас адекватное зрительное представление о ней, и наоборот — природной зоной, реальной географической цельностью, вправе считаться такой участок земной поверхности, своеобразие которого схватывается глазом.

Это определение, полагаю, дало бы географам пищу для размышлений. Подобный подход, без научных тонкостей, ведет к сути — и кроется она в том, что погребено под роговицей эмигранта и так ярко воскресает в час одиночества или тоски.

Земля жизненно влияет на человека, лишь будучи местностью. Очертания земного угла, населенного родными ему злаками, и воздух над ним, сухой и влажный, густой или прозрачный,— вот великие ваятели человечества. Как вода капля за каплей обтачивает камень, так и земля лепит свою людскую породу ком за комом — иначе говоря, обычай за обычаем. Народ — это прежде всего уклад. Краткие вспышки гениальности лишь высвечивают облик.

Иные места разлучают человека с землей и заточают в города. Такова Кастилия — здесь выходят в поля, чтобы в зной и стужу вымогать у скаредной земли кусок хлеба насущного. Кончен тяжкий день — и человек покидает поле и укрывается в городских стенах. Так и возникли кастильские пустоши, где ни жилья, ни шалаша и на всем пути — ни единой живой души. В Астурии, напротив, поле — родной дом, уютный и радостный. Земля — это лоно, где человек работает и веселится, мечтает и поет.

Песни! Астурийские долы перекликаются тысячелетними песнями, которые так и выпархивают из лесного просвета. Кастильские поля беззвучны.

Два края. Вижу их один на один и представляю, как они препираются. «Земля без запахов и безлюдий!» — пеняет астурийскому кастильский, пьяный от одиночества и жгучего настоя лаванды, чебреца и майорана. «Земля без песен!» — презрительно бросает астурийская лощинка царственному раскату нагорья.

Деревня

Земля, способная питать человека, глубоко влияет на его склад. Экономическое процветание возводит по всей Астурии города; есть в ней и города древнего величия — такие, как Овьедо и Хихон,— которые продолжают высокую традицию утонченной культуры. И все же в каждом астурийце, более или менее подспудно, ощущается деревенское нутро. Под городским лоском бьются крестьянские сердца.

Хотелось бы видеть, как насупится от этих слов иной астурийский читатель. Поистине непомерный разнобой в образе мыслей учинил на земле Господь. Иной астуриец, возможно, хотел бы превратить Астурию в кантабрийский Париж, но у меня, вопреки вороху моих испанских чаяний, на этот случай наготове этикетка — «астурийская деревня».

Кратко не объяснишь, какой смысл я вкладываю в эти слова. До сих пор у меня не было удобного случая выразить свою мысль на бумаге, и я довольствовался случайным собеседником. Не знаю, когда я смогу это осуществить, но в двух словах суть такова: путь к испанскому процветанию ведет через деревенскую околицу — и другого пути я не вижу. Современный город идеологически и экономически оформлен капитализмом последних веков. Народы, которые вовремя сумели утвердить такого рода город, достигли господства. Не приходится сомневаться, что, преуспей мы в этом деле, было бы куда лучше. Но лучшее — враг хорошего. Мы не смогли, не сумели устроить испанскую жизнь на современный городской лад. По вине нашего внутреннего склада и нашей экономики возникли лишь фиктивные подобия городов позапрошлого века, словно миражи обновления в бескрайней пустыне. И духу этих городов, этих диковин, мы вручили моральную и материаль-

ную власть над Испанией. С одной стороны, сколько-то улиц с редкими трамваями и сколько-то тысяч горожан, которые по ним шаркают. С другой стороны, бесконечность полей и миллионы испанцев, которые пашут, мотыжат и водят отары. Для одних, жалкой горстки, уготованы все социальные инструменты — законы, парламенты, газеты, школы. А для миллионов, для испанской деревни, деревенского люда, деревенских мыслей и чувств — ровным счетом ничего. Такое неравновесие гибельно.

И не завожу я очередной плач по бедному беззащитному пахарю. Не о сочувствии речь, а совсем об ином. Об использовании социальном, национальном и общечеловеческом. Народ — это совокупность желаний, интересов, умов и страстей. Чем больше живых мозгов взаимодействует, объединяясь или соперничая, внутри социальной общности, тем богаче ее возможности. Так вот, четыре пятых испанского народа не участвуют в национальном синтезе. И не в том беда, что их голоса не достигают парламента, но по-настоящему бедственно, что их мысли и чувства улетучиваются впустую, не перерастая в общенародные. Я, университетский профессор, нуждаюсь в их идеях куда больше, чем они в моих; из-за духовного неучастия этих четырех пятых вся наша жизнь — бездарная подделка, и я, несмотря на все свои усилия, прекрасно сознаю, что четыре пятых моих идей обречены на бесплодие [1].

Наша первая по неотложности задача звучит так: «Реализация испанской жизни». Видимости двадцатого века предпочтем семнадцатый, но реальный. Для этого нет другого средства, как перевернуть на время нынешнюю иерархию — надо, чтобы Мадрид равнялся на провинцию, а провинция — на деревню.

Тема эта, думаю, неисчерпаема. Разработка ее должна не упускать из виду и те опасности, что несет деревенский дух. Но сейчас я коснулся давно наболевшего единственно для оправдания той искренней радости, что охватила меня в Астурии при виде людей, способных вклиниться в современность, не теряя духовной связи с родными полями. «Он вернулся тем же пастухом, как и уехал»,— сказал мой сотрапезник в правиянской [2] харчевне, кивая на крепкого, квадратного детину с веселым мальчишеским лицом — и, судя по всему, только что из Америки.

Эти парни, что возвращаются такими же в душе пастухами, какими отъезжали, и делают из астурийцев — делают без громких слов и красивых жестов — народ, способный полнокровно вживить в деревенскую плоть Испании те начатки обновления, без которых не удержаться на гребне времени.

Долина, влажная росистая долина, с ее роскошными каштанами по склонам, рыжими коровами, сводчатым срубом на четырех столбах и стенами, раскрашенными суриком!.. И тут же — не где-то в городе, под крылышком властей — хоромы эмигранта, который однажды ушел из дому и потом, однажды, как водится в сказках, воротился домой.

Опубликовано в журнале «Эспанья» в 1915 г.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

АСОРИН [3], ИЛИ ОБАЯНИЕ ОБЫДЕННОСТИ *

Перед отъездом в Аргентину мне захотелось попрощаться с нашей горькой оцепенелой родиной и припасть напоследок к Эскориалу. Был ясный, как улыбка младенца, июньский день. Чистый и первозданный свет одолевал закон тяготения, и казалось, нагорье с гранитной глыбой монастыря парит в ослепительном небе.

Жужжа, как стрелы, надо мной пронеслись темные силуэты аэропланов, и я подумал: что оно такое — Аргентина? Ла-Плата, Парана, Эль-Чако, Тукуман, пампа, Буэнос-Айрес. Какие родные имена! Особенно это — пампа... А что оно такое? Чисто географическое представление о пампе у меня есть, но что касается

[1] Я писал это в 1915 году. И сейчас я не без удовольствия обнаруживаю в книге Шпенглера «Закат Европы» (1918) утверждение, что вся история последних ста лет — это, в сущности, великая борьба города и деревни. Но в отличие от Шпенглера я верю, что победит земля и мы вернемся к ней, чтобы исцелить наш оскопленный городом дух. *(Авторское примечание 1921 года.)*

[2] Правия — портовый город в провинции Овьедо.

[3] Асорин — псевдоним испанского писателя Хосе Мартинеса Руиса (1873—1967)

* Публикуется с сокращениями.

души... К тридцати годам сердце человека, склонного к меланхолии, перестает волновать география, и он понимает — если не склонен к самообману,— что его интересует не знание о вещах и событиях, а их душа. Стоит сказать «пампа», «Буэнос-Айрес», как прямо из сердца взмывает в бескрайний простор стая смутных надежд и порывов, разрывая, словно темные крылья аэропланов, синеву. Да и что, кроме надежд, рождает наша суровая, нищая, глухая испанская жизнь? Что может здесь выжить, кроме изможденной надежды — отчаянной, опрометчивой, смутной... Стоит забрезжить свету, как сонмы этих бедолаг устремляются к живительному лучу. Какой же покажется мне пампа сквозь призму моего сердца?

...И тут в руки мне попадает книга Асорина. Называется она «Городок».

Всякая книга Асорина — антипод Америки. Уже само это слово «Америка» отзывается в пещерах нашей души обещанием обновления, зовом будущего. А для тех, кто, подобно мне, любит Асорина, имя его звучит как приглашение *в прошлое:* произнеси его и ощутишь, что рука твоя прикоснулась к мягкому бархату столетий.

И оттого сейчас, когда корабль мой готов отплыть в Америку — в будущее,— мне хочется поразмыслить об Асорине, певце былого. Что будущее без прошлого? Я уже говорил, что жизнь для меня лишается смысла, если ради одного приходится жертвовать другим.

Разноликие чувства

«Городок»! — и можно уже не читать книгу, довольно названия. В нем — весь Асорин.

Если вы помните его прежние сочинения, название новой книги Асорина пробудит в вашей душе щемящую нежность. Городок... Что-то маленькое и милое, простое и светлое, что-то далекое — какая прелесть! И в то же время что-то жалкое, ущербное, обшарпанное, затерянное в глуши, дышащее на ладан — какая тоска!

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое нежность? Чего в ней больше — радости или печали? И не кажется ли вам, что зерна улыбок, рассыпанные в нежности, неминуемо вызревают слезами? Испытывая нежность, мы радуемся тому же, о чем тоскуем. Так, например, простодушие привлекает нас своей чистотой, бесхитростностью, благородной доверчивостью, доброжелательностью, и в то же время эти достоинства внушают нам опасения — ведь человек, наделенный ими, может стать жертвой двоедушных негодяев, грязных циников, злонамеренных хитрецов! Поэтому, столкнувшись с простодушием, душа не радуется и не печалится — ее охватывает нежность. А нежность, как я ее себе представляю, это боль снаружи и радость изнутри.

Таких двойственных, разноликих чувств, сотканных из тончайших противоречий, много. Вот еще одно — ностальгия. Испытывая ностальгию, мы тоскуем о том, что когда-то одарило нас счастьем. Это боль от разлуки с родиной, лелеявшей нас как кормилица, чувство, родственное ощущению потерянности, которым чревата разлука с той прекрасной и бесконечно любимой женщиной, что в детстве глядела на нас так долго, так проникновенно, так сердечно... Но, тоскуя по былому, мы силой воображения воскрешаем его, переносим в настоящее, вновь упиваемся минувшим счастьем, ловя его глухое эхо. И отчаянье, в которое нас повергает воспоминание о былом блаженстве [1], сменяет смутная, призрачная радость. Возвращаясь к своему определению нежности, замечу, что нежность и ностальгия — антиподы. Снаружи ностальгия — это радость, а изнутри — боль.

Maximus in minimis

В Асорине нет ни торжественности, ни монументальности, ни высокопарности. Его искусство устремляется к тем глубинам души, где властвуют тихие разноликие чувства. Ему не интересен ни общий ход вещей, ни итоговая равнодействующая —

---

[1] «... тот страждет высшей мукой,
кто радостные помнит времена
в несчастьи...» — эта мысль Данте мне представляется небесспорной, если не ложной. Когда потерпевший крах говорит о своем прежнем величии, лицо его осеняет слабое подобие улыбки. *(Прим. автора.)*

четкая, простая и величественная, как очертания горной цепи. Асорин — *антипод философа истории*. Он гениально извращает перспективу, и на первый план выходит мелочь, частица, атом, а все грандиозное и величественное становится фоном, орнаментальной рамкой.

Исторические события, бурные страсти, великие люди — их, претендующих на главные роли в спектакле бытия, Асорин словно бы и не замечает. Его внимание поглощено другим, и хотя лицо по-прежнему остается безмятежно спокойным, если не бесстрастным, глаза его вдруг озаряются, и тень улыбки проскальзывает в уголках его сжатых губ. Он поднимает руку и указывает — куда? Что привлекло его внимание в панораме бытия? Это городок, не замеченный никем, кроме него, безвестный городок, затерянный в глуши, словно живое человеческое слово среди велеречивых фраз. Осторожно, словно пинцетом, Асорин изымает эту крохотную частицу человеческого бытия из серой будничной мглы и переносит, чтобы она заиграла всеми цветами радуги, на солнечный свет.

И чем последовательнее он извращает перспективу, тем плодотворнее итог. Ведь уже целых сто лет две ученые наставницы — педагогика и политика — дают нам уроки лицемерия. Политик, чтобы повести за собой, и педагог, дабы воспитать, учат нас пренебрегать своей внутренней жизнью. И добиваются своего: мы уже верим, что должны жить, помышляя исключительно о высших ценностях — Человечестве, Прогрессе, Демократии, что нет на Земле ничего важнее этих бесплотных символов. Но это разновидность самообмана, только и всего. Помните, Гейне писал: «Иногда сам не понимаешь, что у тебя болит. Думаешь одно, а оказывается — другое. Вот у меня, к примеру, зубная боль в сердце!» Так что когда кто-нибудь вопиет о Демократии, может статься, на самом деле его мучит неразделенная любовь или крах честолюбивых притязаний.

Согласно философии истории, свято верящей во всевластие логики, наша жизнь являет собой неуклонное развитие неких грандиозных умозрительных идей. И следовательно, ход вещей внушает надежду. Однако остережемся принять это на веру, ведь на самом деле речь идет не о жизни, а всего лишь о некоторых ее составляющих, призванных очищать жизнь,— об истине, о справедливости, о терпимости.

Но в каждой жилочке жизни, сотрясая оболочку, бьется кровь наших сердец, и за рябью, пробегающей по глади бытия, угадываются наши сиюминутные радости и печали. Эта рябь похожа на ленту с точками и тире, которые отстукивает телеграфист,— ее можно расшифровать и обнаружить смысл. Но расшифровка — всегда искажение, домысел, а не первозданный текст. И точно так же философия истории дает нам логическую расшифровку жизни, а сам текст — сама жизнь — ускользает от нее. Этот текст складывают все движения моего сердца, все его заминки и ускорения; здесь и неизбывное одиночество, звенящее во мне сегодня, как крик в пустыне, и то внезапное озарение, когда мир, казалось, воспарил, а я различил в праздничном гомоне серебряную мелодию любимого голоса... Философии истории нет до этого дела. Она растопчет и мое сердце, и ваше, и всякое другое, растопчет, как слон — маргаритки, доверчиво зацветшие на лужайке, и не заметит. Но вся эта мимолетная жизнь, вся эта череда радостей и горестей и есть для каждого из нас самое главное. Это так, что бы нам ни казалось. Все прочее отступает на второй план, главенствует же только то, чем живет сердце.

Но как мы пренебрегаем своей внутренней жизнью! Мы не храним ни вчерашних радостей, ни сегодняшних печалей; частицы нашей жизненной ткани умирают у нас на глазах, и мы даже не порываемся их спасти. У каждого человека есть целый сонм двойников, и он ежесекундно бросает кого-нибудь из них умирать на дороге, а сам идет дальше. Он бросает и свое ликующее счастье, и оцепенелую печаль, и миг восторга, и час одиночества... Вся наша жизнь тонет в дорожной пыли — и розы, и рубище.

Но правда ли, что прошлое умирает? Нет. Человек взрослеет, но детская душа живет в нем; ничто не умирает в человеке, пока он жив. Мое прежнее «я», еще вчера такое живое и пылкое, таясь, живет во мне и сегодня, и стоит мне отрешиться от злобы дня, как оно выплескивается на поверхность. Это называется словом с чудесной этимологией — «вспоминать». Я вспоминаю, и сердце снова колышет давно минувшее. «Озерная гладь сердца их колышет,— сказал бы Данте,— per il lago del cor». Вспомни, иными словами, оглянись и увидишь, что пережитое живо, оно все еще трепещет, летя, как дротик, пронзающий ветер, когда рука, метнувшая его, уже

опустилась. Рана, нанесенная сердцу той, давней любовью еще в юности, снова болит, пусть глухо, несильно,— стоит лишь вспомнить. Едва донесется откуда-то издалека тот аромат, та старинная мелодия, как твое сегодняшнее «я» пропадает, уступая место тебе вчерашнему, тебе воскресшему.

Я убежден, что именоваться интеллигентным человеком может лишь тот, для кого собственная душа стала открытой книгой. Ведь культура обязывает нас уважать в себе личность, свято чтить свое право на независимую внутреннюю жизнь. Гёте как-то сказал, что не может уважать человека, который не ведет дневника. Запомним эту алмазную истину, хотя суть не в дневнике, а в том душевном движении, что подвигает человека на писание дневника. Тот, кто пренебрегает своим внутренним «я», не способен *серьезно* относиться вообще ни к чему — это не по силам фальшивой натуре. И что бы он ни говорил, ни думал, ни делал, все это будет лишь суррогатом слова, мысли, поступка. Ведь моя вера и мои сомнения существуют не сами по себе, но лишь как часть моей внутренней жизни. Тот, кто не верит в себя, не верит и в Бога.

В ведении дневника Гёте обнаруживает огромный смысл. Он полагает, что всякий прожитый день должен быть осмыслен: так и только так может приготовить-ся человек к завтрашнему дню, иначе грядущее застанет его врасплох. Воскрешая себя прежнего и созидая себя грядущего, человек начинает глубже и вернее ощущать не только свое сегодняшнее «я», но и самое жизнь.

Я убежден, что человек высшего порядка неизменно наблюдает свою собственную жизнь, неизменно сосредоточен на ней: он и требовательный зритель, скорый на расправу — свист или овации, и зоркий исследователь, готовый исправить неполадки. Да жизнь и должна быть прекрасным зрелищем и в то же самое время — смелым экспериментом.

Вам, наверное, кажется, что я рассуждаю до крайности старомодно? И правда, теперешнему весьма посредственному образу чувств и мыслей глубоко чужда эта озабоченность культурой внутренней жизни. Заметьте, уже разработаны и продолжают разрабатываться методики, инструкции и наставления касательно всевозможных занятий, но над главным своим занятием — жить — человек задумываться не приучен и живет наобум. И как следствие — упадок человеческой индивидуальности, неотъемлемое свойство демократической культуры [1].

Умиранье руин

Что же это значит, когда руины держатся одной только волей к жизни, питающей и длящей их агонию? Не то ли, что в них мертво все, кроме самой смерти, которая неизбежно переживет их?

Обреченным, корчащимся в агонии больным представляется заезжему иностранцу Испания, за исключением разве что отдаленных медвежьих углов. Вся Испания, от моря до моря, от Маладеты до Кальпе,— сегодня только руины, одни руины и более ничего.

Наши же соотечественники, пересекая Пиренеи, первым делом изумляются тому, что за границей, оказывается, все в полной исправности. Едут и удивляются тому, что дома не обшарпаны, что черепица на крышах цела, а не зияет прорехами, заросшими бурьяном; что двери не сорваны с петель, и оконные рамы пригнаны, как им полагается. А заброшенных домов и вовсе не видно. В вагонах, в конторах, во всяком присутственном месте или гостинице двери не скрипят, окна благополучно закрываются, все шпингалеты на месте, а если что-нибудь и поломано, то совершенно очевидно, что сломалось оно только что, в самом крайнем случае — вчера и еще не свыклось, да и не собирается свыкаться со своим прискорбным состоянием, а, напротив, настоятельно требует починки.

У нас же дома, а в особенности в провинции, поди сыщи хоть что-нибудь исправное! Все доведено до такого жалкого состояния, что невольно приходят на память убогие старушонки, воздыхающие о прежней роскоши, и слышатся со всех

---

[1] Демократический порядок — безусловное благо в юриспруденции, но что касается нравственности, искусства, обычаев и общения людей гнуснее его и быть не может. (См. об этом мою «Болезнь демократии». О счастье и культуре жизни — см. «Рассуждения о дон Хуане»). *(Прим. автора.)*

сторон тихие жалобы: «У меня была такая хорошая крыша — красная, черепичная и не текла!» «А у меня были такие крепкие стены — и не думали крошиться! И плющ по весне зеленел!» «А у меня была такая высокая башня! Да вот случилось сто лет назад землетрясение, и пришлось мне лишиться иллюзий, я хочу сказать — колоколенки, да и стена пошла трещинами, подпорок вот, правда, наставили... Сжалься же, путник, выбей проклятые костыли! Какой с них прок — только длят умирание, а умирать тяжко!»

В точности то же самое происходит у нас с идеями. От них остались одни обломки. Ибо идея, утратившая способность воодушевлять сердца, это уже не идея, а затасканный, измусоленный, обгрызенный ее ошметок — злосчастный трюизм. В нем еще теплится остаток жизни, он кое-как еще удерживается на плаву, этот бледный призрак еще барахтается в наших душах, но под натиском реальности изнемогает и, наконец, затихает, плеснув слабеющими ручонками,— жалкий, отчаянный жест, последняя, судорожная, бессмысленная угроза.

А если мира больше нет, если человеку оставлено лишь сознание, а из сознания — одна-единственная способность: вспоминать? Достаточно ее одной — тот прежний мир будет возрожден в духовном пространстве, он повторится, как кинолента, вновь и вновь во всех своих подробностях. Все вернется иным: призрачным, обескровленным, иллюзорным. Таким, как наша родина.

На эти мысли меня навела книга, лежащая у меня на коленях,— Асорин, «Кастилия». Печальная книга! И прекрасная. Какой грустной мелодией отзываются ее страницы — словно тихий ветерок колышет листву. Асориновская Испания смиренна — она покоряется смерти.

И вот я стою с этой книгой у стен величайшего нашего Монастыря, жемчужины нашего зодчества. Прямо передо мною просторный прямоугольник Сада Братьев, вознесенный над горизонтом. Его восточный угол венчает башня, и оттого, что отсюда совсем не видно земли, кажется, что каменная громада парит в воздухе, взрезая синюю гладь, словно пиратский корабль, летящий над плоскогорьем к Мадриду, чтобы взять его на абордаж и разнести в пух и прах.

Но оставим до другого раза пространное толкование этого гранитного символа, взметнувшегося над отрогами Гвадаррамы, последнего всплеска энергии всего нашего полуострова. Есть в нем сходство с тем, кому судьба судила стать во главе разгромленного войска, охваченного отчаяньем и разбродом. Во мне еще теплится надежда, что когда-нибудь молодые испанцы придут паломниками к Эскориалу и услышат его трубный глас — зов героизма. Я все еще надеюсь, что найдутся у нас люди, наделенные волей к жизни, способные пробить брешь в глухой стене и спасти будущее страны и народа.

Но сейчас я хочу сказать о другом — о том замешательстве, что испытывает моя душа перед выбором: на одной чаше весов — эта книжечка, которая учит науке умиранья, а на другой — Эскориал, возвещающий, что жить означает сражаться.

Со страниц этой книги встает застывающий медленный мир, погруженный в оцепенение: ни ветерка, ни шелеста в тополиных кронах; недвижные поля, не тронутые рябью лужи. Замершая и вовеки неизменная жизнь, подобная той, что влачат на подернутых осклизлой зеленью камнях умудренные ящерки с черными глазами-бусинками — всякий день они провожают заходящее солнце остановившимся взором. Откройте «Кастилию» или «Родную речь» Асорина — и вы ощутите дыхание вселенской апатии.

Асорин никогда не скажет «я вышел», но обязательно подчеркнет «только-только я вышел», он никогда не скажет «я встал», обязательно «только я поднялся», и вместо «сказал» у него всегда будет «стоило мне сказать». Это не прихоть, а запечатленное движение жизни — мерное, неуклонное приближение к смерти. Движение — дитя времени, пьющее материнскую кровь. Движение — это расточение жизни, маска смерти, ловко прикинувшейся жизнью.

Все искусство Асорина — это череда попыток спасти трепещущий мир, неуклонно приближающий свою гибель. У Асорина мир застывает. Он останавливает мгновенье — самое пустячное, самое ничтожное — и сохраняет его на века. Сама эта способность жизни — замирать в оцепенении — для Асорина уже залог бессмертия. Движение — всегда означает продвижение, путь к гибели, краху, небытию. О, если бы мир, повинуясь вышнему знаку, застыл!

«Погодите минутку!» — проговорила старушка. Асорин ни за что не напишет «сказала», потому что знает: напишешь «сказала» — и нет ни старушки, ни тихого ее голоска, ни «минутки». Ничего нет, все унесла быстрая река жизни. Но Асорину хочется «погодить», ему хочется вечно дожидаться здесь, в прихожей, вслушиваясь в этот немолкнущий старческий голосок. Замерший мир, сотканный из прозрачных асориновских фраз, поразительно свеж и безыскусен — он застигнут врасплох. Он недвижен — и не ветшает, как не старятся отрешенные индийские йоги.

Искусство неизменно жаждет обожествить мир, наделить его тем, что свойственно исключительно творцу, и обаяние таланта целиком зависит от того, удается ли художнику найти свой способ обожествления.

Вечность, вечно длящееся настоящее — одно из непременных божественных свойств. Все, к чему прикасается Асорин, замирает — и длится вечно! Подобно Иисусу Навину, он остановил сердце Испании!

Интуиция, асориновский стержень

Искусство несводимо к копированию действительности, если под ней понимать то, что видишь, слышишь, осязаешь. Ощущение — итог, но не окончательный, а предварительный, непростого потаенного труда. А зрительные и слуховые впечатления ценны постольку, поскольку способствуют этому труду, поскольку помогают одолеть эту первую ступень. Действительность — это не только ручей, который струится у нас перед глазами, но и его первопричина, невидимый источник, скрытый глубоко под землей. Поэтому копирование бессмысленно — художник постигает мир, лишь причащаясь в таинственном озарении тому всеобщему главенствующему ритму, который превращает, казалось бы, случайные и бессвязные движения в танец. Этот ритм пронизывает все существо художника. И потому Флобер, описывая смерть Эммы Бовари, чувствует у себя во рту вкус яда, и потому Кьеркегор, размышляя о скупости, сам на целую неделю становится скопидомом — вот примеры крайних, даже забавных проявлений этой слитности.

Но суть не в том, чтобы совпали художник и мир,— пульс искусства должен совпасть с пульсом мира. Нужно, чтобы живописное полотно или книжная страница явили нам не только маску, за которой прячется мир, не только череду его переменчивых обличий — пошлую гримаску или косой взгляд, брошенный на нас мимоходом, но и самое суть — изначальную суть мира, запечатленную в его происхождении, генезисе.

Ведь очень хорошо мы знаем только то, что рождалось у нас на глазах. Искусство же, мгновенно представив нам историю рождения, принудив присутствовать при том, что Лейбниц называет status nascens, не просто приобщает нас к вещи, событию, человеку, но заставляет сродниться с ними. Ведь новорожденные, беззащитные, они выдают все свои тайны.

Но ради этой слитности надо презреть видимость, отрешиться сразу от всех масок, только уводящих в сторону; надо устремиться вглубь — к тому потаенному источнику, что питает ручей, к первопричине. И тогда обнаружатся связи, дальнее и близкое родство, тайное и явное сходство — наследие единой колыбели.

Асорина не сбивает с толку разнообразие наших национальных проявлений — ему удалось разгадать их общую тайну. Он не только рассмотрел каждое явление в отдельности, находя своеобразие, но и доискался до единой для всех первопричины — до генезиса. А вела его к испанской сути, к тому чреву, которое явило свету все, что стало Испанией, чистая интуиция.

Асорин понял главное: жизнь в Испании остановилась, сегодня Испания только длит свое прошлое. Аристотель утверждает, что жизнь — это изменение, череда перемен. Пусть так, но Испания не меняется: новое не появляется, а старое не умирает. Испания остается той же, что была. Она только и умеет повторять пройденное: сегодня твердит вчерашний урок, завтра станет бубнить нынешний. Жить у нас означает одно: в сотый раз пережевывать уже сказанное и снова приниматься за то, что делал и вчера, и третьего дня, и пять лет назад. Поэтому созерцатель Асорин в «Облаках» утверждает: «Жить — это видеть, как все повторяется» [1].

---

[1] Эта фраза из «Облаков» Асорина в свою очередь — цитата. Не называя автора, Асорин приводит строку из поэмы Рамона де Кампоамора-и-Кампоосорио (1817—1901) «Колумб» (Песнь XII).

Вот исток его искусства. И заодно причина свойственной ему поэтизации обыденности — и только обыденности. Он избегает трагедий и вообще всего грандиозного, героического, отмеченного печатью гениальности, и вглядывается в повседневность, оплот пошлости и рутины. Что может быть пошлее того, что повторяется повсеместно изо дня в день? Что может быть пошлее привычки, освященной обычаем? И что пошлее повтора? Но повтор — это упорствующее, длящееся прошлое. А то, и другое, и третье — все это разные лики жизненной инерции, разные проявления апатии, есть ведь и такая форма жизни.

На этом мои размышления прервал колокольный звон. Одиннадцать. Служитель попросил меня удалиться: сейчас в Сад, залитый солнцем, покинув свои темные кельи, выйдут монахи. Им предписано прогуливаться здесь в этот час, так уж заведено — так было и сто, и двести, и триста лет назад.

Я закрываю книгу Асорина, исполненную любви и боли.

И думаю: поэзия — это любовь и боль в самом чистом их воплощении. Довольно одной боли или одной любви, словом, одного из главенствующих человеческих чувств, чтобы переменить мир, отыскать его тайную поэтическую суть. А вернее, довольно одной любви, ведь боль — это все та же любовь, но сокрушенная, раненная в самое сердце, истекающая кровью.

Обаяние повтора

Все, что происходит у Асорина, все его размышления и персонажи всегда окутаны странной поэтической дымкой, которая размывает и множит их черты в галерее далеких и тусклых зеркал. Но и в этом утонченнейшем случае эстетическое наслаждение, рожденное повтором — всего лишь повтором,— оказывается сродни тому, ради которого в древности на Востоке высекали на стелах нескончаемые вереницы неотличимых друг от друга крылатых быков-керубов.

Ни один из героев Асорина, ни одна из описанных им вещей, ни одно из событий не интересны ему сами по себе. Да и для нас важнее всего то, что за каждым из них встает нескончаемый ряд ему подобных. Не в том, чем они отличны друг от друга, их сила, а в том, чем они схожи с сотнями, тысячами, сонмами иных. Так в тополиной аллее мы не обращаем внимания на каждое дерево в отдельности — их слишком много, они слишком похожи.

Каждый полагает себя уникальным созданием Природы, не подлежащим сравнению, но именно потому нас так завораживает и тревожит художник, разглядевший в Природе гончара, который лепит и лепит свои кувшины и плошки, не заботясь о разнообразии,— ему довольно и дюжины образцов. Вот они, сокровенные МАТРИЦЫ, лицезреть которые в священном трепете удостоился Фауст.

Не так давно биологи пришли к выводу, что первоначальная жизненная программа всякого организма сводится к освоению повтора. Сколько бы раз камень ни подвергался давлению, всякий натиск будет для него неожиданностью, так ни с чем и не сопоставленной. А живой организм отзывается на повтор узнаванием: эхо, накрепко спаянное с повтором, воскрешает прежние ощущения и укрепляет их. Накладываясь друг на друга, возобновляемые однородные впечатления способствуют в конечном итоге формированию вида с устойчивой повторяемостью признаков. Земон [1], последователь и продолжатель Херинга [2], существенно обогативший его теорию, полагает, что mneme — память — и есть первооснова жизни. Так что зачать дитя и припомнить всю свою жизнь — это одно и то же.

Может, конечно, статься, что теория Земона — не что иное, как бродячая метафора, просочившаяся в биологию. И все же любопытно, что основное ее положение совпадает с поэтичнейшим выводом Асорина: «жить — это видеть, как все повторяется». Что же до его собственных книг, то в них живо и трогает именно то, что когда-то и не единожды уже существовало и еще не раз будет существовать.

Не ищите, пожалуйста, у Асорина героизма. Героизм — это всегда сверхъестественное усилие, преодоление нормы. В основе героического деяния лежит порыв

---

[1] Рихард Земон (1859—1918) — немецкий ученый, биолог, зоолог, анатом.

[2] Эвальд Херинг (1834—1918) — немецкий ученый, психолог и врач. Именно он еще в 1870 г. пришел к выводу о том, что память является определяющей характеристикой живой материи.

к новым горизонтам, к обновлению жизни. Герой порывает с традициями, обычаями, обыденностью. Его жизнь ежечасно сокрушает обычай — это сплошная непредвиденность, импровизация в чистом виде.

Кажется, мои размышления об Эскориале обросли уже таким множеством побегов, что мне с ними не справиться. Это пока только догадки, невнятные предположения, роящиеся сонмы золотых жужжащих пчел — они совсем близко, рядом, но еще не обжились у меня в душе; соты в новом улье еще не построены. Кому не знакомо это ощущение? Знаешь, что разгадка близка, она носится в воздухе, ты поминутно натыкаешься на нее, ловишь, отдергиваешь ужаленный палец, слышишь ее жужжанье, но схватить не можешь, не находишь слов... Надо передохнуть — и все образуется само собой; духовные соты заполняются постепенно.

Воспользовавшись передышкой, я перевожу взгляд вдаль и вижу перед собой широкую грудь равнины. Желтеют пастбища, кое-где размытые темной зеленью дубовых рощ, а прямо посередине — два озера Ла-Гранхильи. Какие кроткие, ласковые глаза, то ли женские, то ли коровьи, какой ясный взор! Но поздней осенью и зимой нагорье знобит от их ледяной синевы.

Отступление о силуэтах

У каждого часа свой свет, сотворяющий мир заново и всегда по-своему, как творит его поэт. Поэтому мир, где вообще-то слишком многое неизменно, оказывается несравненно богаче. Таков и наш Монастырь. Только глубокой ночью, в поздние, бессмысленные часы — время апатии — Эскориал замирает, а в остальное время он — разный, ежеминутно другой. Сотнями сменяющих друг друга монастырей запечатлен он в нашей душе. Было время, когда часы представлялись поэту веренищей взявшихся за руки плясуний. Ныне изящная словесность отобрала первенство у танца и всякому часу стал соответствовать свой жанр. Первому часу наступающей ночи досталась комедия.

Известно, что суть комедии сводится к тому, чтобы вывернуть наизнанку величие и героизм. Комедия — это всегда пародия, издевка над трагедией, которая, стоит осе — комедийной музе ее ужалить, лопается как мыльный пузырь; от нее ничего не остается, одна маска. Комедия жестоко расправляется с иллюзиями.

Так вот, первый ночной час делает мир призрачным, все превращая в какой-то смутный силуэт. Трудно выдержать это суровое сумеречное испытание, и редко что его выдерживает.

У всего, что нас окружает, есть одно свойство, непреложно обязывающее нас с ним считаться: оно существует. Нравится нам это или нет — другой вопрос; но уже само это существование — словно брошенный нам вызов. Не в нашей власти его отменить. Мы можем, конечно, отвести взор, всей душой устремиться к чему-то другому, но с той непреложной реальностью ничего поделать не можем. Презирай, ненавидь, бейся головой об стену, но ты бессилен: оно существует в том же самом пространстве, где живет все, чем ты дорожишь, оно — рядом, и мало того, оказывается, оно так тесно сплетено с тем, что тебе дорого, что еще неизвестно, не повредит ли его гибель твоим святыням. Как же с ним не считаться? Если бы оно существовало совершенно обособленно, само по себе, презрение могло бы стереть его в порошок, но ведь его существование равнозначно его влиянию на все остальное и обратному влиянию — всего прочего на него, настолько одно необходимо другому. Не станут квакать по вечерам на прудах лягушки — разучатся прясть принцессы в высоких башнях.

Существование — это способность заполнять собою пространство, утверждая себя вопреки всему остальному и занимая в итоге этой борьбы определенное место. Если что-то существует, значит, оно представляет собой материальную данность, иначе говоря, нечто цельное, непроницаемое, способное обороняться от посягательств. Такое впечатление, что изнутри предмета во всех трех измерениях исходят силовые лучи, которые в конце концов неизбежно сталкиваются с такими же чужими силовыми лучами и вынужденно заключают соглашения, иначе говоря, устанавливают границы. Следовательно, очертания предмета показывают, как далеко простирается его экспансия, но суть и сила заключены внутри: они-то и заставляют считаться с его существованием. Поэтому надо бы внимательнее приглядеться к обиталищу силы — к материи, заключенной внутри: в ней — залог незыблемости

очертаний. Точно так же внутренняя сила народа оберегает границы страны. Ослабни она — и границы окажутся видимостью, линиями — и только. Так что трехмерность — важнейшая из характеристик существования.

Зрительно мы воспринимаем трехмерность материального мира через цвет. Разные цвета соответствуют разным, более или менее способным к экспансии видам материи. Уберите цветовые переливы — и мир утратит трехмерность, утратит материальность, можно даже сказать, что он перестанет реально существовать. Останутся одни очертания — убогий остов.

Об этом я думал, когда поднимался от нижнего Эскориала к верхнему. Вечер как-то вдруг сдался под натиском наступающей ночи. Цвета канули во мрак. Только небо, ниспадая как занавес, еще хранит синеву. На его фоне кое-где проступают силуэты домов — бесплотные очертания. Монастырь, огромный каменный куб, тяжелая гранитная глыба, кажется теперь какой-то темноватой плоскостью, картонной декорацией. Ее можно свернуть, как свиток, и унести под мышкой. И цвет у этого свитка точно такой, как у всех окрестных, совсем недавно выстроенных домов. Но все-таки отчаянным усилием этот плоский монастырь рвется ввысь — наперекор всему кресты, башенки, купола, шпили, увенчанные шарами, держатся, и держатся гордо. Но куда там — жалкое зрелище! Особенно шары. Громадные каменные шары, еще совсем недавно, на закате сиявшие золотом, стали просто кругами, и кажется, еще секунда — и они скатятся вниз. Да, наступает ночь, и монастырь меняется — теперь это Обитель Печального Образа: исчезла тяжелая гранитная плоть, декорацией провинциального театрика трепещет зыбкий монастырский силуэт, одержимый тщетным порывом утвердиться в пространстве.

Как это похоже на велеречивый стих в устах незадачливого актера!

Этот час — час силуэтов — все сплющивает; это час насмешки, когда муза Аристофана торжествует над поэтичнейшим памятником нашего зодчества. Но эта победа ничего не значит — комический триумф недолговечен. Рассветет — и очертания Монастыря вновь наполнит могучая каменная материя, и вновь в сиянии дня перед нами разыграется трагедия. Пристанищу призраков, комедии отведен краткий час, когда летучие мыши расправляют крылья. При свете дня мир для имеющего глаза — непреложен и, следовательно, велит с собою считаться.

История — здание, воздвигнутое муравьями

— Кто построил нам Монастырь?

— Филипп II [1].

— Филипп II. Давайте представим себе, как это было.

Шли дни, недели, месяцы лихорадочного и вдохновенного труда. «На строительстве одной только церкви,— пишет отец Сигуэнса [2],— я насчитал больше двадцати двухколесных подъемников; самые разные — высокие, низенькие, преогромные,— они громоздились друг на друга, а на самом верху, от настила, начинались леса, уходящие прямо в небо; со всех сторон доносились крики: работавшие внизу окликали тех, кто наверху, а те, что на среднем ярусе,— и верхних и нижних. Днем, ночью, ранним утром и поздним вечером только и слышалось: «Тяни! Пускай! Клади! Тащи! Стой! Заноси! Полегче! Назад! Готово!» Работа кипела, здание росло неимоверно, пугающе быстро; казалось, люди работают не только ради денег, но и во славу мастерства, работают в дружеском согласии, и хотя каждый желает первенствовать, все помогают друг другу и тем продвигают общее дело».

Это надо было видеть — «множество столяров и плотников всех мастей: одни заняты грубой работой — сколачивают леса, другие мастерят дверные переплеты и оконные рамы, третьи — золотые руки! — наводят резные узоры на панели, стулья, сундуки. А сколько там каменщиков! А также удаленных от этого суетливого муравейника незаметных мастеров — художников высочайшего мастерства, знатоков, как их здесь называют. Одни пишут эскизы, другие переносят их на картон,

[1] Филипп II (1527—1598) — король Испании с 1556 г., герцог Миланский и король Неаполитанский и Сицилийский с 1554 г. По его приказу в 1563 г. началось строительство дворца-монастыря Эскориала на пустынной возвышенности вблизи Мадрида. Проектировал дворец Хуан Баутиста де Толедо, после смерти которого в 1567 г. план архитектурного комплекса был кардинально переработан Хуаном Эррерой (1530—1597), создателем одного из стилей (эррерианского) испанского барокко. Строительство Эскориала длилось 21 год.

[2] Хосе де Сигуэнса (1540—1606) — испанский историк.

третьи воплощают в материале. Есть здесь и живописцы, создатели прекрасных полотен, и мастера фрески — они расписывают стены и потолки, есть миниатюристы и искусные ткачи, золотых дел мастера, переплетчики и умельцы, покрывающие искусным тиснением кожу кордовской выделки для драгоценных книг». И далее отец Сигуэнса, все так же неторопливо и тщательно, описывает людской муравейник, копошащийся и на самой стройке, и вблизи нее. Там властвовала огромная безымянная сила. И вот перед нами венец соединенных усилий тысяч и тысяч людей — рукотворная гранитная громада.

Описания святого отца поразительно похожи на те, что встречаются у Асорина; такое впечатление, что они взяты из его книг. Вкус к устоям, о котором мы уже говорили, заставляет Асорина находить поэзию в привычном, общем, муравьином труде. Почти на каждой странице вы найдете у него перечни людей, занятых таким трудом: это стригали, чесальщики, шерстобои, ворсильщики, шерстокрасы... Их занятия совершенно не похожи на труд писателя. Его дело — изобретательское, первопроходческое, их — устоявшееся, привычное: идут они за плугом или бьют молотом по наковальне, это повтор, повтор того, что делали их отцы, а прежде — деды.

Асорин в согласии со своим мировосприятием словно и не замечает в истории ни великих подвигов, ни великих людей. История для него — хлопотливый муравейник, где сонмы безымянных существ, снуя туда и сюда, ткут полотно общественного бытия; так клетки нашего тела изо дня в день молча исполняют свою работу, латая прорехи.

А так как пишет Асорин об Испании, внимание его к людскому муравейнику приходится как нельзя более кстати. Искать в испанской истории романтического героя-индивидуалиста — напрасный труд. Испанский индивидуализм — фикция, но если бы только фикция. Это одна из самых устойчивых составляющих национальной мифологии, которой отравлена вся наша испанская жизнь.

У нас все еще длится средневековье, а основополагающая его черта — отсутствие личностного начала, недостаток индивидуальности. У нас водятся коммерсанты, преподаватели, депутаты, генералы, но как редок человек, живущий на свой лад, сумевший стать личностью, способный выбрать себе судьбу! Наша общественная жизнь загнана в такие узкие рамки, что выбиться из них, ускользнуть из муравейника почти невозможно.

Что же касается Асорина, то, оставляя на будущее размышления о его творчестве в целом, скажу о том, что бросается в глаза: он всегда исходит из самой сути вещей, а не из того, что на их счет взбредет ему в голову. Мне кажется, что Пио Бароха как художник сильнее Асорина, да и всех остальных наших писателей. И все же Бароха пока не попал в точку и, думаю, никогда не попадет. Потому что он уперся в одно — в героизм, и неустанно рыщет в поисках героя, личности, высочайшей индивидуальности. А народ тем временем тихо влачит свое незаметное существование, привычно суетится в родном муравейнике, где епископа, конечно же, легко отличить от цирюльника, а вот одного человека от другого — увы, невозможно.

Как и у самых разных материальных тел, у Истории есть плоть, занимающая какое-то пространство, и очертания — ее граница с окружающим миром, ее силуэт, облик. Облик Испании — это все стоящее на грани: великие деяния, великие люди, короли, полководцы. То есть те, кому по сути дела и посвящали свои усилия историки древности — так, словно исключительно великие люди созидают общественное бытие. Но современные ученые рассматривают их просто как крайние проявления той или иной тенденции, как границу, образующую очертания безымянной людской глыбы. Она же, превозмогая тяжелейший экономический и нравственный гнет, если и движется, то еле-еле — в лад своему неторопливому выносливому сердцу.

Асорину остался чужд культ независимой личности — он, в согласии с прошлым веком, полагает, что историческое полотно ткется руками бесчисленных безымянных тружеников людского муравейника.

Исконность и посконность

Полагаю, что категорический императив посконности угнетает художника исключительно у нас в Испании. Ума не приложу, откуда только берутся во всякое

время, при всяком режиме эти несгибаемые вириаты [1] — публицисты, призывающие во что бы то ни стало хранить в неприкосновенности национальный дух. До каких пор они будут загромождать нашу литературу своими толстенными томами на предмет испанского духа? Читать эти кирпичи, конечно, никто не станет, да и не затем, думаю, они писаны, а вот соорудить из них стену наподобие Великой Китайской можно, чем и занимается эта странная порода — нечто среднее между лихим захватчиком и мандарином. Очень уж подозрителен этот священный ужас перед воображаемой утратой национальной самобытности. Так истеричкам, тайно жаждущим распроститься со своей невинностью, повсюду мерещатся опасности и насильники.

Сильной индивидуальности недосуг размениваться на пустые страхи — она не боится растерять себя, поддавшись влиянию. Более того, она нисколько не сомневается, что все влияния растворятся в ней без остатка, не разрушив, но лишь обогатив ее. У сильной индивидуальности завидный аппетит — она повсюду отыщет себе пропитание и все пойдет ей впрок. Так она растет, крепнет, развивается. Глубокий знаток Греции в одной из своих недавних работ назвал отличительной чертой греческой культуры — а равных ей по мощи и своеобразию пока нет — ее поразительную восприимчивость. И уточнил: до тех пор пока Греция сохраняла эту восприимчивость, ей и не было равных ни в мощи, ни в своеобразии.

А что сказать о личности, вечно пребывающей в опасении, как бы ее кто-нибудь не подавил? Она занята обороной и нападением, более ничем, и, следовательно, ей, ориентированной на других, в отличие от истинной индивидуальности, просто жизненно необходимы другие. Самое малое, на что способен такой-то, это не быть эдаким. Но уберем эдакого — что останется?

Давняя и нерушимая традиция испанского почвенничества, его стойкий категорический императив свидетельствуют, что в глубинах нашего национального сознания тлеет огонек недовольства собой и бередит раны.

Если тебя так сильно заботит твоя индивидуальность, значит, в глубине души ты сознаешь, что она ущербна, что ее надо растить и пестовать. И почвенничество — всего лишь поза, призванная утаить слабину.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что половина испанских книг, написанных за последние столетия, призвана убедить читателя в том, что другая половина заслуживает всяческого восхищения. Причем делается это без всякого анализа, оценок, без выявления тенденций — одни фанфары. История литературы и критика у нас до сих пор пробавляются панегириком.

Создается впечатление, что прочим народам вполне хватает своей индивидуальности, а нам — нет. Не потому ли, что нам индивидуальность нужна не сама по себе, а затем, чтобы выставлять ее напоказ?

До каких же пор Испания будет страдать этой детской манией величия? До каких пор она будет взахлеб превозносить самое себя? Ведь истинный патриотизм как раз в том и состоит, чтобы положить конец этому смехотворному зрелищу: народ, если он существует, не должен тратить время на научные доказательства своего существования. Оставим это дремучее занятие безнадежным провинциалам.

Исконное — недоступная глазу, потаенная, глубинная сущность — никогда не становится нормой, традицией, ибо есть воплощение искренности, сама непосредственность. Норма всегда тяготеет к абстракции, формуле, которая на все случаи жизни не годится — их слишком много. Так вот, из любви к нынешней и завтрашней родине давайте перестанем принуждать Испанию быть такой, какой она была последние сто или двести лет. Психология народа не застывает раз и навсегда, она переменчива. Кто бы мог подумать, что англичане, в шекспировские времена — воплощенный порыв и страсть, хлещущая через край, когда-нибудь явят миру высокие образцы self-control [2]?

Я знаю, что где-то глубоко внутри меня, в потаенных закутках моей души и сердца идет незаметный, ни на секунду не прерываемый труд: все, что дает мне мир, искажается на испанский лад. Я знаю, что свобода ума и чувств, которой я вроде бы обладаю, поступая по своей воле, лишь видимость. Дротик, летящий к цели, конечно же, полагает, что движется по своему усмотрению и сам наметил

---

[1] Вириат — вождь лузитан, возглавивший восстание против римского владычества; казнен в 139 г. до н. э.

[2] Самообладания *(англ.)*.

себе цель. Однако кинула его чья-то рука, и чьи-то глаза разглядели сначала цель, к которой он устремился. Таков и я — дротик, пронзающий ветер; дротик, брошенный древней рукой моего народа. Каждому из нас сообщен некий изначальный импульс, и жизнь, которую нам суждено прожить, еще прояснит, зачем народу понадобилось явить нас миру. Но чаяния и надежды этноса не вмещаются в рамки одной судьбы, одного века, одной эпохи. И потому бессмысленно навязывать грядущему как норму то, чем он когда-то был. Вера в то, что человек волен быть или не быть исконно испанским, означает только одно — недооценку национального детерминизма. Хотим мы того или не хотим, мы — испанцы и заведомо обречены быть испанцами — и никем другим.

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ

НАБРОСКИ ПРАЗДНОГО ЛЕТА

В пути

Славно колесить по кастильским проселкам! Все настолько голо, что видно воочию, как туго нагая земля перепоясана дорогами. С разбегу одолев холм, они скатываются на дно промоины и, взлетев упруго на другой ее склон, бегут дальше, и чудится, что на бегу поет в них какая-то неиссякаемая и неразлучная с ними юность. Порой они кажутся длинным росчерком художника под широким желто-красным пейзажем.

В бесконечной изменчивости полей они одни ухитряются оставаться верными себе. Всегда и всюду те же, они сочленяют мощеные километры, осиленные Управлением дорожного строительства, и тем увязывают пейзаж с пейзажем, накрепко стягивают куски провинций и сами провинции, сплетая основу великого испанского ковра. Если бы однажды ночью они исчезли, были кем-то злодейски похищены, ошеломленная Испания стала бы бесформенной, развалилась на комья, на замкнутые урочища, отгороженные друг от друга, одичалые и несовместные. Дорожная сеть — это система кровообращения, которая объединяет нацию и дает ее телу единый духовный ток. Учебники политэкономии без конца это перепевали — и, как ни странно, они правы.

Но есть у дорог и свои тяготы, нравственные и физические. Вот, например, нежданно-негаданно проселок натыкается на перепутье трех ли, четырех дорог. Как быть? Какую дорогу ему выбрать? Сомнения ведь так мучительны! Один из самых мудрых сыновей Израиля (осенью мне предстоит высказаться о нем на его родине — в Кордове), великий Маймонид [1], составил знаменитый свод человеческой мудрости и озаглавил его — «Путь сомнений». Еще бы! Одно из самых нестерпимых состояний — нерешительность, колебания в выборе между многими равноценными возможностями. Чем больше бьется над этим разум, тем глубже вязнет в сомнениях и тем явственней, не в обиду будь сказано, распознает в себе буриданова осла. Знаю по себе. Требуется душевный порыв наугад, «пари» Паскаля, орел или решка на перепутье.

Что же до физических мук, то есть одна, острая и тяжелая. Бежит себе беззаботно грунтовая дорога и вдруг — щелк! — перерезается железной. Дело минутное, но слишком уж болезненное, слишком хирургическое. Двойная инъекция железа пронизывает грунтовое тело насквозь. Никогда уж у бедного проселка не заживет это место, и приходится наложить на него лубки переезда и кому-то дежурить возле больного. Издалека порой видна окровавленная повязка, которой машет дежурный в знак опасности.

Чуть дальше по дороге — Мартин-Муньос-де-лас-Посадас, городок, полный любопытных древностей. У покровительницы города, Богоматери, странный титул — Пресвятая Мать Презрения.

Колосья, спелые колосья. Золотое море ходит волнами. Тонущие в нем косари из желтого пекла отчаянно выгребают к синей кромке горизонта.

---

[1] Моисей бен Маймонид (1135—1204) — философ, теолог и врач, прозванный современниками «еврейским Платоном».

К исходу дня с каменистой пустоши я различаю Бараону. На равнине, одной из самых высоких в Испании, стоит конус холма. На самом пике вглядывается в округу церковь, а под ней, пеленая холм, теснятся дома. Едва въехав, натыкаюсь на бесноватого. Одержимо и бессмысленно он мечется взад и вперед лихорадочными зигзагами, неотрывно глядя в небо. Бараона — сама как наваждение и должна насылать их. Какое из них заворожило беднягу? Небесное знамение, библейский огненный столп?..

Из улья ускользнул рой, и бедняга гонялся, чтобы поймать его. В конце концов рой повис на колокольне, высоко над селением, и закатный луч обратил его в искрометную золотую гроздь.

Силуэты замков

Поездка — охота за зрелищами, и самая крупная дичь, которая нам достается,— это замки и соборы. Многое, увиденное мельком, куда притягательней и красочней. И тем не менее непрошеное и противоестественное появление на мирном горизонте собора или замка заставляет нас выпрямиться, напрячь зрение и приготовиться к неизгладимым впечатлениям. В нас, бесспорно, неистребимы вкус к бульварным романам и мелодраматическая муть, которая начинает волноваться и бурлить, едва лишь возникнут в поле нашего зрения гримасы этих каменных монстров...

По левую руку, далеко-далеко, плывет по желтой пшенице сеговийский кафедральный собор, как огромный мистический дредноут, который своей массивностью сводит на нет весь остальной город. Сейчас он кажется оливковым и рассекает апсидами пшеничные волны. В его арках, словно в корабельных снастях, сквозят лоскутья синевы...

Дальше идут замки: Фуэнтес-де-Вальдеперо, Монсон, Агилар-де-Кампо... По правде сказать, дорога, которую я на сей раз выбрал, неурожайна на замки. Но это неважно — какой бы ни возник, он действует как заклинание, и память переполняется башнями и бойницами. Из темных ее глубин, как собаки на свист пастуха, сбегаются все виденные встарь замки. И каждый тащит за собой приросшую к нему окрестность и принимает свое особое выражение, всегда нарочитое, призрачное, сомнамбулическое... Это крепость Атьенса расцвела поверх той, природной, что воздвигли в каком-то внезапном порыве скалы на нищей пустоши. «Атьенса, могучий камень! — восклицает автор «Песни о Сиде» и продолжает со смутной печалью: — Атьенса, мавры на стенах!» У высокого цоколя — очертания каравеллы, на носу которой застыли руины башни. За много миль виден этот корабль, неуверенно замерший между землей и небом... А вот Берланга, серебристый замок, воздевший львиные лапы над белой грядой, над бескрайним известковым рифом, который издали тоже отливает серебром, и оттого все вместе кажется чеканкой на серебряном подносе. У подножья — ренессансные стены дворца, принадлежавшего, если не путаю, коннетаблю Кастилии, а еще ниже — просторный сад женского монастыря. В тот давний вечер я долго смотрел с угловой башни, как озорничают монахини в этом укромном цветнике. Они гонялись друг за дружкой как одержимые, выплескивая свою жизненную энергию, заточенную в уютный гарем для духовного брака... Вот Момбельтран — изысканный, витиеватый, из расселины у подножья Гредос [1] он озирает долину, где пасутся пять поместий Момбельтрана... А это замок Лейре, колыбель наваррской короны, у пиренейских отрогов — первый романский замок, кряжистый, с угрюмыми сводами и такими стрельчатыми аркадами, что невольно прикидываешь, точно ли они повторяют контур готского шлема. Вокруг буки, пихты и вся альпийская флора. Испания смыкается с влажной Европой... И снова сушь, багровая и сизая земля. Замок Хадраке. Балансируя на острие конуса с почти отвесными скатами, свирепая громадина бросает вызов окружающему... Гримасы и позы чудищ из потустороннего мира воспоминаний! Всегда полуразрушенные, на орлиной высоте, замки смахивают на клык и делают голую даль с горной грядой на горизонте похожей на известковую челюсть с единственным уцелевшим зубом.

Постепенно проясняется суть того мелодраматизма, который будят замки в низинах нашего сознания. В охотничьей добыче туриста соборы и замки — промежуточное звено между чисто природным и чисто человеческим. Ландшафт без

[1] Горная гряда в провинции Авила (Старая Кастилия).

единого строения — это уже геология. Хутор или деревня — слишком человечны, иначе говоря — слишком искусственны и культурны. А собор или замок — это история и природа разом. Они кажутся естественным порождением горных недр, но в напряженности линий сквозит человеческая воля. Они фокусируют окрестность и превращают ее в подмостки. Камень, оставаясь камнем, заражается духовной тревогой. Это слияние всегда будет тайно притягивать души, не погрязшие в узком рационализме. Сам по себе разум, в его привычности и повседневности, не вызывает у человека почтения. В глубине души хочется видеть его извне, как нечто космическое, стихийное. И ощущать в итоге, что разум, то есть мысль так же изначальны и естественны, как инстинкт или гравитация.

Бывают эпохи, когда человечество успешно забывает об этом и живет сугубо внутричеловеческим, не видя и не слыша остальной вселенной. Это время площадей, академий и парламентов, когда смутно рисуется мир, послушный муниципальным законам, мир, где слабый человеческий интеллект с апломбом разрешает любые загадки. Это, бесспорно, светлые, но скудные, худосочные времена. Так называемые «просвещенные» эпохи, когда разум довольствуется провинциальным прозябанием и слишком уж принимает себя всерьез.

О замках. Либерализм и демократия

Испытать состав нашей души средневековым эликсиром — затея плодотворная. Сверх ожиданий, выпадает осадок — и отстой оказывается эссенцией европейского духа.

Вначале замок кажется знаком жизни, которая целиком враждебна нашей. Мы спасаемся от него и ищем убежище в античных демократиях, которые ближе всего к нашим общественным формам — государству и праву. Но, пытаясь ощутить себя гражданами на манер афинян и квиритов, наталкиваемся на странное внутреннее сопротивление. Античное государство овладевало человеком полностью, не оставив ему ничего на личное усмотрение. И что-то в недрах нашей личности противится такому полному растворению в коллективной общности полиса. Видимо, мы не только и не настолько гражданственны, как пытаются это представить ораторы и передовицы.

И тогда замки словно распахивают нам в недрах своих декораций духовные сокровищницы, целиком подобные нашим. Эти башни воздвигнуты, чтобы защитить личность от государства. Господа, да здравствует свобода!

Но поскольку мгновение назад мы кричали: «Да здравствует демократия!», образуется некая связь между этими двумя выхлопами энтузиазма. В действительности связующее — это европейская история последних двух столетий. Либерализм и демократия смешались в нашем сознании, и часто мы, подразумевая одно, провозглашаем другое.

Поэтому время от времени следует соскребать лишнее с этих двух понятий и возвращать им точный смысл. И сразу обнаруживается, что либерализм и демократия с самого начала имели мало общего, а под конец кое в чем разошлись бесповоротно.

Демократия и либерализм — это два ответа на два совершенно различных государственно-правовых вопроса.

Демократия отвечает на вопрос: «Кто должен осуществлять политическую власть?» Ответ: «Осуществление политической власти возлагается на гражданское общество».

Но вопрос не касается границ этой власти. Речь лишь о выборе того, кому предстоит править. Демократия предлагает править каждому из нас — иначе говоря, все мы властны вмешиваться в общественные дела.

Либерализм отвечает на вопрос совершенно иной: «Каковы должны быть границы политической власти, кому бы она ни принадлежала?» Ответ звучит так: «Политическая власть, осуществляется ли она автократически или всенародно, не должна быть неограниченной, но любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность». Налицо стремление сдержать натиск государства.

Так проясняется разная природа этих двух начал. Можно быть большим либералом и отнюдь не демократом, и наоборот — истый демократ далеко не всегда либерал.

Античная демократия была властью настолько неограниченной, что любой европейский монарх эпохи так называемого абсолютизма мог бы только позавидовать. Греки и римляне понятия не имели о либеральном духе. Больше того, само требование, чтобы гражданин ограничивал государственную власть и, значит, какая-то часть личности оставалась вне государственной юрисдикции, не могла зародиться в античном сознании. Это германская идея, творение людей, громоздивших крепостные стены. Там, куда не проник германский дух, либерализм не укоренился. Так самодержавие в России сменилось демократией не менее самодержавной. Большевик — антилиберал.

Политической власти всегда и повсюду свойственно не признавать никаких ограничений. Безразлично, в одних она руках или этих рук миллионы. Крайне наивно надеяться, что демократия убережет от деспотизма. Как бы не так! Нет деспотизма свирепей, чем распыленный и безответственный деспотизм демоса. Поэтому подлинный либерал опасливо и подозрительно относится к своим демократическим позывам и всячески, как говорится, сдерживается.

В противовес общественной власти, государственному закону либерализм выдвигает частное право, привилегию. Личность освобождается, в большей или меньшей степени, от посягательств на нее, свойственных любой власти. Однако самого института привилегий, закрепленных за определенным лицом, в истории не существовало, пока этого не потребовали и не добились для себя отдельные знатные готы, франки, бургундцы. Неважно, что суть той или иной привилегии сегодня может нам казаться неприемлемой. Важно и кардинально то, что впервые на земле была узаконена свобода, или, говоря иначе, на языке того времени и намного точнее, были узаконены «вольности». Весь дальнейший прогресс свелся к спорам, с одной стороны, о том, в чем вольна и в чем не вольна личность, и с другой — кому полагаются вольности и кому нет. В этом, как и во многом другом, европейская буржуазия дальше подражаний феодальной знати не пошла. «Права человека» — это вольности, и ничего кроме. Всего лишь абстрактная и самая общая формула средневекового правосознания, которое кажется нам таким чуждым единственно из-за нашей близорукости. Владельцы этих чудовищных обиталищ, именуемых замками, дали галлороманским, кельтиберским и тосканским массам урок либерализма.

О замках. Воинский дух

В конце концов, повторяю, замок — не что иное, как дом, построенный людьми, чтобы в нем жить. Но в том-то и загвоздка. Какой должна быть жизнь, чтобы стены, где она обитает, стали крепостными? Наш домашний уклад — по преимуществу образ повседневности. Замок — это война как повседневность и жизнь как война.

Крайне трудно представить себе душевный склад человека, для которого жить означает воевать. Для нас жизнь означает совсем обратное. Войну мы ощущаем как нарушение жизни, которое прерывает ее ход. Война отрицает то, что считаем мы жизнью, и отрицает настолько, что вряд ли представляется нам чем-то еще, кроме смерти.

Вслед за Спенсером [1] вошло в моду противопоставлять воинский дух промышленному и, не колеблясь, последний предпочитать первому. В прошлом веке человек радовался, если в нем отсутствовала военная жилка и признавалась зато предпринимательская. Войну он считал варварством, и вполне заслуженно, а варварство — абсолютным злом, и вообще-то напрасно.

С каждым замыслом сопряжены два побуждения — желание успеха и боязнь риска. Каков и в какую сторону наш первый порыв, еще до всех обдумываний и расчетов? Берет верх желание взяться или страх, побуждающий уклониться? Воинским духом я называю такое повседневное состояние духа, при котором опасность задуманного не признается достаточной причиной, чтобы отказаться от него. Промышленный дух, напротив, велит считаться с опасностью и постоянно жить с оглядкой. Война — лишь одна из форм, в которых выступает воинский дух. Сущность ее — угроза смерти. Понятно, что война знаменует все оттенки и степени

[1] Герберт Спенсер (1820—1903) — английский философ, создатель философии эволюционизма, основанной на учении Дарвина.

риска, поскольку это умышленно подготовленная и осуществленная угроза существованию врага.

Причина того, что воинский дух пересиливает жаждой действия боязнь опасности,— не что иное, как несокрушимая вера в себя. Напротив, промышленный дух замешан на неистребимом недоверии.

Варварские времена — период веры в себя. Это великое свойство той эпохи следовало бы привить нашей, перекормленной до тошноты опасениями и предостережениями. Ни дикарь, живущий в вечном страхе, ни современный человек с его вечной осмотрительностью и мнительностью не наделены этим великим варварским даром — доверием к себе.

Римлянину периода упадка, разуверенному в себе, шаткому и малодушному, варвар казался прежде всего воплощенной гордыней. В действительности эта гордыня была не чем иным, как великолепной врожденной уверенностью в себе и благодаря ей, а вовсе не себялюбию — стойким уважением к себе. Когда подобное самоощущение окончательно разладилось, римлянин перенес уважение с себя на свою культуру — признак иссякшей жизненности,— и отсутствие у германца тени уважения к этой культуре казалось ему варварским. Германец же настолько был уверен в себе, что ему не требовалось оправдывать свое существование поклонением и преданностью культуре. Слишком много от идолопоклонства и жалкого, боязливого заклинательства в этом обожествлении культуры и возносимых к ней молитвах. Мы хотим, чтобы нас оправдывала и спасала она, вместо того чтобы делать это самим.

Но, само собой, одно дело — воинский дух, и совсем другое — армейский. Средневековье не знало военщины. Военщина знаменует вырождение воина, развращенного промышленностью. Это вооруженные промышленники, изобретшие порох бюрократы. Их создало государство для истребления замков. С их появлением начинается война на расстоянии, абстрактная война стволов, орудийных и ружейных.

О замках. Смерть как творческий акт

Противопоставление воинского духа промышленному выглядит в наши дни все натужней и умозрительней. Со времен Спенсера многое изменилось в мире, и особенно в таком его средоточии, как наше сердце. Малейшему отклонению сердечной стрелки соответствуют гигантские сдвиги миропорядка. Спенсеру промышленность виделась в излишне розовом свете, а война — в исключительно черном. Мы же сегодня замечаем, насколько две эти силы, оставаясь полярными по духу, взаимодействуют, питают и сдерживают друг друга, предлагая нам не одно из двух на выбор, а совместные плоды обоюдной селекции. В этом, как и во всем, проступает характерная черта нашего времени — поворот от борьбы противоположностей к их единству. Мы помним, что за двумя зайцами не гонятся, но чувствуем, что можно и нужно поймать обоих.

Воинский дух рожден мироощущением, прямо противоположным тому, что лежит в основе духа промышленного. Это, как уже говорилось, вера в себя и свое окружение. Неудивительно, что такой взгляд на мир жизнерадостен. И действительно, не парадокс ли, что средневековье, которое бестолковые историографы рисуют в удручающе мрачных тонах, было временем оптимистической философии, тогда как наше Новое время свыклось с пессимизмом. Что же, воинская вера в себя была слепой? Ничего подобного. Мировую скорбь ощущали тогда не хуже Шопенгауэра, знали толк в опасностях и не преуменьшали трагизм существования. Но в том-то и загвоздка! Иным был безотчетный отклик на мир угроз и тягот. У воинской натуры такой неутолимый вкус к жизни, что жизнь она осушает одним глотком, со всеми растворенными в ней страхами и бедами. Она признает их настолько присущими жизни, что не видит в них ничего ущербного, воздает им должное и, вместо того чтобы пытаться избежать их всеми правдами и неправдами, принимает их. Эта готовность рисковать не во избежание, а во имя опасности и есть воинское отличие, воинский щит и кров.

Нечто родственное такому душевному настрою проклюнулось и в наши дни и неожиданно распознается, выступая в отнюдь не архаичной спортивной форме. На мой взгляд, разница между игрой и спортом та, что он непременно предполагает

риск, пусть даже это риск надорваться. Спортсмен, не уклоняясь, идет навстречу опасности, и только тогда он спортсмен.

Курьезно, что чем меньше вкуса к жизни, чем больше она представляется сплошной тяготой, как это свойственно современному человеку, тем покорнее за нее цепляются. Утвердилась и правит изнеженная мораль: все что угодно, лишь бы не смерть. Да почему, если жизнь так невыносима? В конце концов, жизнью, как монетой, дорожат единственно для того, чтобы истратить ее вовремя и с толком. Если жизнь не ставить на карту, никогда и ни на какую, что проку длить и длить ее пустоту? Разве наш идеал — это всемирная богадельня?

Таков промышленный дух, именно так ощущает мир буржуа. Он хочет жить любой ценой и не мирится с мыслью, что умирание — исконнейшее свойство жизни. Но единственный стóящий способ удлинить жизнь — это свести ее к минимуму, как делают некоторые животные, впадая в зимнюю спячку. Биологи называли это vita minima. Из названия видно, что жизнь удлиняется в той мере, в какой не используется. Экстенсивность достигается за счет интенсивности. Завидно ли такое торжество количества над качеством? И достойней ли долгая жизнь жизни высокой?

Ни в этике, ни в биологии не уделено еще достаточного внимания такому важнейшему факту, как неизбежность смерти. Недавно великий физиолог Эренберг показал, насколько необъяснима жизнь без участия смерти. Это химический процесс, цепочка реакций, каждая из которых неумолимо торопит следующую, пока весь их ряд, неукоснительный и предрешенный, не завершится. Жизнь подобна траектории полета и с самого начала стремится к завершению: жить означает «изживать себя». Феномен смерти возникает в миг зачатия. Нельзя изменить неотвратимый процесс, можно только искусственно тормозить его, замедляя каждую из реакций. Жизнь трусцой дольше, чем жизнь галопом, но в итоге, говоря языком химии, ни в одной из них не больше жизни, чем в любой другой. Череда реакций всегда одна и та же, как череда кадров в киноленте, с какой скоростью ее ни запускай. Переживания и раздумья — самые надежные ускорители жизненных реакций и плетьми пускают их в карьер; как сказал бы Грасиан — это вестовые жизни, «которые к общему бегу времени добавляют собственное нетерпение».

И хотя разные темпы жизни биохимически равноценны, неравноценно то, на что они способны. Жизнь, уплотненная во времени, обретает иные формы, чем растекшаяся по его поверхности. Это формы героизма — собирательного имени всех, кто своевластно предваряет смерть.

Непонятно, почему долг перед собственной жизнью, потребность управлять ею, подчиняя своей воле и высокой цели, не может распространяться на смерть. Если это фактор жизни, ее составная часть, мы должны так же осознанно, как распоряжаемся жизнью, распоряжаться смертью.

Моральный дух иного, лучшего закала, чем ныне господствующий, отверг бы такие этические нормы, которые удерживают от малейшего риска единственно для того, чтобы благополучно умереть естественной смертью. Биохимической смертью, неизбежной и вынужденной, такой же, как у животных и растений — и, быть может, у вселенной. Не достойней ли воспользоваться смертью, распорядившись ее мощью по своей воле? Такая установка надежней оберегала бы человека, которому жизнь дана, чтобы ею рисковать, но рисковать не зря.

Промышленный дух, сам того не замечая, начинает уже способствовать этой воинской установке. Движимый страхом смерти, он немало потрудился, чтобы подчинить себе природу: созданная им техника уберегает нас от физического износа, чудодейственная медицина — от бессмысленной смерти в результате болезни, слаженная экономика делает надежней благополучие и саму жизнь наших близких, которой мы не вправе рисковать и тревога за которую склоняет нас к унизительному долголетию. Все эти средства защиты от биохимической смерти освобождают нашу волю к иной, избранной нами смерти и побуждают нас взамен устраненных ими природных опасностей искать и создавать себе другие.

Так два полярных духовных импульса, сближаясь, ведут к новой этической норме. Но после двухвекового бегства от смерти многое нужно, чтобы вернулось утраченное искусство умирать. И неплохо было бы, если бы наряду с больницами, страховыми обществами и сберегательными кассами множились содружества братьев по риску. К этому насущному делу, впрочем, как и ко многим другим, инстинктивно приобщился спорт, начав первым культивировать опасность.

Биохимическая смерть недочеловечна. Бессмертие — сверхчеловечно. Очеловечить смерть может лишь честное, вольное и бескорыстное общение с ней. Станем же поэтами бытия, способными свою жизнь удачно срифмовать со смертью, подсказанной вдохновением.

О замках. Честь и контракт

На протяжении средневековья человеческие отношения опирались на верность, а верность — на честь. Современное общество, напротив, основано на договоре. Ни в чем не проступает так наглядно духовное противостояние двух эпох. Верность, как явствует из самого слова, это возведенное в принцип доверие. У человека с человеком тайная и глубоко личная связь. Договор же, напротив, цинично выставляет напоказ наше недоверие ближнему и стремление связать его вещественным обязательством — документом — мертвой материей, внеличной для обеих сторон и способной при необходимости обернуться против каждой из них. Убогое кредо современности! Она верит лишь материальному именно потому, что оно бездушно и безлично. Недаром же она постаралась возвести физику в ранг теологии.

Соответственно нарушитель договора объявляется преступником и автоматически подвергается предусмотренному наказанию, имущественному или физическому, но чисто внешнему. Тот же, кто обманул доверие, совершил бесчестность, именуется предателем, и к этому, собственно, и сводится наказание. Другими словами, казнью становится публичное оскорбление, потому что лишь унижение ранит личность, казнит душу.

И незачем напоминать, как охотно средневековые магнаты разглагольствовали о чести и как легко алчность и похоть обращали их в самых вероломных и разнузданных самодуров. Удивляться тут нечему. И в наши дни нарушение договоров и подделка документов заставляют раздувать судейские штаты. Сравнивая эпохи, надо пользоваться двойной бухгалтерией — отдельно сопоставлять реалии и отдельно — идеалы времени. То, что есть, и то, что должно быть. Иной подход бессмыслен. Суть идеала в невозможности его осуществить. Его назначение скорее в том, чтобы бесконечно возвышаться над действительностью и влиять на нее символически, наподобие того, как звезды влияют на корабль. Полярная звезда — не порт, куда можно приплыть, но дальний, нездешний знак, который уточняет курс и дает направление.

Излучать идеалы — одно из свойств человеческого организма. Нравственными нормами мы наделены, как частями тела, и если одни составляют наш облик, то другие высвечивают его, проецируя ввысь.

Игра в идеалы

Эти вечно неосуществимые идеалы — в конечном счете вторая действительность любого времени, очередные побеги его человеческой поросли. И порой, приглядываясь к былому и постоянно замечая, как не хватает ему именно тех черт, которые провозглашались тогда образцовыми, легко заподозрить, не затеян ли весь этот идеальный балаган с единственной целью — жить двойной жизнью и, взвинчивая себя искусственно риторикой и вымыслом, прятаться за красивыми жестами. Мало ли встречается людей, которые к реальной своей жизни как бы пристраивают воображаемый верхний этаж и со всей серьезностью позируют на балконе, являя живые картины жертвенности, аскетизма и добродетели!

К этой породе принадлежат и все те, кто уверовал в свою «миссию» — спасители отечества, реформаторы общества, жрецы искусства. Обычно эти люди обескуражены своей неспособностью к чему-то дельному и нуждаются в диковинном и праздном занятии, которое возмещало бы изначальный крах. Так посредственный литератор — надеюсь когда-нибудь исследовать трагический феномен «бездарного писателя» — стремится убедить себя и других, что суть не в мыслях, образах, музыке слова, занимательности и т. д., а в борьбе за правое дело, в защите социализма либо независимости. А что бедняге остается? Бороться за правое дело все же проще, чем мыслить, да еще образами. Такого с ним не приключалось.

Эта компенсаторская роль идеалов весомей, чем кажется. С их помощью человек силится возместить недостающее и принимает перед зеркалом атлетические

позы именно потому, что хил от природы. Признаться, добродетель и «предназначение» способны меня отвадить от человека, если только он сам не стесняется их настолько, что всячески скрывает и маскирует легкомыслием.

Этот искусственный оттенок возвышенной игры или изысканного спорта, присущий идеалам, усиливается в них по мере того, как истощается время. Так произошло и с рыцарским идеалом. Никогда он не был так красноречив, сценичен и нарочит, как на исходе XIV и на протяжении XV века, когда подобные изыски стали несовместимыми с реальной жизнью. И нередко те авторы, что пуще всех восхваляют рыцарскую честь и млеют, повествуя о прекрасных дамах, турнирах и битвах с неверными, вдруг озадачивают нас ироническим тоном.

Но сомнения, недоверие к своему идеалу как раз и побуждают его утрировать, и отсюда все барочные преувеличе́ния. И вот уже наслаждаются, читая, как Вильгельм Оранский, если не путаю, нанес и получил на турнире столько ударов, что заклинился шлем, и герой едва смог доскакать до кузницы, положил голову на наковальню и вытерпел еще добрую порцию ударов, прежде чем был расклепан.

Продолжение пути. Кантабрия, или «Дорогу гербам!»

Испанская сушь позади, и мы спешим навстречу влажным горам. Голая земля, сизая или бурая, сменяется зеленью и при этом съеживается, дробясь на крохотные тесные долины. Воинственные замки уже не грызут синеву щербатыми зубами стен. Вместо них чернеют или светятся окна каменных господских домов. Кастильские замки похожи на голодных солдат. У этих же дворянских гнезд вид мирный и вполне благополучный. Но далеко не роскошный. В Испании вообще не встретишь ни роскоши, ни великолепия. Разве что два-три живописных уголка, два-три архитектурных исключения — например, Эскориал.

С малыми отклонениями облик господского дома — хмурый, насупленный и чем-то недовольный — одинаков от Астурии до Наварры и воплощает собой архитектурный стиль всей Кантабрии. На самом деле дом невелик и все же оставляет впечатление чего-то огромного. Секрет не в размерах, а в его пропорциях и претензиях — в его, если так можно выразиться, самомнении. (Помнится, Вилье де Лиль Адан определял славу как тайное представление человека о себе.) Действительно, у этих сооружений важность, самоуверенность и спесь поистине дворцовые. По сравнению с ними замки в кастильской дали кажутся понурыми, тревожными, растерянными и явно не уверенными, уместны ли они в этом мире. С кантабрийскими домами обстоит, как с некоторыми людьми: керамист Даниэль Сулоага [1] был очень низеньким человеком, почти карликом, но черты его лица поражали монументальностью, чем-то микеланджеловским, и на пустой экран памяти он проецировался гигантом. Карликовым гигантом, наподобие этих карликовых домин, надменно замерших над кантабрийскими проселками.

Что же подвигло эти степенные, коренастые стены вспучить пышные брыжи немыслимых гербов? Ведь на славных кастильских замках гербов почти нет, а если и есть, то самые незатейливые. Здесь же, в обители кантабрийского дворянства, они чудовищны. Эти фантастические клумбы на голых стенах, эта вулканическая лепнина, словно опухоли тщеславия, разъедают честный строгий камень. Довольствуясь сегодняшним, эти стены глухи и безучастны к дерзким замыслам, зато бредят давними подвигами. Героические сны того, кто давно не герой, вспучивают камень фантасмагорическими видениями, пропитывают его, и стены отпотевают, неустанно сочась геральдической фауной — бискайскими волками, астурийскими медведями, хохлатыми химерами либо корабельными рострами и скрещенными мечами. Не пройти и десяти шагов, как тут же остановит фасад, патетически вздувая свои геральдические бицепсы.

Любопытное совпадение. Гербы в Испании начинают кишеть там, где исчезают города. Давно уже Корпус Варга отметил, что в стране басков города как такового не существует. Южанину с его понятием города трудно воспринять эту северную россыпь жилищ, которые словно разбегаются на глазах. Андалусский или кастильский город целостен, как законченная скульптура; кантабрийский город — это скорее местность, он центробежен, его строения нацелены в поля и разлетаются по округе.

Короче, в подлинных городах господствует площадь, агора, форум. По мет-

[1] Даниэль Сулоага-и-Бонета (1852—1921) — испанский художник-керамист.

кому определению, пушка — это дыра, обернутая железом; таков и город — пустота, то есть площадь, огороженная фасадами. Остальная часть дома для города несущественна (вспомним Рим или Афины). Другими словами, город только тогда город, когда общественное господствует над частным, государство — над семьей. В Кантабрии все наоборот: кровное родство господствует над социальным, и это разом объясняет и разобщенность жилищ, и непомерность гербов. Кантабрийцы и баски гордятся семейственностью и вдохновляются генеалогическими иллюзиями. Семейный куст цепляется за свой клочок земли, ибо корни, питающие рост, должны уходить вглубь. У отца Гевары [1] — не помню, в письмах или в его «Обличении двора и восхвалении сельской жизни»,— я прочел, что в его время те, кто хотел сойти за богача, представлялись кастильцами, а кто напирал на родовитость, называл себя баском. Сегодня богатство — относительное богатство, в Испании богатых нет — перекочевало в Кантабрию, но родовая гордость осталась там же, где и была, и продолжает лихорадить каменную кладку, вспучивая стены бредовой геральдикой.

Сантильяна-дель-Мар. У входа в пещеру

Сантильяна-дель-Мар походит на старинную театральную декорацию, созданную для педантичного александрийского стиха, и хочется поскорее вознаградить себя пещерой Альтамиры. Традиционное искусство тяготит — оно настолько уже примелькалось, что трудно ждать от нашей пресыщенности ответного порыва. Классика, готика, Ренессанс! Наша реакция на них настолько привычна, что почти превратилась в условный рефлекс. Мы назубок знаем ту заезженную пластинку, что закрутится при встрече с шедевром. И не ждем ни приключения, ни чуда. А без них невозможно подлинное эстетическое переживание. Его привычно путают с обыденным удовольствием, уютным и обеспеченным, как супружеские радости, и возникающим без проволочки и без каких-либо душевных потрясений при взгляде на такую знакомую и такую знаменитую вещь. Речь идет об условном впечатлении, которое на самом деле существует еще до встречи с прекрасным. Этого, в сущности, и хочет добропорядочный обыватель — чтобы нервы успокаивались и чтобы шедевры совпадали с заранее намеченной схемой. Чтобы Пизанская башня действительно была наклонной, чтобы готический собор отличался стрельчатыми сводами, чтобы холст Веласкеса по-собачьи подчинялся своему традиционному истолкованию.

И тем не менее подлинное эстетическое переживание рождается лишь тогда, когда его не ждут и не готовы восхищаться. Судите сами: если в мире и вправду так много прекрасного, как говорят, то красота либо должна разорвать нам сердце, либо она настолько безобидна и безжизненна, что не стоит нашего внимания. Я думаю, что чувствовать искусство перестали потому, что начали его тиражировать. Насколько прекрасней ощущать его как редкое приключение, которое, быть может, не повторится! Поначалу — как неожиданность. Бредешь по жизни, озабоченный делами, и вдруг что-то налетает, выводит из себя, повергает в исступление и несет, как вихрь небесный пророка, в запредельность. Искусство неразлучно с экстазом, и быть восхищенным — это, в самом строгом смысле слова, «быть вне себя».

Человечеству необходимо время от времени хорошенько трясти древо искусства, чтобы стряхнуть загнившие плоды. Ради самого же искусства надо держаться с ним построже, чтобы не мы ему потакали, но оно само брало над нами верх и подчиняло своей воле. Этого требует его внутреннее достоинство. Иначе, если мы будем копить восторги, а пресловутая красота — приумножаться с каждым веком, к концу тысячелетия на земле останутся одни кладбища и музеи.

Надо вырвать искусство из обывательских буржуазных рук, его прикарманивших, и сделать его нестерпимым, а значит — настоящим. Не приспосабливать его к душевной косности, а наоборот — терзать им людей, чтобы сделать их чуткими к нему.

Такой взгляд может показаться крайним. Однако позволю себе слегка задержаться на нем. Все это гораздо проще и серьезней, чем кажется. То же самое, что происходит с искусством, только в меньшей степени, происходит и с наукой, и, наверно, стоит затронуть и ее.

[1] Антонио де Гевара (1490—1548) — испанский писатель, духовник и биограф Карла V.

Я не раз говорил, что пора покончить с бездумным поклонением науке, этим культом девятнадцатого века. И вот почему. Чем больше преклонение перед наукой, тем меньше взыскательности к ней и, с другой стороны, тем искаженней и ошибочней представления о ее роли и возможностях. Пиетет, таким образом, достигается ценой приукрашивания. В один прекрасный день обман неизбежно раскроется, и честный обыватель объявит тогда «банкротство науки» и заодно крах культуры. И бросится разоблачать псевдонауки, возникшие благодаря его благоговению. Это не просто предположение. Последняя война дала толчок такого рода филиппикам. Честный обыватель свято верил, что назначение науки и вообще культуры — покончить с войнами и сделать его жизнь комфортабельной. Возможно, столь же свято он верит, что назначение искусства — сделать его дочерей добродетельными и счастливыми. И поскольку это не так, а скорее наоборот, неминуем день, когда он ополчится на искусство и объявит его вне закона.

Не разумней ли полагать, что искусство и в какой-то мере наука далеко не безусловны, что само существование их всегда под вопросом, что это скорее потребность определенного рода людей, которые творят не ради громких дел, а просто находя в том удовольствие, как если бы играли в шахматы или ловили бабочек? Все, что способно удержаться на этом непритязательном уровне, обретает силу и прочность. Художество и знание — это нечаянные радости, и напрасно гадать, когда, как и откуда, из какого волшебного края они придут. И не стоит ни рассчитывать на них, ни строить свою повседневную жизнь на такой неосязаемой почве.

Напротив, жертвенное возлияние надо совершать не уповая. Эллин выплескивал немного вина в дар богам, не ожидая от них ничего сверхъестественного. Искусство и наука не требуют ни всеобщего почитания, ни дружного восхищения. Лишь иногда немного чуткого внимания, пристального и придирчивого, чтобы знать, не свершилось ли чудо.

Вот он, вертеп, где родилось искусство. Здесь, у входа в пещеру, осознаешь окончательно, что искусство — это царственная случайность. Его нельзя замыслить, как преступление или выгодную сделку. Люди Альтамиры столкнулись с искусством, не подозревая о нем. Оно явилось как откровение, настигло их, как раненый бизон.

Сантильяна-дель-Мар. Тень волшебной палочки

Служитель распахивает решетчатую дверь, заслонявшую черный зрачок пещеры. Ноги скользят по влажному камню, и вскоре челюсти смыкаются и мрак месит нас своими призрачными деснами. Так, наверно, выглядела та пещера из кельтской легенды, что называлась Чистилищем Святого Патрика. Кто выбирался из нее, навсегда разучался смеяться. И это музей! Но скаредное наше отношение к музеям понемногу смягчается. Великолепно, музей впотьмах! Руки борются с тьмой, раздвигая в ней проходы, а ноги запинаются, боясь оступиться и стремительно полететь в тартарары.

Тем временем гид зажигает ацетиленовую лампу. Не терпится увидеть прославленных бизонов. Вот они! Бегут по каменному своду! Стоп, это же наши собственные тени, зыбкие, странные, отброшенные поставленной на пол лампой. А что ж бизоны? Какой-то лукавый стыд не позволяет им ни с того ни с сего показываться непосвященным. Очевидно, пол пещеры за тысячелетия ощутимо поднялся, и расстояние слишком мало, чтобы взгляд мог охватить все изображение, обычно пространное, целиком. Надо, чтобы гид направлял наши глаза, обводя контур каждого животного указкой. Но обведешь раз-другой — и от бесценных изображений мало что останется. И служитель изобрел способ, который удивительно соответствует обстановке и магическому смыслу рисунка. Лампа наслаивает на альтамирские росписи причудливо разбухшие тени туристов, и первое, что встречает посетителя,— это его собственный и ничем не примечательный силуэт. (Ученик саисских мудрецов обошел весь мир в поисках истины; возвратясь в Саисский храм, он бросается к его святая святых, разрывает завесу, скрывшую тайну Изиды и видит... свое лицо, отраженное в зеркале.) Но среди наших теней движется тень палочки в руке служителя, и вот острие-то этой тени, воздушное и невещественное, и скользит по своду, магически воскрешая весь палеолитический зверинец, который

уже двадцать тысяч лет обитает во тьме своего горного тайника, ныне взломанного.

Я здесь вторично — и ошеломлен больше прежнего. Совершенство и сложность этого подземного искусства основательно перетряхивают наши заржавелые и слишком самоуверенные представления. Бесспорно, альтамирская пещера — один из величайших подарков, уготованных нашему времени. Она раздвинула горизонты истории и цивилизации и разом утроила объем человеческой памяти. Ну, а если новое явление, да еще такой значимости, не вмещается в нашу систему представлений, тем хуже для нее, и Альтамира заставляет нас основательно расширить кругозор.

Скандальная сторона явления очевидна. Разве не обескураживает одно уж то, что искусство живописи, такое трудное по уверениям художников, сразу начинает с совершенства? Впрочем, искусство Египта свидетельствует о том же. Пластическое совершенство и там достигается сразу. Откуда у дикарей Альтамиры это изящество, эта музыкальность, эта победная красота линий? Вопрос, по зрелом размышлении, риторический. Подобное встречается сплошь и рядом. Многие из лучших художников современности при ближайшем знакомстве оказываются реликтами каменного века. Не один я в этом убеждался и говорю без тени осуждения. Дивное искусство рождается в первобытных душах, совершенно невозделанных. Оторопь берет, когда эти люди пускаются рассуждать о своих работах. Да сами ли они их делали?

Излишне говорить, что художники Альтамиры неповинны в той красоте, что вменяется им в заслугу. Они и не помышляли заниматься искусством, у них было занятие поважнее — магия. Посреди бизонов, оленей, диких лошадей и коз часто встречается силуэт человеческой кисти. Легко представить, как художник, удерживая равновесие, уперся в камень ладонью с еще непросохшей на ней краской. Разумное объяснение? Да, но эти силуэты рук, частые и в других доисторических росписях, не оттиснуты, а нарисованы.

Тайна, в которую мы погружаемся при входе в пещеру,— не в ней самой и не в ее пещерной тьме, обычной тьме подвала. Тайна в душе первобытного человека. Наука только-только начала проникать в нее, слепо, на ощупь, неловко раздвигая руками темноту. И с каждым шагом эта душа все дальше и дальше от нашей.

Для нас несомненно, что если две вещи в чем-то схожи, роднит их отнюдь не сходство. Сабля и молния одинаково убивают; однако сравниваем мы их не по этому признаку. Наши явления и предметы обособленны и довольно непроницаемы. Для первобытного мышления все обстоит иначе. Для него сходство — всегда тождество, знак одной и той же сущности. То, что происходит с чем-либо, произойдет и с подобным ему — откликнется в нем, поскольку природа у них одна. Лианы обвивают и держат мертвой хваткой древесный ствол. Значит, если мужчина выпьет настой лианы, поднесенный женщиной, он обнимет ее так же крепко. Так возникли приворотные зелья. И поскольку сходство обнаруживается в самых неожиданных вариантах, образуются магические ряды или цепочки, причудливо объединенные общей магической природой. Мир первобытного человека устроен совершенно по-иному, чем наш, и больше напоминает мир нашей поэзии, каким он мог бы стать, воспринимай мы его всерьез. Закусить цветок означало бы тогда средство, чтобы впиться в девичью щеку, цветку уподобленную. У некоторых диких племен девушка не должна видеть море, потому что налитые, как груди, волны при откате опадают, идут на убыль и быстро хиреют. Если дожди слишком затягиваются, колдун с островов Торресова пролива вставляет в неудобопроизносимое место красный шарик и потом медленно исторгает его. В результате солнце побеждает тучи и снова светит миру. Достаточно одной лишь округлой формы, чтобы отождествить шарик со светилом.

Словом, первобытной душе мир предстает чудесно проницаемым, позволяющим переходить из одной реальности в другую так непринужденно, словно они пронизаны метафизическими порами или воздушны по природе. Это свойство реальности побуждает упражняться в магии и вдохновляться символами.

Но в одной области сходство первостепенно — сходство изображений с теми, кто изображен. Мы не признаем за изображением никакой самостоятельной жизни и в этой категоричности, должно быть, несколько отходим от истины. Можно понять, почему человек тысячелетиями не решался признать, что нарисованный

бизон — в общем и целом не бизон. Происходило то же, что с именами, которые в первобытном сознании тождественны их носителям. Эскимосы утверждают, что человек состоит из трех частей — тела, души и имени. Вообще, что-то назвать означает завладеть им. Оттого-то в древности повсеместно ребенку давали два имени: одно «подменное», которое становилось повседневным, и другое — истинное, которое знала только мать и которое она передоверяла потом невестке. Отзвук этой именной магии мы в меру своей набожности воскрешаем и сегодня, заученно крестясь «во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Пора прочесть, наконец, магический иероглиф Альтамиры, бизон и наложенные руки означают: «Попался!» Жест гастрономический и слегка тореадорский...

После Альтамиры по-иному смотрятся звезды.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Журнал теории и истории литературы, критики и библиографии.

Theory and history of literature, literary criticism and bibliography.
NEW LITERARY REVIEW

Россия, Москва, 129626, а/я N 55 Тел. 280-98-07

«Новое литературное обозрение» — первый российский независимый филологический журнал, свободный как от государственного идеологического диктата, так и от узкоцеховых пристрастий. «НЛО» ставит своей задачей максимально полное и объективное освещение современного состояния русской литературы и культуры, пересмотр устарелых категорий и клише отечественного литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широком мировом культурном контексте.

Структурно журнал делится на три больших раздела:

ТЕОРИЯ — где будут представлены статьи по современным проблемам теории литературы, охватывающие большой спектр постмодернистских дискурсов; междисциплинарные исследования; работы по стиховедению; публикации важнейших классических работ западных и отечественных теоретиков литературы.

ИСТОРИЯ — историко-литературные труды, посвященные различным аспектам литературной истории России, а также связям России и Запада; введение в научный обиход большого корпуса архивных документов (художественных текстов, эпистолярия, мемуаров и т. п.).

ПРАКТИКА — статьи, рецензии, интервью, эссе по проблемам советской и постсоветской литературной жизни.

«НЛО» уделяет большое внимание информационным жанрам: хронике культурной жизни России и зарубежья (конференции, симпозиумы, чтения), обзорам и тематическим библиографиям книжно-журнальных новинок, презентации новых трудов по теории и истории литературы.

«Новое литературное обозрение» — периодическое издание, выходит 6 раз в год (плюс 2 тематических номера в виде приложения).

Зарубежную подписку осуществляет фирма
«Kubon & Sagner» Postfach 34 01 08 W-8000, München 34,
Germany.

Стоимость годовой зарубежной подписки:
$70-для частных лиц;
$110-для учреждений.

РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Фрагменты книги

Ральф Густав Дарендорф родился 1 мая 1929 года в Гамбурге. В годы Веймарской республики его отец был видным деятелем Социал-демократической партии Германии, а после прихода к власти нацистов активно включился в сопротивление, трижды подвергался аресту и тюремному заключению. Четырнадцатилетним подростком к борьбе против нацизма приобщился и его сын. В ноябре 1944 г. Ральф Дарендорф также был арестован и попал в концлагерь. После нескольких месяцев, проведенных в фашистском застенке, у него на всю жизнь выработалось стойкое неприятие любых форм несвободы и насилия.

Закончив университет в Гамбурге, Дарендорф продолжает образование в Великобритании, во всемирно известной Лондонской школе экономических и политических наук, затем работает в Германии и США. Уже в 1957 году он публикует свой большой труд «Социальный класс и классовый конфликт в индустриальном обществе», в котором изложены его собственные взгляды на пути эволюции общества. Опровергая почти все прогнозы К. Маркса о грядущем столкновении противоборствующих классов и неизбежности гибели капитализма, он считает, однако, что его гениальная догадка о социальном конфликте как движущей силе истории не утратила своего значения и теперь. Хотя в новую эпоху яблоком раздора является, по мнению Дарендорфа, политическая власть.

Итак, социальный конфликт вечен и неизбежен. Он источник движения вперед, форма постепенного усовершенствования общественных отношений. Наилучшим общественным устройством при этом является демократия, представляющая собой способ цивилизованного, открытого разрешения накапливающихся в обществе противоречий. Отказ от демократии лишь загоняет болезни общества внутрь, увеличивает опасность возникновения цепной реакции насилия. А это значит, что тоталитаризм обречен. К каким бы ухищрениям ни прибегали его адепты, суть характерного для него противостояния социальных интересов не отменить. Наступит час, и люди потребуют свободы, захотят подлинного, а не иллюзорного участия в управлении обществом. Заметим, что эта книга Дарендорфа появилась за три десятилетия до наступления эпохи Горбачева. Советская империя проходила тогда верхнюю точку своего развития, и мало кто из западных политологов был готов поставить на карту свою репутацию, предсказывая этой империи скорый коллапс.

Книга Дарендорфа вызвала большой резонанс в научном мире; ученый встал у истоков целого направления современной социологии — конфликтологии.

В последующие годы Р. Дарендорф много занимался политической и просветительской деятельностью, был членом правительства тогдашней ФРГ, преподавал, а в 1974 году принял решение оставить политику и вернуться в науку. Он занял пост директора Лондонской школы экономики, где когда-то защищал диссертацию, много ездил по различным странам с лекциями.

Всего Дарендорфом написано 28 книг. В каждой из них обстоятельный анализ проблем современности, обоснование программы нового либерализма, веская и убедительная аргументация в защиту свободы и демократии.

Написанная в 1988 г., книга «Современный социальный конфликт» не только представляется неким итоговым трудом в многолетних исследованиях автора, но и дает яркое представление о сути современного общества.

М. Ф. ЧЕРНЫШ,
кандидат философских наук.

© 1988 by Ralf Dahrendorf

ИЗ АВТОРСКОГО ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ

...В любом случае очевидно, что деятельность одних людей направлена на увеличение экономических ресурсов, а других — на расширение гражданских прав, и очень часто эти две группы не ладят друг с другом. Это странно, ибо не является неизбежностью. Свободе необходимы как экономическое процветание, так и соблюдение гражданских прав, хотя, вероятно, именно гражданские права для всех — гарантия прочного материального благополучия нации. Но редки периоды в истории, когда обе эти группы деятелей функционировали в одном политическом направлении. В основном, защитники большего разнообразия законных притязаний и защитники прав для всех вели друг с другом борьбу.

Многие полагают, что в этом конфликте они должны непременно выбрать одну из противоборствующих сторон. В любой конкретной ситуации они, может быть, и правы. Однако, учитывая основную тенденцию времени, данное эссе призывает обратить особое внимание на гражданские права. Лучший путь к этой цели — стратегические изменения, расширяющие для людей возможности выбора путем предоставления права выбора как можно большему количеству людей. Но в стремлении к таким изменениям нужно сознавать, что существует опасность заблуждения. Шансы на улучшение человеческой жизни кроются не в некоем искусственном «третьем пути», находящемся где-то между великими силами истории. Опираться на возможный компромисс — такая же серьезная опасность для свободы, как и крайний догматизм. Если последнее означает автократию, первое ведет к бюрократии, а в основе того и другого — ошибочная позиция: для возникших проблем существует лишь одно-единственное решение. У меня позиция совершенно иная. Политика свободы — это политика жизни в условиях конфликта. И противопоставленность, и равенство имеют право на существование в конституции, направленной на предоставление максимальных жизненных возможностей для всех.

...Это эссе — о политике свободы. Его политическая направленность очевидна: анализ не ограничивается ни описанием рыночного равновесия, ни призывом к социальным силам. Явно просматриваются либеральные взгляды автора. Я защищаю здесь конституционный либерализм, заинтересованный как в способах достижения прогресса, так и в конкретных шагах на пути к нему. Название эссе «Современный социальный конфликт» говорит само за себя. Я много думал над ним. Некоторое время рабочим названием эссе было «Гражданские права, жизненные возможности и свобода», и в действительности эти три понятия, особенно первые два, занимают значительное место в процессе анализа. Употребление определенного артикля в названии «The Modern Social Conflict» вполне обдуманно. Многие виды и разновидности социального конфликта рассмотрены в данной книге, но, пожалуй, лишь одна из этих разновидностей проясняет нам суть процессов, происходящих в современном обществе и политике. Это конфликт между богатством и гражданскими правами, или я назвал бы его конфликтом между ресурсами и притязаниями.

ПОСЛЕ КЛАССОВОГО КОНФЛИКТА

...Экономический прогресс сам по себе не уничтожит ни безработицу, ни бедность. Необходимы дополнительные, в самом широком смысле политические действия, которые являются верным признаком наличия скорее проблемы удовлетворения притязаний, чем обеспечения ресурсов.

Возможно, такие действия будут восприняты без энтузиазма. Не желая усугублять путаницу, связанную с употреблением слова «класс», думаю, будет уместным еще одно замечание. Класс большинства вовсе не заинтересован в том, чтобы разорвать круг лишений людей, опустившихся до положения деклассированных. Напротив, в смутное время он активно выталкивает некоторых своих сограждан за порог общества и там удерживает, защищая положение находящихся внутри. Конечно, институты и организации большинству здесь не помогут. Учебные заведения полезны для тех, кто их заканчивает; документально подтвержденные знания — самый надежный входной билет в современную, часто высокотехничную экономику. Что касается тех, кто не имеет доступа к рынку, кому не хватает мотивации или упорства, то они полностью лишены возможности продвижения в обществе. Сегодня многие из них неграмотны, по крайней мере функционально, и не имеют шансов быть нанятыми на работу. Профсоюзы выражают публичные сожаления по поводу безработицы и бедности; еще живы воспоминания о прошлых временах, когда занятость и нормальный уровень жизни были непосредственно связаны с экономическим ростом; однако на деле профсоюзы мало чем помогают деклассированным. В некоторых странах люди, становясь безработными, автоматически теряют свое членство в профсоюзе. Опросы общественного мнения каждый раз показывают, что в списке проблем, волнующих людей, первое место занимает безработица и что никому не нравится бедность, однако, когда подходит время выборов, партии, обещающие положить лишний доллар, фунт или марку в карман тех, кто «на плаву», имеют больше шансов на успех, чем партии, требующие жертв перераспределения в пользу тех, кто оказался за бортом.

Класс большинства защищает свои интересы так же, как раньше это делали другие правящие классы. Разница в количестве. Маркс полагал, что буржуазное общество уникально в том, что впервые угнетенный класс — класс будущего — включает в себя подавляющее большинство, которое организуется и свергает правящее меньшинство. В определенном смысле случилось прямо противоположное: подавляющее большинст-

во людей обрело относительно удобное существование. Во всяком случае для новых поколений открылись жизненные возможности, о которых тщетно мечтали их отцы и деды. Однако у них нет уверенности, что хорошие времена будут длиться вечно, поэтому они начинают проводить границы, оставляя кого-то за их пределами. Как и прежние господствующие классы, они находят достаточно причин необходимости таких границ и готовы «впустить» к себе только тех, кто приемлет их ценности. При этом они убежденно, хотя и не слишком убедительно доказывают, что границ между классами быть не должно. Они хотят устранить барьеры, разделяющие общество, но совершенно не готовы что-либо сделать для этого. Отсутствие воображения у класса, живущего в мире доступных благ и вследствие этого не признающего законных притязаний других, сочетается с его корыстным стремлением сохранить собственное положение. Пока дела идут не так уж плохо, но хроническая безработица и жестокая нужда «низших слоев» могут стать плохими предзнаменованиями для остальных.

ГРАЖДАНЕ И СЕПАРАТИСТЫ

При описании американских деклассированных и «низших слоев» я затушевал расово-этническую проблему отнюдь не по причине свойственной либералам недоговоренности, а скорее из-за того, что этот вопрос имеет очень важное значение и требует отдельного разговора. Класс большинства проводит границы не только горизонтально, но и вертикально. Одни теряют свои социальные гражданские права, а другим в них отказано вовсе. Этот процесс имеет глубокие корни. Он болезнен даже в лучшие времена. Я уже говорил о нем, когда речь шла о гражданстве. В 80-е годы видны признаки усугубления проблемы новым наступлением протекционизма, который распространяется в обществе с быстротой молнии, порождая не только многочисленные человеческие страдания, но и формы насилия, не поддающиеся традиционным методам лечения.

Поскольку данная проблема не слишком хорошо изучена, ограничусь некоторыми гипотетическими соображениями. Американские деклассированные включают в себя не одно лишь чернокожее общество. Например, сельскую бедноту, обладающую сходными характеристиками, составляют преимущественно белые. Испаноязычное население представляет собой значительную часть городских бедняков. Но в «гетто» живут, в основном, чернокожие. Именно в среде черных американцев наиболее выражен распад традиционной семьи, наиболее распространены семьи, возглавляемые женщинами, что приводит к неспособности или нежеланию принять ценности окружающего общества. Особенно это заметно в отношении тех чернокожих, которые хоть и вступили (в процессе интенсивного расслоения общества после принятия в 60-е годы законодательства о гражданских правах) на путь, ведущий к среднему классу, но по-прежнему не являются полноценными гражданами своей страны. Они заняли посты мэров и директоров компаний, приобрели виллы и яхты, но глубокая культурная пропасть не исчезла. Об этом говорят нечасто, и, возможно, от подобных разговоров немного пользы. Очевидно, гражданские права — это одно, а полное участие в жизни общества — другое. Проходит много времени, пока люди со своими взглядами на жизнь начинают адаптироваться в новых обстоятельствах. Однако, когда специалисты анализируют «социальные патологии» и их сосредоточение, они по-прежнему рассматривают черный цвет кожи как одно из неблагоприятных обстоятельств жизни.

Опыт Великобритании в плане процесса иммиграции из ее бывших колоний совсем невелик и во многом отличен от американского. Во-первых, выходцы из Азии и индейцы, коренное население Америки, никогда не были здесь рабами (в Соединенных Штатах индейцы, похоже, вообще имеют некоторое преимущество перед другими цветными). Тем не менее, зарождавшаяся в Великобритании группа деклассированных так же характеризуется сосредоточением социальных патологий, как и в Америке, и зачастую — среди людей одной расы. К тому же класс большинства проводит иногда явные, а иногда неявные границы. Этим грешат и традиционное рабочее движение, и целые жилые районы, и клубы, и сообщества, и профсоюзы, и даже лейбористская партия. Конечно, нельзя допустить, чтобы текли «реки крови», но прелести «многонационального общества» пропали даром для большинства, скорее пекущегося о соблюдении межрасовых барьеров, чем о достижении открытости.

Такое состояние в обществе — шаг назад в истории развития гражданства. Необходима программа позитивных действий [1]. Хотя такого рода рецепты по-прежнему актуальны и требуют безотлагательного применения, в них, похоже, отсутствует новый важный момент. Складывается впечатление, что все большее и большее число людей не хотят жить в многорасовом и даже поликультурном обществе. Интересно, что среди недовольных — не только благополучное большинство, но и страдающие меньшинства. Они требуют подходящую для жизни нишу в обществе, а иногда — и собственную область или страну. «Отделение, но равенство» — лозунг 60-х годов, высмеянный либералами; в 80-х годах он приобрел актуальность, причем акцент чаще делался на отделение, а не на равенство. Конфликты на этой почве возникают почти повсеместно, и если одни из них едва ощутимы, то другие выливаются в жестокие столкновения. Для стороннего наблюдателя может показаться странным, когда бельгийское правительство смещает избранного от Фландрии мэра, потому что тот говорит только по-французски; но гражданам этой страны вовсе не до смеха. Швейцария была вынуждена в конце концов признать отделение кантона Юра от старого кантона Берн. В Калифорнии проведен референдум, по итогам которого английский язык признан в качестве единственно официального, но, безусловно, многие калифорнийцы по-прежнему говорят по-испански, и, возможно, в следующий раз они одержат победу (вероятность победы активного меньшинства — в конце концов, часть истории). Гражданская война в Ирландии тянется страшно давно, но за

[1] Программа позитивных действий (affirmative action) — *(англ.)* — предоставление меньшинствам и другим обездоленным некоторых социальных льгот при получении образования и найме на работу. *(Здесь и далее прим. перев.)*

последние годы ситуация резко обострилась и сейчас такова, что почти не оставляет надежды на совместное управление территорией. Требования автономии, выдвигаемые басками, сопровождаются взрывами и стрельбой. Вряд ли в мире ОЭСР найдется страна, где от той или иной группы не звучали бы громкие требования о признании ее самостоятельности. Еще более жесткие претензии предъявляют народы, не входящие в ОЭСР. В странах реально существующего социализма тоже наблюдаются волнения по поводу этнического самоопределения.

Признание важности этноса явилось продвижением вперед в развитии цивилизации. Мало-помалу стало очевидно, что общие гражданские права не вступают в противоречие с культурными особенностями, а напротив — расширяют их возможности. Но счастливое сосуществование оказалось кратковременным. Во многих странах этнические различия стали использоваться как оружие, направленное против прав человека. Это оружие часто подкрепляется так называемым фундаментализмом, который подразумевает, что принадлежность к группе создает ауру исключительного, часто псевдорелигиозного значения. Даже в Израиле, где в качестве одной из raisons d'être [1] государства официально обещано предоставить кров всем евреям, желающим иммигрировать, еврейство рассматривается ортодоксально, как явление, чуждое реформаторству (невозможность создать многокультурное еврейско-арабское государство Израиль является сегодня одной из самых страшных проблем в мире). Национальный фундаментализм ширится, отражаясь в призывах «Buy British» [2] и «La France aux Français» [3] и во вновь возникшем движении «Mitteleuropa» [4] в Германии. Принадлежность к обществу понимается не как вопрос гражданских прав, которые можно расширить, а как совокупность врожденных или наследуемых привилегий, требующих защиты от посягательств со стороны посторонних.

Свободно парящий, оторванный от общества фундаментализм, рожденный отчаянием гибнущих культур, дает похожий результат. Противодействие гигантомании 50-х и 60-х гг. и представление, что масштабная экономика — это непременно экономика большого масштаба, было понятно. Лозунг 70-х «Маленькое — это прекрасно» казался тогда вполне привлекательным. Однако ради него люди отвернулись не только от громоздких проектов, но и от источников движения международного сообщества по пути к мировому гражданскому обществу и даже от гражданских прав, гарантированных государством. Поиск новых форм аутентичности питает романтическую политику не столько «формальных», сколько «реальных» отношений, при которых легитимность достигается скорее за счет теплых чувств, возникающих в результате постоянного общения, чем за счет закона и соответствующих институтов.

Подобные наблюдения напоминают о проблеме современности и характерных для нее социальных связей. В некоторых отношениях современный мир может показаться чрезвычайно холодным и неуютным местом, где возможности открываются одновременно с ломкой всех человеческих связей, без которых жить трудно. Я не утверждаю, что все приведенные мной примеры или многие другие, которые легко могут вспомнить сами читатели, имеют одни и те же причины и требуют одинаковых методов лечения. Я имею в виду только то, что их объединяет один аспект, непосредственно связанный с современным социальным конфликтом по части гражданства и жизненных возможностей: это, по сути, наступление на цивилизующие силы гражданства во имя прав меньшинств, их культурной, религиозной или этнической самостоятельности. Более того, в успехе этого наступления отчасти повинны те, кто сам был в прошлом жертвой дискриминации и боролся за гражданские права. Возник новый тип «подмоченного» либерализма, отказывающегося от великих завоеваний в области всеобщих гражданских прав и норм ради того, чтобы удовлетворить сепаратистские требования национальных меньшинств. Права меньшинства изначально были неверно поняты и вследствие этого превратились в правление меньшинства. В конечном счете такая позиция практически не противоречит воинствующему фундаментализму, так что активное меньшинство получило право говорить о том, что его поддерживает молчаливое большинство.

Это существенный шаг назад в истории гражданского общества, он будет дорого стоить человечеству. В первую очередь придется платить цену в форме неразрешимых национальных конфликтов. Ничто из опыта управления, институционализации и регулирования социального конфликта неприменимо в отношении активного меньшинства, которое либо требует отделения, либо пытается навязать остальным свои фундаменталистские убеждения. Не случайно борьба меньшинств сопровождается террористическими актами и угрозами гражданской войны. И то, и другое в худшем случае перерастает в конфликт, не знающий границ, в лучшем — порождает волны иррациональных выступлений, которые невозможно остановить.

Еще дороже станет человечеству потеря многими жизненных возможностей и замедление движения к мировому гражданскому обществу. Бесспорно, добиться этих целей можно, лишь осознав, что всеобщее гражданство не делает всех одинаковыми. Гражданство — это не уравниловка, а предоставление равных возможностей. Я хотел показать, как оно делает социально-экономические различия терпимыми, собирая их под общей крышей законных притязаний (а если эти требования не выполняются, необходимо требовать перемен во имя соблюдения принципа гражданства). Точно так же гражданство не противоречит культурному многообразию. Право быть непохожим на других считается, и весьма обоснованно, одним из основных для членов общества, но условием его использования является отказ от методов борьбы, ставящих под угрозу сам принцип общей гражданственности. Современный опыт показывает, что это легче сказать, чем сделать. У сепаратистов иные приоритеты, чем у борцов за гражданские свободы. Для них самое важное — сделать Ирландию католической или создать баскское государство. Сепаратисты, фундаменталисты и романтики стремят-

---

[1] Смысл существования *(франц.)*.
[2] Покупайте британские товары *(англ.)*.
[3] Франция для французов *(франц.)*.
[4] Центральная Европы *(нем.)*.

ся достичь однородности, а либералам нужно многообразие, ибо только оно приведет к всеобщему гражданству. Этот выбор — единственный, в связи с ним мне вспоминаются слова Карла Поппера, прозвучавшие в одном из его выступлений: «Мы можем вернуться к племени, но если мы хотим остаться людьми, мы должны двигаться вперед к гражданскому обществу».

ОПАСНОСТИ АНОМИИ

Конфликты нужно видеть, чтобы они стали реальностью. Не стоит искать причины конфликта в социальных структурах, если они не являются очевидной причиной социальных и политических столкновений. Отсюда совершенно ясно, что в современных странах ОЭСР не происходит классовых конфликтов в общепринятом смысле этого понятия. Большинство сторонних наблюдателей не видят политической борьбы между социальными группами, находящимися по разные стороны барьеров власти и правомочий. Остались пережитки конфликта прошлой эпохи. Класс большинства по-прежнему участвует в стычках за перераспределение ресурсов. В некоторых странах еще жив язык классового конфликта, и если взглянуть на противоречия «Север — Юг» в Италии или «Юг — Север» в Великобритании, будет понятно почему. Но даже в этих странах классовое деление общества в традиционном смысле слова не является основой конфликта, и какие бы новые границы и антагонизмы ни возникли, они не приводят к борьбе между новыми имущими и новыми неимущими.

На то есть причина. Тяжелая длань большинства — одна из них. Трудно мериться силами с преобладающим по численности классом большинства, но труднее всего это сделать тем, кто выброшен за борт. Индивидуализация социального конфликта в открытых обществах — другая причина. Возможно, солидарные действия организованных групп испокон века служили не самым лучшим способом защиты чьих-либо интересов. Затраты энергии и эмоций велики, к тому же проходит много времени, прежде чем становятся видны какие-то результаты. Люди всегда будут использовать любую возможность, чтобы проложить себе путь собственными силами. В Соединенных Штатах это стремление долгое время было основной формой конфликта. Сегодня то же самое можно сказать о большинстве стран мира. Индивидуальная мобильность занимает место классовой борьбы.

Если люди действуют организованно, они скорей объединяются в группы по интересам или в общественные движения, чем в классовые партии. Такое дробление интересов объясняется переменами в обществе. Традиционные гражданские права стали всеобщим достоянием, и проблемы неравенства переносятся в отдельные сферы общественной жизни. Люди борются за признание равноправия женщин, или против загрязнения окружающей среды, или даже за разоружение, но ведут эту борьбу на основе неотъемлемых гражданских прав. В этом смысле общественные движения зарождаются только в пределах гражданского общества. Даже гражданское неповиновение имеет смысл только при наличии прочных структур гражданских прав и обязательного подчинения закону.

Все же остается вопрос: почему люди, не имеющие по многу лет работы и неспособные выбиться из нищеты, не объединяют свои силы и не идут на приступ столиц, требуя для себя полноценного гражданства? Почему, по крайней мере, нет партии безработных или партии бедных? Наконец, если объединение им не по плечу, почему деклассированные не бегут в ярости крушить мебель в доме, построенном классом большинства для себя?

Иногда такое случается. Все мы хорошо помним событие, даже спустя годы ранящее душу. Когда в 1985 году на чемпионате Европы по футболу матч, проходивший на стадионе Хейселя в Брюсселе, взорвался насилием и убийствами, у многих старых болельщиков пропал всякий интерес к игре. Гуманный и наводящий на размышления отчет лорда Скармана по поводу «беспорядков в Брикстоне» в 1981 г. не может вычеркнуть из памяти телевизионные кадры: сердитые лица, камни и зажигательные бомбы, брошенные в полицейских, грабежи и бесчинства. В Америке нарушение общественного порядка и жестокие расправы, учиняемые полицейскими, имеют давнюю традицию; не скоро забудется обстрел из вертолета воинственно настроенных скваттеров в Филадельфии. Вид полицейских в шлемах и со щитами, наступающих на демонстрантов, стал почти привычным сюжетом в вечерних новостях. Выходцы из среднего класса организуют террористические организации с замысловатыми названиями типа «Rote Armee Fraktion» [1] или «Brigade Rosse» [2] и берут заложниками бизнесменов или политиков, чьи трупы потом находят в багажниках брошенных автомобилей. Я уж не говорю о ежедневном насилии над личностью: уличных грабежах, кражах и убийствах в городах. Неудивительно, что у Барбары Тачмен, издавшей свое «зеркало прошлого», отразившее события с XIV по XX век, нашлось много читателей. «Чума, война, налоги, разбой, плохое правительство, мятеж и раскол церкви» были тогда «неведомыми и великими напастями и врагами».

Еще одно соображение приходит на ум. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс дают отрицательную оценку тем, кого они называли «люпмен-пролетариатом». Эти «отбросы общества» (как то звучит в некоторых переводах) являются, по весьма нелицеприятному определению Маркса и Энгельса, «пассивным продуктом гниения самых низших слоев старого общества». Для революции это неподходящий материал. Хоть в конце концов люмпены и могут быть втянуты в революционный переворот, в силу своего положения они скорее пополнят резервную армию реакционеров. Теодор Гайгер занялся изучением этой темы еще в начале 1930-х гг. У низшего слоя нет своего места в социальной и экономической структурах общества. Его интеллекта не хватает на организованную защиту своих интересов, он способен лишь на «оголтелый мятеж». «Коммунистические и национал-социалистические идеи гораздо быстрее находят отклик в его среде, чем Realpolitik [3] социал-демократов и профсоюзов». «Как известно, помимо работающего населения есть некие отбросы общества, которые не находят себе места в труде, утратили способность вести размеренный

[1] Фракция Красной армии (РАФ) *(нем.)*.
[2] Красные бригады *(итал.)*.
[3] Реальная политика *(нем.)*.

образ жизни и поэтому нанимаются к кому угодно, готовые пускать в ход кулаки, дубинки и кастеты».

И все же это пока что не объясняет сути социального конфликта 80-х. Это все равно что прибавить к одному один и обнаружить, что до четырех еще не хватает. Существует множество так называемых ситуативных конфликтов — не связанных между собой вспышек общественного насилия, которые могут привести разве что к членовредительству среди участников и к устрашению очевидцев. Но даже среди бесчинствующих не всегда есть представители деклассированных. На самом деле деклассированные в Северной Америке или в Европе совсем не буйные и не оказывают сопротивления официальному обществу. Если вечные бедняки или безработные в принципе принимают участие в голосовании, их выбор почти не отличается от выбора, характерного для остального населения (даже в 1930-е гг., о которых пишет Гайгер. За приход Гитлера к власти голосовали вовсе не безработные, хотя они могли бы разделить судьбу историков из среднего класса). По словам одного автора, деклассированные — «чужаки и популисты, но отнюдь не радикалы». Внутри этого слоя — сотня групп разного толка, так что большинство ищет собственный выход. Деклассированных почти не трогают текущие проблемы жизни общества в целом. Они пребывают как бы в летаргии.

Да, деклассированные — чужаки. И это не только их положение в обществе, но и мировоззрение. Решающим фактом существования деклассированных элементов и хронических безработных является их незаинтересованность в обществе. Если серьезно задуматься, то и общество в них не нуждается. Многие из класса большинства хотят, чтобы они просто исчезли, а если такое вдруг случится, их отсутствие едва ли будет заметно. Те, кто входит в эту группу, понимают это. Общество для них недосягаемо. Для них оно сводится к полиции, суду и, в меньшей степени, государственным учреждениям и служащим. Говоря о деклассированных, мы, конечно, преувеличиваем степень их отчуждения от общества. Для многих индивидуальная социальная мобильность остается вполне возможной альтернативой агрессивному поведению и обиде на общество. С другой стороны, отсутствие заинтересованности в обществе стало свойственно не только безработным и беднякам. Например, молодые люди склонны заимствовать ценности у социальных низов, даже если имеют работу и могли бы найти место среди большинства. Наблюдается любопытная схожесть культуры деклассированных и контркультуры среднего класса: она заключается в том, чтобы быть как бы «вне общества». Общей является и привычка игнорировать официальные нормы и ценности.

Эта привычка — самая характерная черта стран ОЭСР в последние десятилетия XX века. Называется она «аномия». В обществе безгранично много способов выражения социальной напряженности и антагонизма. Уличные столкновения и забастовки, сопровождающиеся насилием, выборы и переговоры о размерах зарплаты, коллективная и индивидуальная мобильность — все вместе это явления одного происхождения. Сегодня появилась еще одна форма воплощения конфликта. Он ныне — не линия огня в революционной войне и даже не борьба демократического класса, а аномия. Понятие достаточно важное, чтобы остановиться на нем подробнее. Я употребил английское слово «anomy», приведенное в Оксфордском словаре устаревших понятий, в значении, которое дал ему Уильям Ламбард в 1951 г.: «создание беспорядков, сеяние смуты и неопределенности». В современную социологию понятие «anomie» [1] ввел Эмиль Дюркгейм [2], определивший его как временную утрату социальными нормами действенности в результате экономического или политического кризиса. Такое состояние в обществе лишает людей коллективной солидарности, чувства связи с обществом, вследствие чего для многих единственным выходом из ситуации становится самоубийство. Роберт Мертон дополняет определение, трактуя anomie как «конфликт норм в культуре», возникающий, когда люди в силу своего общественного положения не способны подчиниться ценностно-нормативной системе общества. Если молодежи внушают, что для достижения карьеры необходимо терпение и упорный труд, а на деле выходит, что скорее можно разбогатеть, спекулируя на рынках срочных контрактов и опционов или в результате валютных махинаций, то возникает аномия.

Данное понятие получило характерное преломление в современном обществе. Часто утверждают, что число насильственных преступлений («тяжких преступлений») за последнее время возросло. Доказательства поверхностны и неубедительны. Сегодня явно участились преступления против собственности и преступления, связанные с наркотиками. Число убийств (и самоубийств) всегда колебалось, колеблется и сейчас; количество тяжких преступлений (куда относятся вооруженное нападение, грабеж с применением насилия и изнасилование) в некоторых странах возросло вдвое за период между пятидесятыми и восьмидесятыми; что касается прочих правонарушений, больших изменений здесь не произошло. Однако есть другая, более важная примета сегодняшнего времени, которая выражается не в числе грубых нарушений, а в неспособности общества пресечь их. В нормативном мире 80-х выявились определенные «опасные зоны». Их суть частично раскрывает название: т. е. зоны, где сила закона не действует. Полиция будет отрицать, но действительно некоторые беднейшие кварталы, а также поезда и станции подземки — это зона «беспредела», и многое, что там происходит, запрещено законом. Иногда складывается впечатление, что некоторые школы или даже университеты тоже стали «опасными зонами», и там уже никто не подчиняется социальным нормам.

Но куда большую опасность представляют собой символические «опасные зоны», существующие в нашем обществе. Они связаны с тем, как работает или, скорее, не работает закон. Так называемое «оправдание виновного» стало привычным явлением в современном мире. Известны люди, нарушившие за-

---

[1] *Букв.*: беззаконие, безнормность *(франц.)*.

[2] Эмиль Дюркгейм (1858—1917) — французский социолог-позитивист, основатель французской социальной школы. Отводил определенную роль в обществе коллективному сознанию. Разделение труда считал основой общественной солидарности и трактовал социальные конфликты как патологическое явление.

кон; они даже признались в этом, но также известно, что наказания они не несут. Более того, они уверены, что могут проворачивать свои преступные делишки безнаказанно. В связи с этим особенно остро стоит проблема молодежи. Десятилетиями общественные нравы были склонны считать «общество» ответственным за поступки его юных граждан и поэтому оправдывали их даже в случае совершения убийства; в тот же период почти половина всех традиционно совершаемых преступлений в процентном отношении (а «особо тяжких» даже больше) была совершена людьми, не достигшими 21 года. Нормативная молодежная «опасная зона» представляет, пожалуй, самую серьезную проблему, ибо в этом случае от ответственности освобождаются те, кто должен был бы усвоить нормы, на которых держится общество.

С этой точки зрения аномия обозначает такое положение вещей, когда нарушения общественных норм сходят преступникам с рук. Отчасти это характерно для деклассированных. «Отсутствующие» отцы в семьях американских незамужних матерей — это проблема, требующая разрешения. Кроме того, Амартья Сен не совсем прав, утверждая, что закон стоит между наличием ресурса и законными притязаниями: некоторые из тех, кто лишен притязаний, просто берут все, что плохо лежит, и закону управиться с ними нелегко. В более широком смысле аномия обозначает положение во всем обществе. Это понятие включает как жестокое обращение с детьми и насилие над женой, так и уклонение от уплаты налогов или другие разновидности экономического преступления. Люди не заинтересованы в обществе, а следовательно, не чувствуют себя связанными его правилами. Но это лишь одна сторона дела. Другая — в том, что общество стало меньше верить в собственные правила и перестало ограждать их от посягательств.

Здесь, как и во всей книге, я бы не хотел испортить общее впечатление чрезмерными преувеличениями. Нормы нарушались во все времена, и в любом обществе трудно обеспечить их соблюдение. Определенное количество правонарушений может быть даже полезным; в конце концов, один из способов парализовать экономику — это «работать по правилам», то же самое относится и к обществу в целом. Мне думается, современная форма социального конфликта и есть сам общественный договор. Я не имею в виду туманные дополнения к общественному договору в части гражданских прав, хотя это тоже очень важно. Речь идет об элементарных статьях договора, о законе и порядке. Либералам не нравятся эти слова, которые часто употребляются, чтобы уничтожить дух закона с помощью его буквы. Но именно этот аспект объединяет различные точки зрения на современный социальный конфликт.

В наши дни осталось еще достаточно следов прежних конфликтов. Сюда относятся варианты классовой борьбы прошлых лет. Не возникло никакого сравнительно нового конфликта. Маловероятно, что отношения между классом большинства и деклассированным меньшинством могут сейчас или в будущем привести к организованным столкновениям, подобно тем, какие происходили между буржуазией и рабочим классом. Однако возникает другая проблема, имеющая серьезные последствия. Обществу, смирившемуся с длительным существованием внутри него группы, по-настоящему в нем не заинтересованной, угрожает опасность. Это — достаточно абстрактный тезис, как и то, что общество стало меньше верить в собственные законы. Фактически он означает, что класс большинства отныне не уверен в устойчивости своего положения. Он устанавливает границы там, где их быть не должно, и колеблется, когда дело доходит до соблюдения правил, придуманных им же самим.

Может быть, это переходный период. К некоторым странам, например, к Швеции, Швейцарии или Японии многое из сказанного в настоящей главе не относится. Что касается стран, о которых речь шла выше, то я все время подчеркивал существующие между ними различия. В Соединенных Штатах Америки и Западной Европе есть явные признаки неуверенности в себе. Я назвал этот раздел «Опасности аномии». Некоторые из них очевидны. Сознание беспорядков, сеяние смуты и неопределенности — это уже достаточно плохо. Но еще большая опасность заключена в другом. Состояние аномии не может длиться долго. Это приглашение узурпаторам, желающим навязать обществу ложное ощущение порядка. Либералы ненавидят в защитниках «закона и порядка» именно то, что сами провоцируют отсутствием четкого осознания необходимости социальных институтов. Опасность аномии — тирания, в каком бы обличье она ни явилась.

Перевод с английского Г. ЛИСИНОЙ

Научная редакция **М. ЧЕРНЫША**

Возвращаясь к напечатанному

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН

ПЕРВЫЙ РОМАН АЛЬБЕРА КАМЮ

В художественных музеях большое полотно мастера нередко помещают в окружении эскизов к нему — частных, не слишком тщательно отделанных набросков, разрабатывающих те или иные мотивы главной картины. Если же представить себе, что главное полотно отсутствует, а есть только галерея эскизов, то долгое время именно так выглядело в глазах читателя раннее, довоенное творчество Альбера Камю. Лишь в 1971 году, когда был посмертно напечатан его первый роман «Счастливая смерть» *, стало ясно, что оба известных до тех пор ранних очерковых сборника — «Изнанка и лицо» (1937) и «Брачный пир» (1939) — представляли собой не что иное, как циклы набросков к главной книге, куда вошли многие ее частные мотивы, картины, эпизоды, мысли.

«Счастливая смерть» была написана Альбером Камю в Алжире в 1936—1938 годах. В печать автор ее не отдал. Роман-дебют, плод долгой и упорной работы, с которым Камю явно связывал большие литературные надежды, надолго остался в архиве писателя. Камю, очевидно, счел его неудачным — и с такой авторской оценкой вынуждены согласиться и мы.

Прежде чем идти дальше, необходимо объясниться по вопросу, который тут естественно встает: если роман неудачен, то какой в нем интерес? Зачем вообще читать *неудачные* книги?

Филолог традиционного склада знает на этот вопрос простой ответ, который, однако, вряд ли убедит «широкую публику». Для специалиста неудачное литературное сочинение стоит в одном ряду с писательским черновиком, наброском, незавершенным текстом. Оно дополняет собой признанные шедевры своего автора, оттеняет порой малозаметные их черты, позволяет строить догадки об их возникновении, о трудных подступах к творческим свершениям. К тому же любой художественный текст при искусном анализе служит источником сведений о биографии (житейской и духовной) своего автора, о психологическом складе его личности. Но, читая такие «сырые» произведения, не приходится, конечно, рассчитывать на спонтанное эстетическое наслаждение, которое доставляет нам художественная завершенность целого.

Выходит, подобные тексты в любом случае не больше чем сухой материал для дотошного литературоведа? Нет, это не обязательно так.

Речь сейчас не идет о произведениях слабых и неоригинальных (ученических, графоманских), механически воспроизводящих расхожие, «ничейные» литературные стереотипы. «Счастливая смерть» Камю, с ее парадоксальным сюжетом и изысканно-красочным стилем,— явно не из их числа. Она неудачна совсем по-иному. Это одна из тех книг, где талантливый писатель, жаждущий сказать в литературе новое и важное слово, пытается выразить нечто такое, что не поддается выражению в рамках традиционных художественных форм. Под напором непосильного для нее содержания форма трещит и рвется, и для искушенного читателя наблюдать за такой творческой драмой бывает захватывающе интересно, ибо причина ее не только и даже не столько в несостоятельности изживших себя форм — литературные формы вообще никогда не устаревают окончательно и при умелом использовании всегда готовы послужить вновь,— сколько в проблематичности содержания, которое мучительно ищет себе выражения как в конструктивных усилиях писателя, так и в наших читательских усилиях постичь, осмыслить, со-творить заново его произведение. Титаническая попытка писателя одолеть неодолимое, пусть она и не увенчана торжественно-завершающим жестом творца, требует от нас сочувствия и сотворчества — не раскованно-игрового, как в постмодернистской эстетике, а напряженно-серьезного. И к неоригинальным, «серийным» текстам, и к «творческим неудачам» можно (разумеется, именно можно, а не обязательно) относиться примерно так же, как к вымышленным литературным или сценическим героям, к их незадачам и злоключениям; однако в первом случае приходится настраивать себя на комическое восприятие, во втором же мы попадаем в область трагических коллизий.

Возможно, эти вступительные рассуждения покажутся странными, даже неуместными в статье о романе прославленного писателя, Нобелевского лауреата Альбера Камю. Задача наша, однако, не в том, чтобы «оправдать» роман, найти какие-то извинения его достаточно очевидным художественным изъянам, а в том, чтобы сразу определить свой угол зрения на эту несовершенную, но чрезвычайно содержательную, полную внутреннего напряжения книгу.

---

* Русский перевод см. «ИЛ» 1992, № 2.

Видимый, сознательно и последовательно конструируемый автором идеологический сюжет «Счастливой смерти» достаточно полно покрывается тем кругом идей, который называют «философией абсурда». Эти идеи юный Альбер Камю впитывал в себя, изучая философию в Алжирском университете, читая книги Кьеркегора, Ницше, Достоевского, Шестова; они перекликались и с его непосредственным жизненным опытом — опытом повседневной социальной жизни в бедняцких кварталах столицы колониального Алжира. В своем «эссе об абсурде», задуманном в одно время со «Счастливой смертью» и вышедшем в свет в 1942 году под названием «Миф о Сизифе», Камю выразительно описывает это повседневное существование, заставляющее мучительно переживать изначальную бессмыслицу человеческого удела, прикрытую хрупкими декорациями привычки: «Бывает, что декорации рушатся. Утреннее вставание, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон, и так все, в том же ритме, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Чаще всего этой дорогой следуют без особых затруднений. Но однажды вдруг возникает вопросительное «зачем?», и все начинается с усталости, подсвеченной удивлением... Усталость одновременно и последнее проявление жизни машинальной, и первое обнаружение того, что сознание пришло в движение». Такую рутинную, «машинальную» жизнь ведет и герой «Счастливой смерти» — алжирский клерк Патрис Мерсо, вынужденный изо дня в день тянуть лямку в портовой конторе, похожей «на колумбарий, где истлевало мертвое время», а по воскресеньям тупо наблюдающий с балкона бессмысленную вереницу одних и тех же лиц, слов и происшествий, сменяющих друг друга на улице. Механические разговоры, механически повторяющиеся военные воспоминания приятеля главного героя Эммануэля, механически однообразные жалобы опустившегося ремесленника Кардоны, механическая, без любви с той и другой стороны, связь Патриса с Мартой — все это знаки неистинного, запрограммированного извне существования, которое лишь маскирует, скрывает от глаз человека трагичность его смертной судьбы. Такая «машинальная» жизнь отчуждает индивида от себя самого, раздробляет его поведение на множество мелких, безотчетных и безответственных поступков, обусловленных внешней средой и привычкой, но не пронизанных внутренней творческой волей. Патрис Мерсо безрадостно и безучастно влачит это пустое существование, чувствуя лишь тоску и «усталость» от мертвого, бесцельно протекающего времени.

Но однажды он делает попытку освободиться. Если жизнь человека — движение к неизбежному концу, то пусть это движение будет хотя бы осознанным. Две части романа Камю называются «Естественная смерть» и «Сознательная смерть»: от слепого природного существования герой пытается волевым усилием прорваться к существованию целенаправленному, подчиненному сознательному творческому замыслу (в экзистенциальной философии это называется «проектом»). «Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос — вопрос о самоубийстве»,— говорится в «Мифе о Сизифе»; и действительно, смысл рискованного пари, заключенного Патрисом Мерсо с миром, состоит в том, чтобы превратить неизбежность в «проект», «естественную смерть» — в смерть «сознательную», то есть в особого рода самоубийство. Не случайно герою романа более всего претит умереть в забытьи, от уже притупившей сознание болезни: «Подсознательно он жаждал встречи со смертью во всей полноте своих жизненных сил. Предстать пред смертью уже полумертвым — куда же это годится!»

На уровне видимой, внешней фабулы Мерсо не убивает себя — он убивает другого. Такая подмена не должна удивить, если вспомнить литературную и идеологическую традицию, на которую опирался Камю. В «Бесах» Достоевского инженер Кириллов кончает с собой, дабы этим своевольным поступком утвердить свой высший, богоравный статус («логическому самоубийству» Кириллова Камю посвятил специальную главу в «Мифе о Сизифе»); но в другом романе Достоевского, «Преступление и наказание», собрат Кириллова по духу с аналогичной, в сущности, целью лишает жизни не себя, а старуху процентщицу, чтобы в итоге прийти к неожиданному открытию: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!» Убийство и самоубийство различаются лишь с моральной точки зрения — считается, что человек имеет меньше прав распоряжаться чужой жизнью, нежели своей собственной; если же из сферы этики переместиться в область метафизики, то эти два деяния оказываются почти равнозначными. Уничтожая не им сотворенную жизнь — неважно чью,— своевольный герой отвергает порядок мироздания, отказывается признать в этом абсурдном мире богоданный смысл и ставит себя «по ту сторону добра и зла», превращается в сверхчеловека. Родион Раскольников не воспользовался деньгами своей жертвы, Патрис Мерсо поступил иначе (впрочем, деньги эти больше ни разу прямо не упоминаются в повествовании, мы можем лишь догадываться, что герой романа живет именно на эти, а не какие-либо другие средства), но в обоих случаях рукой убийцы движет не корысть, а стремление посредством беззаконного поступка доказать миру и самому себе, что он принадлежит к онтологически высшему разряду существ.

Патрису Мерсо запали в душу слова своей будущей жертвы о возможности «купить время»: «Иметь деньги — значит иметь время... Время покупается... Родиться или стать богатым — значит иметь время, чтобы быть счастливым...» Сказавший это вкладывал в свои слова конкретно-практический смысл: богатый человек за свои деньги покупает себе *свободное* время, досуг, позволяющий наслаждаться жизнью. Но мы уже видели, как передает Камю заурядно-житейские, казалось бы, переживания Мерсо — конторского сидельца, мающегося на своей службе: стеллажи с папками кажутся ему «колумбарием, где истлевало мертвое время». Для Камю и его героя время — это не пустая протяженность, которую для полного счастья достаточно лишь освободить от нудных обязанностей; это трагически неудержимое движение к неизбежному финалу, которое извращается и гниет в повседневной рутине; задача состоит в том, чтобы героическим усилием духа укротить и подчинить себе его бег, как всадник

подчиняет себе бег скакуна. Свое героическое и преступное деяние герой Камю совершает не в житейском, а в метафизическом пространстве, и именно в категориях экзистенциальной метафизики оно должно расцениваться.

Вернемся к сходству Мерсо с Раскольниковым, которое проявляется во многих обстоятельствах. Оба героя тщательно и хладнокровно обдумывают свое преступление не столько в практическом, сколько в философском плане. В качестве объекта они выбирают не просто богатого человека, которого можно было бы ограбить, но и не личного врага, убийство которого могло бы быть оправдано страстным волнением (ненавистью, ревностью); недаром Мерсо заверяет свою любовницу Марту, что не ревнует ее, хотя это, казалось бы, могло послужить поводом для убийства соперника,— метафизический убийца чурается такого слишком вульгарного, «слишком человеческого» оправдания своих поступков. Преступление должно быть свободно от страсти и корысти — и при этом иметь как можно меньшие последствия в мире. Полубожественные культурные герои древних мифов и легенд тоже нередко проливали кровь, утверждая свое высшее призвание, но, делая это, они одновременно преобразовывали мир, очищали его от злых чудовищ, свирепых тиранов или разбойников. Герою-метафизику новейших времен нет дела до внешнего мира людей, он сознает его изначальную абсурдность и не тщится внести в него разумный и справедливый порядок. От мира людей нужно освободиться, и если уж для этого приходится вторгнуться в него с топором или револьвером, то пусть это вторжение будет минимальным — не большим, чем в лабораторном опыте ученого, который не изменяет, а лишь испытывает природу. И вот Раскольников и Мерсо совершают *экспериментальное* убийство («пробу», как сказано у Достоевского), используя в качестве подопытного материала существа заведомо «неполноценные», чье исчезновение менее всего скажется на ходе дел в реальном мире: один — ничтожную «вошь»-процентщицу, другой — жалкого калеку Ролана Загрея, который сам, в собственноручно написанной записке, признает, что с его смертью погибнет лишь «полчеловека». В обоих случаях убийца ищет не морального, но метафизического оправдания: его преступление должно быть свободным от житейских мотивов, оно должно быть не от мира сего.

Однако Камю идет еще дальше Достоевского и вводит в свой роман мотив, которого в «Преступлении и наказании» совсем не было. Записка, о которой сказано выше, написана Загреем на случай самоубийства, которое он давно уже задумал. Готовясь покончить с собой, он время от времени упражняется с револьвером, вкладывая ствол себе в рот и примериваясь нажать на спуск. Обо всем этом — и о револьвере, и об объяснительной записке, и о том, где хранятся его деньги,— он с каким-то странным простодушием рассказывает своему случайному знакомцу Мерсо. Впечатление такое, что он сам ненавязчиво подталкивает Мерсо к преступлению, подсказывает ему сценарий убийства, заготавливает орудия и документы для алиби. Не решаясь убить себя собственными руками, он делает это руками Мерсо — тому остается лишь сыграть уже заранее сочиненную для него роль.

Так выясняется, что убийство тождественно самоубийству не только с точки зрения преступника, но и с точки зрения его жертвы. Более того, тождество это находит себе подтверждение и в глазах высшего авторитета — автора романа, сотворившего весь его художественный мир и давшего своим героям имена.

Имя Загрей, которое носит убитый Патрисом Мерсо калека,— из греческой мифологии. Это одно из имен (одна из ипостасей) бога Диониса; сохранилось предание о гибели Загрея, растерзанного титанами. Имя языческого страдающего божества, разумеется, не зря присвоено в романе владельцу богатой виллы в Алжире. Оно заранее предопределяет судьбу персонажа, которому предназначено претерпеть «страсти» — начиная с несчастного случая, лишившего его обеих ног, и кончая насильственной смертью от руки Мерсо. В самом облике этого одинокого затворника, обреченного на неподвижное сидение в кресле в комнате, наполненной предметами экзотических культов,— в этом облике есть что-то от языческого идола, божка. Оттого и убийство, совершенное Патрисом Мерсо по молчаливому сговору с самим Загреем, предстает как своего рода ритуальное жертвоприношение, сакральная смерть богастрастотерпца. Между тем этнографы и историки культуры уже давно установили, что жертвоприношение — обряд «обоюдоострый», уравнивающий и отождествляющий жертву и жреца. В такой архаической системе координат Загрей сам приносит себя в жертву (потому-то он и инспирирует свое собственное убийство), а следовательно, сливается со «жрецом» — Патрисом Мерсо. Убийство также и на этом уровне равнозначно самоубийству, убийца — убитому.

По воле автора Патрису Мерсо дано осознать это тождество лишь незадолго до собственной смерти, причем умирает он от осложнений той самой легкой простуды, которую схватил в день преступления, выйдя на свежий воздух из жарко натопленной комнаты Загрея. Эту фатальную болезнь (она выглядит также и очередной реминисценцией из «Преступления и наказания» — Раскольников тоже постоянно находится в болезненном, лихорадочном состоянии) наивно было бы расценивать как справедливое возмездие убийце, в том смысле, что, дескать, наказание было таинственным образом заложено в самом преступлении. Писателя — повторим еще раз — занимает не этика, а метафизика, и истина, открывшаяся его герою на смертном одре, не имеет ничего общего с раскаянием и осознанием вины: «Патриса внезапно охватил порыв яростной и дружеской любви к этому человеку, который когда-то был ему совершенно чужим; теперь он понял, что, убив Загрея, он навсегда связал себя с ним узами более прочными, чем узы брака». В этом странном приливе любви к своей жертве, о которой Мерсо долгое время вовсе и не вспоминал, ему открылся высший, сакральный смысл его судьбы: лишив жизни и богатства бога-отца Загрея (сам Мерсо, между прочим, сирота, об отце его в романе не говорится ни слова), он «унаследовал» от убитого не только богатство, открывающее путь к свободной, беззаботной жизни, но также и его судьбу страдающего божества, принимающего смерть

ради обновления и цветения природного мира. Патрис Мерсо в конечном счете как бы сам стал Загреем; их соединили «узы брака», которые в раннем творчестве Камю — например, в книге, которая так и называется «Брачный пир»,— устойчиво символизируют экстатическое, сакральное слияние человека с миром природного бытия.

Языческая готовность к «бракосочетанию» с миром природы — самая резкая черта, отличающая Патриса Мерсо от героев Достоевского. Она освобождает его от мук раскаяния, позволяет преодолеть абсурд социального существования, дает опору для его преступного, беззаконного счастья. Такое переживание было принципиально важно для Камю, который усматривал его корни в особенном душевном складе, обозначаемом формулой «средиземноморская культура».

В основе этой идеи, как и идеи абсурда, непосредственные жизненные впечатления переплетались с книжной традицией. Во французской литературе уже с середины XIX века культивировалось восторженно-экстатическое мировосприятие южанина, человека из солнечных краев; символика солнцепоклонничества принципиально важна и в творчестве любимого мыслителя Камю — Фридриха Ницше. Идеологическое наполнение этого солярного культа могло быть разным — и гуманистическая апология ясного разума, и проповедь «сверхчеловеческой» морали, и националистическая идеализация страстной и агрессивной «латинской расы». Альбер Камю, сам уроженец Алжира, с детства очарованный яростью южного солнца, родственной человеку стихией моря и вольными манерами людей, живущих на его берегах, в своих книгах попытался вложить в эти переживания новый идейный смысл — гуманистический, но не либеральный. Средиземноморская культура в его понимании — культура «воли к счастью» (так трансформируется у него ницшеанская «воля к власти»), открытого и радостного общения человека с миром природы.

В композиции «Счастливой смерти» особенное место занимает первая глава второй части, посвященная пребыванию Мерсо в Праге. То, что он выбрал именно такой маршрут, чтобы удалиться от места своего преступления, в романе никак не мотивируется; на самом деле маршрут этот просто-напросто воспроизводит поездку по Центральной Европе, которую совершил сам Камю в 1936 году. Европа, и особенно Прага, где он на некоторое время задержался, произвела на молодого алжирца гнетущее впечатление — по контрасту со средиземноморской родиной. «В Центральной Европе, от Австрии до Германии,— вспоминал Камю год спустя в лекции, посвященной «средиземноморской культуре»,— я два месяца никак не мог понять, откуда эта странная стесненность, которая давит мне на плечи, откуда глухое беспокойство, которое во мне поселилось. Только недавно я наконец понял. Тамошние люди всегда застегнуты на все пуговицы. Они не знают, что такое раскованность в движениях. Они не знают, что такое радость...» Чисто телесная «стесненность», ощущаемая южанином на прохладном и сыром севере, получает обобщенно-метафизическое осмысление в другом тексте (очерке «Смерть в душе»), где Камю рассказывает о своем пребывании в Праге и о возвращении оттуда назад к берегам Средиземноморья: «Конечно же, я не изменился. Просто я больше не был один. В Праге я задыхался в четырех стенах. Здесь же я был перед лицом мира и, выплескивая себя вовне, наполнял мироздание схожими с собою формами». В средиземноморском «климате», как физическом, так и культурном, Камю более всего ценит возможность для человека свободно «выплескивать себя вовне», мысленно осваивая и очеловечивая окружающий мир. Напротив, мир севера непроницаемо чужд человеку; закрытый для его творческих устремлений, он зато сам настойчиво и агрессивно вторгается в суверенную глубину личности, вкрадчиво просачивается в нее подобно запаху маринованных огурцов, который навязчиво преследует Мерсо на улицах Праги, вызывая у него тошноту. Переживания эти поразительно схожи с ощущениями героя другого произведения, которое Камю не мог знать, приступая к работе над «Счастливой смертью»,— романа Сартра «Тошнота» (он вышел в свет в 1938 году, и алжирский журналист Камю немедленно откликнулся на него заинтересованной рецензией). Общность чувств, связывающая героев двух «незнакомых друг с другом» книг, говорит о неслучайности этих чувств. Камю описывает не просто патологические ощущения больного Мерсо, которого треплет лихорадка, и не просто свои случайные впечатления от чужого и неуютного европейского города — речь идет об особенном типе мироощущения, когда «тошнота», сохраняя всю свою физиологическую остроту, в то же время символизирует реакцию индивида на свою отчужденность от материального мира, обступающего его плотной враждебной стеной. Это «болезнь» не столько физическая, сколько духовная, болезнь разлада с миром. Вездесущий тошнотворный запах, грязь дешевой гостиничной комнаты, непроницаемо молчаливое лицо соседа по столу в кабачке, неотступно пристальный (оказавшийся в конце концов незрячим) взгляд аккордеониста — все это создает невыносимую атмосферу мертвого царства, где никакие чувства человека, даже ужас перед смертью, не встречают отклика. Здесь даже сама смерть выглядит отчужденно и гротескно. «Пражская» глава романа заканчивается эпизодом, в котором Мерсо на одной из улиц натыкается на труп убитого: «На тротуаре лежал человек, скрестив руки и уткнувшись в асфальт левой щекой. Трое или четверо зевак стояли вокруг, прислонившись к стене, и, казалось, чего-то ждали, сохраняя полное спокойствие... Зато еще один, с пиджаком, перекинутым через руку, и в сбитой на затылок шляпе, отплясывал вокруг тела дикарский танец, гулко топоча ногами и отчаянно кривляясь... Зловещий контраст между недвижным телом и бесконечной буйной пляской, между загадочным спокойствием зрителей и тревожной игрой света и тени был так силен, что на какой-то миг Мерсо почудилось, будто весь мир вокруг готов обрушиться в приступе безумия... Сама смерть казалась какой-то двусмысленной и слащавой, и не ее ли вкрадчивый зов, не ее ли влажное дыхание почувствовал Мерсо, когда он, не оборачиваясь, быстро зашагал прочь?»

В записных книжках Камю можно найти зарисовку, которая, очевидно, послужила основой для этой странной сцены. Она сделана

не в Европе, а в Алжире в конце 1935 года и рассказывает о случившемся там кровавом происшествии: хозяин кафе, защищая свою жену от напавшей на нее пьяной компании, застрелил одного из гуляк. Здесь наличествует почти весь антураж «пражского» эпизода: и тусклый свет фонаря, освещающий труп, и осклизлая после дождя мостовая, на которой он лежит, и резкие звонки трамваев, и бессмысленная, гротескная пляска, которую в ужасе исполняет приятель погибшего вокруг его тела. Но эта картина случайной смерти, отталкивающая какой-то своей потусторонней, извращенной «сусальностью» (в романе она «двусмысленная и слащавая»), все же заключена в логическую последовательность происшествий и поступков; абсурдная по сути, она мотивирована хотя бы внешне, в плане фабулы. В романе Камю не просто перенес ее в другую страну, но отсек все мотивировки и представил запавшую ему в память сцену как внезапное, необъяснимое и отчужденное зрелище абсурда, как самое плотное сгущение выморочно-мертвой атмосферы Европы. В душе его эта атмосфера настолько крепко слилась с воспоминаниями о Праге, что и в других его произведениях, связанных с теми краями, непременно присутствует мотив бессмысленной, «неправильной» смерти: в уже упомянутом очерке «Смерть в душе» рассказывается об одинокой, долгое время никем не замеченной смерти постояльца в пражском отеле, а позднее, сочиняя драму «Недоразумение» (1943), где мать и сестра «по ошибке» убивают своего сына и брата, он также вряд ли случайно поместил ее действие в Чехословакию...

Антитезой чужому и враждебному миру севера, с которым Мерсо встретился во время поездки в Прагу, служит в романе его родной Алжир, и особенно изображенный в третьей главе второй части «Дом перед лицом Мира» (вспомним процитированный выше очерковый фрагмент, где эта формула впервые появилась в печати: «Здесь же я был перед лицом мира...»). В этом полуутопическом хотя, по сведениям биографов писателя, нечто подобное было в его реальной жизни,— целомудренном сообществе, объединившем Патриса Мерсо с тремя девушками-студентками, царит идеальная прозрачность человеческих отношений, словно просвеченных пылающим солнцем Юга. Неприхотливый домашний быт маленькой молодежной общины, в чем-то предвещающей возникшие много позднее общины хиппи, обретает значительность благодаря постоянному соотнесению с великолепием средиземноморского Мира, открывающегося с вершины холма, где стоит Дом. «Мир представал здесь подобием человеческой личности, чье бесстрастие отнюдь не исключает любви, личности, к которой так и тянет обратиться за помощью и советом. И они нередко призывали его в свидетели». В таком диалоге с Миром есть, конечно, немалая доля условной игры, но это игра высокая и серьезная. Она зиждется на убеждении — у кого осознанном, у кого интуитивном,— что у человека нет более значительного занятия, чем «просто» быть счастливым: «Дом перед лицом Мира,— говорили они между собой,— это не пристанище для забав, а обитель счастья».

Задумывая свой роман, Камю отводил Дому перед лицом Мира центральное место во всей композиции книги. Насколько можно понять из сохранившегося раннего плана, первоначально предполагалось, что в ней будут чередоваться ретроспективные главы, воссоздающие историю душевных метаний Мерсо, и главы статичные, изображающие покой и счастье, которые он обрел в райской обители Дома. В окончательной редакции романа единственным напоминанием об этой двуплановой композиции (в русском переводе оно и вовсе исчезло) осталась одна стилистическая особенность третьей главы второй части: в отличие от всех прочих глав она написана не в прошедшем, а в настоящем времени. Смысл этого грамматического приема достаточно ясен: время, которое Мерсо бессмысленно убивал, томясь в конторе или сидя дома по выходным, время, которое он вознамерился купить за деньги и для этого убил и ограбил Загрея,— это время в Доме перед лицом Мира должно было остановиться и стать вечно текущим счастливым мгновением. Должно было — но не остановилось. Эпизод Дома перед лицом Мира, при всей своей важности в структуре романа, оказался всего лишь одним из этапов на жизненном пути Мерсо. Время неудержимо влечет его дальше, и он добровольно оставляет гостеприимный Дом и его хозяек, чтобы уединиться вдали от людей, в деревенском домике на берегу моря. Рискованный метафизический эксперимент по насильственному завоеванию счастья гонит его прочь от людей, оставляя один на один с вечным и неизменным миром природы.

Зафиксированная в заглавиях двух частей романа попытка героя преодолеть «естественную смерть» и вырваться на высший уровень существования — к смерти «сознательной» (этот, если воспользоваться словами, сказанными по совсем другому поводу, «прыжок из царства необходимости в царство свободы»), - парадоксальным образом не отрывает Патриса Мерсо от природы, а, напротив, заставляет еще полнее признать над собой ее естественные законы. И в первых и в последних главах книги он живет в цикличесском, повторяющемся времени, но в первом случае это мертвое, автоматическое время социального механизма, чьим образцом служит каждый раз все та же череда уличных происшествий, за которыми каждое воскресенье Мерсо наблюдает из своего дома; во втором же случае это календарный цикл живой природы, с ее весенним пробуждением, цветением и умиранием: «В январе зацвели миндальные деревья. В марте покрылись цветами груши, персики и яблони. Еще через месяц вздулись и тут же опали ручьи... К концу года на иных полях озимые уже пошли в рост, другие участки только успели вспахать. Чуть позже под холодной голубизной небес снова покрылся белым цветом миндаль...» Противоположность циклическому времени составляет, как известно, время линейное, ориентированное в одном направлении; это время «проекта» — человеческих намерений, целенаправленных поступков. В этом смысле очень симптоматично, что единственный решительный и целенаправленный поступок, совершаемый героем романа,— убийство Загрея, благодаря которому он надеялся взнуздать время, овладеть его течением, в конечном итоге лишь переместил его из одного циклического времени

в другое, из коловращения городской суеты в крестьянский круговорот полевых работ, подчиненный ритму времен года. Метафизический проект Патриса Мерсо остался неосуществленным, он ушел в песок, как в финале уходит в каменную неподвижность сам умирающий герой: «И, став камнем среди камней, он с радостным сердцем обратился к истинам недвижных миров». Конечная истина человеческого счастья — не в живом сообщении с природой и людьми, а в мертвой неподвижности. Счастливая жизнь, к которой жадно, ни перед чем не останавливаясь, стремился Мерсо, закономерно оказывается «счастливой смертью».

В записных книжках Камю сохранились фрагменты, помогающие понять еще одну сторону этой проблемы. Дело в том, что поначалу Камю хотел привести своего героя к литературному, писательскому творчеству.

«Теперь я знаю, о чем буду писать,— говорит Мерсо в одном из этих фрагментов.— Приходит время, когда дерево после долгих страданий должно принести плоды. Зима всегда заканчивается весной. Мне нужно дать показания. Потом все начнется сначала.

...Я не стану говорить ни о чем, кроме своей любви к жизни. Но я расскажу о ней по-своему...

Другие пишут под диктовку неудовлетворенных желаний. Из каждого своего разочарования они создают произведение искусства, ложь, сотканную из обманов, наполняющих их жизнь. Но мои писания явятся плодом счастливых мгновений моей жизни. Хотя они будут жестокими. Мне необходимо писать, как необходимо плавать: этого требует мое тело».

Мы еще не раз вернемся к этому любопытному «писательскому кредо». Интересна, например, та временная структура, которая в нем предполагается. Литературное творчество обычно понимают как деятельность целеустремленную, «проективную»; в представлении же героя романа — то есть, надо полагать, и в представлении самого молодого Камю — оно, напротив, относится к явлениям циклическим, таким, как смена времен года и периодическое плодоношение садового дерева. В рамках подобного круговорота полнота непосредственной жизни сменяется опосредованно-творческим взглядом на нее, а «потом все начинается сначала»... В окончательном варианте романа идея циклического времени хотя и сохранилась, пронизав собой всю художественную конструкцию, но до состояния эстетической программы все-таки не доведена — тема литературного творчества была просто исключена автором. Кстати, одновременно в романе появилась другая тема, которой в раннем плане не найти,— тема убийства Загрея. Первоначально предполагалось сделать Мерсо писателем, в конце концов он *вместо этого* сделался убийцей.

Отчего так случилось? Проще всего ограничиться ходячей сентенцией «гений и злодейство — две вещи несовместные». Труднее объяснить, почему именно они оказались несовместными в представлении данного автора, какая конкретная логика художественной конструкции привела его к тому, чтобы на практике признать неизбежность такого выбора: или одно, или другое.

Вернемся к одной из фраз процитированного фрагмента записной книжки: «Мне необходимо писать, как необходимо плавать: этого требует мое тело». Она, конечно, заставляет вспомнить патетический эпизод ночного купания Мерсо, уже чувствующего, как к нему подкрадывается смертельный недуг: «Он разделся, спустился по скалам вниз и вошел в море, жаркое, как человеческая плоть. Вода струилась вдоль плеч, цеплялась за ноги неуловимой, но прочной хваткой... Глубина влекла его как лицо неведомого мира, как продолжение этой ночи, в которой он обрел самого себя, как солоноватое влажное лоно иной, незнакомой ему жизни. Он почувствовал мгновенный соблазн — и тут же отбросил его, ликуя всем телом... Холод пронизывал до костей, обжигая леденящей и страстной лаской неведомого бога, отнимая последние силы. Он кое-как добрался до берега и оделся, смеясь от счастья...» Эта сцена, с ее отчетливо эротической окраской (если судить по тексту романа, от «ласки неведомого бога» моря Мерсо получает едва ли не более острое наслаждение, чем от женских объятий), показывает еще и другое: при всей своей страстной любви к морской стихии Мерсо даже в миг торжественного «бракосочетания» с нею не желает всецело с нею слиться. Ощутив на глубине «мгновенный соблазн»,— как нетрудно догадаться, имеется в виду соблазн самоубийства, быстрой и «сознательной» смерти в волнах, избавляющей от унизительных мук болезни,— он отбрасывает его не из примитивного инстинкта самосохранения, но с иным, экстатическим чувством, «ликуя всем телом». *Такое* самоубийство ему не подходит. Перед лицом неумолимо подступающей и исподволь соблазняющей его смерти он по-прежнему полон любви к жизни, «воли к счастью»; в волнах он празднует отъединенность и завершенность своего тела, а не безоглядное растворение в бесформенной стихии; если вновь воспользоваться терминами Ницше, его самоощущение — «аполлоновское», а не «дионисийское».

В романе Камю вообще господствует культ прекрасного, эстетически завершенного тела. Телесному здоровью и красоте Мерсо завидует калека Загрей; сам Мерсо часто и радостно переживает силу, спортивную слаженность своей мускулатуры; в своих подругах он с примечательным постоянством ценит прежде всего физическую красоту, которой только вредит развитой интеллект («врожденная глупость, сквозившая во взгляде, только подчеркивала ее важность и невозмутимость»; «он подумал, что она, должно быть, не особенно умна, и только порадовался этому. В бездуховной красоте есть нечто божественное»). Эстетический идеал, исповедуемый героем книги, да и самим автором,— классическая красота статуи, и из всех явлений природы наибольшее удовольствие доставляют те, что подчеркивают, оттеняют эту скульптурную форму вещей и тел. Таковы омывающие тело пловца морские волны; таков и ветер, воздействие которого уподобляется (в раннем очерке Камю «Ветер в Джемила») той же водной стихии: «Ветер шлифовал меня, как приливы и отливы шлифуют гальку... Ветер лепил меня по образу пылающей наготы, которая меня окружала... Это неистовое омовение в ветре и солнце исчерпывало все мои жизненные силы...» Наконец, тот же эффект производит и солнце, подчеркивающее своим

светом все внешние формы вещей; с этим связано и солнцепоклонничество в «Счастливой смерти», ярко проявляющееся уже в первой главе романа — в сцене убийства Загрея, лишний раз подчеркивая в ней черты языческого жертвоприношения сияющему богу: «Занавески на окнах были отдернуты, и всюду: на полу, на стенах, на углах мебели — искрились солнечные брызги. За окнами, над золоченой и холодной землей, ликовало утро...» Эйфорическая радость жизни, которой переполнен роман Камю, связана почти исключительно с тремя чувствами, служащими нам для восприятия внешних предметов,— зрением, слухом и осязанием. И наоборот, два других чувства — обоняние и вкус,— посредством которых человек воспринимает бесформенную, проникающую внутрь его организма среду, сплошь и рядом приносят неприятные, тягостные ощущения. Запах рассола, преследующий Мерсо на улицах Праги, пересохшая чечевица и отдающая горелым луком рыба, которую едят хозяева Дома перед лицом Мира (даже в этой «обители счастья» еда не приносит безмятежного удовольствия, в ней все равно есть какой-то дискомфорт), наконец, отталкивающе «сартровский» мотив, относящийся к смертельной болезни Мерсо («решил сварить себе чаю, но кастрюлька для кипячения оказалась грязной, и напиток получился тошнотворным»),— все это отнюдь не пустые детали. В них, как и в юношески простодушном воспевании «солнца, воздуха и воды», заявляет о себе фундаментальная черта художественного мира, в котором живет и осуществляет себя Патрис Мерсо. Дивно прекрасная «средиземноморская» природа позволяет человеку жить счастливо лишь в той мере, в какой она остается отграничена от него, не вступает с ним в действенное взаимопроникновение. Именно потому Камю был вынужден отказаться от своего замысла сделать Мерсо писателем: ведь всякое творчество, всякий действенный жест нарушили бы статичное равновесие между человеком и миром. Именно потому он, откровенно ломая уже выстроенную композицию своего романа, выносит в самое начало книги, как бы в пролог, лежащий за рамками основного текста, главу об убийстве Загрея — единственном настоящем поступке, который совершает герой на всем протяжении сюжета. Чтобы герой был счастлив (а именно такова художественная сверхзадача автора), он не должен ничего делать — ни творить, ни любить, ни бороться, вообще не совершать никаких поступков. И вот Мерсо, за исключением «заставочной» первой главы, лишь бесцельно странствует по Европе и Алжиру, меняет женщин, не испытывая ни к одной из них сколько-нибудь сильного чувства, занимается обустройством своего дома на берегу моря... Он не только не в состоянии написать книгу, он вообще не произносит ни одного по-настоящему ответственного слова; например, он так и не решился сознаться в своем преступлении деревенскому врачу Бернару, хотя этот человек, родственный ему по духу, наверно, мог бы правильно понять такое признание.

Так метафизическое и ритуально-мифологическое самоубийство, которое совершает Мерсо, дополняется в романе — очевидно, уже против желания автора — еще и самоубийством «литературным»: саморазрушаясь в качестве деятельного литературного героя, Мерсо остался статично-созерцательной фигурой; «воля к счастью» приводит его лишь к отрешенному любованию красотой бытия.

Тем самым Камю вступил в конфликт с законами литературного творчества. Задумав написать историю «преступления без наказания», своего рода «Достоевского наоборот», он пошел наперекор вековой романтической традиции, в которой если и изображалась судьба героя-имморалиста, то судьба эта была драматичной: герой преступает черту человеческой морали из-за обуревающих его неистовых страстей, за заветной чертой его манят великие свершения (так Раскольников у Достоевского сравнивает себя с Наполеоном, Магометом, Ньютоном и прочими «благодетелями и установителями человечества»), но и подстерегают великие страдания и утраты. В русле этой традиции оставался, в частности, Андре Жид, явно во многом повлиявший на раннее творчество Камю. В романе Жида «Имморалист», вышедшем в самом начале века, можно найти многие идейные и сюжетные мотивы, составившие костяк «Счастливой смерти» Камю: здесь и тяжелая болезнь, которую мужественно превозмогает главный герой, и его осознанная решимость быть принципиальным эгоистом, всецело заботиться о собственном счастье (к подобному выводу приходит и Мерсо: «единственный настоящий долг человека — быть счастливым»), и даже упоенно-восторженное переживание средиземноморской природы, особенно природы Алжира, который всегда был для Жида источником вдохновения. Однако Жид все же приводит своего героя к трагической расплате — и тем самым добивается художественной завершенности сюжета. Напротив, Камю отказывается от любых уступок общественной морали, требующей, чтобы всякое зло было наказано; в своей бескомпромиссности он доходит до логического конца и... попадает в художественный тупик. В уютном гедонистическом бездействии, в котором завершает свою счастливую жизнь Патрис Мерсо, есть обескураживающая несообразность: таким ли должен быть конец *героя*, такие ли свершения или страдания ему подобают? Вспоминается хорошая притча о лентяе, оправдывающем свое нежелание работать несложным софизмом: всякий труд нужен для того, чтобы заработать денег и получить возможность отдохнуть,— так почему бы не отдыхать сразу, без всякого труда? Этот софизм способен поставить под сомнение даже «нормальный», общепризнанный труд, а преступная судьба Мерсо в его свете выглядит едва ли не комичной: неужто стоило идти на душегубство всего лишь затем, чтобы потом одиноко любоваться природой?

Все это самым губительным образом сказывается на «технике», на художественном построении романа. Его композиция, которую писатель, как видно по сохранившимся планам и заметкам, несколько раз радикально пересматривал, так и осталась хаотичной. Из-за переноса в «пролог» главы об убийстве Загрея оказалась неуместной следующая глава (рассказ о повседневной жизни Мерсо — мелкого служащего), которая явно должна была стоять в книге первой и выполнять функцию реалистической экспозиции для дальнейшего повествования; сливаются

в одну фигуру подруги героя, и не понять, что заставляет его расстаться с одной и сходиться с другой — точно такой же; мелькают и исчезают, не сыграв сколько-нибудь внятной роли, новые и новые второстепенные персонажи... Роман распадается на отдельные, ненадежно связанные друг с другом главы, и на этой лоскутной ткани зачастую неестественно выглядят яркие, броские узоры — изощренно «литературные» образы, которыми щедро пользуется Камю, особенно при описаниях природы. Совершенно очевидно, что молодому прозаику, автору очерковых, описательных произведений, никак не удается смастерить для своего первого романа прочный сюжетный каркас. Однако дело тут не просто в неумелости новичка — дело в том, что созданный автором экспериментальный, «умышленный» мир по природе своей несовместим с сюжетным движением; против воли своего творца он неумолимо закосневает и рассыпается на части.

В своем первом романе Камю так и не сумел осмыслить это противоречие в художественной форме; осознание его состоялось лишь в форме внехудожественной самокритики — в отказе автора от публикации «Счастливой смерти». Но проблемы, породившие этот роман, продолжали волновать писателя и позднее. Найти им настоящее художественное воплощение удалось со второй попытки — в повести «Чужой» (или, как часто переводят, «Посторонний», 1942), которая в значительной мере выросла из обломков «Счастливой смерти».

В двух этих произведениях много сходного, начиная с фамилии главного героя (правда, в «Чужом» она пишется не Mersault, а Meursault, а главное, почти не упоминается в тексте — у «чужого» всем человека не может быть имени) и его социального положения (мелкий служащий в Алжире) и кончая преступным способом, которым он осуществляет себя: и тот и другой Мерсо совершают убийство, причем герой «Чужого» — убийство непредумышленное, внешне случайное, но оттого особенно явственно связанное с мифологическими корнями, с мотивами жертвоприношения во славу всемогущего бога Солнца. На сей раз Камю все-таки сделал свою композицию драматичной: герой «Чужого», не обладая ни победительной аполлоновской красотой, ни интеллектуальной силой своего предшественника, сумел произнести недоступное тому страстное и трагически искреннее слово о своей доле — в камере смертников, куда он попал за свою неисправимую чужеродность самоуспокоенному и благонамеренному обществу. (Еще один преемственный мотив: в черновых заметках к «Счастливой смерти» Патрис Мерсо, занявшись литературным творчеством, писал книгу о человеке, *приговоренном к смертной казни.*) Мир «Чужого», описанный нарочито сухим, «нелитературным» языком, гораздо менее ярок и великолепен, чем мир «Счастливой смерти», и к человеку, сознающему абсурдность своего удела, он более жесток — умерщвляет его руками других людей, чтобы тот никому не мог поведать эту опасную тайну,— зато в этом мире есть некая точка опоры, благодаря которой возможна и духовная реакция на эту абсурдность, можно не просто горделиво встать выше ее, подобно солнечному сверхчеловеку Патрису Мерсо, но искупить ее ценой своей гибели. Мерсо из «Счастливой смерти» гибнет, в конечном счете, за себя одного, Мерсо из «Чужого» — за весь род людской.

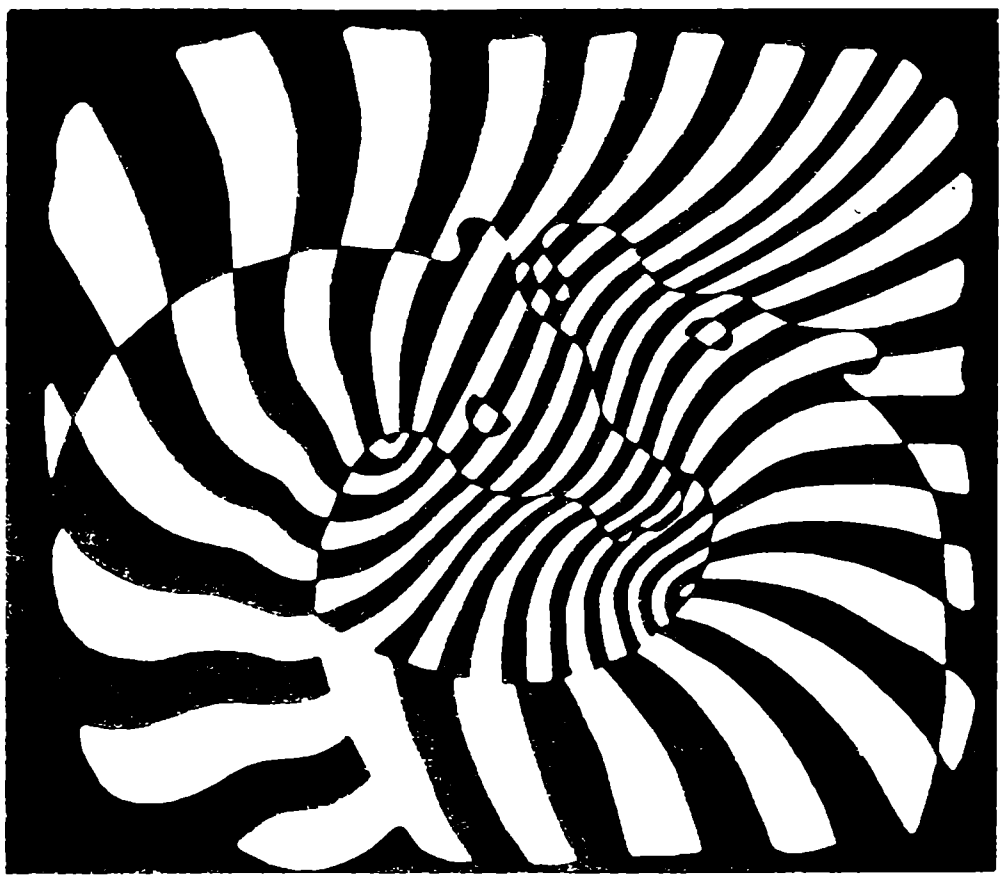
Здесь нащупывается еще одна связь между «Счастливой смертью» и позднейшим творчеством ее автора. Альбер Камю всегда был атеистом, но он был человеком христианской культуры, и даже неоязыческие ницшеанские тенденции его раннего творчества в итоге находили себе место в рамках этой многовековой традиции — иногда более, иногда менее противоречиво. Христианский комплекс покаяния и подвижничества прослеживается во всех его основных произведениях, хотя и принимает зачастую парадоксальные, если не кощунственные формы. История нераскаянного убийцы Патриса Мерсо в «Счастливой смерти» может толковаться как история схимника, анахорета, последовательно отрекающегося и от европейской культуры, от общества друзей и подруг и уединяющегося в глуши, чтобы довести до конца свой духовный подвиг; судьба его однофамильца в повести «Чужой», перед казнью яростно отказывающегося от исповеди, странно сходствует с извечной легендой о страстотерпце, принимающем муки ради неразумного, отпавшего от высшей истины человечества; один из главных героев романа «Чума» (1947), подвижнически служащий людям в охваченном эпидемией городе, одержим стремлением «стать святым, не веря в Бога»; на добровольное самопожертвование ради нравственного самоочищения идут русские террористы — герои пьесы с символичным названием «Праведники» (1950)... Вновь и вновь сталкивая, совмещая индивидуалистически-безрелигиозное мироощущение, ницшевское «антихристианство» с формами мышления и художественного творчества, завещанными веками христианской цивилизации, Камю решал эпохальную задачу всей западной культуры последнего столетия; острота этой проблемы не исчерпана и поныне. Драматической попыткой подступиться к этой проблеме явился и роман «Счастливая смерть» — неприглаженное, дисгармоничное произведение, которое способно если и не доставить читателю безмятежное эстетическое наслаждение, то заставить его о многом задуматься.

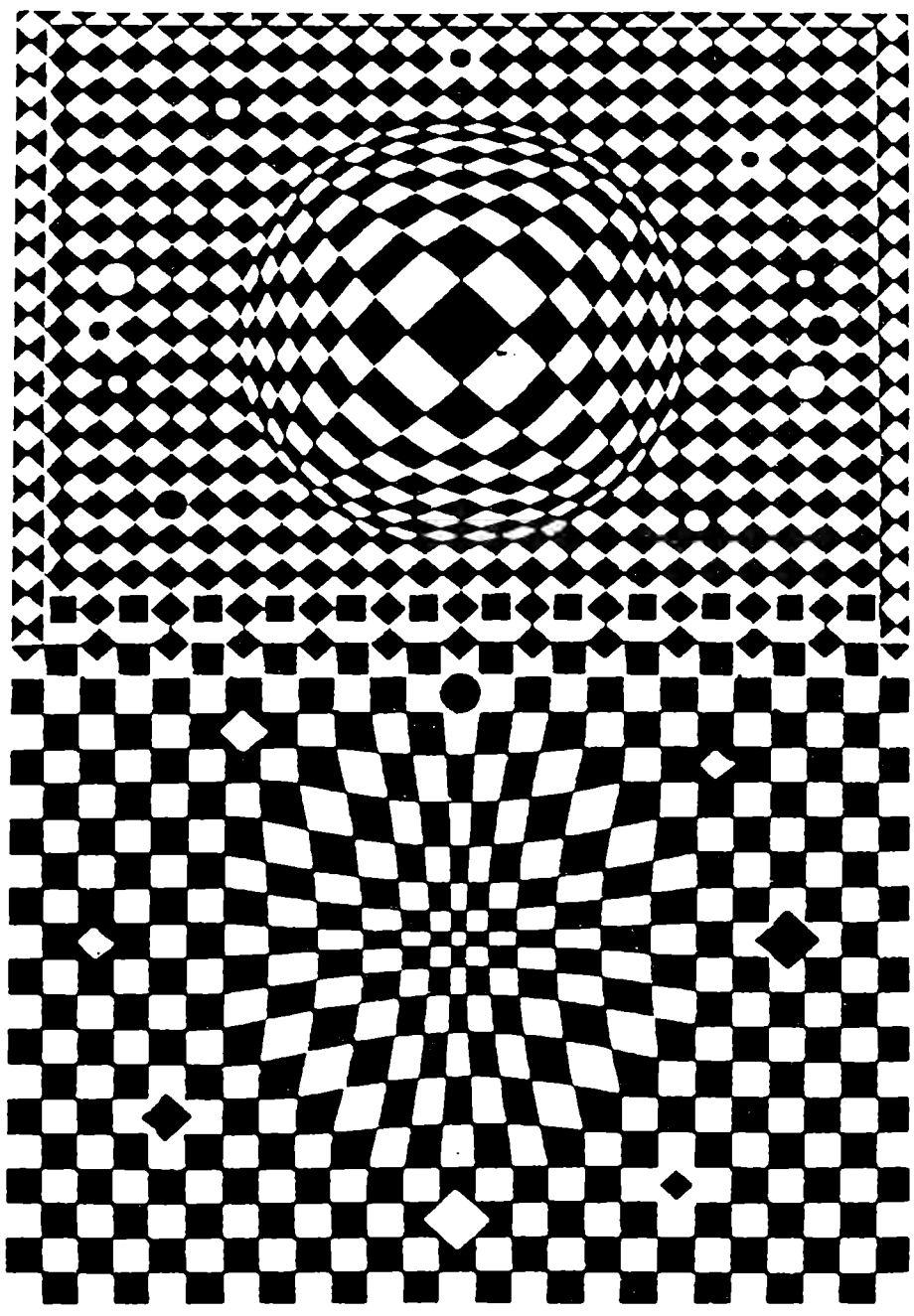
Такова уж современная литература, что будоражить мысль для нее зачастую важнее, чем услаждать сердце.

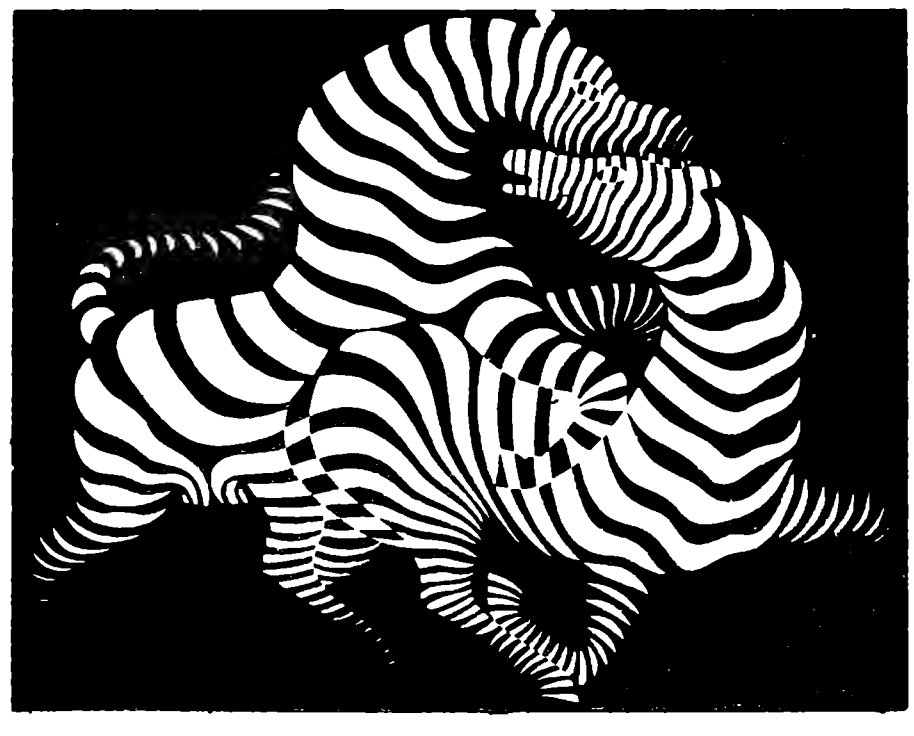
Вазарелли: орнамент и цвет

Когда Виктор Вазарелли жил в Венгрии, его звали Вашархейи Дёзо и он готовился стать врачом. Потом, в 1930, двадцатидвухлетний молодой человек уехал из своего родного Печа в Париж на долгие, долгие годы. В энциклопедиях об этом написано так: «Французский художник венгерского происхождения», «основоположник оп-арта... он добивается иллюзорного ощущения перемещения фигур на плоскости и в пространстве». К тому же — «отец кинетизма и целой эпохи в современной полиграфии и рекламе». Как паломник, переместившись из маленькой страны, лежащей в самом центре Европы, южнее, во Францию, Вазарелли стал жителем этой Мекки искусств и не только обрел там новое имя, но смог показать миру невиданные доселе чудеса своей оптически-цветовой мистерии.

Мастер охотно рассказывает о том, как он создает свои работы,— например, о плане расположения цвета во всем многообразии оттенков и сочетаний, и о том, как он понимает взаимоотношения людей с пространством. Страстный проповедник







гармонии человека с окружением — технизированным миром, он был одним из первых, кто в наше время начал осуществлять вторжение искусства в среду. Его опыты по созданию «разноцветных городов», да и каждый из «танцующих» объектов [1], пожалуй, говорят сами за себя... Искусство представляется ему пластическим образом общества и позволяет в какой-то мере удовлетворить извечно присущее человеку желание разнообразия чувственных радостей. В каждом из нас, убежден он, живет потребность в самопостижении через пластические образы, цвет и форму, что естественно для людей так же, как и потребность в ритме и музыке.

Да, сам Мастер вроде бы делится с нами тонкостями своего ремесла... Но почему же тогда не покидает ощущение тайны, стоящей за словами художника?

Картина заключена в раму. Цвет расположен именно так, как того захотел художник. «Зебры» и «Марсианин» выступили на холст и задержались там на время. Но посмотрите — они так и норовят двинуться дальше... Догоним ли мы их? Да и стоит ли?

Так, значит, ничего не стоят и попытки определить метод и способ достижения, прикосновения к чему-то в нашей сути? Похоже, Вазарелли «настигает» нас вовсе не столь неожиданно. Не в тот момент, когда, увидев однажды его работы, мы замрем, пораженные новизной в «игре света и тени», и нам просто некогда будет раздумывать: как же это и почему так?

Попробуйте просто встать рядом с картиной, взять в руки книгу или журнал с отпечатанным на бумаге посланием от человека к человеку. И если вашего собеседника зовут Вазарелли, вы не сможете остаться равнодушным и обязательно почувствуете, как сильно и неудержимо рвется к нам в наше сегодня, «сейчас», то, что называют прошлым, историей, памятью культуры.

При всей суперсовременности изобразительных средств, обилии экспериментов в пластическом пространстве этот художник велик и значим тем, что дает нам возможность ощутить всю мощь пронесенного через века архетипа сознания, почувствовать родство с теми древними людьми, что также стремились при помощи орнамента запечатлеть краткий миг своего существования в этом мире.

Да, орнамент всегда определял принадлежность к культуре. Знак нашей эпохи — вот чем владеет Виктор Вазарелли.

Синдбад-мореход остался в сказках. А в нашем веке он родился снова, избрав на сей раз совсем иной пейзаж венгерской культуры. Путешественники по мифам собственной судьбы — Круди, Серб, Чонтвари, Янчо... [2] Вазарелли происходит из тех же мест. Он несет с собой перезвон трав на темно-зеленых склонах Карпатских гор, яркие краски персиковых деревьев и цвет желтой от солнца земли венгерской пустоши. По-своему он выразил невыносимую красоту жизни.

... а имени своего он не сменил — оно лишь зазвучало по-другому [3]...

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА

---

[1] Произведения Вазарелли выставлены в персональных музеях Печа и Будапешта, а также на юге Франции. *(Здесь и далее прим. автора.)*

[2] Впервые этот образ возникает в романах Дюлы Круди «Юность Синдбада» (1911) и «Путешествия Синдбада» (1912), дальнейшее развитие темы мы видим, в частности, в творчестве писателя и историка литературы Антала Серба (1901—1944). Прямым кинематографическим воплощением той же идеи стали фильмы Золтана Хусарика (1931—1981) «Синдбад» и «Чонтвари» (картина о художнике). Опыты мифотворчества кинорежиссера Миклоша Янчо можно найти в каждом из его творческих проявлений (см. недавнюю публикацию в соавторстве с Д. Хернади псевдодостоверного дневника «Возлюбленные Миклоша Янчо» в «Искусстве кино», № 6—7 за 1992 г.).

[3] В переводе с венгерского «Дёзо» (Győző) означает «побеждающий».

У книжной витрины

ДЖУЛИАН БАРНЗ
Дикобраз

Julian Barnes. The Porcupine. «Cape»

Английский писатель Джулиан Барнз исследует одно из самых значительных политических явлений XX века — крушение тоталитаризма в Восточной Европе. Действие романа разворачивается в неназванной стране, более всего напоминающей Болгарию (не случайно перевод на болгарский был опубликован даже раньше оригинального текста). Д. Барнз рисует широкое полотно жизни посткоммунистического общества, которое в полной мере «наслаждается» наследием прежнего режима. Загрязнение окружающей среды реально угрожает существованию людей, между тем как сами люди пропитаны цинизмом и безволием. К язвам социализма добавляется разочарование в правлении нынешних лидеров, мало чем отличающихся от вчерашних.

На таком фоне в январе 1991 года начинаются судебные слушания по делу одного из «вчерашних»: перед Верховным судом предстает бывший руководитель страны с тридцатилетним стажем Стойо Петканов. Формально ему противостоит генеральный прокурор Петр Солинский — некогда рьяный марксист, а ныне амбициозный «демократ». Столкновения и перепалки этих двух центральных действующих лиц составляют основу романа. Петканов оказывается «твердым орешком»: он не только не признает правомерность процесса, но и постоянно выдает весьма неприглядные тайны и закулисные ходы прогнивших номенклатурных структур, причем этот поток разоблачений касается, главным образом, партийного прошлого сегодняшних обвинителей Петканова, в том числе и прокурора Солинского. В результате суд, задуманный как общенациональное очищение от скверны, превращается в постыдный фарс, где на одного негодяя пытаются возложить вину за преступления многих ему подобных и где никому из воронов не дано выклевать глаз у другого.

АНИТА БРУКНЕР
Обман

Anita Brookner. Fraud. «Cape»

Излюбленные персонажи Аниты Брукнер — ее современницы, ровесницы и соотечественницы, то есть англичанки средних лет, принадлежащие к среднему классу. Такова и героиня нового романа: Анна Деррант, женщина средних лет, размеренно, тихо и почти безвыездно живет со своей матерью Эми в Кенсингтоне. Воспитанная на идеалах прошлого века, Анна ждет, когда за ней явится принц — ее «судьба», с которым «все понятно без слов». На нее в какой-то степени влияет пример матери: влюбившись, Эми вступает в неудачный брак с обманщиком-двоеженцем, после чего надолго заболевает. Ее навещает молодой и симпатичный доктор Холидей, и Анне кажется, что это и есть ее шанс, что между ними растет если не чувство, то «понимание». Однако очень скоро доктора прибирает к рукам развязная, коварная и более «современная» девица Вики, которая отводит Анне безопасную роль не слишком близкой знакомой. Но на вечеринке у новоиспеченной семьи Анна видит, что молодой муж сожалеет о своем выборе, и вдруг понимает: в этой ситуации он, как любой мужчина, слаб, а она — свободна и сильна. И тогда Анна решает действовать и сама определять собственную судьбу, не надеясь более на обманчивую мысль, что «все и так наладится». После смерти матери Анна внезапно исчезает, оставляя в недоумении доброхотов — в основном подруг матери (среди них выделяется сентиментально-эгоистичная «наседка» миссис Марш — персонаж весьма колоритный). Они обращаются в полицию — с розысков псевдопропавшей и начинается роман,-- еще не догадываясь, что Анна уже вырвалась из их мирка и отправилась навстречу неведомой новой жизни; отныне ей предстоит оправдывать не чьи-то, а только свои ожидания.

Ф. Д. ДЖЕЙМС
Дети людей

P. D. James. The Children of Men. «Faber»

Нынешняя «королева детектива» Ф. Д. Джеймс удивила своих почитателей, написав фантастический роман. Действие происходит в 2021 году. Англией правит диктатор Ксан Липиатт. Человечество поражено бесплодием — последний ребенок родился в 1996 году, получившем название «год Омега». Представители этого последнего поколения, Омеги, жестоки и свирепы, их банды рыщут по обезлюдевшей стране, пугая случайных путников. Стариков правительство побуждает кончать жизнь самоубийством; преступников свозят на остров Мэн и оставляют там погибать.

Герой романа — доктор Теодор Фарон, 55 лет, преподает историю в Оксфорде. Он двоюродный брат диктатора, в детстве они дружили, какое-то время Фарон был даже советником Ксана. К Теодору обращаются молодые диссиденты с просьбой довести до диктатора список их претензий. Ксан встречает его холодно и угрожает преследованиями, если диссиденты не образумятся. Начинаются аресты. К тому же оказывается, что одна из

женщин-диссиденток чудесным образом забеременела, и вся группа (Теодор вместе с ними) вынуждена бежать, чтобы не попасть в лапы полиции. Наконец на свет появляется первый ребенок за четверть века. Это возрождение, год Альфа...

ИЭН МАКЬЮЭН

Черные псы

Ian McEwan. Black Dogs. «Cape»

Проблема зла занимает заметное место в творчестве английского писателя и теледраматурга Иэна Макьюэна. Но если в предыдущих его книгах («Первая любовь, последние обряды», «Зацементированный сад», «Все для иностранцев», «Невинный») она исследовалась с мрачной, пессимистической точки зрения, то для нового романа «Черные псы» скорее характерна философская отстраненность.

Главные герои Джун и Бернард Тримейн познакомились во время войны, по ее окончании вступили в брак и — с не меньшим энтузиазмом — в компартию. На медовый месяц они отправились во Францию, где и произошел эпизод, круто изменивший их судьбу. На одной из прогулок Бернард, увлекшись научными заботами (он — выпускник Кембриджа, энтомолог-любитель), теряет из вида Джун; она продолжает путь без него и на тропе в узком ущелье встречает двух огромных, невесть откуда взявшихся черных псов. Не помня себя от ужаса, Джун бросается на них с ножом и обращает их в бегство. Джун истолковывает это событие как встречу со злом, которое таится в каждом из нас и может проявиться в любой момент. Ей кажется, что в ущелье она «открыла для себя Бога». Бернард не разделяет подобных идей, и у молодоженов начинается разлад, который довольно скоро заканчивается разводом. Джун остается жить на заброшенной французской ферме, погружается в богоискательство, целительство, пишет мистические книги. Бернард, потрясенный венгерской трагедией 1956 года, выходит из компартии, но не отказывается от политической деятельности: становится лейбористом, членом парламента и телекомментатором. На протяжении всего романа историю несостоявшейся четы Тримейнов восстанавливает их зять Джереми. Заключительная часть книги (более похожая на самостоятельный рассказ) представляет собой спокойный подытоживающий анализ.

ДЖЕЙН СМАЙЛИ

Тысяча акров

Jane Smiley. A Thousand Acres. «Flamingo»

Американская писательница Джейн Смайли предлагает читателям современную интерпретацию классической драмы Шекспира «Король Лир». Однако это не пересказ пьесы на американский лад, поскольку автор стремится открыть новые стороны знакомого сюжета, для чего делает акцент на судьбах женских персонажей.

Ларри, фермер из штата Айова, собирается разделить свои обширные владения (тысячу акров) между тремя дочерьми. Старшие — Гинни и Роза — согласны получить причитающуюся им долю, но младшая, Каролина (она уехала жить в город, чтобы стать юристом), колеблется, и разгневанный отец лишает ее наследства. Гинни (Гонерилья), от лица которой ведется повествование, случайно узнает, что Роза еще в детстве была изнасилована отцом, то же самое произошло и с ней. Теперь, когда Ларри намерен отказаться от прав на землю, старшие дочери хотят полностью выйти из-под его власти. Открывшееся мрачное прошлое всколыхнуло долго дремавшую любовь и ненависть; заглушить боль воспоминаний Гинни и Роза пытаются в объятиях общего любовника. Ферма в патриархальной Айове, символизирующая райский уголок для воплощения традиционных американских ценностей, превращается в ад.

Роман получил Пулицеровскую премию за прошлый год и Национальную премию литературных критиков.

ГАРРИСОН Э. СОЛСБЕРИ

Новые императоры

Harrison E.Salisbury. The New Emperors. «Harper Collins»

Гаррисон Солсбери — известный американский журналист, автор более двух десятков книг о Китае и Советском Союзе. Исследование «Новые императоры» содержит подробный анализ обширных и разнообразных материалов, которые касаются политики КНР за последние сорок лет в связи с характером и особенностями конкретных лидеров. Для максимального раскрытия темы автор использует официальные сообщения, интервью с действующими и отставными чиновниками, записи частных бесед с секретарями, переводчиками, диссидентами.

Подзаголовок книги — «Мао и Дэн, две биографии», и это действительно жизнеописания двух политиков, чья судьба неразрывно связана с драматической историей самой населенной страны мира. Огромный 800-страничный труд особенно интересен для западного, да и российского, читателя, поскольку в увлекательной и доступной (но отнюдь не облегченной) форме дает представление об истории, политике и экономике Китая на протяжении всего XX столетия. Во второй половине 1993 года «ИЛ» напечатает из этой книги главы, посвященные Китаю 80-х и 90-х годов. В них описан «китайский вариант» выхода из социалистического тупика: экономические реформы без демократизации общества.

По материалам зарубежной прессы.

Авторы этого номера

ИВАН КЛИМА (IVAN KLÍMA; род. в 1931 г.) — чешский прозаик, драматург, эссеист, публицист. До 1989 г. книги И. Климы были запрещены и издавались за рубежом. Автор романов «Любовное лето» («Milostné leto», Toronto, 1979), «Любовь и мусор» («Láska a smetí», «самиздат», 1981, Лондон, 1988), «Судья из милости» («Soudce z milosti», Лондон, 1986), «Любовники на одну ночь» («Milenci na jednu noc», Прага, 1964), «Любовники на один день» («Milenci na jeden den», Лондон, 1985), пьес «Кондитерская «Мириам» («Cukrárna Miriam»), «Министр и ангел» («Ministr a anděl»), «Номер на двоих» («Pokoj pro dva»), «Жених для Марцелы» («Ženich pro Marcelu»).
Предлагаемые рассказы взяты из сборников «Мои первые влюбленности» и «Мои веселые утра» («Moje první lásky». Praha, Mlada fronta, 1990; «Má veselá jitra». Praha, Rozmluvy, 1990).

В подборке «Конкретные стихи» представлены немецкие поэты:

ОЙГЕН ГОМРИНГЕР (EUGEN GOMRINGER; род. в 1925 г.) — автор поэтических книг «Констелляции, лирика» («Konstellationen, Lyrik», 1953), «Книга времени» («Stundenbuch», 1965), «Избранное, 1970—1972», 1973) и др.

ФРАНЦ МОН (FRANZ MON; род. в 1926 г.) — поэт, прозаик, драматург, эссеист. Автор книг «Артикуляции» («Articulationen» 1956), «Ставить ловушки» («Fallen stellen», 1981) и др.

ГЕРХАРД РЮМ (Gerhard Rühm; род. в 1930 г.) — ему принадлежат книги «Констелляции» («Konstellationen», 1961), «Собрание стихотворений и визуальных текстов» («Gesammelte Gedichte und visuelle Texte», 1970).

ТИММ УЛЬРИХС (TIMM ULRICHS; род. в 1940 г.) — автор сборников: «Рукописи» («Schriftstücke», 1967), «Вариации чтения и способы письма» («Lesarten und Schreibweisen», 1968).

Стихи Ф. Мона, О. Гомрингера и Г. Рюма печатались ранее в «Иностранной литературе» (1964, № 7) как литературные иллюстрации к статье Е. Головина «Лирика модерн».

Публикуемые стихи взяты из сборника «Конкретная поэзия» («Konkrete Poesie». Stuttgart, Philipp Reclam jun., 1972), стихи Ф. Мона также и из сборника «Книга для чтения» («Lesebuch». Neuwied, Luchternand, 1967).

ОЛДОС ХАКСЛИ (ALDOUS HUXLEY; 1894—1963) — английский писатель. Литературную деятельность начал как поэт в 1916 году; был литературным и театральным критиком. Многие годы жил в Италии и США. Автор романов «Шутовской хоровод» («Antic Hay», 1923; рус. пер. 1936), «Контрапункт» («Point Counter Point», 1928; рус. пер. 1936), «Желтый Кром» («Crome Yellow, 1921; рус. пер. 1976), «Слепой в Газе» («Eyeless in Gaza», 1936), «Остров» («Island», 1962), сборников рассказов, эссе и др. В «ИЛ» напечатан его роман «О дивный новый мир» (1988, № 4) и повесть «Гений и богиня» (1991, № 5).
Роман «Через много лет» («After Many a Summer») печатается по изданию London, Granada Publishing, 1979.

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (JOSÉ ORTEGA Y GASSET; 1883—1955) — испанский философ, теоретик искусства. Литературно-публицистической деятельностью занимался с 1904 г. Автор работ «Размышления о Дон Кихоте» («Meditaciones del Quijote», 1914), «О точке зрения в искусстве» («Sobre el punto de vista en las artes», 1924), «Дегуманизация искусства» («La deshumanización del arte», 1925), «Мысли о романе» («Ideas sobre la novela», 1925).
Ему принадлежат книги: «Испания с перебитым хребтом» («España invertebrada», 1920), «Тема нашего времени» («El tema de nuestro tiempo», 1921), «Восстание масс» («La rebelión de las masas», 1930), «Человек и люди» («El hombre y la gente», 1950). На русском языке вышла его книга «Эстетика. Философия культуры» (М., 1991).
Публикуемые эссе были напечатаны в Испании в журнале «Эль эспектадор», Мадрид, в 1904, 1915, 1917, 1925 гг.

РАЛЬФ ДАРЕНДОРФ (RALF DAHRENDORF; род. в 1929 г.) — немецкий социолог, стоявший у истоков одного из современных направлений — конфликтологии. Автор многих книг, в том числе «Социальный класс и классовый конфликт в индустриальном обществе» («Class and Class Conflict in

Industrial Society», 1957), «Новое устройство мира» («A New World Ordes», 1975), «Новая свобода» («The New Liberty», 1975), «Жизненные возможности» («Life Chances», 1979), «О Британии» («On Britain», 1982), «Закон и порядок» («Law and Order», 1985).
Получившая широкую известность книга «Современный социальный конфликт» вышла в США в 1988 г. («The Modern Social Conflict». New York, Weidenfeld and Nicolson, 1988).

ЗЕНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — литературовед, критик, переводчик. Автор работ по французской литературе XIX—XX вв. В «ИЛ» в его переводе напечатаны «Суждения» философа и писателя Алена (1988, № 11) и фрагмент книги Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (1991, № 7).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик, критик. В ее переводах издавались многие произведения чешских и словацких писателей, в том числе В. Кёрнера «Ангел милосердия», Р. Слободы «Разум», Л. Фелдека «Ван Стипхоут» и др. В «Иностранной литературе» напечатаны переводы романов Иржи Кршенека «Дички» (1975, № 5, 6), первая книга трилогии Винцента Шикулы «Мастера» (1979, № 4, 5), главы из романа Петера Ярошa «Тысячелетняя пчела» (1982, № 5, 6), романы Душана Митаны «Конец игры» (1987, № 5, 6; премия «ИЛ»), Милана Кундеры «Шутка» (1990, № 9, 10) и «Невыносимая легкость бытия» (1992, № 5-6). За переводческую деятельность Н. Шульгина удостоена словацкой литературной премии имени П. Л. Гвездослава.

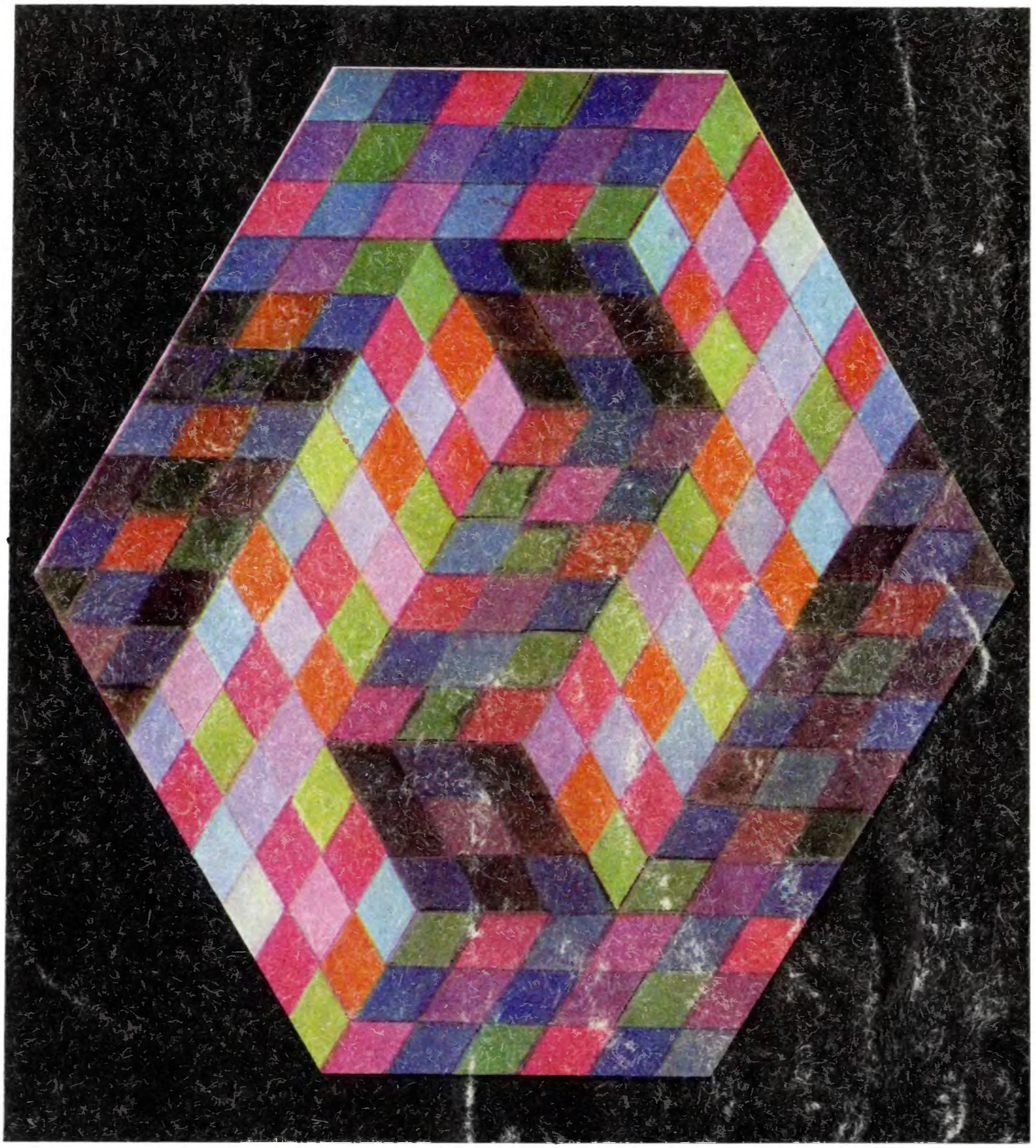
БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ (род. в 1961 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались отрывки из романа Т. Вулфа «О времени и о реке», повесть О. Хаксли «Гений и богиня» («ИЛ», 1991, № 5), рассказы В. Найпола, Р. Шекли, Т. Вулфа и др.

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛИЯ РОДИОНОВНА — филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик. Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводах публиковались проза и пьесы Ф. Гарсиа Лорки («ИЛ», 1982, № 4), эссеистика и афоризмы Р. Гомеса де ла Серны, фрагменты автобиографической книги Сальвадора Дали «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» («ИЛ», 1991, № 12; 1992, № 5-6; № 8-9). Н. Малиновская — лауреат премии «ИЛ».

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. Переводил стихи испанских поэтов: Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и других; польских: А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских: П. Верлена, Г. Аполлинера. В «ИЛ» печатались его переводы стихотворений Сесара Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Кате хондо» (1986, № 7). А. Гелескул — лауреат премии «ИЛ».

ИНДЕКС 70394

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

на второе полугодие 1993 года:

на 1 месяц 95 руб.
на 3 месяца 285 руб.
на 6 месяцев 570 руб.